

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1959

5

---

1959

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 5

Май, 1959 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ — Пядь земли, повесть	3
НИК. РЫЛЕНКОВ — Из лирики	46
И. ИСАКОВ — Невыдуманные рассказы	48
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Новые стихи	92
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Четыре стихотворения. Перевела с турецкого М. Павлова	97
Г. НОВОГРУДСКИЙ, А. ДУНАЕВСКИЙ — Пау Ти-сан и его товарищи. Окончание	100
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — Встречи на Ангаре	130
ВИКТОР ПАНОВ — От Волги до Балтики. Путевые заметки	165
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Перечитывая Чехова	193
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
А. КОПЦЕВА — Из истории создания книги «Материализм и эмпириокритицизм»	209
Я. ТАВРОВ — Дорогой созидания	216
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	230
Л. Черная. Лживая стряпня о Берлине.— А. Бельская, О. Прудков. Литература — бизнес!	
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ДМ. НАГИШКИН — Свет побеждает тьму	237
И. АНДРЕЕВА — Молодой журнал («Юность» за 1958 год)	246

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	260
<b>Г. Цурикова.</b> Пристрастная исповедь.— <b>В. Огнев.</b> В поисках красоты.— <b>А. Лацис.</b> Дело, которого нет.— <b>В. Воробьев.</b> Книга о мастерстве Г. Успенского.— <b>Л. Копелев.</b> Утопия долларопоклонников.	
<i>Политика и наука</i>	275
<b>О. Кузнецова.</b> Жить вместе с Россией.— <b>Н. Болотников.</b> Записки норвежского друга.— Кандидат исторических наук подполковник <b>А. Ефремов.</b> Кулак повисает в воздухе...	
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

---

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

★

## ПЯДЬ ЗЕМЛИ

*Повесть*

### Глава 1

**Ж**изнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из шелей и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мирному пахнут травы.

Над нами черное небо и крупные южные звезды — чьи-то солнца. Когда я воевал на Севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?

Луна еще не всходила. Она теперь всходит поздно в тылу у немцев, и тогда у нас все освещается: и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром. Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую баранину и во флягах — холодное темное, как чернила, молдавское вино. Хлеб чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку:

— Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут, чем лошадей кормят!..

Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться: небо, горло, язык — все жжет огнем. Это готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не признает кушаний без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит на вас своими добрыми, маслянистыми и черными, как у грека, круглыми глазами. «Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек — как можно без перца? Барашек любит перец!»

Пока мы едим, Парцвания сидит рядом на земле, по-восточному поджав под себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный — почти немислимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось: кто пришел в армию худой — поправится, пришел полный — похудеет. Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его «батано Парцвания», хотя мало кто из нас знает, что в переводе с грузинского «батано» означает господин.

До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Поти или Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки и только потеет под ними и тарашит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. И это безнадежно. Засыпает он незаметно для самого себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, и не успел еще другой связист папироску свернуть, как Парцвания опять спит.

Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо таит от наших похвал. Не похвалить нельзя — обидишь. Так же приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов в общем можно понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного права на Парцванию.

Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его «Детка» и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры.

Сейчас он рядом со мной потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды? У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте воет мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию мины, мы окажемся под высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться, лениться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сейчас сладко.

Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время.

— Долго не идут, черти, — говорит он своим тягучим голосом. — Жрать хочется, аж тошнит! — И Саенко сплевывает в пыльную траву.

Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и Парцвания. Мысленно мы видим ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы впервые высадились с лодок на этот плацдарм. И начинается она могилой одного из нас, лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпающемся песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там — безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов.

В одном месте на земле лежит неразорвавшийся снаряд нашего «андрюши», длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь уже начал ржаветь и зарастать травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится тревожно и весело.

В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров, по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках, которые он специально укутывает одеялами и завязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и поэтому сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.

Луна уже одним краем показалась из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы закипают в нем, и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он

скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света...

Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги, и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. С земли нам это хорошо видно.

Саенко опять ложится на спину.

— Пехота!

Позавчера это самое место пытался днем на «виллисе» проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить «виллис» днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишеням, всаживая очередь за очередью, пока не подождли наконец.

Луна поднялась над гребнем, а разведчиков все нет. Когда мы уже начинаем злиться, появляется Панченко, ординарец мой. Издали мы видим, что он идет один и в руке несет что-то непонятное. Он подходит ближе. Унылое лицо, в правой руке на веревке — горлышко глиняной корчажки. Нам становится вдруг так обидно, что мы даже не говорим ничего, а только смотрим на Панченко, на этот черепок у него в руках — единственное, что уцелело от корчажки.

— Парцванию убило, — угрюмо оправдывается он. Но до нас это как-то не доходит в первый момент.

Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец бьет и по дыму.

Панченко кладет на землю круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожевывая травинку. Мы едим еще теплый хлеб, запиваем вином, от которого ломит зубы. Оттого, что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит нам головы. Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтобы — не дай бог! — в них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.

— Тебя не ранило? — спрашиваю я Панченко.

Тот обрадованно пододвигается к нам.

— Вот! — показывает он штанину, у кармана насквозь пробитую осколком, и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак. — Чуть было не забыл совсем.

Мы крошим в ладонях хрупкие, невесомые листья, стараясь не сыпать табак. Неожиданно я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранен, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. И мы догадываемся, что это кровь Парцвании.

— Где вас накрыло? — спустя некоторое время спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.

— В лесу. Как раз, где снаряд «андрюши» лежит. Вот так мы шли, вот так он лежит.— Панченко чертит все это на земле.— Вот здесь мина упала. А Парцвания как раз с той стороны шел.

Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.

Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону. Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, другой стоит на четвереньках. Но больше подрывать нельзя, иначе снарядом может обрушиться щель.

Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно, что до войны люди страдали бессонницей, жаловались: «Не мог целую ночь уснуть: у нас под полом скребется мышь». А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся только от внезапной тишины.

Я лежу сейчас и думаю о Парцвании, о хлебе, на котором осталась его кровь. Мне вспоминается, как перед войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей гордый: это была его инициатива.

Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление.

Васин спит, посапывая носом. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом кармане, а я лежу сейчас на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая ракета, я вижу заросшую шею Васина и маленькое, покрасневшее во сне ухо. Странно, у меня к нему почти отцовское чувство.

## Глава 2

Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами, они пустынные, будто вымершие. Там немецкий передний край.

Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.

Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет — сухие вспышки его почти не видны против солнца, — и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе.

Позади нас, за лесом, — Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться — напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников, наливающих теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.

Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменялась бы вся жизнь.

Васин тем временем готовит завтрак. Врезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает пучком травы. Мы едим ложками, намазывая тушенку на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим.

Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца идут по полю с винтовками на плечах и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где никакой опасности — перебегают, прячутся, от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю — вот она, смерть! А где все живое носа не высунет — ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два оставалось до края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.

— Мало их, дураков, учат! — злится Васин, с алюминиевой ложкой в руке.

Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре, оглядываются: не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них метров тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.

— Эй, кумовья, бегом! — не выдержав, кричит Васин.

Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь к нам. Васин даже высунулся:

— Бегом, мать вашу!..

Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались! Еще разрыв. Над нами пронесит дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!

— Вот сволочь! — говорю я, как будто даже с одобрением.

Васин грязным платком вытирает лицо: оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя сальный след. Берегли... Ели не спеша...

Васин зло швырнул банку.

— Воевать не умеют, только других демаскируют.

И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь целый, а ниже — черное и кровь, и ботинки с обмотками. На белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле стала короткая, вся рядом с ним.

Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он ползет в другую сторону.

— Пропадет, дурак, — быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился ползти за раненым. Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле, на полдороге от убитого к щели.

И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу.



Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух.

Васин, злой, чинит трофейный телефонный аппарат. Он сидит на дне окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него длинные, выгоревшие, а уши по-мальчишески оттопыренные и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку — отрастил чуб под моей мягкой рукой.

Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно: на чистом лбу его обозначается одна-единственная поперечная морщина меж бровей. И когда анекдот окончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить к жизни.

— Ты кем был до войны, Васин?

— Я? — переспрашивает он обрадованно и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками. — Жестящик.

Потом подносит к лицу ладони, нюхает их.

— Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жостью пахли.

И улыбается грустно и умудренно: война.

— Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно.

Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левей. Это она была с вечера. Шарю, шарю стереотрубой — ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями, все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только бы уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор — до гребня.

Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, со следами ног, колес по свежей грязи закаменела и растрескалась. Не только мина, даже легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки — так солнце прокалило ее.

Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем, насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю — не так-то просто вырвать его отсюда.

Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают весь плацдарм. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, мы бы уж испукали их.

Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревцами, воронками, белыми камнями, выступившими из земли, словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты.

Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его — как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но мы этот плацдарм запомним.

С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.

Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать этого. Наступление начинается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и ночью. И Антонеску в Румынии чувствует. Власть его, охраняемая немцами, как мартовский лед на реке: он еще держится, но ступить на него опасно, вот-вот полая вода сорвет его. И когда мы приблизимся к границам Румынии, это случится. Недаром немцы дважды пытались уже скинуть нас в Днестр. И еще попытаются.

Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, знают они тоже. Наверное, поэтому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, любой, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно погибнуть в эти последние месяцы. Я еще никогда не видел, чтобы солдаты так набрасывались на газеты. Их зачитывают до лохмотьев. В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились наконец союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и мы будем наступать. Сейчас самый последний солдат понимает: в том, что немцы до сих пор не сбросили нас в Днестр, заслуга не только наша, но и прибалтийских и белорусских фронтов, которые наступали в это время.

Васин кончил чинить аппарат, любитесь на свою работу. В окопе косое солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.

— Давайте подежурю, товарищ лейтенант.

— Обожди...

Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.

Опять в том же месте возникает над бруствером летучий дымок. Рюют! Какой-то немец роет средь бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая мышьяная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.

— Вызывай Второго!

— Стрелять будем? — Васин оживает и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает.

Второй — это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос по-утреннему хрипловатый и — строг. Спал, наверное. Окна завешены одедами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в комнате, мух ординарец выгнал — можно спать в жару. А рядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость.

— Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!

Скажи просто: «обнаружил наблюдателя» — наверняка не разрешит стрелять.

— Откуда знаешь, что это артиллерийский НП? — сомневается Яценко. И тон уже мрачный, раздраженный даже, оттого что надо принимать какое-то решение.

— Засек стереотрубу по блеску стекол! — вру я честным голосом. А может быть, и не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.

— Значит, НП, говоришь?..

Яценко колеблется. Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь в самом деле! Сидишь на плацдарме — головы высунуть нельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец меня обнаружил, он бы не стал спрашивать разрешения. Этой же ночью уже прислали бы сюда другого командира взвода.

— Три снарядика, товарищ Второй, — спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент.

— Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? — злится вдруг Яценко.

И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает, но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатом на случай, если придется стрелять. С ним всегда так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на большую мозоль.

— Так вы ж больше не дадите, товарищ капитан, — оправдываюсь я поспешно. Что угодно говорить, лишь бы дал.

— А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограмм — ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?

Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло «в пересчете на рубли», Яценко уже не сдвинешь.

Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет.

— Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь нам с разведчиком. И наблюдай за ним, Мотовилов, наблюдай! Молодец, что засек.

Хочется выругаться. Страшно мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему! Это все равно, что убить его мысленно. А он пока что вон роет.

— Я знал, что комдив снарядов не даст, — говорит Васин, когда я отдаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось. Тоже мне — ясновидящий!

— Ты лучше сапоги надень! — срываю я на нем зло. — И ноги подбери. Расселся, как на пляже.

А немец теперь обнаглел окончательно. Роем на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, противно пить, и еще Васин с аппаратом расселся, так что повернуться невозможно. Явно сочувствует. Терпеть не могу, когда сочувствуют. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами.

Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно, но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В шестидесяти метрах от нас — кукуруза, там НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами. И командир взвода там — Никольский — мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет. Главное — перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать о них, и от этого злюсь.

Удивительно противная голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся — упадешь, и то виден. Но сидеть так целый день, смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит.

От немцев нас загораживает гребень кювета. Можно хоть изготовиться скрытно. Затягиваю ту же ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею. Мне вдруг становится весело. Это всегда так перед опасностью.

— Будут спрашивать, отдувайся за обоих.

— А если комдив будет ругаться? — пугается Васин.

Он очень не любит, если начальство ругается. Прямо-таки грустнеет на глазах.

— Вот ты и скажешь комдиву, чтоб следующий раз давал снаряды.

Васин моргает жалобно. Мне, конечно, хорошо говорить, а отдуваться ему. На него невозможно смотреть без смеха.

— Не бойся, комдив сюда не придет.

Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди — воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле.

Пиу!.. Пиу!..

Чив, чив, чив!..

Словно плетью хлестнули по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки — так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменная.

Чив, чив, чив!..

Только б не в голову! Всею кожей головы чувствую, как могут пасть.

Пиу!.. Пиу!.. Пиу!..

Эти уже свистят сверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажмуриваюсь от вспышки. Вот он откуда бьет! На переднем скате высоты — крошечный холмик, яблоня, и в круглой тени ее — окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться. Лучше не видеть, как по тебе стреляют.

Впереди меня, у края воронки, — каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев.

Фьють! — падает шляпка.

Фьють! — падает стебель, перебитый у основания.

Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. С земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчики, чтоб из кукурузы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его. Если он не попадет в меня и я добегу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении: против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик то же, что я, безоружный, сейчас против него. Из суеверного чувства я стараюсь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добегу до кукурузы.

Последняя очередь с ветром проносится надо мной. Тишина... Только теперь чувствую, как у меня устали все время сжимавшиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Бинокль врезается в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль.

На сколько у пулеметчика хватит терпения? Минут десять будет караулить, потом устанут глаза. Главное, чтоб немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. Изорвало голенища сапог, а когда я вскочил и побежал, хромя, обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в землю и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва ударившись о землю, осколки ее сбивают даже траву.

Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время,

Наверно, давно прошло уже десять минут. Больше не могу терпеть. Вскрываю и бегу. Бинобль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удается поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит вдогонку.

Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинобль между стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувший высоты,— все это прорезают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Оказывается, их двое. За реденьким частоколом натканного в бруствер бурого конского щавеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду.

По кукурузе близко от меня пробегает, пригнувшись, пехотинец, ладонью прижимая к груди медали. Кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, вбитых в стену, мокрые тряпки: платки, подворотнички. И радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение.

— Это по вас стреляли, товарищ лейтенант?

Все это время, пока по мне стреляли, пока я лежал, мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом в бомбовой воронке стирал на корточках и прислушивался: по ком это? Никто даже огня не открыл. У меня совершенно отчетливое желание: носком сапога сбить колышки с тряпками. Наверное, он почувствовал это. Улыбка стала виноватая, неловко стоит, загораживая тряпки спиной.

— Лейтенант где?

— Болеет лейтенант. В той щели лежит.

Никольский лежит на земле, с головой укрытый шинелью. Дрожит так, что через сукно видно. Я долго тормошу его за плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Даже в сумраке щели, перекрытой бревнами, расширенным зрачкам его больно от света, он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные и ногти синие.

— Никольский! — говорю я, вглядываясь в его горячно блестящие влажные глаза, и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, слышит ли он меня.

— Не кури,— просит он, рукой отгоняя дым от лица,— тошнит от запаха.— И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла.— Как в погребе здесь.

Лицо у него желтое, губы от жара растрескались до крови, зрачки точно смолой налиты. Малярия.

— Саша! — Я притягиваю его к себе и чувствую на лице его горячее резкое дыхание.— Пулемет обнаружил, слышишь меня? Обоих пулеметчиков видно. Не накроем — уйдут, сволочи!

Я вижу, понять меня стоит ему сейчас умственного усилия. Он даже поморщился оттого, что больно подымать глаза.

— С глазами что-то делается,— признался он,— то лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я.

— Я буду стрелять!

— У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного,— внезапно поддерживает меня ординарец: виноватым себя чувствует.

— А ну, соединишь с комбатом! — уже приказываю я телефонисту.

Все на НП сразу приходит в движение. Я иду по траншее, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу: что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому, что мы всегда экономим снаряды. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом: перелет? Недолет? Вот он твой, кажется! И вжимаешься в стенку, и выть хочется оттого, что не стреляешь... Я сажусь к стереотрубе, при-

лаживаю ее по глазам. Вон они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. У меня к ним сейчас бережное чувство, только б не спугнуть. Я вдруг замечаю, что и команду передаю тихо, словно они могут услышать.

— Цель номер два! — звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист. — Правее ноль двенадцать!..

Над головой шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе на животах, ждут первого разрыва. Я медлю: сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва, а мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтобы сразу перейти на поражение, пока они не сообразили что к чему. Первый — недолет. Я командую: «Взрыватель фугасный!» Позади пулемета овражек, плоский осколочный разрыв не будет виден, фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет:

— Взрыватель фугасный!..

Он привык, что фугасными снарядами стреляют только по укреплениям: по дотам, по дзотам, а здесь окоп.

Пулемет внезапно начинает строчить — я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони, а сверху, над головой у меня, раздаются какие-то крики.

— Огонь!

Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязный ватный разрыв встает позади.

Сверху опять кричат: «Левей, левей ползи!» Кому они кричат?

— Огонь!

Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно поднимаются. И тут я замечаю на поле ползушего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой — телефонный аппарат. Васин! Ползет сюда. Это ему кричат. И я тоже кричу диким голосом:

— Лежать! Лежать, мерзавец!

Он как будто услышал. Замер. Обеими руками глубже натянул пилотку на голову. Опять пополз. И сейчас же — «та-та-та-та-та!»

— Огонь!

Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Вцепился в Васина, не отпускает живым. Больше я не смотрю туда: иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит? Страшная эта тишина.

— Батарея четыре снаряда беглый огонь!

Грохот, кипящий дым над окопом, и в нем мгновенные вспышки огня. Даже здесь все трясется, со стен ручьями течет песок. И сразу все обрывается. Тишина давит на уши. Когда ветер относит дым, вижу срубленную яблоню, сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет. И окоп почти целый. Он теперь не в тени, на ярком солнце, тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым.

Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Они теперь уже у него в руках. Пыльный, потный, запыхавшийся — живой! Черт окаянный! У меня до сих пор из-за него дрожат колени.

Васин быстро подключает телефонный аппарат: «Ругались! Одна нога здесь, другая — там, чтобы найти вас...» Я сижу на снаряжном ящике у стереотрубы, смотрю на него сверху. На его шею, красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилившей крови уши, оттопыренные, как у мальчишки. Молодой, здоровый, горячий, весь полный жизни. Если б одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас... Кажется, пора бы уже привыкнуть. Но как подумаешь, невозможно ни привыкнуть, ни понять это.

Васин снизу подает мне трубку. В ней голос начальника артснабжения полка Клепикова.

— Мотовилов? У тебя какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал. Инвентаризацию, понимаешь, провожу...

Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознание важности состоявшегося наконец разговора. Он ждет. Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной, телефонный аппарат к другой ноге. Я молчу.

— Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?

Когда он волнуется, он с этим «понимаешь», как заика. Он очень обидчив, Клепиков. Он капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку.

— Я специально приехал, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружия произвожу!..

Я не могу даже обругать его, потому что рядом Васин. Он специально тащил сюда телефонный аппарат — у меня это еще перед глазами, как он полз, а по нему стреляли.

— А ну, отойди отсюда! — приказываю я Васину.

Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и о его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться и что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами Днестр. И голос у него жалкий. И мне вдруг становится жаль его. Не надо было его оскорблять, тем более что он все равно меня не поймет. Мы говорим с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне и чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне, а в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть было не погиб хороший человек. Я не могу это додумать сейчас до конца, но я чувствую только, что за этим стоит нечто большее, чем просто Клепиков, Васин и я. И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку, у меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с полуслова и чувствуем многое одинаково.

Я уже не злюсь на Клепикова. Я действительно на него не злюсь. Я теперь сам отвечаю на его вопросы. У меня не отечественный пистолет — трофейный парабеллум.

Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное — он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я доставляю ему это удовольствие: терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в инвентаризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Очень логично. Надо только что-то сказать Васину. Не мог же он зря проделать все это. И я благодарю его. Пять минут назад, когда он полз под огнем, я не знаю, что мог бы с ним сделать. Сейчас я его благодарю.

— Но если еще раз так полезешь, не немцев бойся, а меня.

Васин доволен.

До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков, я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея.

С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз, в прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча.

— Начальству привет!

Бабин только глянул и продолжает лежа думать над шахматной доской, подперев ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая, вытянутая, нога в носке. Про него говорят: «Это тот комбат, который лежа воюет». Бабина ранило в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он и воюет лежа, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, была тут сначала военфельдшер, отчаянная девка; она и ухаживала за ним.

При желтом огне свечи руки, шея, лицо Бабина кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, мужественное, жесткие щеки давно уже бреющего человека.

Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок так, что она у него там держится вне всякого соответствия с законом тяготения, горбоносый командир второй роты Маклецов негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет: «Прощайте, скалистые горы...»

Песни комбат любил морские: до войны он плавал на Севере капитаном рыбацкого сейнера.

Я сажусь рядом с Маклецовым, достав портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стапятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям — это все равно, что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают.

Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу, у дверей, худошавого, щуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства.

— Где-то я тут что-то просмотрел, — неуверенно говорит Бабин.

Мне он нравится. Спокойный, упорный мужик. Но на человека, хорошо играющего в шахматы, способен смотреть, как на бога. Бабин ложится на спину, берет со стола свечу в плоске, прикуривая, втягивает весь огонек в трубку.

— Из-за чего война была? — спрашивает он, относя огонь от лица.

— Пулемет уничтожили, — говорю я так, словно каждый день уничтожаю по пулемету. — Двух пулеметчиков ухлопали.

Глаза Бабина веселяют сквозь дым.

— Ну, все. Скоро война кончится.

Он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом.

— Покажи.

Я показываю, где стоял пулемет.

— Рядом с яблоней? — Он радуется, что зрительно помнит местность. — Так и надо дуракам, не лезь под ориентир.

Он прячет планшетку.

— А ну, расставляй еще!

— Так что ж, товарищ капитан, опять сердиться будете, — предупреждает телефонист, заранее снимая с себя всякую ответственность.

— Расставляй, расставляй! — Бабин уже сердится.

Телефонист пожимает одним плечом — «что ж, я лицо подчиненное» — и расставляет фигуры и себе и комбату.

Они успевают сделать первые ходы, когда начинается бомбежка. Бабин берет трубку со стола в рот — трубку эту он завел с тех пор, как начал воевать лежа, — думает над ходом, подперев лоб пальцами. Наверху — тяжелые удары. Подпрыгивает на столе огонек, словно хочет



оторваться от свечи. Пыль, как дым, подымается из углов, наполняет воздух. Грохот давит на уши, голова становится мутной.

Откуда-то сверху скатывается связной, козыряет у дверей, вытянувшись. Он весь обсыпан землей, глаза вытаращены.

— Товарищ комбат, прислан для связи командиром третьей роты! На участке нашей роты банбит — солнца не видно!

Из-за частогокола пешек Бабин осторожно вытянул коня, держа на весу, сказал:

— Возьми карандаш на столе, возьми бумагу, напиши слово. «бомбит».

Связной нерешительно двинулся к столу, взял карандаш отвыкшими пальцами. На бумагу с треском посыпалась земля сверху. Он уважительно смел ее ладонью... «Ты стоя-ала в белом пла-атье,— наигрывал Маклецов, заглядывая через плечо связного,— и платком махала...» Осторожно положил гитару на сено, вышел из землянки: до своего НП ему бежать недалеко, метров сорок.

У связного на первой же букве ломается карандаш.

— Дайте ему нож карандаш отточить,— говорит Бабин, не отрываясь от доски.

От взрывов бревна наката над головой приходят в движение. Они скрипят, трутся друг о друга, и все это сооружение начинает казаться непрочным. С потолка по стене вниз стремглав проносится мышь.

Связной старательно выводит букву за буквой, согнувшись над столом, то и дело дуя на бумагу. Бабин негромко переговаривается по телефону с командирами рот: «Кульчицкий, у тебя как?..» Даже мне на других нарах слышно, как кричит в трубку Кульчицкий. Как раз его бомбят сейчас, и он собственного голоса не слышит.

Точно ученик, связной подал бумагу. Бабин зачеркнул «н», надписал сверху «м». «Перепиши три раза»,— и опять задумался над ходом с трубкой в зубах. Лицо напряженное, глаза остро блестят.

Я выхожу из землянки.

В небе над головой, зайдя в хвост друг другу, кружатся «хейнкели». Их круг в небе — это наш плацдарм на земле. Какой же он крошечный!

Согнувшись, бегу по кукурузе к НП. Падаю, не добежав. Звенящий вой входит в меня, как штык. Закрываю глаза. Земля вздрагивает подо мной, как живая. На минуту гложу от грохота. Когда поднимаюсь, впереди черная и серая стена дыма. И на фоне этой черной, клубящейся, грозовой стены особенно зелено, сочно блестят листья кукурузы. И сейчас же новый взрыв кидает меня на землю. Становится темно и удушливо.

Потом «хейнкели» улетают, сквозь черный дым проглядывает солнце. И вскоре уже над головсой летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце. Нам оно кажется сейчас особенно ярким. Даже не верится, что и пять минут назад оно тоже светило над головой и только дым заслонял его. Я отряхиваюсь. Кого-то, согнувшись, уносят по кукурузе. Еще пахнет порохом, и везде разбросаны свежие комья земли.

Неужели кончится война и с такой же легкостью, с какой проглянуло сейчас солнце, забудется все? И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?

### Глава 3

Ночью нас внезапно сменяют.

Является мой командир отделения разведки Генералов, с ним Синюков и Коханюк. Коханюк во взводе новый, я его еще толком не знаю. Острый пестренький носик в веснушках, пестрые рыжеватые глаза, тонкая шея. Кто ж тебя так кохал, Коханюк, что за ворот гимнастерки

тебе еще и кулак можно засунуть? Генералова я не видел десять дней. Он еще больше раздался вширь, лицо заблестело. По его комплекции ему бы усы, да орденов полную грудь, да под знамя — гвардеец!

— Еле вас нашли! — говорит он радостно, оттого что все-таки нашли. — На НП нету. Мы уже по связи сюда...

Он садится на землю, сняв с головы, кладет рядом с собой новую фуражку (ого, даже фуражку завел офицерскую, — я пока что в выгоревшей пилотке хожу), платком вытирает лицо, волосы. От него пахнет одеколоном. Пока мы едим, он рассказывает новости:

— Ну, товарищ лейтенант, с вас вина бочонок: комбатом хотят назначить.

— А Монахов куда?

— В госпиталь увезли старшего лейтенанта.

Все же странно устроен человек. Вот и не нужно мне это: кончится война, буду жив — демобилизуюсь ведь, а все равно приятно. Я даже сразу добрей становлюсь.

Васин уже собрался, он и есть почти не стал: дома поедим. Действительно, мы ж домой идем.

— Так вот, Генералов! — Я встаю. — Делать тебе здесь вот что.

И как только я встаю и начинаю вводить его в круг его обязанностей, Генералов сразу тускнеет, а на лице Коханюка отражается тревога. До сих пор они шли, спешили, один раз попали в болото, чуть не угодили под разрыв мины, бежали, искали нас, потеряли, нашли наконец — они возбуждены и радостны. Но постепенно возбуждение остыло. А сейчас мы уйдем, и они останутся одни. Только Синюков — этот уже бывал на плацдарме — спокойно переобувается на траве. В огневом взводе есть несколько человек старше него, но у меня во взводе их только двое таких — он и Шумилин. Он из тех солдат, что ни от чего не отказываются, но и сами никуда не напрашиваются: обошлось без них — и ладно.

— Ты что же без шинели? — говорю я Генералову.

— А я так понимаю, нас скоро сменят.

Это получается у него вопросительно.

— Смотри, какой понятливый!

— Должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи. Младший лейтенант, фамилия у него еще такая запоминающаяся... В географии встречается.

— Чичеланов?

— Во, во! Пролив такой в школе изучали. Чичеланов, Магелланов...

— Ты, видно, сильный был ученик.

— Нет, чего? Я это дело любил...

— Понятно. Так что Чичеланов?

— В штаб дивизии для связи забрали в последний момент. Я понимаю, я тут временный.

— Ну, раз временный, в гимнастерке не замерзнешь. Да у тебя ж еще фуражка новая.

Генералов улыбается заискивающе: он, мол, понимает, что товарищ лейтенант шутит. Не нравится он мне сегодня. И мне бы надо с ним быть строгим, но отчего-то в душе мне неловко перед ним. Оттого, наверное, что я уйду и скоро буду на той стороне, а он остается здесь. И Генералов чувствует это.

— Ладно, оставлю тебе свою шинель.

И потому, что мне хочется скорей уйти, я, словно стыдясь этого, все медлю. Ребята от моего сочувствия окончательно погрустнели. Генералов еще несколько раз к слову говорит, что должны были прислать сюда младшего лейтенанта, а вот прислали его. А когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе, он выслушивает это угрюмо, словно и воевать его заставили вместо кого-то. Ничего. Это до тех пор, пока есть

старший над ними, кто отвечает за все. А уйду, останутся одни — и сразу разберутся, и выроют, и сделают все.

Напоследок захожу проститься к Бабину, и потом вместе с Васиним мы быстро идем через поле к лесу. Под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зарницы орудийных выстрелов, и в воздухе над нами воеет, удаляясь: опять по берегу бьет.

В лесу сильные перед дождем запахи цветов и трав хлынули на нас, и мы замедляем шаг. Теперь уже нас никто не задержит, мы отошли порядочно. Когда на плацдарме сменяют, самое сильное желание — скорей выбраться отсюда: вдруг в последний момент случится непредвиденное и тебе придется остаться.

В лесу темней, чем в поле, и душно здесь, и отчего-то беспокойно, как бывает перед грозой. А тут еще Генералов испортил настроение. Не следовало оставлять ему шинель. От близкого болота ночи здесь бывают свежие, померзнет в одной гимнастерке, так другая ночь в шинели раем покажется. И уж не станет думать о том, что он временный здесь. Мне на фронте никто свою шинель не подстилал. И правильно делали.

Но с полдороги ты Генералов, и мысли о нем — все это остается позади. Мы возвращаемся домой! Радостно снова идти по лесу, по которому десять суток назад мы шли сюда, радостно узнавать каждое дерево. Лес с тех пор сильно поредел. Множество деревьев, расщепленных, словно от удара молнии, белеет в темноте. У иных сломаны вершины, иные вырваны с корнем и валяются на земле, мертвые среди живых.

Наверное, здесь нет ни одного не раненного дерева. Пройдет время, затянутся осколки белым мясом, но еще долго у пил будут ломаться зубья, еще не раз человек, срубив дерево, вынет на ладонь осколок или пулю, и что-то защежит в душе, и вспомнится пережитое...

Далекie, всходящие у нас за спиной ракеты освещают черноту впереди и блестящие листья на кустах. И по мере того, как мы идем по лесу, к запахам цветов и трав присоединяется свежий, все более сильный запах близкой уже реки. Сейчас будет поворот, а там рукой подать до Днестра.

За поворотом мы обычно отдыхаем. Здесь в песчаный косогор, на котором растут сосны, держа его корнями, врыта землянка связистов. Хорошая землянка. Под самой сосной. Потолок сводом, как в русской печи. И пахнет здесь, как в сторожке: едой и махоркой. Даже дверь поставили настоящую. А от двери три ступеньки вниз и — дорога. Нет такого человека, который бы шел на плацдарм или с плацдарма и не поднялся бы по этим ступенькам, не выкурил бы сигарку у связистов на промежуточном пункте. И пока курит, не раз позавидует их тихому лесному житью. Гася сигарку о подошву, пошутит: «Вам бы поросячка завести или сразу корову, раз хозяйство такое». И однажды связисты в самом деле перевезли из-за Днестра корову, привязали к сосне около землянки — в полукилометре от берега, в километре от передовой. Даже навес соорудили над ней, чтоб незаметна была с воздуха, а травы в лесу только ленивый не накосит. Но у коровы, как только она оказалась на плацдарме, почему-то пропало молоко. А вскоре ее убило снарядом.

Сейчас мы тоже перекурим у связистов. Здесь как бы рубеж. Все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте. И если ты идешь на плацдарм, самую первую точную информацию получаешь здесь.

Сильный синий свет разрывает черноту над лесом, на миг осветились закачавшиеся вершины деревьев, и я вижу впереди себя, в том месте, где была землянка, огромную бомбовую воронку и с корнем вырванную, поваленную на дорогу сосну. Что-то торчит из песка, но я не успеваю разглядеть, что это: свет гаснет. И уже в темноте над головами у нас,

над зашумевшими вершинами, выше туч, тяжело и глухо грохочет. Привыкшие к артиллерийскому обстрелу, мы не сразу догадываемся, что это гром. При новой вспышке молнии, подойдя ближе, мы видим полу шинели, мешком свесившийся шинельный карман с внутренней ее стороны и ногу в сапоге, согнутую в колене. Все это торчит из стены песка, повиснув над бомбовой воронкой, и поднявшийся ветер уже раскачивает полу шинели и карман на уровне наших голов. Прямое попадание...

— И сюда достал,— говорит Васин.

Мы привыкли к тому, что на плацдарме убивают. Без этого еще дня не было. И прямые попадания не такая уж диковинка, когда простреливается каждый метр. Но здесь безопасное место. Здесь наш тыл. А когда убивает в тылу, это почему-то всегда действует неожиданно.

Через Днестр мы переправляемся под проливным дождем. Он полетному теплый. Пахнут дождем наши гимнастерки, которые столько дней жарило солнце. Теперь дождь вымывает из них и соль и пот. Пахнет просмоленная дощатая лодка, сильно пахнет река. И нам весело от этих запахов, оттого, что мы гребем изо всех сил, до боли в мускулах, оттого, что соленые струи дождя бегут по лицу. А может быть, просто потому, что мы молоды.

На плацдарме, теперь уже далеко от нас, всходят в дожде ракеты, свет их туманен. Хлещут синие молнии, ослепительно отражаясь в воде. Мы гребем спиной к тому берегу, лицами — к плацдарму. Он все больше отдаленяется от нас. И чем дальше отплываем мы, тем меньше кажется он издали, наш плацдарм. Пядь земли! Но скольких жизней стоил иной метр ее!

— Зальет ребят! — кричу я.

Васин из-за плеча оборачивает ко мне мокрое веселое лицо, в которое хлещет дождь.

— Просохнут!

Лодка скребет по песку. Мы выпрыгиваем в воду, вытягиваем ее носом на берег.

— Искупаемся?

Мокрые, сидя на мокром песке, стаскиваем через головы гимнастерки, а дождь шлепает нас по спинам. Из всего, что есть на мне, только партбилет не промок: он в прорезиненной обертке от индивидуального пакета. Я закатываю его в гимнастерку. Васин тянет у меня с ноги сапог и вместе с сапогом везет меня по песку, и мы оба хохочем. Потом он, голый, мускулистый, скачет на одной ноге, срывая с другой мокрые брюки. Рядом с ним я кажусь худым и длинным, и я немного стесняюсь этого: ведь я же лейтенант. Мы пробегаем по лодке, раскачивающейся под ногами, и один за другим прыгаем головой вниз в черную воду. Ух ты! Даже дух захватывает — так хорошо! Когда я вынырываю из глубины, рядом отфыркивается Васин, трясет круглой головой, а река вся залита зеленым светом ракеты. Что-то холодное скользит у меня по животу, обвивает ногу. Вздвогнув от гадливого чувства, ныряю. Водоросли! Мягкие, шелковистые. Я кидаю ими в Васина, он кидает в меня, и, брызгаясь и смеясь, расплываемся в разные стороны. Только вырвавшись с плацдарма, чувствуешь, как же хорошо жить на свете! А с берега, из окопов, что-то кричат нам приглушенными голосами. Кажется, злятся.

Захватив под мышки сапоги, гимнастерки, брюки, мы босиком бежим по песку вверх. Спрыгиваем в траншею. И, сидя на корточках, в одних трусах, курим. От мокрых пальцев сигарки шипят. У Васина на мокром теле то вспыхивают и разгораются, то гаснут капли воды. А вокруг стоят пехотинцы и лейтенант в плащ-палатках, в капюшонах, голоса у них недовольные:

— Ну, чего крик подняли? Он тут на голос бьет!

Я подмигиваю Васину, и мы оба хохочем. «На голос бьет!» А с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода. У этих ребят, обороняющих траншеи за Днестром, здесь — передовая. Кто ж мы для них тогда, переплывшие с плацдарма? Смертники? А ведь для пехоты, сидящей на плацдарме, наш НП, расположенный метрах в ста позади них, — тыл.

— Крепко вы здесь окопались! Проволоку бы еще надо колючую: все-таки фронт.

Обиделись:

— Мы таких видали. Вы-то вот сейчас уйдете, а он по нас будет бить.

Пожалуй, не стоило их обижать. Позади них еще, ого, сколько народу! У каждого на фронте свой передний край. И в жизни, наверное, тоже.

Дождь постепенно стихает. Мы натягиваем на себя все мокрое и идем на хутор. На этой стороне даже воздух легкий какой-то. Совсем по-другому дышится.

У первых домов из тени шелковицы наперерез нам выходит патруль. Двое разведчиков нашего дивизиона, у каждого из-за плеча торчит приклад автомата. Узнав, пропускают. Просят только прикурить.

— А курить на посту нельзя, — говорит Васин строго. Он любит иногда поучать.

Смеются. Это они знают, как знают и то, что прикурить мы дадим. Уходят они от нас, унося в мокрых рукавах шинелей тлеющие огоньки сигарок.

На хуторе сон и тишина. Мы идем вдоль низкого, белого под луной заборика, по-южному сложенного из плоского дикого камня. На другой стороне улицы до половины дороги — тень, несколько луж блестит в разъезженных колеях. Такое чувство, словно и родился я здесь, и жизнь вся прошла, и теперь возвращаюсь домой. Вот она, деревянная калитка на кожаных петлях. Ее нельзя открыть. Ее надо приподнять и перенести. Мы делаем проще: мы перепрыгиваем через забор.

Кулаком бью в раму окна. Нечего спать, раз мы вернулись! Окошко крошечное: четыре стекла, вмазанных в белую глиняную стену дома, и рама крест-накрест. Все это сотрясается под ударами.

И сейчас же распахнулась дощатая дверь. Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, в трусах и босиком, стоит на пороге, освещенный луной.

— Заходите, товарищ лейтенант.

В доме сонное тепло, воздух густой, спертый. Разведчики, спавшие на полу, садятся на своих плащ-палатках, жмурясь от света лампы. Голоса до первой сигарки хриплые.

— Вы бы хоть окно открыли.

— Та они здесь такие окна, что не открываются. Прикладом выбить — это можно. Вместе с рамой.

И ухмыляются, довольные. Я скидываю с себя все мокрое, в одних трусах, босиком иду к столу по теплomu глиняному полу. И только сейчас, в тепле, всем своим голым, отогревающимся телом чувствую, что прозяб.

На столе всего столько, что страшно начинать. Лежат три фляжки, обшитые сукном, стоит посреди стола высокая мутноватая бутылка с прилипшими к стеклу крошками соломы. Спирт. Вот с него мы и начнем. Панченко наливает в граненые стаканы мне и Васину. Мы только двое сидим за столом. Остальные разведчики — кто боком на подоконнике, кто на кровати, кто на полу, поджав под себя ноги, — сочувствуют издали. Их Панченко к столу не пускает: не они вернулись с плацдарма, а мы.

— Ну, за то, чтоб всегда возвращаться.

И мы пьем. Спирт крепкий, до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет. И постепенно становится тепло.

У стола хозяйничает Панченко. Кухонным ножом режет хлеб. На этот раз не кукурузный, не ячменный — высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой. Потом появляется из печи горячая баранина и коричневая от подливки картошка. Все почти такое же, как, бывало, готовил Парцвания, только перцу не хватает. Эх, Парцвания, Парцвания... Мы наливаем по второй.

Хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой. Об этом не думаешь там. Это здесь со всей силой чувствуешь. Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. И уезжать надолго не приходилось. Первый раз я уезжал из дому в пионерский лагерь, второй раз — уже на фронт. Но и те, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывали того, что испытываем мы сейчас. Они возвращались соскучившимися, мы возвращаемся живыми...

Сидя на подоконниках, спинами подпирая стены, разведчики следят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. А в углу стоит широкая деревянная кровать с деревянными шарами. Белая наволочка, набитая сеном, белая простыня. В ногах поперек положена шинель. Конечно, это Панченко все приготовил, угрюмый мой ординарец. Он на год моложе меня. У него маленькие, вечно озабоченные глаза и крупный нос. «Нос у меня от деда», — говорит он. Брови тоже от деда. Он единственный в батарее кубанский казак откуда-то из Усть-Лабинской. Я смотрю на его озабоченную, угрюмую, милую морду, и в душе у меня к нему нежность. Но ему об этом знать не положено.

Многого не понимали до войны люди. Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? За всю войну только в госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. Так бывало в детстве: стоит тяжело заболеть, и тебе готовят самое лучшее, самое вкусное, а ты не можешь есть. И, выздоровев, всегда жалеешь об этом.

— Ну, по последней!

Потом я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельем, и проваливаюсь, как в пух. Такую широкую, семейную деревянную кровать невозможно ни вынести через дверь, ни внести. Ее, наверное, вносят один раз, до того как построен дом. Ставят, а потом уже воздвигают саманные стены. Я сплю на ней один. Но отчего-то никак не могу заснуть. Жарко мне или не хватает чего-то? Я ворочаюсь, натягиваю на ухо шинель, с закрытыми глазами считаю до ста. И едва задремываю, как, вздрогнув, просыпаюсь опять. Я просыпаюсь от тишины. Даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов, привык, чтоб кто-то в тесноте дышал мне в затылок, и сейчас на широкой кровати, на чистых простынях не могу заснуть. И мысли лезут в голову о ребятах, оставшихся на плацдарме. Зажмурюсь, и опять все это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, дорога в лесу до последнего кустика, и черные высоты, занятые немцами, при свете плывущей над ними ракеты... Нет, кажется, не усну. Я надеваю сапоги, накидываю на голые плечи шинель и осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу во двор. Весь он, покатый к Днестру, освещен, как днем, стена дома ярко-белая, а в чугунке, подставленном под водосточную трубу, — тень по краю черным полумесяцем и блестит вода. И воздух свежий после дождя, пьяный. И тихо. Как тихо! Словно и нет войны на земле.

Я сижу на камне, запахнув колени шинелью. Кто-то дышит рядом. Лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах, косится настоженно.

— Давай подружимся, пес!

Он тихонько рычит в ответ, и черная губа приподнимается над синеватыми клыками. Потом подползает все же, мокрый нос тычется мне в колено. Я запускаю пальцы в его теплую шерсть.

Впереди нас оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Свет ее, как два бельма, отражается в глазах собаки. И что-то такое древнее, бесконечное в этом, что было до нас и после нас будет.

В школе за один урок мы успевали пройти нескольких фараонов. Сорок пять минут урока были длиннее двух веков. Персия, Александр Македонский, Писистрат, законы Ликурга, Рим, Пунические войны, что-то сказал Гасдрубал, столетние войны... Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой и вот теперь только идет своим нормальным ходом. Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцати-пятнадцати лет. Как это много, если помнишь каждый прожитый день, если трудно высидеть за партой сорок пять минут урока, если давно мечтаешь стать взрослым, а время тянется так медленно!.. Я уже воюю третий год. Неужели и прежде годы были такие длинные?

Луна опустилась за трубу, только краешек ее светится над крышей. Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженощный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно.

Прозябнув, я встаю с камня, и вместе со мной до половины высовывается из-за крыши луна. В доме, в тепле, я укрываюсь с головой и, подрожав под шинелью, засыпаю.

#### Глава 4

Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме. И первое чувство — никуда мне не нужно спешить, ни о чем не надо думать. Хорошо! Где-то война, а я словно в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. Да, я — комбат! Ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба, при множестве свечей торжественно объявил мне об этом. И вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве: не взводный, а командир батареи. Окно завешено суконным одеялом, в доме прохладно, сумеречно, от побрызганного пола пахнет сырой глиной, мух ординарец выгнал, чтоб не будили; только одна жужжит где-то под потолком. Я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям. Странно, их почти нет. Наверное, потому, что я просто еще не знаю, как должен чувствовать себя командир батареи.

Я откидываю ногами шинель, потягиваюсь на сене — простыня уже сбилась, — зеваю до слез. Отдаленно бухает за Днестром орудие. По звуку — немецкое, ста пяти. Босиком иду к столу по глиняному полу, наливаю из кринки молоко — оно даже желтое, такое жирное, — пью с пшеничным хлебом. Все же хорошо быть комбатом. Был бы я сейчас взводным, нужно было бы бежать, докладывать, а теперь можно не спешить. Хоть маленький, а хозяин. Одно неприятно: предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком. Кондратюк старше меня и годами и по службе. Он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор лейтенант. Он по-крестьянски кряжистый, ноги кривоногие, толстые, сапоги носит сорок пятый размер. Широко не столько в плечах, как в бедрах и в талии, и очень силен. Ему уже двадцать пять лет, но, глядя на него, ясно представляешь, каким он был в детстве, парнишкой еще. Есть люди, которых просто невозможно представить детьми. Словно они такими прямо и родились на свет: значительными, солидными, лысеющими, с установившимися манерами и походкой. Словно они никогда не пачкали пеленок, никогда их не звали Петечка, Вовочка, а

уже в детстве величали Петром Георгиевичем, Владимиром Авксентьевичем... Кондратюка же видишь. Был он, наверное, сопливый, уши оттопыренные (они оттопырены и сейчас, и говорит он почему-то не «ушами», а «ушинами»: «Своими ушами слышал...»), передний зуб сколот косо, волосы на лбу торчат вверх, словно их так корова языком лизнула. Вот уж действительно, у кого чего нет, тому именно этого хочется. Носить бы Кондратюку волосы назад, раз они сами туда указывают, так нет, старательно зачесывает их костяной расческой набок, а уже через минуту на затылке и на лбу они у него торчат.

Я даже не понимаю толком, почему к нему никто не относится всерьез. Он самый старый в полку (да что в полку — во всей армии) командир взвода. Всю войну командует взводом. За этот срок на фронте взводного либо успеваешь убить, либо он становится генералом. Ну, старшим лейтенантом, на худой конец. Кондратюк все в тех же чинах.

Его прислали к нам в сорок первом году, когда мы стояли еще на формировке. А он уже прибыл с фронта из разбитого, попавшего в окружение пушечного полка большой мощности. И все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте. О бомбежках, о немецких танках с крестами, об автоматчиках, лезущих сквозь огонь, о том, как «мессершмитты» на дорогах гоняются за каждым человеком. За ним тоже гонялся вот так «мессершмитт». Кондратюк в кювет — «мессершмитт» кружит над кюветом. Кондратюк в рожь — и «мессершмитт» в рожь, поливает из пулемета. «Кубики увидел у меня на петлицах и не дает житья. Что так, что так — конец приходит. Тогда я тоже разозлился, выхватываю наган и с третьего патрона снял его».

И вместе с этим несчастным «мессершмиттом», сбитым с третьего патрона, рухнул и вдребезги разбился весь авторитет Кондратюка. Сколько раз уже собирались назначить его командиром батареи, но в последний момент опять передумывали.

И вот теперь тоже назначили не его, а меня, и мне предстоит разговаривать с ним и с этого первого разговора твердо расставить все по местам.

А в общем, что это я с утра буду портить себе настроение? Успею еще вызвать и поговорить: война не сегодня кончается. Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие за Днестром. Ложусь на кровать и, лежа на спине, курю и прислушиваюсь. Не к орудийной надоевшей стрельбе, а к непривычным мирным звукам деревенского утра. Где-то с хрипотцой прокричал петух. Жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть. На Украине у одной хозяйки видел я петуха, который пережил немцев. Утром взлетал на плетень, бил себя в грудь крыльями, но — молча. И сейчас же опростетью кидался под сарай. Сколько раз немцы лазали туда за ним, но так и не нашли. Только начихаются от пыли и лезут обратно, все извалявшись. И до того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать, что немцы ушли, а он и после них не подает голоса. Старуха не нахвалится: «Такий разумный, такой разумный, ну як людына». Словом, всем хорош петух, только кур не топчет. И куры отчего-то к нему не идут. И старуха, хваля и вздыхая, бесславно прирезала его на лапшу.

Этот, по всему видно, решил лучше жизни лишиться, чем бросить кукарекать. И кукарекай себе на здоровье!

С улицы несется веселый утренний звон молотка по железу. Даже здесь, в сумеречной комнате, чувствуется, что за окном яркое после дождя утро. Когда ветром отдувает одеяло, плоский солнечный луч, пронзив сумрак, упирается в печь, и побелка вспыхивает. Табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна.

Из-за дома слышны голоса разведчиков, смех. Смех почему-то женский. Странно. На двадцать пять километров от Днестра нет мирных жителей. Откуда женский смех? Я еще некоторое время курю лежа, но



мне это уже не доставляет удовольствия. Потом вовсе становится скучно валяться здесь одному. Одеваюсь, натягиваю гимнастерку, развешенную на спинке кровати. Она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом: Панченко старался спозаранку. И стоячий воротник тоже влажный и тесен, когда я застегиваю пуговицы.

В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери. Глиняный пол, деревянный порог и вся дверь в солнечных полосах. Я распахиваю ее и зажмуриваюсь: после сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленая листва деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит. На непросохшем песке еще не затоптанные следы крупных капель.

Издали еще вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут весь взвод собрался! Одна из девчат — полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко: при ее достоинствах и этого достаточно. А тот, ерзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки — синий берет со звездочкой. Я почему-то сначала подожму не к ним, а к Васину. Босиком, в летних галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке — тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара, — он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоит несколько жестяных кружек: совсем маленькая, больше, больше... Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках.

— А эта зачем?

Васин подымает от работы счастливое, все как в росе, лицо.

— Норма. Сто грамм. Чтоб старшина не обмерил. — И смеется. — Был обрезок, я и сделал. Чего жести пропадать зря?

Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно: и дно и внутри. В душе я завидую развязности Саенко. И девчатам, наверное, с ним легко.

— Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь? — громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом.

Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться: я краснею. Причем всякий раз невпопад и даже, бывает, неожиданно для самого себя. Краснею так мучительно, что вокруг всем делается неловко. И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть. И сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь, строго осматриваю ее, словно принимаю у Васина работу. Глупо, ну глупо же! Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня.

— О-о, начальство строгое!

Только б не покраснеть. Кажется, один Панченко одобряет мой строгий вид: он вообще ревниво печется о моем авторитете. Я становлюсь еще строже.

Выручил меня связной командира дивизиона Верещака. В пилотке поперек головы, с карабином, Верещака козыряет, запыхавшись.

— Товарищ лейтенант, вас той... командир дивизиона звать!

Глаза, как всегда, обалделые.

— Пилотку поправьте!

Верещака хватается за нее обеими руками. Из-за отворота падает на землю окурок. Верещака подхватывает его, прячет обратно.

Начальственно строгий, как журавль, я иду за связным в штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки:

— Слишком серьезные... Девушками не интересуются.

А я ненавижу себя в этот момент. И настроение у меня окончательно испорчено.

Зато у Яценко настроение хорошее. Это видно сразу. В новом жарком кителе из английского сукна, в широченных галифе с напуском на колени и кантами, в сверкающих сапогах, в фуражке со сверкающим козырьком, он победителем стоит посреди штаба, под низким побеленным потолком хаты, слушает писаря. Тот, не подмигивая, политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах, рассказывает, по каким соображениям костюм Яценко был сшит раньше, чем командиру первого дивизиона. Тут, оказывается, тоже своя субординация.

С недавних пор завелись в полку два портных, и зеленоватые, мягкого сукна английские шинели стали срочно перешиваться на офицерские кителя и брюки. Вначале были сшиты костюмы командованию полка, теперь дошла очередь до командиров дивизионов. Причем шили не по какому-либо порядку, а в виде поощрения, так что тот, кто обмундировался первым, мог считать себя в некотором роде награжденным. И писарь вел свой рассказ таким образом, что многое в нем щекотало Яценкино самолюбие.

— Видал химика? — Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать. Это тоже поощрение своего рода. Для меня — в том, что меня приглашают послушать. Был бы я сейчас командиром взвода, Яценко не пригласил бы: с командирами взводов он строг! А теперь сразу видно, что меня приблизили на определенную дистанцию. Для писаря поощрение — в словечке «химик». Так Яценко называет людей ловких, оборотистых и почему-то всегда писарей.

— Химик! — шепотом повторяет Верещака с восторгом рвения, словно хочет запомнить. И хихикает: смешно.

— Никакой химии, товарищ капитан! — честно тарашится писарь: сразу видно — врет!

Яценко доволен. Зачерпнув из котелка полную горсть шелковицы, головой указывает мне на писаря — «Видал чертей? Я их знаю!» — и, как семечки, кидает ягоды в рот с расстояния, быстро прожевывая, причем все мускулы лица сразу приходят в движение. От спелой шелковицы рука его как в чернилах, а сам он в зимнем толстом кителе выглядит нахохлившимся, но доволен, поскольку награжден.

Яценко наконец вытирает руку.

— Отвоевался?

И смотрит на меня с удовольствием, оглядывает с ног до головы. Это, наверное, в самом деле приятно: видеть человека, которого сам ты повысил в должности.

— А ну, покажи ему список награжденных!

Яценко, отойдя к окну, заложил руки за спину, улыбается загадочно. У меня от радостного испуга сжалось сердце. За что? За Запорожье? Но тогда наш полк перекинули в другую армию и говорили, наградные затерялись. А может быть, нашлись? Бывают такие случаи. Или за Ингулец?

Множество честолюбивых надежд проносится в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писаря. Что? «Звездочка»? «Отечественная война»? А может быть, «Знамя»? Под Запорожьем, говорят, к «Красному Знамени» представляли. Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался. И это приятно мне сознавать.

Буквы скачут перед глазами. Орден Красного Знамени — один человек, Красной Звезды — трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия, как черта над обрывом. А дальше — пустота! Как же так? Я шел сюда, ничего не имея, и сейчас

не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминал со стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте, на чистой стороне. Яценко хохочет.

— Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено?

— Трое, товарищ капитан!

— Видишь, трое! — Яценко чистой рукой отбирает у меня список.—

Васин твой?

— Мой.

— «За отвагу». Панченко твой?

— Мой.

— «За отвагу». Парцвания твой?

Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими круглыми черными, будто слезой подернутыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе столько орденами награждено! За табак! За чайный лист! За цитрусовые! Все женщины с орденами. Стыдно на войне быть и без ордена приехать. Скажут, не воевал». На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметней, чем орден на летчике.

— Убит Парцвания. А Шумилин награжден? Я что-то не видел его фамилию.

— Шумилин.— Яценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам.— Шумилин... Шумилин...— Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брови сошлись у переносицы.— Это какой же Шумилин?

— Связист. Лет сорок пять, пожилой такой.

— Шумилин...— Палец срывается с бумаги.— Нет, нету. Он что, подвиг какой-нибудь совершил?

— Никакого он такого подвига не совершал.

Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать.

— С сорок первого года воюет человек, какой еще подвиг нужен? За труд — за свеклу, за лен — орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопаткой перекопал? Под бомбами, под снарядами... Ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой — пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме...

Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, и медаль на его груди качается и поблескивает.

— Постой, постой! — останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности.— Да ты что, собственно, меня за Советскую власть агитируешь?

И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии.

— За советскую власть агитируешь,— шепчет Верещака, будто запоминая.— Товарищ капитан если скажут, так уж правда скажут...— И хихикает: смешно.

Яценко веселеет от успеха.

— Что ты меня, говорю, агитируешь за советскую власть,— повторяет он.— Я ей вполне предан.

У писаря и связного — оживление.

— А то,— говорю я, с ненавистью глянув на них,— что я Шумилина четвертый раз представляю, и опять какой-нибудь писарь потерял наградные.

Писарь с медалью обиженно обрывает смех, смотрит на командира дивизиона, как бы ожидая, что тот оградит его от оскорблений.

— Тоже удивил: четыре раза... Вот этого еще из твоего взвода представляли... Музыкант... фамилию забыл. Так что не один Шумилин. Да если б каждый из нас за каждое представление получал по ордену...

Яценко уже хотел расхохотаться, но вдруг нахмурился. Вышло не совсем удачно. Дело в том, что за Барвенково Яценко представляли к ордену Отечественной войны второй степени, как и многих других. Прошло время, полк опять перекинули в другую армию, и все решили, что наградные потерялись: это уже бывало не раз. Тогда Яценко за то же самое представили вторично, но теперь с запросом: к ордену Отечественной войны первой степени, как бы возмещая долгое ожидание. И еще потому, что из трех командиров дивизионов он единственный в ту пору не был награжден. И вдруг приходят сразу оба ордена — и первой и второй степени — одному Яценко. Вот они оба на его груди, ввинченные в сукно, блестят золотыми и серебряными лучами...

Неловко получилось. Собственно, я, когда говорил, никак его не имел в виду. Но с Яценко почему-то всегда неловко выходит.

Дальнейший разговор строго официален. К шестнадцати ноль-ноль построить взвод: будут вручать награды. Заправка, обмундирование, чтоб все, как следует быть! «Слушаюсь! Слушаюсь!» Козыряю: «Разрешите идти?»

На улице уже жарко. В небе, забравшись на недосыгаемую высоту, кружится, и воет, и блестит в лучах солнца крошечный металлический самолет. «Рама». Белые дымки зенитных разрывов, отставая, кучно вспыхивают в небе.

Странно, как многое из того, что не имеет цены там, на плацдарме, здесь становится важным. Мы ни разу не говорили там об орденах, а сейчас не нашел себя в списке и рассердился. Перед кем, правда, неловко, так перед стариком Шумилиным. Он, конечно, ничего не скажет и виду не подаст, но, пожалуй, даже лучше, что меня нет в списке, по крайней мере не так неловко перед ним.

От ближнего дома мне машут и кричат что-то. Это разведчики второй батарее. Я машу им в ответ. Если посмотреть вверх по склону, хутор безлюден. Глянуть вниз, к Днестру, — за каждым домом народ. Лежат, сидят на земле; иные, задрав голову, приставив ладонь козырьком, наблюдают за стрельбой зенитчиков, иные без рубашек жарят спины на солнце: летом даже на фронте хорошо. В воздухе лень, зной, высоко над хутором, взбираясь еще выше, гудит самолет.

Меня вдруг словно током кольнуло. Какого это музыканта из моего взвода представляли к награде? Музыкант у меня один: Козинцев. Я его не представлял. Комбат? Комбат в госпитале, его не спросишь. Яценко? Первое желание — идти обратно к командиру дивизиона. Нет, не пойду. И так поговорили достаточно. Дело ведь не в медали, дело в справедливости.

Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу: Козинцев. Он — рядовой, я — офицер, я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его. Он двадцать первого года рождения, на два года старше меня. И когда началась война, и когда немцы подошли к Днепропетровску, он был призывного возраста, но почему-то не в армии, и как-то так получилось, что остался в Днепропетровске. Говорит, уже нельзя было выехать. Не знаю, может быть. До войны он играл в оркестре на валторне. Он это произносит так: «на валторне» — и головой и рукой делает красивый жест. При немцах он тоже играл в оркестре. Мы воевали, а он играл на валторне. Говорит, было очень тяжело. Тем не менее женился при немцах и даже двоих детей народил. И освободили мы его не в Днепропетровске, а в Одессе — вон уже где!

В полку прослышали, что он может играть на трубе, и два раза пытались его забрать. Я не отдал. Козинцев знает об этом и тоже ненавидит меня. Если меня ранит или убьет, очень скоро — я уверен в этом — он окажется в оркестре дивизии, а то и армии.

Я ненавижу его не столько за то, что он был у немцев и даже детей там народил — черт с ним в конце концов! — но он из той породы людей,

за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие. И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие, и он даже уверен в этом своем праве. Потому что он играет на валторне.

Когда я возвращаюсь, Васин все еще звенит молотком по ломику, только рядом с кружками уже сверкает на солнце новый жестяной котелок. Шея, грудь Васина блестят от пота, на носу вздрагивает при каждом ударе мутная капля. Но утереть некогда, счастлив. И, глядя сверху на его белые, осыпанные веснушками плечи, глядя, как он увлеченно работает, я вдруг решаю, что больше не возьму его на плацдарм. Не возьму, пока будет такая возможность.

— А ну, бросай эту ерунду. Старшину зови ко мне. Быстро!

Я вдруг замечаю Козинцева. Вышел из-за дома, ждет. Уже прослышал что-то. Он в немецких сапогах с короткими широкими голенищами на худых ногах, плечи покатые, руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, на длинной шее с кадыком узкая голова, вдавленные виски, плоские волосы. Совсем иначе он выглядел бы в вечернем костюме с подложенными широкими плечами, брюки скрывали бы худобу ног. Но здесь, на фронте, каждый выглядит так, каков он есть в действительности. И я с удовольствием говорю ему:

— На плацдарм со мной пойдете вы. Связистом.

— Я, товарищ лейтенант, радист.

Что-что, а права свои он знает хорошо. Он радист. Рация сейчас в ремонте. Следовательно, пусть пока воюют другие.

— А вот вы с ихнее повоюйте, тогда будете рассуждать, кто вы: радист или связист. Вы тем будете, кем я вас сделаю. Ясно?

Молчит. Глаз не опускает. Они у него выпуклые, блестящие.

— Ясно...

Старшина батареи, старый, хитрый, мудрый, прижимистый Остапенко, от которого почему-то всегда пахнет конским потом, хотя орудия наши на механической тяге, подходит ко мне с опаской. Он пережил уже пятерых комбатов, знает, что на все его возражения у комбатов существует одно: «Чтоб было!», и боится нововведений, от которых обычно страдает имущество батареи. Я приказываю ему построить взвод к шестнадцати ноль-ноль, лично проверить обмундирование, оружие.

— То так... Так... Слушаюсь, товарищ лейтенант,— бормочет он, довольный пока что.

— Товарищ комбат!— кричат мне из соседнего дома, едва видного за абрикосовыми деревьями. Голос младшего лейтенанта с родинкой.— Идите к нам вареники делать с шелковицей.

И машет мне из окна.

— Вот сахару отпустите на вареники.

— Сахару? — пугается Остапенко. Но не возражает. Комбату возражать нельзя, он старшина дисциплинированный.

Кто-то уже принес новость из штаба, и взвод приходит в движение. Васин срочно вырезает из жести недостающие звездочки для пилотов, артиллерийские эмблемы на погоны. Их тут же пришивают нитками. Срочно чистят сапоги, разбирают и смазывают оружие.

Я иду в соседний дом, едва видный за абрикосовыми деревьями.

## Глава 5

Младшего лейтенанта с родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашева. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа, она, правда, из Таганрога, но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они с сестрой — двойняшки, Рита и Люся, совершенно похожи друг на друга, и только по родинке ее отличали от Люси.

Мне почему-то страшно нравится, что она «двойняшка» и что с родинкой. У меня никогда не было среди знакомых двойняшек. И я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают.

— А у Люси тоже такой завиток на лбу?

Рукой в муке, тыльной стороной, Рита откидывает волосы со лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нет, Люся талантлива. Этой весной, когда шли бои под Никоподем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила.

— Помните, какая под Никоподем была грязь?

Я смотрю сбоку на ее руки, месящие тесто на вареники, на ее коротко остриженную темноволосую голову, покрасневшие щеки, оживленно блестящие глаза. Рита Тамашева.

Я не помню, какая под Никоподем была грязь: в то время я лежал в госпитале. Меня под Запорожьем ранило. Но к нам привозили раненых из-под Никополя, они рассказывали про эту грязь.

— Жуткая грязь,— говорит она весело.— Танки, и то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов: и снаряды, и продовольствие, и патроны. И Люсино это письмо тоже сбросили с самолета. Меня как раз ранило, я лежала на плащ-палатке и ревела, как дура. Потому что уже несколько дней все на мне было мокрое, а тут еще холод, и я крови много потеряла. И вот тогда, чтобы развеселить, мне принесли Люсино письмо. Оно тоже было мокрое, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное. Потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно.

Как странно, она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я. Эвакогоспиталь 1688. Полевая почта 24332.

— Помните, там был хирург — грузин с усиками? Большой такой, черный, руки волосатые, огромные. Такие руки, что сразу веришь.

Конечно, помнит! Три операции он ей делал. Мы переходим с Ритой на ты.

— Так это ты только сейчас едешь из госпиталя?

— Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась.

— А я в марте выписался.

Надо же: целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал. Наверное, потому, что она была лежачая больная.

Рита подсучивает мне рукава гимнастерки — «Ты же весь в муке вымазался!» — подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговицам моей гимнастерки на груди. Я стою, подняв руки в муке, словно в плен сдаюсь, задерживаю дыхание. Завиток у нее тоже в муке. На затылке у нее короткие волосы.

— А Люся вареники не умеет делать,— говорю я уверенно.

Рита смеется.

— Глупый! Люся же талантлива!

Удивительно неприятное лисье имя: Люся.

Я знал одну Люсю. С длинным носом, малокровная и рассуждала о живописи. Спорит, вся красными пятнами покроеется, а мать говорит грустно, так, чтоб она не слышала: «Вы уж, пожалуйте, не возражайте ей, не спорьте: у нее после кровь носом идет».

— Люся с самого рождения талантлива?

Рита смеется.

— И у нее, конечно, здоровье слабое? И в детстве у нее был плохой аппетит?

— Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее, что она тебе не нравится?

— Почему... Наоборот, мне это все нравится.

Я сам толком не знаю, отчего злюсь сейчас на эту Люсю.

— Тебя в детстве звали «девочка-с-изюминкой»?

— Нет.

— Понятно. А я бы звал. У тебя родинка похожа на изюминку.

У Риты слезы на глазах: от смеха и от дыма. Уже не видно потолка, дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. И оттого, что мы вместе пригибаем головы, оттого, что руки наши месят одно тесто, чувство близости возникает между нами. И отчего-то делается страшно немного.

— Вы топите, в конце концов, или не топите?

Саенко и его дама сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, поочередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Они взялись вместе растапливать печь — имеется в виду в дальнейшем варить в ней вареники — и вот уже добрых полчаса сидят перед нею на корточках и дуют, и хохочут, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников.

— Мы ее топим, а она не топится. — Блондинка кокетливо улыбается мне.

— Да вы ж трубу не открыли! Вон дым течет изо всех щелей!

— Мы открыли. Ее только завалило, кажется.

— Так что вы дуете?

Смотрят друг на друга. Смеются. У Саенко, освещенные пламенем из печи, блестят толстые губы.

Дым уже спустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает в сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстия в крыше и в стене. Вчера в эту хату попал немецкий стопятимиллиметровый снаряд из-за Днестра, пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался и теперь валяется посреди дворика, длинный, новый, величиной с молочного поросенка. Если посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду, и сквозь солому тоже.

— Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому, — говорит Рита.

— Второй раз не попадет, — заверяет Саенко. — На то и существует закон рассеивания снарядов.

— Где это такой закон существует? — интересуюсь я.

Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прямо-таки наповал убивает девочек своей ученостью.

— В артиллерии существует... И вообще в природе... Разве вы не знаете? — Он усиленно подмигивает мне.

— Все же в артиллерии или в природе?

— В артиллерии...

— Так... Ну, раз ты такой грамотный, бери кастрюлю — и вдвоем идите за шелковицей.

— У нас шелковицы достаточно. — Глаза Риты смотрят на меня насмешливо и твердо.

— Нет, у нас недостаточно шелковицы, — говорю я еще тверже.

Саенко хватает ведро и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только они уходят, за окном при ярком солнце обрушивается белый ливень с градом. И как только они уходят, становится вдруг не о чем говорить и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам. Белые горошины его отскакивают от железного подоконника, брызги летят на руки нам. Я чувствую себя скованным, опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту.

— Теперь они на час пропадут, — говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, как бы даже с намеком, но голос у меня ненатуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной.

На плацдарме начинается сильный обстрел, даже здесь дрожат остатки стекол. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку: «Стопятидесятипяти... Стопяти...» Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем.

— Печь, кажется, совсем погасла,— говорит Рита.

Это звучит, как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она идет к печи. Я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточки. Я тоже сажусь на корточки. Рита дует в печь. И я дую в печь. Пламя освещает наши лица. Наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное, круглое колено, обтянутое чулком. Дрова трещат и стреляют искрами, печь разгорается, лицам становится жарко, и я чувствую, как смелость прибывает во мне. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь, пушок на ее порозовевшей щеке и губы, освещенные пламенем. И я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы поднимаемся одновременно. Она, кажется, рассерженная, я — испугавшийся собственной смелости.

— Физкульт-привет! — говорит Рита насмешливо. — Предупреждаю — аплодисменты будут по щекам.

Я готов пострадать. Я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее рукой за плечи, я ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колет мне щеку, Ритин торчком поднявшийся погон упирается мне в ухо. И тут оба мы слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается. Снаряд уже воеет над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя от окна.

Трах!

Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки блестят у Риты в волосах. «Постой», — говорю я и осторожно выбираю их пальцами. В доме пахнет разорвавшимся снарядом.

— В саду разорвался,— говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову.

Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, грудь гимнастерки, лицо — все в жидкой глине, словно он плашмя полз.

— Мусю убило! Идите скорей!..

Мы выбегаем за ним в сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, припадает ухом, поворачивает ее на спину, и тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови.

— Я на дереве был,— словно оправдываясь, говорит Саенко,— она внизу стояла с ведром. Меня оттуда взрывом скинуло. Подымаюсь — она лежит. Подбежал — мертвая!

Он вытирает руки о штаны. Рита встает с колен, подходит к нам.

Сейчас, когда она лежит в траве, блондинка не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее в чернильных пятнах осыпавшейся шелковицы. Дождь смывает их. И множество спелой шелковицы, стрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее звали: Муся.

— Вообще ее звали Паша,— говорит Рита.— Она только почему-то стеснялась и, когда знакоилась, говорила, что ее зовут Муся.

И вспомнила грустно:

— Это она придумала делать вареники. Она любила сладкое.

На плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитный грохот. Наша артиллерия бьет уже с этой стороны, а из-за



Днестра временами доносятся пулеметные очереди. И вдруг предчувствие какой-то беды охватывает меня.

Рита говорит что-то о том, что надо бы накрыть Пашу плащ-палаткой от дождя, но я уже не слушаю ее.

— Козинцева ко мне! — кричу я Саенко и бегу в дом за автоматом.

Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами. Этого всегда чувствует, что мне надо. Я еще иной раз подумать не успел, а он уже знает.

— Товарищ лейтенант, вас комдив требует!

И, оглянувшись, не слышат ли нас, говорит тихо:

— Слух прошел, немец наступает...

Яценко встречается мне на полдороге.

— Связи с твоими нет! Что они, спят, сволочи? Кондратюка гони на плацдарм!

— Кондратюк там ничего не знает. Я сам.

— Сам? Давай сам. Быстро! И связь, связь! Стрельбу ведем в белый свет, никто не корректирует.

Каждое слово он отрубает взмахами кулака. На кулаке даже косточки побелели, так сжат.

Подбегает Козинцев, сопровождаемый Панченко. Мы вместе бежим с ним к переправе. Я вдруг замечаю, что Панченко не отстает от нас.

— А ты куда?

Молчит.

— Назад, сейчас же!

Он остается под дождем, мрачный, обиженный, недовольный, и даже издали я вижу, как он все не уходит.

У тех, кто попадает на навстречу нам, лица тревожные, в глазах один и тот же вопрос: «Что там?» А там все сильнее обстрел и нет связи.

На перекрестке двух улиц застряла в грязи повозка. Повозочный яростно хлещет лошадь по морде. Просвистел снаряд. Повозочный срывает с себя карабин, бьет лошадь прикладом в пах. Я сворачиваю к нему. Но тут за домами с грохотом взлетает дым разрыва, лошадь, обезумев, рванулась, вырвала повозку из грязи и мчится по улице, вся лоснящаяся от дождя, вырвала вожжи. Повозочный с криком бежит за ней.

На переправе пехота уже в боевой готовности. Стоят в траншеях молчаливые, вглядываются в тот берег, пулеметы наведены на реку. Какой-то артиллерист в плащ-палатке, в капюшоне под дождем кричит команды в телефонную трубку. Мы сбгаем к лодке. Веревка, которой она привязана к колу, намочена и не отвязывается.

— А ну, помоги!

Вдвоем, натужась, мы вырываем кол из песка, вместе с веревкой кидаем в лодку, спихиваем ее с берега и, когда лодка уже качается на воде, прыгаем в нее через борта, разбираем весла.

Тот берег закрыт от нас дождем. И этот берег постепенно отступает, мутнеет, скрывается из глаз. Мы уже мокры насквозь, и в сапогах у меня хлопает, и скамейка подо мной мокрая. Передо мной узкий затылок Козинцева, шея с ложбиной и прилипшими к ней мокрыми косицами волос, по которым вода бежит за воротник. Напряженная сутулая спина его с немецким автоматом, косо висящим на ней, то отклоняется, то валится на меня.

Почему нет связи? Все явственней слышны пулеметные очереди, перебивающие друг друга: наши и немецкие. Артиллерийский гром грохочет за стеной дождя. И оттого, что предчувствие беды не оставляет меня, мне кажется, что мы плывем медленно, и мне противен сейчас и узкий затылок Козинцева, и суетливые движения его слабых, разболтанных в кистях рук, в которых весла то и дело вырываются из воды.

Наконец тот берег становится различим за моим плечом: обрыв и темный лес над обрывом. Он все ясней выступает из дождя навстречу нам.

Лодка ударяется в песок, мокрые, выскакиваем на берег. Козинцев, поскользнувшись, падает в воду.

Я уже сижу под обрывом с автоматом на коленях, жадно сосу намокшую сигарету, когда, хромая, подходит Козинцев. Вода потоками течет с него.

— Нога подвернулась,— говорит он бледный, задыхаясь. Он садится рядом со мной на песок, через мокрую кожу сапога ощупывает пальцами шиколотку.

По лицу у меня течет вода. Я вытираю ее ладонью. Сигарета жжет мне губы. На Козинцева не смотрю. Это случается на плацдарме: пока был на той стороне, ничего не болело, попал на плацдарм — нога начала подворачиваться.

От грохота и сотрясения берег над нами дрожит и осыпается, обнажая сухой песок, серые корни деревьев. У самой воды лежит оскаленная убитая лошадь. Дождь моет ее лоснящийся бок, волна полощет гриву. Рядом свежая воронка, залитая водой, какое-то окровавленное тряпье, обрывок бинта, из которого дождь уже вымыл кровь. Держась за шиколотку, Козинцев глазами навывкате косится на этот бинт на песке, мокрое лицо его уже не бледное, а серое.

— Пошли!

Я бросаю окурок в воронку. Мгновенно два пескаря всплывают к нему. На фронте всегда рядом смерть и жизнь. Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека — это его окровавленное тряпье полощет дождь,— и в той же самой смертной воронке, занесенные сюда волной, уже живут два пескаря. И тут же я зажмуриваюсь, сжавшись. Грохот. Дым. С обрыва нас обдает грязью. Мина!

— Пошли! — уже ору я, потому что мне трудно сейчас оторвать себя от земли.

С автоматами за спинами мы карабкаемся по осыпающемуся обрыву, хватаем руками мокрые, скользкие от глины корни деревьев, лезем по ним, как обезьяны. Вылезли. Бежим. Падаем: разрыв позади! Козинцев все сильней хромает, но не решается отставать. Кажется, он и правда подвернул ногу. Вбегаем в лес. И тут встречаем первого раненого. В мокрой, натянутой на уши пилотке, он под локоть несет впереди себя забинтованную руку. На минуту отпустив ее, безнадежно машет здоровой рукой.

— Ханá! Прет всей силой... Закурить нет ли?

Я охоту достаю ему сигарету, потому что вдруг чувствую нерешительность. И даже помогаю ему закурить, заслонив огонь от дождя. Где-то я уже встречал этого пехотинца, лицо его знакомо мне.

— наших там не видел? Артиллеристы... НП с краю кукурузы...

— Накрыло! — кричит он, как глухой.— Куда там!.. Тяжелыми бьет!.. Как даст, как даст, аж земля сдвигается. И автоматчики... Из огня лезут!..

Я сразу отчетливей слышу стрельбу по лесу и близкие крики. С треском разрывается в вершинах снаряд, мы только успеваем присесть.

— Вон он, вон что делает,— заторопившись, бормочет пехотинец.— Лодки на берегу есть, не видал?

И тут я замечаю затравленные глаза Козинцева, о котором я забыл в этот момент. Они только что не кричат. В них мои мысли. То, что я самому себе не скажу, он сейчас скажет вслух: «Зачем мы идем туда, когда все отходят? Там никого уже нет!» И вовсе тайное: «Здесь мы одни, ничем не связаны, никого нет над нами. А оттуда уже не уйти нам. И лодок не будет...» И во мне остро вспыхивает ненависть к нему за эти мысли.

— За мной! — яростно кричу я и бегу вперед с автоматом в руке.

Стрельба все ближе, чаще разрывы по лесу. И сильно пахнет дымом. Один раз, перепрыгивая через поваленное дерево, я упал. Встаю, задыхаясь. Автомат, колени, руки в жидкой грязи. Козинцев сидит на земле, держит ногу в руках.

— Не могу идти, товарищ лейтенант. Ногу вывихнул. Я не обманываю. Честное слово!

Губы у него дрожат, капли дождя на лице, как слезы.

— За мной!

Еще несколько раненых попало нам. Каждый говорит свое. Рослый пехотинец с закушенными от боли белыми губами — осколок попал ему в пах — тычет в сторону винтовкой, опираясь на товарища.

— С фланга обходит, сволочь! Минометами глушит — головы не подынешь.

Голос звенящий, надорванный. Товарищ отводит глаза. Этот ранен легко, пристроился провожать, боится, как бы не вернули.

Я уже не бегу, а иду, потому что Козинцев все время отстает. Я тоже выбился из сил в облепленных грязью сапогах, сердце колотится так, что отдаёт в висках.

Внезапно кончается дождь. Сразу светлеет. Стрельба начинает стихать. Нестерпимо яркое солнце открылось в небе. Лучи его дымным веером валяются сквозь вершины. В лесу — пар.

На черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый, веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется. Другой, пустой, рукав висит, в расстегнутом вороте видны бинты, и под гимнастеркой обозначается рука, согнутая в локте. Единственный из всех раненых он говорит беззаботно:

— А ни черта там никто никого не обходит. Ну дождь же. Мы разведку пустили. Немец разведку пустил. Чья-то разведка на мины напоролась. А может, их вовсе градом на проволоке повзрывало. Тут он с перепугу стрельбу открыл, тут мы напугались. Я сам шестнадцать мин пошвырял, а где разорвались — ни одну за дождем не видел.

Белые ровные зубы его блестят весело, глаза блестят. И все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым. Разве можно в бою верить раненым? Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки и когда потом меня везли в медсанбат, я был совершенно уверен, что наступление наше провалилось. И в медсанбате (а там лежали исключительно раненные во время этой контратаки) все говорили, что Запорожье нам теперь не взять — будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили: мы же оттуда, мы лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И, оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи, значит они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа — ему кажется, фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит. А я чего верил?

Жарко. Я расстегнул гимнастерку на потной груди. Наверное, и ребята живы. «Накрыло!» Он, этот солдат, контуженный был, оттого и кричал, как глухой. Я его про наш НП спросил, а он про себя говорил, про снаряд, которым его контузило.

Мы доходим до опушки леса. И вдруг я слышу голоса своих разведчиков, а потом и вижу их. Вон они сидят под деревом и спорят, а за деревьями мокрый луг блестит против солнца, как сквозь дым.

— Синюков! — обрадовавшись, кричу я. — Коханюк!

И бегу к ним.

— Живы?

Они, словно испугавшись, вскакивают, стоят передо мной, потупясь.

— А Генералов где?

Молчат. Ни тот, ни другой не поднимают глаз. Я оглядываюсь и теперь только замечаю Генералова. На мокрой траве, метрах в двадцати пяти отсюда, он лежит навзничь. Гимнастерка на впалом животе задралась,

лицо с открытыми глазами выполоскано дождем до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода.

Дождь хлестал в него уже лежащего, и теперь от обмундирования Генералова подымается пар.

— Почему вы здесь? — спрашиваю я тихо. В первый момент я как-то даже не обратил внимания, что они не на НП, а в лесу, метрах в шестистах позади него: рад был, что живы.— Почему вы не на НП? Связи почему нет?

— Связь есть,— говорит Синюков.

— Почему не отвечали?

Молчат. Мнутя. Коханюк совершенно растерян.

— Садитесь!

Садимся на траву, и постепенно картина проясняется. У меня не зря было плохое предчувствие, не зря мне казалось, что должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП. Начался дождь, начался этот суматошный обстрел в дожде, в плохой видимости. Потом у них перебило связь. Потом откуда-то прополз слухок: «Немцы наступают»... И они побежали. Я знаю, как это бывает, как вдруг возникает страх, что все отойдут и ты останешься один. А тут еще не видно никого, и только сплошной губительный огонь.

Может быть, вовсе и не в предчувствии дело; когда на плацдарме смеяют, больше всего хочется скорей уйти отсюда, пока ничего не случилось, пока тебя не задержали в последний момент. Мне в тот раз очень не понравилось настроение, с которым оставался Генералов, и надо было что-то сделать. Но мне хотелось скорей уйти. А когда начался обстрел, вот это чувство и гнало меня сюда, и заставляло торопиться, и мне казалось, что без меня там случится беда.

— Как его убило?

— Свои,— говорит Синюков мрачно.— Вон оттуда стреляли.

И он указывает на поле.

Оказывается, им кричали. Синюков слышал. И Генералов слышал, конечно. Но не остановился.

— Все бежали,— подавленно оправдывался Коханюк. Он и сейчас не понимает, как же это так получилось: все бежали, и все на месте, только они трое здесь. Но ведь и я, когда встретил в лесу первого раненого и он сказал: «Прет всей силой!..», я услышал крики и близкую стрельбу по лесу и тоже на минуту поверил, что все отходят. Коханюк не врет. В тот момент он был уверен, он своими глазами видел, что все отходят. Когда смерть рядом, когда разрывы подгоняют, и не то увидишь. Но вот за это на фронте расстреливают на месте. Потому что не останови одного, и паника перекинется на всех. Это точно так же, как взорвется один снаряд, и от детонации взрываются другие. Тут тоже что-то взрывается в мозгу, и люди видят то, чего нет. И бегут с потемненным сознанием. А после ничего не могут понять.

Между стволами деревьев в небе стоит жаркое после дождя дымное солнце. Пар идет от земли, от мокрой, потемневшей коры, от наших гимнастерок. В лесу еще пахнет порохом — ветер с поля согнал сюда дым разрывов, но сладкий запах разогретой лесной малины пересиливает его. И все после дождя яркое, молодое, свежее. Слепящий солнечный свет ломится меж стволов, и пронизанные им листья деревьев неподвижно лежат в воздухе. А от ветки к ветке протянулась на солнце хрустальная паутинка; капли, сверкая, дрожат на ней.

После дождя и разрушений с особенной силой ко всему вернулась жизнь, и цвета, и запахи. А на сочной молодой траве, еще не помутневшими глазами уставясь на солнце, лежал убитый человек, и на его лице, от которого навсегда отхлынула кровь, сквозь желтизну все сильней проступала синеватая бледность.

Никто никогда не упрекнет меня в его смерти. В каждой батарее, в каждом взводе может оказаться трус. Но Генералов не был трусом, я знаю это.

Нелегко отправлять человека на опасное дело, особенно если сам ты в это время не подвергаешься опасности. Тебе неловко перед ним, и, как бы облегчая его — а на самом деле себя одного только, — ты начинаешь сочувствовать. И этим сочувствием малодушно взваливаешь на него дополнительную тяжесть. Он уже сознает себя несчастным, как бы даже страдающим за кого-то другого. И в трудный момент, помня твое сочувствие, он пожалеет себя. И Генералов пожалел себя.

Я вижу его лицо, когда он, оставаясь на плацдарме, угрюмо выслушивал мои приказания и все повторял, что должны были прислать командира взвода восьмой батареи с запоминающейся фамилией, а вот прислали его, Генералова. Он слишком долго просидел за Днестром, оттуда наблюдал войну, а издали она всегда страшней. И вот позорно погиб.

Сидя на опушке леса под деревом, я вызываю тот берег, докладываю командиру дивизиона обстановку.

— Так какого же черта они молчали до сих пор? — кричит Яценко; оказывается, у него уже несколько раз командир полка запрашивал обстановку, а он ничего не мог доложить. Объясняю: Генералов убит, связь была прервана. Больше не объясняю ничего. Не к чему. У Генералова есть мать. Она растила его без мужа. Мать не виновата ни в чем. Пусть наравне со всеми получит извещение: «Пал смертью храбрых». Когда притупится горе, хоть это будет утешением ей.

— Ну, так ты смотри теперь! — предупреждает Яценко, словно от меня зависит, чтобы обстрел не повторился. И торопится закончить разговор. Он доволен, что я уже здесь, что связь восстановлена и он может наконец доложить обстановку командиру полка. И спешит поэтому.

Пока я говорю по телефону, Синюков под громкие охи Козинцева стаскивает с его ноги сапог, разматывает мокрую портянку. Щиколотка действительно распухла. Козинцев сидит под кустом, упираясь руками в землю. Нога поднята вверх, она выражает укор мне. Синюков без всякой брезгливости держит в своих руках его мокрую ступню с грязными, давно не стриженными ногтями на искривленных пальцах, ощупывает ее с интересом: ему бы санитаром быть. И, не предупредив, вдруг дергает изо всех сил. Задохнувшись от боли, с расширенными зрачками, Козинцев хватается за свою ногу, пытается встать, хватается Синюкова за руки. Но постепенно ужас и боль в его глазах сменяются чем-то другим, робким, похожим на изумление. Он еще не верит, но боли уже нет. Без сил он сидит на земле. Синюков, довольный, сворачивает над ним папироску. Работа сама говорит за него. Кажется, они собрались сидеть тут до вечера. Козинцев на правах пострадавшего греет босую ногу на солнце и все не налюбуется на нее.

— Пошли! — говорю я, чувствуя, что могу сорваться.

Синюков сразу мрачнеет. Гасит папироску.

— Куда же идти, товарищ лейтенант? — басит он угрюмо, глядя под ноги себе и почему-то особенно выделяя «товарищ лейтенант». — Белый день, он сейчас увидит, из минометов начнет швырять.

Тогда Козинцев тоже подает голос:

— У меня вывихнута нога! Я не могу надеть сапог!

В голосе его дрожат слезы: все видели, как он страдает, все видят, какая несправедливость с моей стороны! Я ничего не говорю. Я только смотрю на него, и он надевает сапог. Куханюк взваливает на спину тяжелую катушку. Напрягая шею его становится еще тоньше. Катушку эту должен был нести Козинцев, но Куханюк ничего не говорит. Оглушенный всем случившимся сегодня на его глазах, он вообще ничего не говорит и готов идти, куда будет приказано: хоть назад, хоть вперед.

Мы сначала идем, потом перебегаем, потом бежим, рассыпавшись. Обстрел застигает нас на болоте. Мины с чавканьем рвутся между кочками, обдавая вонючей грязью. Горячие осколки шипят в воде. И каждый раз, падая от мины в воду, я приподнимаюсь на руках после разрыва, смотрю, целы ли Синюков и Коханюк. Гнев мой уже давно остыл, и меня грызет сомнение: может быть, и в самом деле надо было переждать до вечера?

Козинцев не может бежать, и его тащат поочередно под руки. В первой же воронке я приказываю бросить Козинцева:

— Стемнеет — по связи придете!

Последние метров тридцать — пустое, голое, со всех сторон открытое место — проскакиваем пулей по одному: Синюков, я, Коханюк. Бегу, вжав голову в плечи, цепляя ремнем автомата за землю. В кукурузе спрыгиваю в щель на кого-то.

— Поосторожней!

Человек зло ворочается подо мной. Высвободился. Рядом с моим лицом — его лицо. Неприятное лицо, толстые щеки, узкие недобрые глаза, до черноты прокуренные мелкие зубы. На нем немецкая пятнистая куртка — разведчик, конечно.

— Квартирантов тут не требуется!..

Мне, чтоб ответить, надо прежде отдышаться. Сверху свешиваются еще ноги, зад — Коханюк вместе с катушкой плюхается на дно окопа. Становится тесно. Сдавленный нами разведчик в углу мокрыми бинтами завязывает руку. Пуля прошла ему по пальцам. Один оторвала совсем, другой висит на коже и на мясе, еще два задеты только.

— Ты бы прежде, парень, спросил, в чьем окопе сидишь. Кто его рыл ночью? — говорит Синюков. Стоя на коленях, он откапывает засыпанный землей телефонный аппарат. Пробует продувание, вызывает тот берег. Связь есть. Доволен.

— Хозяева, значит, вернулись, — презрительно подводит итог своим наблюдениям разведчик. — Далеко бегали?

— Далеко, парень, далеко, — добродушно басит Синюков. После того как мы побывали под обстрелом, он заметно повеселел. — А палец этот, гляжу я, тебе уж ни к чему.

— Тебе, что ль, отдать?

Синюков с профессиональным интересом наблюдает, как разведчик пытается прибинтовать оторванный палец. Меня отчего-то знобит. Солнце еще жжет сильно, а я никак не могу согреться. Наверное, оттого, что все на мне мокрое. И глазам больно глядеть на свет.

— Нет, парень, не мучься, — решает Синюков. — Самое лучшее тебе его отрезать. Хочешь — могу!

Разведчику жалко пальца. Он все смотрит на него.

— Говорят, срастается кость. Если сразу на место приставить... Не до этого было. На мины мы напоролись на нейтралке. Тут он из пулеметов полосанул... Я и не заметил в горячах. После уж гляжу — такое дело... У нас случай был: тоже вот так палец оторвало. Но он сразу успел. Ничего, срослась кость. Главное дело — сразу успеть.

— Сразу! У нас лучше был случай: голову человеку оторвало. А он, не будь дурак, схватил ее и — обратно на место тем же манером. Прибегает в медсанбат, рукой придерживает. Там ему все как полагается пришили — приросла. Так до сих пор носит. Одно плохо: зубы дергать нельзя. Говорят, с зубами можно голову оторвать напрочь.

— Про себя рассказываешь?

— А что, заметно?

Они вместе осматривают палец. Синюков трогает его.

— Ну? Давай?

Разведчик думает, потом решается вдруг.

— Ладно. Сразу только. Мою финку бери. Она острая.

Синюков с улыбкой — учи, мол! — достает свой нож, вытирает лезвие о штаны. К операции он приступает не спеша. Разведчик не отворачивается, держит руку. Чик! — и нет пальца, и Синюков уже бинтует ему кисть.

Неожиданно Коханюка начинает рвать. Он стоит на коленях в углу, руками и лбом упирается в стенку окопа. Его выворачивает наизнанку. Мы не смотрим в его сторону. Разведчик презрительно кривит губы.

Потом, бледный, зеленый, с глазами, мокрыми от слез, Коханюк лопаткой вычищает из окопа позорные следы своего малодушия. Синюков и разведчик, словно породнившись, сидят рядом, курят, поглядывая друг на друга. Дым стелется над их головами, тает в кукурузе. Много времени должно пройти, ко многому Коханюк притерпится, пока выйдет из него солдат.

Меня знобит уже так, что стучат зубы. И ногти на пальцах синие, и глаза болят — поднять невозможно. А когда потягиваюсь, ноют сладко все мускулы. Укрыться бы сейчас с головой и дышать себе на руки. Но шинель моя, которую я оставлял Генералову, на дне окопа втоптана в жидкую грязь. Она теперь два дня будет сохнуть. Я сижу, сжавшись, пытаюсь согреться во всем мокром. Лечь нельзя: окоп залило дождем.

— Малярией прежде не болели, товарищ лейтенант? — спрашивает Синюков.

Я уже и сам знаю, что это малярия. Нет, прежде я не болел ею. Но здесь все переболели. Потому что мы сидим в низине, а немцы на буграх. У них там, на ветру, и комаров нет. Мне почему-то легче думать, что немцы не болеют малярией.

— Да-а, — многозначительно вздыхает Синюков. — Кто не был здесь, тот побудет. А кто был, тот... не забудет.

Потом он лопатой выкидывает из окопа грязь, пока не обнажается сухое дно. И я ложусь и, закрыв глаза, пытаюсь согреться. Я даже дышу с дрожью. Ладони я зажимаю меж ног. Пальцы так замерзли, что онемели. А глаза горячие. Укрыться бы!..

Просьпаюсь от духоты, весь в поту, словно меня завалили подушками. Скидываю с себя чью-то шинель.

Над низиной, над мокрым после дождя полем — розовый туман. Солнце спустилось за высоты, и он подымается все выше. В кукурузе тоже туман, так что видно шагов на двадцать, не дальше.

Я долго пью из фляжки противно теплую воду, чьи-то маленькие хромовые сапожки качаются на весу, постукивают каблуками о стенку окопа. Скошенным глазом я слежу за ними. Потом подымаю глаза вверх. Колени, натянутая юбка, португеза косо через грудь... Рита! Младший лейтенант с родинкой! Сидит в своем синем берете на бруствере окопа, независимая, улыбается и качает ногами.

— Принимай акрихин, болящий!

И, порывшись в сумке, протягивает мне на розовой ладошке две ядовито-желтые пилюли. Я беру их с ладошки губами. И пока запиваю водой, Рита пробует мой лоб. Мне неприятно, оттого что лоб у меня потный, липкий, а она его своей рукой трогает.

— Ты теперь здесь будешь? — спрашиваю я.

Рита как-то странно улыбается и отвечает не сразу:

— Здесь...

## Глава 6

Странная тишина стоит на плацдарме вот уже третью ночь. Последний раз ровно трое суток назад отгрохотал залп «катюши». Огненные кометы стремительно пронеслись под звездами в сторону немцев, и там долго рвалось, и дрожала земля, а дым, освещенный снизу, стеной подымался за высотами. Потом свет сразу погас, смолкло все, и установилась тишина.

Обычно перед вечером, когда отяжелевшее солнце садится в пыль, у нас начинается приступ малярии. Потом, измученные, слабые, с болезненным блеском в глазах, мы вылезаем ночью из окопов и слушаем эту непривычную тишину. За время войны в нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды, задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, не показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились в кучи, стояли, упершись лоб в лоб, без корма, без питья, и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности.

Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность, внезапная тишина тревожит нас. В такие моменты мы тесней держимся друг к другу. И роем, роем, каждую ночь глубже зарываемся в землю.

В эти ночи мы сдружились с Никольским. Каждый раз, когда стемнеет, он приходит сюда, и мы разговариваем, а чаще он что-нибудь рассказывает, а я лежу на шинели, слушаю и смотрю на звезды. В первый год на фронте у меня тоже была сильна эта потребность перед кем-то раскрыть душу. Я мог влюбиться в человека, который терпеливо меня слушает. Сейчас я больше люблю слушать. Хорошо так слушать и думать о своем.

Я сижу на земле, поджав под себя ноги (этому я научился у Парцвани), и курю в рукав. Где-то фыркает лошадь в тумане, слышны приглушенные голоса солдат. Слова доносятся неразборчиво. Я люблю эти ночные приглушенные солдатские разговоры, хрипловатый голос между двумя затылками, запах махорочного дыма. Меня почему-то волнуют они, как хорошая песня. Ведь и песня дорога не сама по себе, а тем, что будит она в душе, что связано с нею, часто — дорогими воспоминаниями. Можно забыть все, не вспоминать о пережитом годами, но однажды ночью на степной дороге промчится мимо грузовая машина с погашенными фарами, и вместе с запахом пыльных трав, бензина, вместе с обрывком песни и ветром, толкнувшим в лицо, почувствуешь: вот она промчалась, твоя фронтовая юность. И снова все ярко встанет перед глазами, потому что оно в крови у нас на всю жизнь...

Никольский приходит в тот же час, что и вчера. Он вообще аккуратен. Заслонив звезды, он останавливается надо мной в наброшенной шинели с погонами, отчего кажется с земли высоким и широкоплечим. Шинель он никогда не застегивает — его издали слышно, если идет по кукурузе, — носит ее на плечах, как Чапаев носил бурку. Это по молодости лет. Между нами, правда, разница — год, но я уже воюю три года.

Никольский садится рядом на землю, аккуратно подобрав шинель. Он бережет ее: это первая его шинель и вдобавок офицерского покроя. Наверное, хочет привезти домой: вот в этой шинели я провоевал войну!.. Я тоже когда-то хотел сохранить шинель, в которой первый раз был ранен. Вся пола ее и рукав были ржавые от моей крови. Потом я хотел сохранить плащ-палатку, пробитую двумя пулями как раз меж моих ног. Потом еще что-то берег... Все это проходит.

— А ты желтый стал от акрихина, — говорит Никольский и смотрит на меня ласковыми глазами.

Наверное, он был хороший сын у матери. Отзывчивый, честный. И соседи хвалили: «Такой вежливый!..» Со своими бойцами Никольский на вы.

— Знаешь, — сообщает он новость, — в двести двенадцатом, левой нас, вчера языка взяли. Тащили его через нейтралку, — по голосу слышно, что Никольский улыбается, — а пехотинец узбек в окопе сидел. Заснул он или испугался — вдруг стрельбу открыл. И надо же, шлепнул немца. Ночь, не видно ни...



Тут он лихо произносит короткое ругательство, которым на фронте выражают многие оттенки чувств, даже восхищение, если настроены добродушно. Но почему-то, когда произносит это слово Никольский; становится неловко. И неловко за него, что он не чувствует этого. А Никольский не чувствует и говорит, волнуясь:

— Командир полка, когда узнал, за голову взялся. Еще хорошо, успели этого пехотинца под стражу взять, а то бы разведчики ухлопали его тут же. Они, пока лазали за языком, одного потеряли. Говорят, будут судить его. Как думаешь, что могут дать?

Он некоторое время ждет ответа, потом говорит, призвав все свое мужество:

— Я думаю, могут отправить в штрафную роту...

И я замечаю, что глаза у Никольского испуганные. Я ложусь на шинель лицом вверх. А черт его знает, что могут дать! Если бы я вот так лазал за языком, я бы сгоряча убил его. Тут многое зависит от командира полка. И от обстановки — потому что один и тот же проступок в различной обстановке ведет к различным последствиям.

Никольский еще что-то говорит об этом солдате, но я уже не слушаю. Лежу и смотрю в небо. Какие стоят ночи! Теплые, темные, тихие южные ночи. И звезд над головой сколько!.. Я читал, что в нашей Галактике примерно сто миллиардов звезд. Похоже на это. Наклонишься над бомбовой воронкой, а они глядят на тебя со дна, и черпаешь котелком воду вместе со звездами.

Еще месяц назад садилось солнце, а в небе обрывком белого облака уже высоко стояла луна, постепенно разгораясь и желтея. Теперь ночи стали заметно длинней. А когда немецкий снаряд разрывается за Днепром, в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы. Мы пришли сюда — они еще только-только зацветали. И уже поспевают виноград, и уже замечено, что от него чаще приступы малярии.

Сколько нам осталось здесь таких тихих ночей? У землянки Бабина поют на два голоса горбоносый командир второй роты Маклецов и Рита. Сам Бабин не поет; если зовут его — стеснительно улыбается: у него нет слуха. Но песни любит. Они поют «Темную ночь». Я не могу слушать ее без волнения.

Темная ночь,  
Только пули свистят по степи,  
Только ветер шумит в проводах,  
Тускло звезды мерцают...

Я чувствую, как песня теплой рукой берет меня за горло. Уже несколько раз я давал себе слово не ходить к Бабину. На другую ночь после того, как я вернулся на плацдарм, я по привычке пошел к комбату. Около землянки телефонист, с которым он обычно играл в шахматы, рыл себе отдельную щель: у Бабина была Рита. Оказывается, она и есть тот фельдшер, это она высаживалась с ним вместе на плацдарм и ухаживала за ним, когда его ранило. И еще я видел случайно, как Бабин снимал с ее ноги сапог. Целый день и полночи Рита лазала по передовой: у каждых трех из пяти пехотинцев — малярия. Вернулась в глине, охрипшая от усталости. Бабин посадил ее на нары, сам ухаживал за ней, снимал сапоги. И когда снял и размотал множество навернутых одна на другую портянок — там была маленькая босая нога с розовой ступней и розовыми пальцами. Он ладонью обтер ступню и, держа ее в руках, улыбался, словно это была нога ребенка. А Рита, не стесняясь его, сидела усталая, добрая, и было ей хорошо — это я почувствовал сразу. Даже сейчас, вспомнив, я заерзал на шинели, поспешно достал табак.

— Знаешь, — говорит Никольский, тоже слушая песню, — до армии была у меня девушка. Хорошая девушка. Мы учились с ней вместе...

Я глубоко затягиваюсь несколько раз подряд. У меня тоже до войны была девушка. Женя Астафьева. В классе ей дали прозвище: «Оставь ее». Женя Оставь ее. Она была хорошая физкультурница. Синее трико, синяя обтягивающая майка, голубенький пояс, фигура, как у мальчишки. Почти никакой груди и высокие, золотистые от загара, сильные ноги бегуна. У нее были глаза немного навывкате, близорукие и от этого как бы затуманенные. Очки носить она стеснялась.

Женя жила на краю города, за военным городком, за еврейским кладбищем. Там росли старые дубы, и окрестные жители — большинство их недавно переселилось сюда из деревни, перевезя избы, — в воскресные дни, одевшись ярко, шли на кладбище с гармонью, как в парк. Сидя в траве среди могил, выпивали поллитрочку — покойники на это не обижались.

После уроков — мы учились во вторую смену — я шел провожать Женю. Вначале мы шли по асфальту мимо ярких витрин магазинов, потом по булыжнику, блестящему под одиноким фонарем, потом по пыли вдоль деревянных заборов, за которыми, распирая их, росла сирень. Здесь уже не горели фонари, на углах улиц стояли водопроводные колонки — зимой вокруг каждой намерзал ледяной бугор, так что самой колонки не было видно, — а ставни на окнах и зимой и летом закрывались рано. Я провожал Женю темными улицами и мечтал, чтобы на нас напали: в то время я занимался боксом. Но взять Женю под руку я так и не смог решиться; мы обычно шли независимые друг от друга, Женя размахивала отцовской полевой сумкой. Однажды на уроке я написал Жене по-английски: «Ай лаб ю мэн». Написать по-русски: «Я люблю тебя» — было слишком страшно. Ее ответ я долго переводил со словарем. Вышло что-то странное: «Всякому овощу свое время». Несколько дней после этого я не провожал ее домой. А потом все пошло по-старому.

Я не знаю, где сейчас Женя. И если признаться, я даже плохо помню ее лицо. Почти не вижу его. Но я много раз мысленно ходил по улицам своего зеленого Воронежа. Трехэтажный проспект Революции с веселыми звонками трамваев, синими молниями, вспыхивающими на проводах, двумя потоками людей, до поздней ночи движущихся под деревьями навстречу друг другу, шаркая по асфальту одной огромной подошвой. Ярко освещенный подъезд ДКА — Дома Красной Армии, глаза девушек, празднично блестящие в свете огней, звуки военного оркестра из парка. И всегда у входа в парк — цветы. Вначале связанные ниткой тонкие пучочки ландышей, потом сирень, пышные букеты, потом розы — они стояли тут же на асфальте, в ведрах с водой и обрызганные водой, и парни дарили их девушкам. Ни в одном городе я не видел столько цветов. Ни в одном городе летними вечерами улицы не пахнут так табаком и петунией. А может быть, это потому мне кажется, что Воронеж — мой родной город? В Кольцовском сквере каждый день, даже когда началась война, выкладывали цветами на зеленой клумбе год, число и месяц. Потом пришли немцы, и время остановилось.

Мы любили с Женей перебегать обкомовскую площадь посредине, где это почему-то не разрешалось. Торжественная и пустынная, она блестяла вечером под фонарями; с одного края ее — все в электричестве здание обкома с черными мраморными колоннами, с другого — кирпичный недостроенный театр за деревьями. Отсюда к маслозаводу шла улица, как туннель: деревья над головой смыкались с домами, и балконы второго этажа были площадками в зелени.

А под деревьями стояли парочки и, затихнув, ждали, пока мимо них пройдут... Их нет теперь, этих улиц. После войны отстроят новый город, родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, — того города уже нет. Он погиб под бомбами, взорван нем-

цами при отступлении и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид зданий, они не передадут того, что знали о нем и любили мы. Очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь. И с каждым новым поколением рождается новая.

— ...понимаешь,— говорит Никольский,— пришла она провожать меня на вокзал. Чистая такая, широкий белоснежный воротничок на платье, глаза ясные, чистые. И двух братьев за руки держит. Принаряженные мальчишки. Словно ничего не случилось, словно и войны нет. А тут солдаты. Девушка-санинструктор в красноармейских засаленных штанах пробежала с котелком, так глянула на Наташу, на ее белый воротничок, на братьев, что мне стыдно стало. А Наташа как будто ничего этого не видит, смотрит на меня спокойными, ясными глазами. Может быть, я все это наивно говорю. Но когда я увидел, как санинструктор подбежала к теплушке, а оттуда сразу протянулось к ней, наверное, двадцать солдатских рук... Я не знаю, как объяснить тебе, но только это и есть самое главное в жизни. Я гордился бы, если б к Наташе вот так же радостно протянулись руки. А она чужая была там и, главное, не тяготилась этим. Я тебе правду скажу: с Наташей мы даже не целовались ни разу. И никому она не позволяла себя целовать, я знаю. Но я думаю: смогла бы она быть на фронте, как та девушка-санинструктор, как Рита? Пусть они даже легко смотрят на определенные вещи. Для меня сейчас в человеке главное другое.

На черта мне знать, что он считает главным и что не главным. Есть вещи, о которых в отношении Риты я не желаю думать.

Он, пожалуй, красив: высокий лоб, курчавые виски, длинные пальцы способного человека. И рост хороший. Но что-то не мужское в нем. Как он не понимает, что нельзя столько говорить!

За спиной Никольского постепенно светлеет: горит на левом фланге. Меж стеблей становятся видны комья земли, освещенные с одной стороны. Свет пожара мешается с лунным светом. И хорошо в тишине слышны голоса Риты и Маклецова.

Мне хочется, чтобы Никольский ушел, а он сидит и смотрит на меня.

— Как думаешь,— немного погодя спрашивает он,— будет немец сегодня наступать?

Каждую ночь на плацдарме, когда расходятся спать, кто-нибудь вслух спрашивает об этом. Весь наш плацдарм — полтора километра по фронту, километр в глубину, а позади — Днестр. И мы стали немного суеверными. Как правило, мы не говорим наверняка: «Нет». На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим: «А кто его знает». Но сегодня у меня плохое настроение, и я зол на Никольского.

— Ни черта он не будет наступать! — говорю я.

Он сидит еще некоторое время и уходит наконец. Тогда я иду к Бабину. Горбоносый Маклецов в своей фуражке на затылке сидит боком на бруствере с гитарой, наигрывает что-то неопределенное. Бабин обнял здоровое колено, с закрытыми глазами посасывает короткую трубочку. У ног его, положив морду на лапы, — овчарка. Когда я подхожу, она приоткрывает один глаз и снова закрывает его. Я здороваюсь, сажусь. Рита внезапно потянулась всей спиной, портупая косо врезалась в грудь.

— Хорошо здесь, комбат. Даже воздух другой. Знаешь, если долго лежать в госпитале, в самом деле заболеть можно. Я видела таких: на фронте водку хлестали, и там у них язва желудка открывается. Один погиб смертью храбрых от воспаления легких. В войну! — У Риты зябко поежились полные плечи. — Помнишь, у Островского Аркашка Несчастливцев рассказывает, как жил у родственников: в час обедают,

после обеда спят до пяти, потом чай пьют со сливками. И мысли: а не повеситься ли?

— А чего, правильно,— оживился Маклецов.— Это я по себе лично знаю. У нас в палате один лейтенант...

Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь глазами, спросил:

— Обожди, Маклецов, ты «Лес» читал?

— Я за войну ни одной книги не прочел,— сказал Маклецов с достоинством.

— Ну, это тебе полагалось еще до войны прочесть.

— А раз полагалось — значит, прочел.

— Все-таки: читал или не читал?

— Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу скываете! Лес... Я в сорок первом году в окружении в таких лесах воевал, какие тому Островскому сроду не снились!..

Бабин смотрел на него, любуясь. И вдруг захохотал от души.

— Да нет, в самом деле,— растерялся Маклецов, оглядываясь за поддержкой на меня и на Риту.— Я в этих лесах ревматизмом на всю жизнь запялся, а вы мне Островским глаза колете.

— Молодец,— сказал Бабин.— Вот за это тебя ценю,— отчего Маклецов окончательно растерялся.

Из землянки вышел начальник штаба капитан Зыбуновский в суконной фуражке, в шинели, застегнутой на все пуговицы, с замкнутым выражением лица. Сел, передвинув полевую сумку на живот, достал какие-то сведения. Сразу стало скучно.

— В роте у Кондакова все больны малярией.— Он поднял глаза на Риту и опустил.— В роте у Маклецова,— Зыбуновский посмотрел на гитару, которую держал Маклецов,— осталось не более пяти здоровых.

— Можете не подсчитывать,— оборвала Рита; при виде Зыбуновского у нее в глазах появляется электричество.— Эти пять тоже заболели.

Странный человек Зыбуновский. Добросовестный очень, исполнительный на редкость, сам лазает по передовой, многократно подвергая себя опасности. Вдобавок, от малярии у него что-то с печенью, и он страшно мучится. И все же не дай бог быть под его командованием! Есть люди, которые всю жизнь борются с беспорядком в мелочах. Замечает Зыбуновский какой-нибудь беспорядок — и страдает, и зудит, и зудит, и борется. А то, что война идет, этого он как будто даже не замечает.

— Непонятная постановка вопроса,— говорит Зыбуновский терпеливо.— Я не медик, но я тоже мог бы сказать: «И эти заболеют». Однако я так не говорю, потому что мы обязаны бороться с малярией.

— А я говорю! От малярии лекарство одно: перемена места. Ясно вам? Возьмем эти высоты, двинемся вперед — забудем про малярию.

Зыбуновский ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги. Сказал тихо, как всегда, когда на него повышают голос:

— Этой задачи командование сейчас перед нами не ставит. А с малярией мы должны бороться имеющимися у нас средствами. Есть акрихин, есть, видимо, еще какие-то лекарства.

Рита спросила:

— Вы женаты, Зыбуновский?

— Я не понимаю, при чем тут моя жена,— помолчав, сказал Зыбуновский совсем тихо.

— Жалко мне ее, вот что.

Зыбуновский сложил бумаги, встал.

— Я могу уйти.

Бабин, который все это время посасывал трубку, опершись широким подбородком о колено, глянул вслед, глаз его остро блеснул.

— Вот человек,— сказала Рита, когда начальник штаба ушел,— обязательно перебьет настроение. Спой, Афанасий.

— Это я могу.

И Маклецов, закрыв глаза, сильней зазвенел струнами. Запел он, конечно, свою любимую, про то, как «оба молодые, оба Пети, оба гнали немцев по полям».

И один снарядом был контужен,  
С пулемета ранен был другой,  
Завязали бинт ему потуже,  
Чтобы жил товарищ дорогой...

В этом особенно жалостливом месте Маклецов даже сфальшивил от усердия.

— Афанасий! — крикнула Рита, показав на свое маленькое ухо.

— Я тоже заметил,— сказал Бабин, обрадовавшись и боясь, что ему не поверят.— Честное слово, слышал. Вот в этом месте.

Он хотел пропеть, но было тихо, все смотрели на него, и он смутился:

— Ну вас к черту!

— Разрешите доложить, товарищ комбат? — Рита, сидя, козырнула, приложив руку к своему берету.— Ничего такого вы слышать не могли по причине полного отсутствия слуха.

— Ладно,— сказал Бабин.— Вольно!

Но самолюбие его было задето. Я все время присматриваюсь к Бабину. Ведь есть же в нем что-то, чего во мне нет. Малярия здорово высушила его. Лицо стало жестче, виски запали. Особенно плечи похудели и руки с широкими запястьями. Он просто некрасив сейчас. Я ловлю себя на том, что мне это приятно. И отворачиваюсь.

— Давай, Афанасий, грустную споем,— говорит Рита.

Мне тоже отчего-то грустно. Может, оттого, что она рядом.

Вздыхнув, Рита поет негромко, а Маклецов мягко вторит ей:

Чорні брови, карії очі,  
Темні, як нічка, ясні, як день.

Она сидит напротив меня на бруствере, свесив ноги в коротких сапожках, зажав руки в коленях. Глаза, затуманенные песней, влажны. Я не знаю, хорош ли голос у Риты, только что-то происходит в душе у меня.

Карії очі, очі дівочі,  
Де ви навчились зводити людей?..

Может быть, это ночь виновата южная, может быть, песня, но скажи сейчас отдать жизнь — отдам с радостью!

Маклецов ладонью зажимает вдруг струны, и я слышу приближающееся к нам тяжелое дыхание двух людей и шуршание плащ-палатки о стебли. В плащ-палатке, расширяющейся книзу,— офицер, невысокий, в фуражке. Сопровождают его солдат с автоматом и вещмешком на плече. Подойдя, офицер обежал всех глазами, остановился на Бабине.

— Комбат Бабин?

— Бабин.

— Будем знакомиться. Тоже на «Б»: Брыль. Прибыл к тебе замполитом.

И, козырнув, подал руку. Бабин пожал ее, не вставая. Овчарка все время следила, подняв голову с лап.

— Везет мне,— сказал Бабин, смеясь одними глазами, и вытер мунштук трубки, блестящий от слюны.— Все замполиты на «Б». Был Бой-

ченко, был Блুবбанд, был Бородин. Правда, один на «Г» был — Гаврилов. Мы так считаем, что его не было. Вот учти: трех замполитов пережил.

— Учту,— сказал Брыль.— Нарочно надуюсь и переживу тебя. Особенно если покормишь.

И улыбнулся широким ртом. Нижняя челюсть у него массивная, и рот полон зубов. Он явно понравился Бабину. Для этого есть безошибочный барометр: ординарец комбата Фроликов. Обычно прижимистый по части продуктов, он вдруг появился, словно из-под земли, осчастливил всех улыбкой и побежал готовить ужин.

Брыль кладет на землю шинель, которую до этого нес на руке под плащ-палаткой, кивает автоматчику, и тот ставит на землю вещмешок. Здороваясь с Ритой, он опять козырнул.

— Брыль.

Среди нас, желтых от малярии, он, полнокровный, выбритый, свежий, кажется человеком из другого мира.

— На плацдарме не были еще, товарищ капитан? — спросил Маклецов, присматриваясь к нему.

— Не был. А что?

— Значит, еще заболжете малярией,— сказал Маклецов удовлетворенно.

Я встал.

— Ты куда, Мотовилов? — окликнул Бабин.

— Кто Мотовилов? — Брыль быстро обернулся.— Ты?

— Я.

— Ну, вот видишь, вполне мог забыть.

Передвинув на колено полевую сумку, туго набитую, как у всех политрабтников, он достает мне два письма-треугольничка.

— Держи!

И пока он достает их и отдает мне, все смотрят на его полевую сумку и ждут. Но больше никому писем нет.

— Оставайся,— говорит Бабин.— Ром есть.

Я чувствую на себе взгляд Риты. Мне хочется остаться.

— Спать пойду,— говорю я, зевнув для убедительности. И иду к себе один под звездным южным небом.

*(Окончание следует)*



---

---

НИК. РЫЛЕНКОВ

★

## ИЗ ЛИРИКИ

\* \* \*

Мне бы в поле хлеба́ растить,  
Мне бы травы в лугу косить,  
Мне б вершить, как скирды и стога.  
Все, чем жизнь для меня дорога.

Только я полей не пашу,  
Только я лугов не кошу,  
Из всего, что в душе берегу,  
Я лишь песню сложить могу.

А чтоб с чистой душой мне жить  
И над прожитым не тужить,  
Песню надобно так сложить,  
Чтобы осень с весной сдружить.

Чтобы тот, кто растит хлеба,  
Молвил, вытерши пот со лба:  
— Как я жил без нее? Она  
Мне, как хлеб насущный, нужна!

\* \* \*

В лугу отава скошена,  
Туман стоит у омута.  
Все сказано, все спрошено,  
А сердце грустью тронута.

А ночь свежа осенняя,  
Как яблоко расколота...  
Так вот оно, мгновение,  
Когда молчанье — золото!

\* \* \*

Подумай, виски уж седые сплошь,  
И сердцу утрат не забыть,  
А ты все волнуешься, ты все ждешь  
И первых дождей и первых порош,  
Чтоб заново вдруг открыть  
В сиянье полей и в мерцанье рош  
То, чего прежде не ставил в грош,  
По молодости, может быть.  
...Не потому ль, чем больше живешь,  
Тем больше хочется жить?

\* \* \*

Выходит осень на опушку года —  
С походкой мягкой рыжая лиса.  
Пусть скупо светит солнце с небосвода,  
Зато сияют рощи и леса.  
В такую пору мудрая природа  
Нам в буднях открывает чудеса.

\* \* \*

Люблю дни ранней осени в Крыму,  
Прозрачные, как гроздья винограда,  
Вдоль синей бухты белую кайму  
И над заливом в тающем дыму  
Столбы и арки каменного сада.

Люблю в дни ранней осени в Крыму,  
Устав бродить по кручам до упада,  
Прислушаться, как верещит цикада,  
И вспомнить, неизвестно почему,  
В смоленских рощах шелест листопада.

Речушку, тропку к рыжему холму,  
Где бегал ты когда-то без пригляда...  
С гор все видней, и, может, потому  
Люблю я осень раннюю в Крыму,  
Прозрачную, как гроздья винограда.

\* \* \*

Как дерево, что кроной все упорней  
Стремится ввысь,  
Ветвями небо обняло, а корни  
Глубоко под землей сплелись,—

Так я стремлюсь душой к просторам светлым  
Грядущих дней,  
А корни там, во глубине столетий,  
В преданьях Родины моей.





---

---

И. ИСАКОВ

★

## НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

### Старшій с бульдогом

1

**С**реднего роста, сильный, очень смуглый, напоминающий цыгана, он, несмотря на флотскую форму, почему-то не имел в своем облике ничего морского.

А между тем это был старший лейтенант флота Владимир Алексеевич Алдайский, числившийся на отличном счету у начальства как требовательный служака и занимавший должность старшего офицера на самом новейшем эскадренном миноносце, который еще достраивался на заводе Беккера и К° в Ревеле, вернее — в Цигельскопской бухте, к осту от Ревеля.

Держался он надменно и вызывающе абсолютно со всеми, кроме, конечно, старших в чине. Интонации голоса — только командные, меняющиеся в зависимости от того, обращался он к подчиненным офицерам или матросам. В последнем случае неизбежно добавлялась матерщина.

Всегда злой, недовольный, как говорили о нем — «бешеный», он каждым своим словом и поступком невольно выдавал, что Февральская революция расстроила все его личные планы.

В дебатах, происходивших в кают-компани, а иногда даже на верхней палубе, он не участвовал, бросал только презрительные реплики: «Всероссийский кабак!» (если не хуже), «Перевешать десяток-другой так называемых социалистов — и все придет в норму...»

Нормой для него были старые порядки, существовавшие до ликвидации монархии, которые после распутищины претили даже лояльным раньше офицерам. Не только «социалистов», но и любые партии он считал «распущенностью и развратом», а происходящее — чем-то вроде временного массового психоза и явно ждал, что, как и в 1905—1906 годах, все закончится казнями, тюрьмами, ссылками и полным восстановлением монархических институтов.

Эта нескрываемая враждебность была единственным его положительным качеством в отличие от тех офицеров, которые в лучшем случае отмалчивались, а то поддакивали и льстили матросам, нося красный бант на кителе и камень за пазухой.

Преувеличенные слухи о расправах над ненавистными офицерами или достоверные сведения о казни адмирала Вирена, затем Непенина и некоторых других как бы абсолютно не касались Алдайского. Он оставался верен себе, продолжая свои выходки в атмосфере почти всеобщей ненависти.

Старшего офицера ненавидели не только за это. Некоторым его прямота и смелость, пожалуй, даже импонировали.

Его люто ненавидели и за другое — за презрение к матросу. Причем к любому, даже не разбиравшемуся в политических событиях и равно-

душному к ним, хотя таких матросов было очень мало — либо старички, сверхсрочники, с нетерпением ждавшие декрета о демобилизации, чтобы вернуться в деревню, либо совсем молодые, призыва 1916/17 года, с таким же нетерпением мечтавшие о доме.

Что касается «политических», то есть членов судового или дивизионного комитетов, партийных матросов, активистов, выступавших на митингах или дискуссиях, то о них Алдайский говорил как о преступниках, изменниках.

Это был примитивный монархист, злой человек и свирепый служака, у которого революция отнимала не только мечту о строевой карьере, но и возможность безнаказанно измываться над подчиненными. Он метался по кораблю, заводским цехам или по кубрикам плавучей казармы, и на мрачном лице его всегда была какая-то сардоническая ухмылка независимо от того, распакал ли он провинившегося матроса или издевательски вежливо говорил колкости офицерам.

Его всегда сопровождал свирепый и уродливый бульдог с раздвоенными ноздрями. Было еще одно, с чем он не расставался никогда, — вороненый браунинг; об этом знали все не только по отягченному карману офицерского пальто, но и по тому, что по нескольку раз в день, раздеваясь в прихожей, он перекладывал револьвер в карман брюк, причем делал это, отнюдь не скрывая от присутствующих.

Своими выходками Алдайский пугал некоторых офицеров. Они опасались, что он спровоцирует расправу не только над собой, но и над другими офицерами корабля.

Поведение Алдайского было так необычно по сравнению с остальными, что я начал более внимательно присматриваться к нему и наконец понял, что не такой уж он герой, каким прикидывается.

Он ни разу не оскорбил спокойного Капранова или огромного Марченко, внушавших уважение какой-то внутренней силой, либо задиристого Злыднева, или вспыльчивого как порох Цыганкова, так как знал, что получит сдачу, несмотря на бульдога и браунинг. Зато с особым удовольствием он давал подзатыльники бессловесным, тихим или молодым матросам, наделяя их самыми отборными эпитетами. Он как бы оскорблял в их лице всю команду, всех матросов флота.

Второе, что развенчивало облик «честного врага», — это колебания в тоне его издевательств в зависимости от общего хода событий в Петрограде, Кронштадте и в Гельсингфорсе, где делалась политическая погода в те дни.

Так, в конце апреля, с появлением известий о формировании Центробалта<sup>1</sup>; Алдайский на время сбавил тон. Когда же реакция в Петрограде опять подняла голову, он неистовствовал на самом высоком регистре.

Наконец было замечено, что он избегает столкновений с заводскими рабочими. Он их не понимал, не знал, но, очевидно, чувствовал за ними большую силу. Он мог обхамить закопченного паренька и подручного, подававшего с горна раскаленные заклепки, но на реплику рабочего: «Я за него! В чем дело?» — предпочитал, буркнув что-то под нос, умчаться дальше и сорвать злость на ком-либо из матросов или «объясниться» с заводским инженером.

Пес Алдайского (не помню клички, в команде его награждали прозвищами «Дракон», «Зверь» или «Чудище») на офицеров не обращал внимания. Что касается матросов, то он каждого, даже проходящего стороной, провожал взглядом, при этом несколько раз как бы спрашивал хозяина: «Взять или пропустить?»

Тупое рыло, оловянные глазки, раздвоенный нос и громадные челюсти

<sup>1</sup> Центробалт — Центральный комитет Балтийского флота, первый всефлотский выборный орган, к которому фактически постепенно перешли функции управления флотом.

с обвисшими губами, из углов которых всегда свисала слюна,— он был отвратителен, и не было случая, чтобы кто-нибудь позвал его по имени или попытался завести с ним дружбу. Терпели или не обращали внимания.

Вероятно, истые собачники были бы от этого пса в восторге: вывороченные лапы, короткие уши, масть и страшная сила соответствовали самым высоким кондициям, и хозяин не раз хвастался, что не то он (то есть пес), не то его (пса) матушка имели Grand prix с какой-то выставки.

Самое мерзкое в этом животном, испорченном человеком, который сам был хуже животного, заключалось в том, что пес не рычал, не лаял, а, подходя вплотную к матросу, мертвой хваткой впивался в штанину или в икру в зависимости от интонации голоса благодушно издевающегося или свирепо ругающегося хозяина.

Почти каждый день на достроечной стенке завода около миноносца или у плавучей казармы «Диана» можно было наблюдать такую сцену. Окликнутый Алдайским матрос останавливался навтыжку, но, как только бульдог разевал свою пасть, он невольно поворачивал голову и поджимал ногу, бывшую под угрозой. И тогда следовал резкий окрик:

— Как стоишь, когда разговариваешь со старшим офицером!

Таким образом матрос как бы попадал спереди в зубы старшего, а сзади — в зубы его пса.

Второй прием, излюбленный Алдайским, заключался в посылке с поручением: «На носках!» или «На полусогнутых!» Морской устав требовал выполнения всех команд бегом. Но собачья натура такова, что даже самый ласковый фокстерьер не может равнодушно видеть бегущих ног.

Бульдог бросался за исполнительным матросом, но тот, услышав сопение приближающейся к его икрам морды, невольно сбавлял прыть или даже останавливался. Этого ждал Алдайский и начинал крик: «Почему стал?! Пять суток» — и далее смачное матерное обрамление.

И, наконец, был еще один прием, который, правда, все реже удавалось применять, потому что наученная опытом команда старалась его избегать. Он заключался в том, что, увидев на бревнах или кабельных катушках чей-либо бушлат или шинель, снятую для удобства при работе, Алдайский сажал рядом пса и после команды «Стеречь!» сам уходил, как будто забыв о нем.

Взять бушлат было невозможно. Пес сидел на страже, пока Алдайский, уходя домой с завода, не свистал его. Только тогда он покидал свой пост.

Конечно, все это не могло кончиться добром. Ненависть накапливалась, как в конденсаторе.

Но я могу свидетельствовать, что, не желая эксцессов, команда, а не Алдайский, старалась избегать обострений.

Поэтому лично ему ни разу не было сказано о недопустимости такого поведения, только через делегатов заявлялись претензии деликатной «Анюты», как называли голубоглазого бесхарактерного командира, капитана 2-го ранга В. К. Леонтьева<sup>1</sup>. Последний каждый раз обещал урезонить старшего, но тот в каюте командира кричал: «Что я, целоваться с ними должен?», «...тогда ищите себе другого!..» И все оставалось по-старому. Во всяком случае внешне.

Не менее важным обстоятельством являлось то, что большим влиянием в первом судовом комитете пользовался эсер, кондуктор Земсков. С глубокомысленным и озабоченным видом он всегда спешил с портфелем в руке то в Ревель, то в заводской комитет, а в судовом хозяйничали его соратники.

Этого «вождя», уже привыкшего повелевать людьми, гораздо больше беспокоила растущая популярность первых большевиков на корабле —

<sup>1</sup> Дезертировал с корабля в Гельсингфорсе после Октября вслед за начальником дивизиона, капитаном 1-го ранга К. В. Шевелевым, и эмигрировал в Японию.

Павлова, Корнюшина, Кара и Галкина, автроильцев<sup>1</sup> из дивизионного комитета, чем открытое контрреволюционное поведение старшего офицера.

Алдайский обнаглел до того, что пытался не пустить на митинг команды строящихся кораблей, встав на нижней площадке трапа и угрожая револьвером.

Земскову, который возглавлял колонну с красным флагом, спускавшуюся с «Дианы», на этот раз не удалось избежать объяснений со старшим офицером.

Напыжившийся председатель, стоявший на две ступеньки трапа выше Алдайского и его бульдога, чувствуя за спиной матросскую массу, нарочито громко продекламировал, выкинув одну руку вперед:

— Так что же? Вы, господин старший лейтенант, значит, против революции?

— Я против нарушения устава! — с яростью ответил старший офицер. Смуглое лицо его потемнело еще больше от прилива крови.

Наверху раздался рев и свистки, и только потому не вспыхнул общий взрыв, что большая часть стоявших еще на палубе «Дианы» и на трапах, ведущих из трюмов, не видела и не знала, что происходит внизу, на стенке. Однако некоторые выкрики с верхней площадки не оставляли сомнения в том, что еще через минуту напор стремившихся на митинг толкнет Земскова прямо в объятия Алдайского и... тогда произойдет непоправимое.

Положение спас нарочито громкий голос грузного и величественного Клаши<sup>2</sup>; он наблюдал за происходящим, стоя со штабом на стенке.

— Владимир Алексеевич! Это я разрешил команде идти на демонстрацию!

Обиженный Алдайский, в душе, возможно, довольный такой развязкой конфликта, взял под козырек и мрачно отошел в сторону, как собака, отозванная хозяином. Его бульдог отошел вместе с ним.

Демонстранты двинулись через заводские дворы, причем идущие во второй половине колонны так толком и не поняли, что задержало голову на трапе.

На этот раз пронесло.

С начальных дней знакомства с Алдайским бросилось в глаза, что его бульдог не натренирован на заводских рабочих. Алдайский их презирал, заочно называл «чумазым пролетариатом», а в глаза обращался только «эй, ты!», после чего с матерщиной в обезличенной форме следовал какой-либо упрек: «Почему копаетесь, как...», «Кругом нагадили» и т. д. и т. п.

В результате его люто ненавидели и матросы и рабочие. За хамскую манеру разговаривать и непрерывно всех подтягивать Алдайского не любили и офицеры корабля. Некоторые просто боялись его и отделялись общепринятой в русском флоте формулой о том, что-де «старшему офицеру иначе и нельзя — такая уж собачья должность».

Чужая душа — потемки. Но я убежден, что умный Клаша, претендовавший на своеобразный флотский аристократизм, в душе презирал этого старшего лейтенанта с повадками городского или жандарма, но, конечно, не за монархические убеждения, а за форму их проявления, как я понял это много лет позже, когда Клавдий Шевелев уже был отпетым врагом народа и эмигрировал в Японию.

Шевелеву нужны были более гибкие союзники, но Алдайского он использовал как барометр, как своего рода пробный камень или лакмусовую бумагу. Благодаря старшему офицеру Шевелев всегда знал, как

<sup>1</sup> «Автроил» — однотипный с «Изяславом» новый эсминец.

<sup>2</sup> Клаша — прозвище, данное офицерами капитану 1-го ранга Клавдию Валентиновичу Шевелеву, бывшему в описываемое время начальником 13-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота.

далеко можно идти в открытом противодействии матросской массе, насколько она сплочена, какие сдвиги происходят в ее сознании, в организованности, в расстановке партийных сил и так далее.

В критический момент циничный Клаша пожертвовал бы этим дубоватым защитником монархии. Но пока он был ему нужен — и начальник дивизиона дважды спасал Алдайского от преждевременного конца.

Должен сознаться хоть задним числом, что я ненавидел Алдайского прежде всего за манеру обращаться с подчиненными, за издевательства над теми, кто не мог ответить, и за его номера, выполняемые дуэтом с бульдогом. Именно эта сторона его натуры больше всего вызывала во мне отвращение, в то время как к нему надо было предъявлять куда более серьезный политический счет.

Казалось бы, на фоне событий тех дней развлечения старшего офицера с собакой не стоили того, чтобы их запомнить, тем более мне.

Пес не был еще приучен отличать мичманов из так называемых «черных гардемарин» (то есть из юнкеров флота)<sup>1</sup> от окончивших дворянский морской кадетский корпус. А хозяин — тот различал, поэтому со мной вне службы никогда не заговаривал и, очевидно, презирал совершенно искренне. На мелкие придирки я старался не реагировать, а серьезных поводов для конфликта за все время относительно короткой совместной службы не было. Правда, в конце концов такой случай представился, но, на мое счастье, это произошло уже в последний день пребывания Алдайского на «Изяславе».

## 2

В один из апрельских дней произошло три, казалось бы, не очень значительных, но разных по характеру происшествий. Однако, как выяснилось позже, кое для кого на «Изяславе» они имели серьезные последствия.

Первое происшествие.

Утром, по призыву заводских комитетчиков, команды с эсминцев 13-го дивизиона решили присоединиться к рабочей демонстрации, которая, не помню по какому поводу, должна была двинуться не то к ситцевой фабрике, не то в город.

Большинство матросов, ранее разведенных на работы, было в грязном рабочем платье, вымазанном копотью или суриком, и поэтому бросилось на «Диану», чтобы переодеться. Извещенный кем-то Алдайский примчался на стенку, когда все были еще в жилых палубах (трюмах) парохода, и, встав в решительной позе против нижней площадки трапа, как бы запер выход с «Дианы». Назревало что-то вроде мартовского конфликта.

Первые начавшие спускаться по трапу были остановлены окриком:

— Назад! Переодеться в рабочее и по местам! Ушедшие самовольно будут наказаны!

Прищуренные глаза на помертвевшем лице, зловещие интонации голоса и правая рука, опущенная в карман офицерского пальто, заставили передних остановиться на трапе.

Больше всего смущала совершенно непривычная немногословность старшего и полное отсутствие матерщины.

Когда из верхних рядов донесся сдержанный говор насчет «революционных прав», «свободы собраний» и тому подобного, Алдайский, отчетливо выговаривая каждое слово, проскандировал:

— Сейчас одиннадцать часов, и вы обязаны быть на работе! Пусть будет хоть три революции, но в данный момент идет война, и никто воинских законов и морского устава не отменял! Первого, кто ослушается приказа и шагнет на стенку, пристрелю как изменника России! Кому

<sup>1</sup> Из разночинцев, не обучавшихся в морском корпусе, а сдававших экзамен на офицера после соответствующего обучения в «гардемаринских классах» и накопления плавательного стажа.

следует, напоминая, что я нахожусь при исполнении служебных обязанностей!

Никто не захотел первым сойти с площадки трапа прямо на Алдайско-го и далее — в рай, а другого пути с «Дианы» не было.

Сдержанно погудев, накаленные и злые, матросы попятнулись наверх, а затем, собравшись в трюме, без суеты и споров, быстро и единодушно порешили: «С «Дианы» не выходить! Раз не на демонстрацию, то и не на работу!»

Трап опустел.

Это была своеобразная форма стихийной «итальянской» забастовки. Но как только главное было решено, начался разноголосый шум жарких споров, радикальных предложений и страстных возмущений, не затихавший до самого ужина.

Алдайский продолжал стоять в той же воинственной позе, один, с бульдогом у ноги, заметно поигрывая в кармане браунингом. Несмотря на почти полную победу, он все же не решался подняться на борт «Дианы», чтобы выгнать команды на работу.

Сбоку, у края стенки, молча наблюдала всю сцену группа офицеров во главе со старшим инженер-механиком, капитаном 2-го ранга Жеденовым, ничем не выражая своего отношения к событиям. Пауза становилась все тягостнее.

В это время походкой скорохода появился из-за угла личный вестовой начальника 13-го дивизиона Селиванов и еще за три-четыре шага, не доходя до Алдайского, козырнул и громко доложил:

— Так что, господин старший лейтенант, начальник дивизиона вас требуют в Дом командиров.

Тягостная пауза разрядилась.

Алдайский намеренно медленно повернулся от трапа, «стальным» голосом крикнул в пространство:

— Боцман! Чтобы у меня через десять минут все были на работе! — и пошел вдоль стенки, с презрением и торжеством оглянув офицеров, продолжавших пребывать в позиции нейтралитета, усиленно постукивавших папиросами по портсигарам и взаимно одолжавшихся спичками.

Увидев несколько бушлатов второго срока на груде деревянных беседок<sup>1</sup>, наваленных в кучу у носовой причальной тумбы «Изяслава», Алдайский, проходя, бросил псу: «Сторожить!» — и ушел к Шевелеву.

Затем разошлись остальные офицеры, и стенка опустела.

В т о р о е п р о и с ш е с т в и е.

Не знаю, когда и как было принято решение, но в тот же день бульдог был ликвидирован.

Сделано это было так.

Один из нашей команды, спустившись с «Дианы» и как бы намереваясь пройти мимо пса, быстрым и сильным ударом ноги сбросил его со стенки. Это произошло так мгновенно, что пес успел только лязгнуть зубами.

Ковш завода Беккера находился в те дни под покровом уже рыхлевшего, но еще толстого весеннего льда. Однако кромка его, точно повторявшая контур стенки со всеми выступами и впадинами от отбойных палов, отстояла от берега почти на сажень, и пес, падая в воду, пошел по касательной под лед и больше на поверхности не появлялся.

Матрос, быстро забрав всю груду бушлатов, скрылся на «Диане».

Что это был преднамеренный и заранее обдуманый поступок, подтверждалось тем, что матрос надел высокие сапоги и брезентовые рукавки, очевидно на тот случай, если прощание с собакой будет не столь удачным. Кроме того, это подтверждалось и тем, что несколько голов высунулось

<sup>1</sup> Беседка — остроплённая доска, сидя на которой работают за бортом или на рангоуте, обычно при окраске или очистке. На суше часто именуется люлькой.

из-за планшира фальшборта плавучей казармы и так же быстро скрылось, когда казвивший пса кинулся обратно, перепрыгивая через три-четыре ступеньки трапа.

Часа два спустя, после отбоя работ, то есть тогда, когда уже нельзя было скандалить из-за того, что все команды дивизиона находятся на «Диане», на так называемой достроечной стенке появился Алдайский. Два-три раза безрезультатно свистнув пса и явно приметив, что охранявшихся псом бушлатов нет, он медленно пошел обратно. Но весь его вид подсказывал, что случившееся еще будет иметь продолжение.

Третье и последнее чрезвычайное происшествие этого дня.

Вышло так, что суточное дежурство на «Диане» должен был нести я.

## 3

Но предварительно два слова о самой «Диане».

Это был привлеченный в 1914 году по «судовой повинности» сухогрузный пароход РОПиТа<sup>1</sup>, в пять тысяч тонн, ходивший на линии Одесса—Петербург и застрявший к началу войны в Финском заливе.

В совершенно разгруженных трюмах «Дианы» и ее твиндеках, наподобие эмигрантского судна, были наскоро устроены деревянные нары (расширен камбуз и гальюны), и в них разместились для временного жительства команды строящихся и ремонтирующихся кораблей 13-го дивизиона, приблизительно по одному миноносцу на каждый трюм. Днем и в теплую погоду лючины, прикрывавшие комингсы трюмов, открывались для доступа свежего воздуха, так как обычная трюмная вентиляция и дополнительные виндзейли<sup>2</sup> не справлялись с обменом застоявшегося и сырого воздуха.

Свободные объемы трюмных отсеков усиливали каждый звук, вследствие чего над ними всегда стоял слитный и гулкий шум, как бы из колоссальной пустой бочки. Снаружи нельзя было разобрать ни одного слова, так усиливали и искажали голос резонирующие переборки. Впечатление для свежего человека было страшноватое, казалось, что внизу происходит массовая свалка не на жизнь, а на смерть, и только привычный морскому уху стук костяшек «козла», доведенный до громкости мелкокалиберных пушек, а также трели нескольких баянов и балалаек подсказывали, что сражение в трюме протекает бескровно.

Плавучая казарма стояла в ковше завода у одной из достроечных стенок, недалеко от кораблей, что было очень удобно для работ, в которых вместе с мастеровыми верфи принимали участие команды миноносцев.

После Февральской революции уклад жизни в чреве «Дианы» изменялся очень медленно — матросы днем продолжали работать на достройке кораблей, а массовые споры с эсерами и меньшевиками обычно проходили в огромном и пустующем сборном цехе (который не был закончен и временно использовался как малярный) или на стихийно возникавших митингах на стенках и дворах завода. Все чаще большие группы матросов ходили на «смычку» с Русско-Балтийским, на ситцевые фабрики Копли, а то и ездили на общегородские или гарнизонные митинги или собрания в Ревель.

Но потребность в сне и голод даже в самые горячие дни неизменно и регулярно приводили всех на «Диану».

Алдайский и старшие офицеры других кораблей дивизиона стремились по возможности поддерживать на «Диане» старые порядки. По-прежнему сохранялись офицерское дежурство, вооруженный вахтенный на палубе

<sup>1</sup> РОПиТ — сокращенное наименование акционерного Русского общества пароходства и торговли.

<sup>2</sup> Виндзейль — парусиновые вентиляционные устройства переносного типа.

у трапа, дневальства по трюмам, вывешивались под спардеком приказы о распорядке, нарядах и взысканиях. Но все же жизнь хотя и медленно, но неумолимо перестраивалась на новый лад.

Первым скромным завоеванием команд было то, что все «харчевые», или артельные, суммы перешли целиком в ведение выборной группы от комитета. Процент отчислений выработанных денег от завода увеличился. Ревизор<sup>1</sup> только фиксировал счета и подписывал отчетные книги, и то больше для проформы. Вторым завоеванием было выделение помещения для дивизионного комитета и небольших кают — для судовых. Наконец, появились политические и самообразовательные кружки; в последних принимали участие некоторые молодые офицеры, преподававшие элементарные предметы, но избегавшие разговоров о политике. К великому неудовольствию Алдайского, он не мог запретить работу кружков в вечернее время, это было разрешено начальником дивизиона на основе какой-то директивы свыше.

Общая ответственность за «Диану» возлагалась на нештатного коменданта, должность которого одно время — это было в самую сложную пору — исполнял по совместительству минный офицер с «Константина», молодой лейтенант Мологов Николай Александрович. Он пользовался у команды исключительным авторитетом за внимание и человеческое отношение к матросам, как к равным, без малейших попыток фамильярничать, и за постоянную готовность помочь им разобраться не только в общеобразовательных предметах, но и в политических событиях.

Старший офицер «Изяслава» явно ненавидел Мологова, но прямой власти над ним не имел и свое отношение к нему вкладывал в презрительные эпитеты «этот учитель» или «просветитель», убежденно считая, что для морского офицера это почти несмыслимое оскорбление.

Когда постепенно самоуправление на «Диане» продвинулось настолько вперед, что должность коменданта стала по существу синекурой, то (кажется, в связи с уходом «Константина» на испытания) эту фиктивную должность возложили на меня, однако не освободив от очередных дежурств на плавучей казарме.

По установившемуся распорядку дежурный офицер днем в казарме не торчал, так как большинство команд работало на своих миноносцах или в цехах, да и попавший на дежурство имел кучу дел по своему заведению. Обычно он перебирался на плавучую казарму после отбоя всех работ и ужина, когда начиналось увольнение в город.

В описываемый день, непосредственно перед ужином, ко мне подошел машинист самостоятельного управления Злыднев и спросил:

— Господин мичман, вы сегодня дежурите на «Диане»?

— Кажется, да! — ответил я, не придав вопросу никакого значения.

Буквально через полчаса, уступая Алдайскому дорогу в коридоре Дома командиров, я услышал резкое:

— Ревизор! Вы сегодня дежурите на «Диане»?

— Так точно!

— Чтобы все было в порядке! Лично приду проверить!

— Есть!

Старший офицер скрылся в одном из кабинетов, а я остался истуканом с не очень умным видом. Происходило что-то непонятное.

Дело в том, что с того дня, как в марте Клаша убрал Алдайского с пути демонстрантов, последний считал себя уязвленным, а авторитет свой подорванным со стороны начальства. Поэтому он демонстративно никогда с той поры не поднимался на «Диану», предоставив ее заботам старших офицеров других миноносцев, коменданта лейтенанта Мологова и дежурных. Очевидно, он выжидал какого-либо чрезвычайного про-

---

<sup>1</sup> Ревизором в старом флоте называлась должность помощника командира по хозяйству.



исшествия, с тем чтобы явиться в роли спасителя-жандарма, навести в два счета порядок и тем самым доказать Клаше, что без него обойтись нельзя.

К его досаде, никаких особых скандалов или происшествий на «Диане» не случилось. Даже наоборот. С тех пор, как старшой прекратил свои внезапные налеты в трюмы, твиндеки, гальюны и камбуз с щедрой раздачей нарядов, «без берега» (помимо густого мата как неизбежного приложения), на плавучей казарме, бесспорно, стало покойнее, тише и даже чище. Это была естественная реакция сознательных людей, обладавших обостренным чувством собственного достоинства, которого за ними до того не признавали.

Но все это поздние рассуждения бывшего молодого мичмана. А в тот момент сразу же выплыл в памяти аналогичный вопрос машиниста Злыднева, конфликт на трапе, ликвидация бульдога, какое-то тягостное настроение у офицеров и непривычная замкнутость команды.

Перед уходом на «Диану», разыскивая старшего лейтенанта Эмме на миноносце и в береговой кают-компании, я попутно удостоверился в том, что не в пример другим дням подавляющее число офицеров уже поторопилось разъехаться по домам или в Ревель.

Значит, действительно что-то готовилось, и вряд ли приятное!

Но что?

#### 4

Поднявшись на спардек, я по традиции пошел здороваться со старшим помощником капитана «Дианы» И. Будановым, грубым и желчным «алешкинским» моряком<sup>1</sup>, давно выплавившим ценз, но остававшимся в помощниках из-за отсутствия капитанских вакансий. Еще одна «жертва» мировой войны и революции.

Его прямое начальство, дипломированный капитан дальнего плавания, барственный Чага, на судне появлялся очень редко, жил в Ревеле и, как говорили, занимался коммерческими операциями. Конечно, не для РОПиТа, а для себя.

Судовая администрация «Дианы» прозябала.

Живя оторванно от дома и семей, в полном безделье, люди перессорились и иногда дрались, как пауки в банке, безмолвно, чтобы не привлекать внимания военных матросов; обычно дрались в темноте и на спардеке, куда матросам не разрешалось подниматься.

Характерно, что все они панически боялись и ненавидели своих навязанных войной пассажиров и, несмотря на то, что ни один из них ни разу не пострадал от матросов с миноносцев, считали последних «убийцами» и «зверьями». Об этом почти каждый вечер, за чаем театральным шепотом рассказывал Иван Буданов. Но если вы просили привести примеры или требовали доказательств, то неизменно получали такой ответ:

— Из Одессы вчера письмо получил! Факт!

Бывали вариации, например: «Из Одессы надежный человек приехал, «третий»<sup>2</sup> с «Паллады» — дерьмо человек, но своими глазами видел!..»

Оставалось неясным, каким образом разрезание на куски флотских офицеров, обычно в рассказах происходившее в Севастополе, в котором еще командовал Колчак, — каким образом оно видно было из Одессы? Не затруднял себя Буданов разрешением подобных противоречий и тогда, когда проклинал почту за то, что «по полгода куда-то деваает письма из дому!..», ту самую почту, которая почти ежедневно доставляла драматические новости с Большого Фонтана, Люстдорфа или из Алешек.

<sup>1</sup> Алешки — уездный город на Днепре, Херсонской губернии, откуда по давней традиции вся молодежь уходила в торговый флот.

<sup>2</sup> Третий помощник капитана.

«Почта» о зверствах матросов действовала безукоризненно, часто обгоняя события, а если событий не было, все равно пунктуально сообщала о них, не стесняясь расстояниями.

И сегодня, как всегда, я приготовился выслушать очередную порцию новостей с Черного моря, но неожиданно был прижат колоссальной фигурой старшего помощника к рубочной двери, и из-под черных тараканьих усов полилось вместе с перегаром:

— Ну вот, мне не верили! А теперь что? Пса-то прикончили? Я что всегда говорил? А?

— Помилуйте! Да вы сами этого пса ненавидели и боялись!

— Это-то верно, пес был действительно сволочной! А вы мне скажите, что теперь будет!..

Так! Значит, и на спардеке чего-то ожидали.

Заглянув для проформы в комингсы люков всех четырех трюмов, я потребовал в дежурную каюту фельдфебелей со списками увольняемых. Это было чисто условным жестом, который никто не решался отменить, хотя многие уходили, не отмечаясь и без увольнительных знаков, то «по артельному делу», то «по комитетским поручениям», часто вымышленным. Все это знали и, как бы по негласному сговору, смотрели на это сквозь пальцы, особенно с тех пор, как Алдайский прекратил свои внезапные ночные проверки.

К чести моряков должен сказать, что, как бы ни ловчились некоторые на танцульки в Копли или на «ситцевую» и когда бы ни возвращались на «Диану», утром по дудке «на разводку» выходили почти все, и поэтому достройка миноносцев почти не страдала от негласных льгот, введенных явочным порядком после Февральской революции.

Что касается внешнего вида, то все входящие в город одевались безукоризненно, даже с известной долей шегольства, причем ни непомерных клешей, получивших распространение на флоте позже, ни ленточек, наращенных до талии, наши не любили.

Вообще, мне повезло — офицерскую службу я начинал с исключительно хорошей командой. При формировании экипажей 13-го дивизиона новых эскадренных миноносцев, в 1916 году, на завод были переведены командиры кораблей, офицеры, почти все унтер-офицеры и лучшие специалисты матросы из знаменитого Полудивизиона<sup>1</sup> минной дивизии.

Это были сплоченные коллективы людей, долго плававших совместно и воевавших не менее двух лет. «Добавленных со стороны» было относительно немного, тем более что в период описываемых событий эсминцы, стоявшие на заводе, еще не были полностью укомплектованы. В частности, из офицеров на «Изяславе» новичками были только двое — трюмный механик Сульбацкий и я в качестве ревизора и второго минера.

Самым смущающим на дежурстве по «Диане» было «при сем присутствовать» во время усмирения драчуна, возвратившегося с берега пьяным, что было относительно редко, и при страстных политических диспутах, которые, наоборот, вспыхивали очень часто. Особенно громко и ожесточенно протекали споры с анархистствующими матросами, которые клялись Кропоткиным, хотя никогда его не читали.

Не менее ожесточенными, но более серьезными были споры небольшой группы большевиков с меньшевиками и особенно с эсерами. Засилье последних в комитетах, численное превосходство, особенно за время стоянки в Ревеле (несравнимом в этом отношении с Гельсингфорсом и Кронштадтом), создавало внешнее впечатление сплоченности и единодушия эсеровских рядов и их решающего влияния на команды. Фактически дело обстояло далеко не так, но я еще не умел разбираться в сложной политической обстановке.

<sup>1</sup> «Полудивизионом» называлось соединение больших угольных миноносцев типа «Пограничник», которые отличились в нескольких операциях против германского флота в 1914—1916 годах.

Когда, «при сем присутствуя», я со страхом в душе по молодости лет сунулся усмирять буяна, меня вовремя остановил — оттер и благополучно оттеснил в каюту — дневальный по изяславскому трюму, старший комендор Иван Капранов.

— Не извольте беспокоиться, господин мичман. Сегодня я дневальный, это моя забота. Урезоним, тогда доложу!

Позже, когда шум утих, он действительно пришел в каюту и, не садясь, несмотря на приглашение, очень спокойно и деликатно подбирая выражения, чтобы не задеть мичманского самолюбия, дал понять:

что вопросы морального порядка (выпивка, буянство, нечестный поступок, пропажа вещей и так далее) команда считает своим, семейным или артельным, делом и что в такие дела мне лучше совсем не соваться;

что осматривать помещения, подтягивать вахту, проверять работу «оно, конечно, следует», но... только у своей команды, то есть у изяславцев, что касается других миноносцев, скажем «Автроила» или «Прямислава», то лучше это предоставлять их офицерам, а то от «чужой» команды «можно нарваться на неприятности».

Приняв эти нормы обычного права, установившиеся на «Диане», к сведению, я в следующие дежурства занимался приемкой и передачей административных телефонограмм, чтением книг и тем, что пытался мирить старшего помощника капитана с парходным механиком, с которыми волей-неволей приходилось пить вечерний чай. Затем, не обращая внимания на страшный шум «отдыхающих», обходил жилые трюмы и твиндеки, главным образом для проверки пожарной безопасности и температуры помещений, — судовая администрация, оставшаяся на «Диане» ст РОПиТа, как огня, боялась матросов и в их помещения не показывала носа, хотя, конечно, несла ответственность за живучесть парохода и за его отопление.

Первое время немного грызла совесть — ведь в старой инструкции, висевшей на переборке каюты еще с 1915 года, стояло столько параграфов («Дежурный офицер обязан...»), что не хватило бы двадцати четырех часов в сутки, чтобы все их выполнить. Но постепенно привык, так как подопечные отлично самоуправлялись без посторонней помощи.

Кроме того, сохранялось ритуальное «снятие пробы» (если не делал этого кто-либо из командиров миноносцев) и заранее известное «добро!» на заранее известные вопросы: «Разрешите давать койки брать?», «Разрешите гасить свет?» и так далее...

Правда, с каждым месяцем этих «разрешите» оставалось все меньше.

Любое политическое событие в Ревеле или Гельсингфорсе, а особенно в Кронштадте и в Питере, получало живой и темпераментный отклик в трюмах «Дианы». И вскоре я убедился, что в этих случаях не только я, но и другие, более зрелые офицеры оказывались хуже информированными. Еще более печально, если не позорно, было то, что большинство матросов-активистов, особенно из бывших рабочих, лучше разбиралось в бурных политических перипетиях тех дней, чем их командиры с высшим образованием, за исключением одиночек, таких, как лейтенант Мологов.

Но пора возвратиться к последнему происшествию памятного дня.

Не успел я устроиться поудобнее в кожаном кресле каюты первого класса, служащей «дежуркой», с книгой в руке и подсознательно отметить, что почему-то нет обычного грохота костяшек «козла», как одновременно с резким стуком в дверь и не ожидая разрешения в нее ввалилось пять или шесть человек.

Хозяин правой турбины, старший унтер-офицер Злыднев, довольно бесцеремонно, без обращения, начал:

— Так вот что, мичман! До особого сигнала из каюты не выходить!.. Но тотчас был перебит остальными, очевидно считавшими, что

Злыднев переборщил своим тоном. Желая смягчить первое впечатление, все заговорили дружеским хором, чуть ли не ласково, но смысл оставался тот же.

Я встал, начал застегивать португую (наган оставался лежать на столе). Вид у меня, вероятно, был нахохленный, обиженный. Но суть была не в обиде. Важнее, конечно, было то, что я ничего не понимал.

Первая мысль — арест. Но нагана не требуют. Тогда почему нельзя выходить, если я дежурный и отвечаю за корабль?

Делегаты или парламентареры так же быстро исчезли, как и пришли.

Телефон оказался предусмотрительно отключенным.

Изредка постукивали гидравлические удары в трубопроводах парового отопления, и где-то за переборкой скреблись крысы. Все это подчеркивало абсолютно непривычную и, казалось, зловещую тишину.

Часы показывали двадцать один или двадцать два — обычное время прошлых обходов плавучей казармы Алдайским.

При проверке дверь каюты оказалась открытой. В коридоре — никого. По-прежнему на столе лежал наган в качестве пресс-папье, а с переборки, не реагируя на происходящее, смотрел адмирал Макаров с ясным и светлым лицом. Почему-то смущал темный прямоугольник, оставшийся после отвинченного и выброшенного портрета неизвестного адмирала или одного из директоров РОПиТа, может быть Николая Второго.

Донимали мучительные сомнения и упреки самому себе: что я должен делать? В чем мой долг? Не трусость ли это? Почему подчиняюсь и не выхожу?

Но если затевается что-либо преступное, то вряд ли оставили бы оружие и не заперли каюту!

Наконец, этот отеческий тон Капанова, которому я верил:

— Только не горячитесь, мичман! Все будет в порядке.

Так и хочется сейчас написать, что я метался по каюте, как тигр в клетке... Но меньше всего это походило бы на правду: клетка была открыта, и я не метался, а сидел, глубоко понурясь, в кресле, и, конечно, этот растерянный, напряженно к чему-то прислушивавшийся человек меньше всего мог напоминать тигра.

Понадобилось еще несколько передрыг, чтобы я понял наконец смысл и причины всей глубины того мучительного одиночества и беспомощности, которые были неизбежны для человека, который от одних уже отстал, а к другим хотя и пристал, но не весь без остатка. В то исключительное время никто не мог и не имел права оставаться только наблюдателем исторических событий или ограничиваться честным исполнением служебных обязанностей. А в данный момент происходило «нарушение распорядка дня на плавучей казарме строящихся судов завода акционерного общества Беккер и К° в Ревеле».

Когда я окончательно осудил себя как труса и как офицера, недостойного служить в 13-м дивизионе эсминцев, послышался лязг цепочек трап-талей и стук о борт длинного, двухъярусного трапа, как бывало всегда, когда по нему поднималось сразу несколько человек. Но не успел я взять фуражку и наган, как в каюту просунулась голова старшего командора Капанова.

Очевидно подозревая, что делается у меня на душе, он пришел и успокоительно сказал:

— Ну вот, все в порядке!

Еще ничего не понимая и стараясь как-то сохранить позу начальника, я не рискнул его спросить, что же «в порядке», и твердым тоном сказал:

— Прикажете исправить линию, телефон не работает!

— Это можно, — умиротворяюще ответил Капанов и прикрыл за собой дверь.

Через десяток минут привычный голос с заводского коммутатора сообщил, что линия в исправности, но звонить куда-либо я не собирался.

К этому же времени оживились привычные шумы во всех трюмах и послышался грохот ботинок по деревянным трапам, безошибочно означавший путешествие дневальных на камбуз за кипятком, хотя время вечернего чая давно было пропущено.

Кроме того, пушечный грохот костяшек, бравурная импровизация на баяне и необычно громкие голоса и хохот создавали впечатление какого-то непонятного, но несомненного ликования.

Мне не спалось и не читалось. И не потому, что мешал шум, а потому, что одолевали всякие сомнения и мрачные мысли.

Наутро, после разводки команд на работу, идя с докладом о сдаче дежурства, я вел себя, как преступник, который мучительно старается узнать, что стало известно о его вчерашнем «деле». Но все шло как всегда. Только вместо Алдайского доклад о сдаче дежурства принял штурман Игорь Михайлович де Кампо Сципион, оговорив, что он в данном случае фигура случайная, а что старшим офицером, наверное, будет Виктор Евгеньевич Эмме<sup>1</sup>. На мое недоумение флаг-офицер Швеллева, Дима Иконников<sup>2</sup>, стал меня поддразнивать:

— Ревизорчик! Да вы на своей «Диане» проспали все новости! Не слышали? Алдайский подал рапорт о болезни и просил списать его с корабля! Как вам это нравится?

— А... он... действительно болен?

— Здоров как бык! Просто решил с нами расстаться... Говорят, вчера вечером у него произошел крупный разговор с командой, вот он и решил нас презреть!

Хотя это известие и не разрешало всех недоуменных вопросов, которые томили душу, все же я почувствовал колоссальное облегчение и, забравшись в каюту на миноносце, заснул мертвым сном, несмотря на топот, лязг, крики такелажников и даже дробь перфораторов, что-то клепавших на корпусе соседнего корабля.

Днем, когда я проснулся, самым важным для меня было то, что Алдайского у нас больше нет.

С необычайной оперативностью, как это потом выяснилось, при помощи телефонограммы, переданной из Гельсингфорса, штаб флота оформил приказом перевод его в Ботнический залив, а сам он рано утром отбыл в Ревель прямо к отходу «Ермака», который должен был идти в Гельсингфорс. Из рассказов вестовых нетрудно было догадаться, что Алдайский все время находился под неусыпным надзором изяславцев, даже на причале. Не афишируя своих чувств к отъезжающему и держась в отдалении, его провожал своеобразный караул из тех, кто не мог забыть тумачков, матерщины и разодранных бульдогом штанов.

## 5

За обедом место старшего офицера пустовало и, как принято в отношении покойников, о нем старались не упоминать. Только один Клаша разговаривал громко, за всех грубо и цинично острил и казался довольным, как человек, которому удался трудный, но явно ловкий ход.

Доволен был не только Клаша, но и все остальные, хотя, вероятно, по разным мотивам.

Слишком много нервозности и напряжения вносил Алдайский во взаимоотношения с командой, и никто не знал, когда и чем это кончится. Теперь все с облегчением вздохнули.

Конечно, традиционного прощания с командой никто и не ожидал. Но то, что Алдайский не попрощался даже с офицерами, вызвало удивле-

<sup>1</sup> Об этих офицерах см. дальше.

<sup>2</sup> Д. Н. Иконников — ныне на пенсии, инженер-капитан 1-го ранга в отставке, много сделавший для Военно-Морского Флота как специалист по электронавигационным приборам.

ние и пересуды. Наконец некоторую ясность внес вестовой Клаши — Селиванов (который за общим столом прислуживал в белых перчатках только своему патрону). На чье-то предположение о том, что Алдайский, наверное, пойдет «хотя бы сдать дела», неожиданно последовала реплика: «Они-с еще утром рано отбыли на «Ермак!» — за что Селиванов был благословлен таким взглядом Клаши, что чуть не выронил блюда.

— Да, кстати, господа! Владимир Алексеевич получил новое назначение... в распоряжение начальника обороны Ботнического залива. Я уже созвонился с «Кречетом»<sup>1</sup>. Учитывая обстановку... я говорю... учитывая обстановку в Ботническом заливе, я разрешил ему срочно отбыть к новому месту службы. Здесь же впредь до окончательного решения вопроса, по представлению Владимира Константиновича, временное исполнение обязанностей старшего офицера возьмет на себя Виктор Евгеньевич<sup>2</sup>. Ну, а теперь довольно служебных разговоров. Может быть, кто-нибудь из мичманов расскажет еврейский анекдот?

Желающих не нашлось, и обед быстро и безмолвно закончился.

Пожалуй, отвратительнее всех чувствовал себя я: толком ничего не знаю, а должен знать как дежурный, помню только, как был доволен, что все оказались живы и здоровы и что, следовательно, не стал хотя бы и невольным пособником какой-либо расправы.

Клаша после обеда вызвал меня в кабинет и, стоя грозной горой за большим шведским бюро, строго спросил:

— Когда вы последний раз видели Владимира Алексеевича?

— Вчера днем, на стенке, когда команда собиралась на демонстрацию!

— А на вашем дежурстве он не был на «Диане»?

— Никак нет! Я его не видел... Могу я спросить, господин капитан 1-го ранга...

— Вы ничего не должны спрашивать! Можете идти!

Найдя В. Е. Эмме на миноносце, я отвел его в сторону и, сбиваясь и волнуясь, рассказал все, что произошло накануне, заявив, что меня мучит мое поведение. Что я не выполнил инструкции, подчинился матросам и так далее — не есть ли это нарушение долга? Может, мне подать рапорт и просить списать с корабля?

— Нет, ревизор! В данном случае вы действовали вполне благо разумно. Никакого рапорта подавать не надо. Забудьте об этом и о вчерашнем вечере. А что касается долга... то какого долга? Перед кем? В такой обстановке, которая создана революцией и в которой старые инструкции быстро устаревают, слушайте свою совесть...

Понадобилось еще немало времени и несколько тяжелых жизненных испытаний, пока я понял, что апелляция к личной совести далеко не достаточно, чтобы идти по верному пути и потом не раскаиваться в своих поступках.

Несколько ближайших дней скоропалительное исчезновение старшего офицера еще служило предметом коротких разговоров, особенно среди офицеров других кораблей. Больше — в вопросительной форме, так как никто толком ничего не понимал. Впрочем, на «Диане» многие знали, но молчали. Из офицеров, очевидно, больше всех знал Клаша, которому пострадавший успел излить свою душу, но и он не желал распространяться об этом.

## 6

Спустя два с половиной года, сидя на штабеле бревен, уложенных на Усть-Рогатке в Кронштадте, как-то разговорились, вспоминая прошлое, несколько изяславцев. Сборище получилось импровизированное. Комен-

<sup>1</sup> «Кречет» — штабное судно, на котором помещались командующий и штаб Балтийского флота.

<sup>2</sup> Обращение по имени и отчеству было традиционным в русском флоте с давних времен. Виктор Евгеньевич Эмме — старший лейтенант, старший минер «Изяслава».

дор Тузов, теперь служивший в составе ДОТа<sup>1</sup> на знаменитой подводной лодке «Пантера», вместе с нашим бывшим штурманом Димой Иконниковым пришел навестить своего «годка» — старшину комендора Капанова, с которым мы летом 1919 года служили на сторожевом корабле «Кобчик». С минуты на минуту ожидалось появление английских самолетов, которые одно время делали бомбовые налеты с такой пунктуальной периодичностью, что даже пришлось передвинуть на один час время обеда и ужина во всей Кронштадтской базе.

Капанов, зная мое отношение к Тузову, вызвал меня. Подошел еще кто-то. И вот, расположившись на стенке возле корабля с расчехленным зенитным автоматом и посматривая на небеса по разным румбам, бойцы «вспоминали минувшие дни». И только тогда я впервые узнал подробности того вечера на «Диане», после которого никто из нас уже не видел Алдайского.

Оказывается, через вестовых стало известно, что старший офицер вечером будет делать обход «Дианы». Истинной причиной обхода было убеждение Алдайского (неясно, сам ли он вбил себе в голову или кто другой надоумил), что любимый бульдог назло ему, накрытый угольным мешком, пленен командой и томится в трюмных отсеках «Дианы». Алдайский был уверен, что если при обходе нижних помещений он просвистит привычный сигнал, то пес обязательно отзовется. Неважно, чего искал он больше — любимого пса или предлога для скандала как продолжения утреннего столкновения, за которое, по его мнению, команда еще не получила «должного возмездия».

Важно то, что инициатива посещения плавучей казармы исходила от него самого.

Но команда была сыта по горло его выходками, и матросы так же единодушно, как днем они отказались выйти на работу, постановили старшего на «Диану» не пускать.

Слушая сейчас этот рассказ, я уже был не такой желторотый и сразу понял, что это было очень мудрое решение, подсказанное, конечно, не эсерами или анархистствующими, а большевиками. Помня настроение матросской массы и накал самого Алдайского, могу утверждать, что он из трюмов «Дианы» живой бы не ушел. И, конечно, не дежурный мичман, по первому году службы, с одним наганом, — даже рассудительные большевики не смогли бы его спасти от казни.

По рассказу Тузова с дополнениями Капанова, события развивались так.

Была выделена четверка абсолютно безоружных молодцов<sup>2</sup> на нижнюю площадку трапа. На случай, если бы Алдайский сумел все же прорваться, на верхней площадке стояли в резерве еще четыре солидных моряка. Но этим диспозиция, или, вернее, «боевой порядок», не ограничивалась. После нейтрализации дежурного мичмана (из деликатности надзор за мной был поручен группе, стоявшей поодаль — при выходе из коридора пассажирских кают, почему я их не заметил) в каждом трюме у трапов были поставлены «наиболее сознательные товарищи», с тем чтобы не дать вырваться наверх кому-либо из слишком темпераментных матросов и не испортить намеченной программы. Это было самым трудным: желающих «проводить», «вышвырнуть» или «приласкать» старшего офицера оказалось слишком много.

<sup>1</sup> ДОТ — сокращенное наименование объединения — Действующего отряда кораблей Балтийского флота, сформированного в Кронштадте 15 марта 1919 года.

<sup>2</sup> Мне хочется особо подчеркнуть, что люди, шедшие против бешеного человека, заведомо вооруженного револьвером, сами не взяли оружия. А оно было: наган — у вахтенного на верхней палубе «Дианы» и у вахтенных всех строящихся миноносцев; кроме того, несколько винтовок и патронов в так называемом «арсенале», которыми ведал артиллерийский квартирмейстер, выдавая их конвоирам грузов и для других надобностей. Совсем незадолго до этого наряжался салютный взвод в Ревель на похороны жертв революции.

В последующем дело обстояло так.

Через час после наступления полной темноты к борту «Дианы» стал приближаться быстрыми и твердыми шагами Алдайский.

Неизвестно, обратил ли он внимание на то, что судно было непривычно безмолвно (в это время всегда на стенке были слышны трели баяна или песни, а то и хлопки особо рьяных «козлов») и над нижней площадкой трапа не горела обязательная «переносная» лампа. Во всяком случае, не успел он заорать о замеченном беспорядке, как увидел, что проход на трап загорожен тесно стоящими фигурами.

Реплики с их стороны в ответ на окрик: «Прочь с дороги!» — были изысканно вежливыми. Больше того, несмотря на поправки, внесенные Февральской революцией в «хороший тон» для армии и флота, Алдайского, неожиданно зажатого между здоровенными молодцами, неизменно называли «ваше высокоблагородие».

— Прочь с дороги, мерзавцы! — И из правого кармана появился браунинг.

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, — говорит кто-то из матросов внятно, но тихо, мертвой хваткой сжимает запястье Алдайского и начинает выкручивать ему кисть. И другая рука его уже в тисках. Слышны только тяжелое дыхание и яростный хрип задыхающегося от злобы человека.

— Спокойно, ваше высокоблагородие! — И вдруг браунинг, стукнувшись о борт, дал прощальный всплеск в майне между «Дианой» и стенкой.

— А теперь честь имеем кланяться, ваше высокоблагородие!

При этом Алдайский был с силой развернут на сто восемьдесят градусов и выпущен из железных объятий.

Пошатываясь, как пьяный, он машинально двинулся к Дому командиров. Вдгонку раздалось тоже негромко, но значительно:

— Только не вздумайте возвращаться, ваше благородие. Следующий раз встреча... и проводы будут другими.

Алдайский бросился в кабинет Клаши. Не застав там начальника дивизиона, уже бегом ворвался к нему в коттедж, расположенный на территории завода.

Позднее Селиванов, маневрировавший между начальством и командой, доверительно рассказал, что таким Алдайский никогда не был: «Форменная истерика!»

Ни крики, ни угрозы, ни мольбы не подействовали на Клашу, который интересовался только одним: кто видел? И узнав, что никто не видел, остался очень доволен и тут же заказал ревельской службе связи срочный разговор с «Кречетом», стоявшим в Гельсингфорсе.

Почему в данном случае можно говорить о мудром расчете матросского коллектива, который не хотел кровопролития, но считал необходимым избавиться от старшего офицера? А потому, что именно такой человек, как Алдайский, не мог бы остаться служить на «Изяславе», не мог бы смотреть в глаза матросам после того, как убедился, что они оказались сильнее (и умнее) его.

Скандал с расследованием поднимать не имело смысла — не было свидетелей. В бешенстве Алдайский даже не рассмотрел как следует, кто именно выкручивал ему руки. Но даже если бы он назвал две-три фамилии, это дела не меняло. Клаша сразу понял обстановку.

Такие люди, если не умирают на месте, захлебнувшись своей ядовитой слюной, предпочитают скрыться, отойти в сторону, с тем чтобы выждать момент, когда можно будет расплатиться за все, и с лихвой. Для таких людей месть, мечта о мести становится содержанием всей жизни. И, очевидно, Алдайский выбрал второй путь. Вернее — у него не было иного пути.



Списание на берег корабельного офицера всегда считалось санкцией за какие-либо художества и поэтому — концом карьеры. А когда при этом отсылали в такие отдаленные дыры, как северные базы Ботнического залива, то обычно непосвященные спрашивали: «Спился?» или «За картишки?»

Конечно, не все офицеры, служившие в Ботнике, были врагами революции или пропойцами, но матросов «Изяслава» это мало интересовало. Списание Алдайского в Гамля-Карлебю они восприняли прежде всего как удаление его на расстояние, которое не дает ему возможности продолжать издевательства над командой. Думаю, что под влиянием все нарастающих настроений и предвидя вероятность непоправимого столкновения с неисправимым монархистом, матросы были искренне довольны, что его убрали «от греха подальше». Уверен также, что если бы, пользуясь связями, наш старший офицер попытался получить назначение в Гельсингфорс или в Петроград, то этот номер не удался бы ему и его единомышленникам и вызвал бы открытый скандал. Слишком большой накопился счет к этому человеку, который любил собак больше людей, чтобы даже в то время он мог оставаться безнаказанным.

Расчет штаба флота был верным. С глаз долой — из сердца вон.

Очень скоро об Алдайском перестали вспоминать, а затем и вовсе забыли. Подоспевшие вскоре приемные испытания корабля, переход в Моонзунд и включение в состав морских сил Рижского залива, усиленные проверки боевых расписаний, тренировки, учебные стрельбы и, наконец, боевая дозорная служба заполнили почти все время экипажа миноносца.

Но были события, которые, хотя они совершались где-то далеко, владели умами матросов «Изяслава» в значительно большей мере, чем повседневная жизнь в рядах Действующего флота.

Приезд Ленина, Апрельские тезисы, организация Центробалта, «автономия» Кронштадта, Первый съезд моряков Балтийского флота, июньское наступление на фронте, расстрел июльской демонстрации в Петрограде, арест флотских делегатов по приказу Временного правительства, VI съезд партии, подавление корниловского мятежа, оскорбительная телеграмма Керенского Балтийскому флоту и, наконец, совместная операция германских вооруженных сил (известная под названием Моонзундской) после сдачи Риги и непосредственно перед вооруженным восстанием, определившим судьбу социалистической революции, — вот неполный перечень тех главнейших событий, которые определяли как общий политический рост, так и окончательное расслоение матросской массы, а также офицерского состава корабля.

Только последние два события: сражение в Рижском заливе и Великую Октябрьскую революцию (в Гельсингфорсе) экипаж «Изяслава» увидел собственными глазами и смог принимать в них посильное участие. О предшествующих этому событиях мы узнавали с запозданием и часто в искаженном виде благодаря стараниям штаба флота и эсеровских деятелей из судового комитета. Даже флотские газеты доходили с большим запозданием, а то и вовсе пропадали по пути из Гельсингфорса в Рижский залив.

Разве в этих условиях было время вспоминать об Алдайском или его покойном бульдоге? Много новых вопросов, забот и конфликтов приносило почти каждый день. Что же касается «собачьей» должности старшего офицера, то ее не без трений и трудностей, но с большим тактом и умением выполнял Виктор Евгеньевич Эмме вплоть до того дня, когда после Октября сбежала почти половина офицеров и он стал первым выборным командиром миноносца. Хотя в этот период уже выборность командного состава отживала свой век.

## 7. Позднейшее добавление

Первоначально я не предполагал выходить за рамки того, что сохранилось в записках или в памяти относительно эпизода с Алдайским. Но, написав фамилию Эмме и вспомнив недавно прочитанные воспоминания И. И. Вахрамеева<sup>1</sup>, решил сделать небольшое отступление, так как оно имеет прямое касательство к теме и еще на одном примере показывает отношение матросов к своим офицерам в тот период.

И. И. Вахрамеев прав. Действительно офицеров немцев не любили, если не сказать выразительнее.

Благодарить за это прежде всего нужно было Брауншвейгские, Ангальт-Цербстские, Гессенские и прочие дома; еще со времен Бирона поставляли они в Россию цариц, привыкших опираться на гвардию и флот, отданные на откуп остзейским баронам.

Конечно, не все офицеры с немецкими фамилиями были подлецами, а некоторые истинно русские офицеры, вроде Алдайского, превосходили любого немца в ненависти и презрении к матросам.

Нельзя забывать, что этот же Балтийский флот своей высокой выучкой и боевой готовностью, в которых на своей шкуре не один раз убеждался флот кайзеровской Германии, многим был обязан адмиралу Н. О. Эссену<sup>2</sup>, замечательному моряку и патриоту, герою русско-японской войны, который в казенном списке Адмиралтейства числился как Николай Оттович фон-Эссен<sup>3</sup>.

Еще больше Советский флот обязан долголетней самоотверженной и неутомимой деятельностью Льва Михайловича Галлера, в том же списке значившегося как фон-Галлер, что не помешало ему с Февральских дней 1917 года перейти на сторону народа, получить первый орден Красного Знамени за операцию по подавлению контрреволюционного мятежа на Красной Горке, а позже все свои знания, опыт и силы отдавать Коммунистической партии, членом которой он стал, имея поручительства от бывших матросов.

В. Е. Эмме — собранный и подтянутый, однако без тени высокомерия или официальности, атлетического склада блондин — был малоразговорчив, но доступен и прост в обращении со всеми людьми независимо от рангов.

Он и до революции уважал в матросе «главный двигатель на корабле» (выражение, приписываемое историками Нахимову).

Требовательный по службе и даже немного педантичный, В. Е. Эмме не носил красных бантов и никогда не заговаривал с матросами только для того, чтобы «найти общий язык». Кроме того, он целиком отдавал себя кораблю и в «политику не вмешивался», что вряд ли можно было записать ему в приход в 1918 году. И однако, спокойный, чуть медлительный в жестах и словах, он пользовался исключительным авторитетом у команды как справедливый начальник, очень квалифицированный специалист и заслуженный боевой командир. Но самое главное заключалось в том, что он был человеком, которому после революции не пришлось ни в чем изменять свое отношение к матросам.

Значительно позже, причем не от него самого, а от старых соплавателей по Полудивизиону, я узнал о случае, который произошел на «Генерале Кондратенко» во время скрытой заградительной операции в южной части Балтийского моря в 1915 году.

<sup>1</sup> См. газету «Советский флот» № 83 от 7 апреля 1957 г. Статья И. И. Вахрамеева «По мандату Ленина».

<sup>2</sup> См. о нем: БСЭ, 2-е изд., т. 49, стр. 188.

<sup>3</sup> «Список личного состава судов флота...». Изд. Статистического отдела Главного морского штаба. Петроград. 1916.

Постановка мин заканчивалась, когда от слишком усердного толчка одна из последних мин выпала из своего якоря и свалилась за корму так неудачно, что якорь остался на рельсах, а шаровая часть мины, удерживаемая тросом (минрепом), буксировалась в струе миноносца.

Кто-то, сообразив, что скоро сахар в предохранителе растает и мина делается опасной, крикнул: «Сахар!» — и бросился на нос корабля. Панический порыв увлек остальных. На корме остались Эмме и минный унтер-офицер с подручным кочегаром.

Используя свою атлетическую силу, Эмме проволоком якорь до среза кормы и столкнул его в воду. Но оказалось, что минреп зацепился за какой-то обушок, приклепанный к палубе. Теперь и мина и якорь — оба буксировались за кормой, причем из-за тяжести якоря и плавучести самой мины трос постепенно пересучивался, подтаскивая к кораблю мину с зарядом в четыре пуда тринитротолуола, с растаявшим сахаром в предохранителе.

Все это рассказывается долго, а на самом деле исчислялось секундами.

Выглядывавшие из-за носовой рубки и первой дымовой трубы видели, как Эмме пытался перерубить трос топором<sup>1</sup>, когда произошел наконец неизбежный взрыв.

Корму подбросило. За ней встал высокий столб мутной воды, и, хотя корабль почти не пострадал — видимо, центр взрыва пришелся в двух-трех метрах от кормы, — машины встали.

Унтер-офицера и кочегара выбросило взрывом за борт или смыло водой, а Эмме, отброшенный на несколько саженей назад, всей спиной был как бы припечатан к кормовой рубке, но, прежде чем упасть и потерять сознание, напряг последние силы и выбросил за борт большую деревянную сходню, оказавшуюся под рубкой, на которой и спаслись упавшие, — сам он этого уже не видел.

Вся спина Эмме представляла собой один сплошной кровоподтек. По счастью, не повредило голову. Когда его с трудом привели в сознание, первое, что спросил этот офицер, было: «Где люди?»

Такие случаи матросы не забывают.

Когда вспоминаешь с благодарностью В. Е. Эмме как своего первого служебного наставника, память невольно противопоставляет ему другую фигуру — трюмного механика, который понимал революционную обстановку по-своему, поэтому ходил небритым, в нечищенной шинели, застегнутой только на одну пуговицу («расхристанным» — по баковой терминологии). Всегда держал в руке кусок масляной обстрижки, будто только что из-под котла вылез. Имея в кармане спички и как будто невзначай переходя на ты, частенько обращался к матросам: «А ну, дай прикурить!»

Проходивший мимо Эмме говорил матросу: «Поднимите окурок» — и тот поднимал, затем в той же интонации Эмме обращался к трюмному: «Застегнитесь» — и тот начинал застегиваться, бурча на безопасном расстоянии: «Тоже мне — фон-барон! Командует!»

Но получивший замечание матрос неожиданно для механика спокойно отзывался: «А что? Он прав. Службу исполнять надо. А нашего брата не подтяни, такое разведут, что потом смотреть тошно будет!»

Присматриваясь к подобным сценам, я понимал тягу к порядку большинства матросов, но не мог понять, почему механику — не из дворян, призванному после окончания «мореходки», не принадлежащему к офицерской касте, которому ничего не угрожало, — почему ему надо было так лебезить? Причем, самое главное, это ему абсолютно не помогало и он никаким авторитетом даже у своих трюмных не пользовался.

<sup>1</sup> По соответствующим правилам минной службы (ПМС) при постановке мин на посту сбрасывания полагается иметь наготове топор.

Казалось бы, история с Алдайским давно закончилась и больше о ней нечего было вспоминать. Между тем это не так. Алдайский сам еще раз напомнил изяславцам о своей персоне.

К концу 1917 года внимание, интересы и помыслы всех балтийцев были как бы раздвоены между диаметрально противоположными направлениями.

На восток: к Ленину, к Смольному и бурлящему Петрограду, в котором шла борьба с левыми эсерами и меньшевиками, связанными с контрреволюционными заговорами, организуемыми иностранными посольствами, что становилось все явственнее; разгон Учредительного собрания и вслед за тем не сразу понятая необходимость заключения Брестского мира, некоторые статьи которого прямо касались участи Балтийского флота.

На запад (вернее, юго-запад): пойдут ли немцы на прорыв наших позиций в Финском заливе с одновременным ударом по суше, через Двинск на Псков, с тем чтобы задушить пролетарскую революцию в ее колыбели? Были сведения и факты и за и против. Моряки, дравшиеся в исторические дни в Питере, ездившие на подмогу в Москву, на Украину, даже под Оренбург, возвратившись (к сожалению, возвращались далеко не все), записывались на фронт под Нарву, в отряды П. Дыбенко.

Особое внимание балтийцев было привлечено к германскому флоту, корабли которого появлялись у Аландских островов и дымили на пределе видимости постов СНИС<sup>1</sup>. Обусловливалось это внимание тем, что разведка, раньше бывшая в руках Генмора<sup>2</sup>, теперь работала отвратительно. Вернее, ее не было. Зато было много слухов. Толком мы почти ничего не знали о противнике, пока он сам не появлялся на горизонте.

Конечно, эта раздвоенность была условной, помянутые события находились во взаимной связи и влияли друг на друга, но равнение на Петроград являлось определяющим, причем не только для нас, а и для всей страны. Со стороны Запада надо было защищать то, что было завоено в столице, — социалистическую революцию.

Но как-то исподволь, сперва слухами, затем упорными слухами и недвусмысленными статьями и информацией в финских социал-демократических газетах начало выявляться третье — северное направление.

Наконец стало совершенно ясно, что в северных уездах Финляндии организовалась своего рода финская Вандея, куда с ноября пробивались немецкие пароходы с оружием. То, что сначала казалось разрозненными обструкциями отдельных зажиточных хуторян, вскоре предстало как тщательно и давно подготовленное контрреволюционное, националистическое восстание, субсидируемое не только из Германии и Швеции, но и из подпольного Гельсингфорса, где власть была в руках народного, рабочего революционного комитета. Поддерживаемое германским командованием, это восстание обозначилось прерывистым, но совершенно отчетливым фронтом, отдельные участки которого были нацелены прямо на юг, на рабочие города, от Або на западе до Выборга на востоке. Причем главные силы явно направлялись на Гельсингфорс, а вторые по важности стремились отрезать у Выборга всю южную часть Финляндии от Петрограда.

В портовом городе Вааса, где были развернуты ставка и штаб белой гвардии, возглавляемой генералом царской свиты Маннергеймом, в феврале 1918 года с немецких кораблей высадились «финские егеря» — добровольцы, сражавшиеся против России в рядах германской армии. Те-

<sup>1</sup> СНИС — Служба наблюдения и связи флота.

<sup>2</sup> Сокращенное наименование Морского генерального штаба.

перь они сделались основным костяком и лейб-гвардией финской контр-революции<sup>1</sup>.

С невероятной жестокостью подавляя сопротивление финских рабочих, разоряя и часто убивая русских солдат, преимущественно ополченцев, стоявших небольшими гарнизонами недалеко от шведско-финской границы и на побережье, белофинны медленно продвигались на юг, все свои действия согласовывая с германским командованием, в феврале начавшим генеральное наступление на Ревель и на Псков. После Аландского архипелага немцы высадили десант в Ганге и, перебросив один полк на ледоколах из Ревеля в Ловизу, стремились захватить Балтийский флот, сосредоточенный в Гельсингфорсе; причем захватить разоруженным, без единого выстрела, используя угрозы, провокации, фактическое окружение, скованность льдом, похищение двух лучших ледоколов и казуистическое истолкование статьи Брест-Литовского мирного договора.

Наступили исторические дни беспримерного Ледового похода, первой стратегической операции Балтийского флота, предпринятой по заданию правительства молодой Российской Федерации, возглавляемого Лениным, с целью выйти из окружения в Ревеле, а затем и в Гельсингфорсе и спасти флот для социалистической Родины путем передислоцирования его на базы восточной части Финского залива.

С невероятными трудностями готовились мы, как и все балтийцы, к выходу из Гельсингфорса. Машины находились в разобранном на зимний ремонт виде, не хватало нефти, масла и боезапаса... Но главной трудностью был колоссальный некомплект экипажей, так как, помимо демобилизации старших возрастов и отъезда добровольцев для борьбы с контрреволюцией на суше, в последнее время все труднее было удерживать товарищей, стремившихся помочь финским рабочим.

И все же, несмотря на нехватку людей, ледоколов, материалов и неоконченную сборку одной турбины, «Изяслав» вышел в составе последнего эшелона десятого апреля, когда в районе Седрахамна свистели предательские пули белофиннов, а на окраинах города шли упорные бои на баррикадах.

Дальше будет рассказано, как тихо скрылся Сципион, как Петров заперся в каюте и «проспал революцию». Клаша — тот ушел почти открыто, но не мог обойтись без театрального жеста и, конечно, ушел в сопровождении своего неизменного флаг-капитана Леонтьева, который не смел иметь личное мнение. Кораблем командовал В. Е. Эмме, механики не вылезали из машин, штурманил Дима Иконников, а мне, несмотря на молодость лет, доверили исполнять обязанности старшего офицера. Не прошло еще и полугода после Октябрьской революции, но все мы были уже другими людьми. Воистину, как прежде полагалось во время осады крепостей, каждый прожитый месяц можно было считать за год.

Что касается команды, то это были те же отличные моряки со старого Полудивизиона, еще более закаленные моонзундскими боями, но в то же время и не те, что еще недавно не умели давать отпор Земскову и его компании. Активные участники вооруженного восстания в Гельсингфорсе и частично в Петрограде, они уже в подавляющем большинстве сделали для себя окончательный выбор партии, и эта партия привела их к победе в Октябрьские дни, а сейчас руководила решающей операцией, от успеха которой зависела судьба военного флота первого пролетарского государства.

<sup>1</sup> Последняя настолько обнаглела, что открыто делала предложения о покупке русских кораблей. В то же время с немецких подводных лодок высаживались эмиссары и выгружались партии револьверов и ручных гранат уже не в Ботнике, то есть в тылу белых, а в шхерах Финского залива, то есть в тылу у красных.

9

Холодный, пасмурный день, но с большой горизонтальной видимостью. Мы идем в хвосте колонны, движущейся в сторону Кронштадта.

С утра на зюйд-весте, в направлении маяка Грохара, были видны, а затем растаяли в воздухе высокие столбы дыма немецкой эскадры вице-адмирала Маурера. Только недавно, облетев нашу колонну, возвратился в сторону города немецкий «таубе». Этот, не в пример вчерашним, летал совсем низко, ничего не бросал, как будто пересчитывал уходящих. Поэтому и мы не стреляли.

Опять заело одну машину, так как холодильники забивались крошеным льдом.

Впереди, на ост, — бесконечная вереница силуэтов и дымов.

Оглянуться назад — пробитый фарватер, по которому прошли все корабли третьего эшелона. Из-за того, что сзади никого нет, на душе мутно.

Неожиданно после полудня показывается точка, она быстро растет и затем обгоняет нас по цельному льду — штабной корабль «Кречет», имевший ледовый пояс.

Еще через два часа, когда командир договорился с транспортом «Люси» о буксировке, нагнал нас эскадренный миноносец «Зверев», вышедший из базы чуть ли не самым последним.

— На «Изяславе»!

— Чего орешь?

— Там по вас одна душа соскучилась!

— Какая?

— Да по стенке Седрахамна как скаженный метался и все спрашивал, где «Изяслав». Когда сказали, что ушел, не верил. «Не может быть, — кричит, — у него правая машина разбросана была». Видно, знал. Здорово вас матюгал!

— Офицер?

— А кто его знает, на лбу не написано. Одет по-вольному, вроде как охотник. Только у того «охотника» белая повязка на рукаве была!

— Какой из себя?

— Коренастый, чернявый. Метался по стенке, несмотря, что пули свистали. Тут у нас один отставший с «Автроила» идет, говорит, что это ваш бывший старшой. С Ревеля помнит.

— Чего же вы этого подлеца со стенки не сняли?

— Нельзя! Еще накануне центробалтовцы и товарищ Жемчужин наказывали: вроде полный нейтралитет держать! Не поддаваться на провокации! Ни одного выстрела! Думаешь, кроме вашего подлеца, некого было стрелять? Смотреть невозможно было, что видели... А помочь не смей!

Дальнейший разговор со «Зверевым» перешел в перебранку, так как нашим очень не понравилось, что он не только обгонял «Изяслава», но и, раздвигая битый лед на фарватере, сдвинул то ли нас, то ли «Люси», из-за чего пересучились еще не закрепленные швартовы, вернее буксиры. Пришлось заводить заново.

Когда кончили, то для перекура все свободные столпились под полубаком, укрываясь от хотя и апрельского, но ледящего ветерка.

«Зверев» ушел далеко вперед и скрылся.

После длительной паузы, как бы продолжая разговор или думая вслух, обменялись репликами.

— Значит, спешил! Хотел повидать старых дружков!

— Скажи, пожалуйста, ведь ровно год прошел, а не забыл!

— Кто? Он? Да такой до конца дней своих ту ночь на «Диане» не забудет!

Пауза.

Кто-то, зубскаля, — Злыдневу:

— Не пришлось с дружкой свидеться?

— Жалею, конечно. Его можно было бы со стенки взять. Но не то терзает! Дурьи мы головы! Ведь хотели тогда послать делегатов в Гамля-Карлебу, чтобы рассказать ребятам, какого гуся им подкинули. Хотели? Решали?

— Потом остыли, забыли и бросили! А ты теперь посчитай, сколько он, наверное, людей казнил с тех пор!

Пауза.

— А сколько еще он крови прольет!

— Да...

— Это ты Земскову спасибо скажи, что шуку обратно в пруд пустили...

— А сам чего смотрел?

— А кто тогда думать мог?..

И действительно. Кто тогда мог думать, что распорядительная часть штаба флота, ведавшая перемещениями офицерского состава, настолько тесно связана с местной финской аристократией и буржуазией и так хорошо информирована о ее планах, о длительной, систематической подготовке, превратившей Норланд в базу контрреволюции и обеспечившей переброску из Гамбурга в Ваасу финских егерей для наступления на юг, возглавляемого финским националистом Маннергеймом (который, судя по фото в журналах, не расставался с аксельбантами генерала свиты Николая Второго).

Случая или совпадения быть не могло. Позже, поделившись услышанным на мостике, я узнал, что не один Алдайский был заботливо переведен на Север.

Эмме, Петров, Иконников и два-три командира, бывших на походе в качестве пассажиров, пошарив в уме, вспомнили несколько фамилий наиболее реакционно настроенных офицеров, «сосланных» в базы или на батареи Ботнического залива, с тем чтобы спасти их от матросского суда.

— Ну-ка! Давай сюда Земскова!

— А чего вам надо от Земскова?

Оказалось, что он стоит в темной глубине перекрытия полубака и молча слушает напряженный матросский разговор.

Последнее время Земсков стал более замкнутым и ходил с миной не то обиженного, не то разочарованного в ходе событий человека. Очевидно, это определялось тем, что после Октября уже не он, а товарищи Дук, Корнюшин, Марчук и другие заправляли делами судового комитета.

Несколько активистов-большевиков и «стоящих на платформе РСДРП», действуя на основе указаний Центробалта, вершили корабельными делами и вели напряженную работу, от которой зависела судьба не только «Изяслава», но и всего Балтийского флота. Но насколько заметным было еще влияние эсеров, видно из того, что Земсков продолжал оставаться членом судового комитета и ехидными репликами или туманными намеками смущал менее решительных или опытных моряков, пытавшихся высказывать наболевшее<sup>1</sup>.

От того, что он теперь называл себя левым эсером, этот честолюбивый кондуктор, пробивавшийся в «водители», конечно, не изменился. Весь его вид и поведение как бы говорили: «Еще посмотрим, чья возьмет!»

И действительно, кто из заядлых эсеров и меньшевиков в апреле 1918 года считал игру уже проигранной?<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Наиболее опасным и провокационным приемом эсеров в тот момент были разговоры о необходимости двинуться в деревню, «чтобы не опоздать к разделу земли», но, несмотря на то, что для многих этот вопрос был самым насущным, подавляющее число матросов, жертвуя личными интересами, осталось на кораблях, чтобы спасти их для государства.

<sup>2</sup> Он все же скоро проиграл, раньше многих других своих соратников по партии, и был арестован за активное участие в организации так называемого «восстания минной дивизии» на Неве, у Семяниковского и Обуховского заводов.

— Ну! Чего вам от меня надо?

— А ты скажи: постановление, чтобы послать двух из ребят в Гамля-Карлебю, принимали?

И так как Земсков молчал, то вопрошающий сам себе ответил, припечатывая ладонью в воздухе:

— Принимали! А характеристику, что враг и контрреволюционер, писали? Чтобы послать в Ботнический или как его там... комитет?

Более суровый голос Марченко резюмировал:

— И принимали и писали! И никого из людей не посылали и даже по почте не направили. Общее решение было, а ведь Земсков за председателя был!

Учитывая настроение и слабость своих позиций, Земсков явно не хотел вступать в спор и, очевидно желая сменить тему, многозначительно и пророчески сказал:

— Не туда смóтрите!

Но шум и напор на него усилились, так что ограничиться сказанным нельзя было. К тому же, забравшись за кожух вентилятора первой кочегарки, он тем самым отрезал себе отступление.

Теперь его голос был исполнен снисходительного величия и презрения:

— Подумаешь, врага нашли! Год прошел, а порванных штанов до сих пор забыть не можете?! Человек патриотом был! Ну, крутой, но и наказан поделом: сослали! (Реплика из группы: «В объятия к финским егерям сослали!» Но Земсков на нее не реагировал.) Надо поближе вокруг посмотреть, нет ли врагов!

Несмотря на то, что Земсков говорил нарочито спокойно, тихо и, как ему, вероятно, казалось, внушительно, взрыв общего негодования был сильный и громкий. Ему не давали говорить. Кто-то уже брал его «за грудки».

Казалось, что и причина первоначального спора забыта, тем более что и «Зверев» уже скрылся из виду. Но новые страстные выкрики заставили опять вернуться к Алдайскому.

— Да ты только прикинь, сколько он нашего брата пострелял, пока с финским бароном до Гельсингфорса добирался?!

— Свидетелем не был! — пытался отпарировать побелевший Земсков и, переходя в наступление: — А мало других офицеров к белым удрало? Почему их выпустили? Почему о них не говорите?

— Да ты пойми: то — удрали! Тут, конечно, наша вина есть! Но Алдайский-то к контрреволюционерам не удрал, а вы, эсеры, вроде его сами отправили. Да еще на дорогу суточные и командировочные выдали!

— Это что! Он еще от казны подъемные в размере полуторамесячного оклада получил!

— Одним словом, со всеми удобствами!

Постепенно спор начал затихать, а затем внезапно оборвался, так как из-за появления на горизонте финского ледокола «Тармо», вооруженного шестидюймовыми пушками, была пробита боевая тревога, и все разбежались по своим постам.

Надолго осталась в памяти фраза, сказанная в печальном раздумье:

— Подумать только, сколько еще крови будет зря пролито через таких вот Алдайских!

— Это факт! Ведь он, поди, только и думает, что еще с нами не считался!

И хотя я больше никогда с этим человеком не встречался, но много раз в течение 1918, 1919 и 1920 годов вынужден был невольно вспоминать о нем и ему подобных, видя дела их рук.



### Отеческое внушение

Если обратиться к одной из первых монографий, посвященных боям нашего флота за Моонзундский архипелаг осенью 1917 года<sup>1</sup>, то в ней можно найти следующее краткое описание последнего из боев 13-го дивизиона эскадренных миноносцев на Кассарском плесе, происшедшего 3(16) октября.

Итак, за три недели до Великого переворота:

«...XIII дивизион был послан из Куйвасто на Кассарский плес для наблюдения за неприятелем и воспрепятствования попыткам его высадить десант на Моон...

...Снявшись с якоря в 12 ч. 40 м., XIII дивизион в составе эск. мин. «Изяслав» (нач. дивизиона кап. I р. Шевелев), «Автроил» и «Гавриил» в 13 ч. 50 м. подошел к Раугенскому бую» (откуда у Малого зунда были обнаружены: транспорт, высаживающий десант под охраной двух малых миноносцев и восьми больших эсминцев, прикрывавших высадку.— И. И.)

«...Приказав канонеркам стрелять по транспорту... кап. I р. Шевелев с XIII дивизионом пошел на сближение с противником...»

«...В 14 ч. 14 м. с дистанции около 65 кабельтовых был открыт огонь...»

«В 14 ч. 20 м., под прикрытием неприятельского огня, XIII дивизион повернул последовательно на 8 румбов влево<sup>2</sup> и стал отходить на Ост строем уступа, отстреливаясь из кормовых орудий. Во время поворота в «Автроил» было три попадания... Были замечены наши попадания в первые два немецких миноносца».

«Отходя под огнем, «Изяслав» в 14 ч. 25 м. коснулся винтами грунта на ходу около 15 узлов. В 14 ч. 30 м. миноносцы вышли из сферы неприятельского огня».

«Изяслав» пришлось отослать в Рогекюль для осмотра водолазами его винтов, а начальник дивизиона пересел на «Автроил» и ушел в Куйвасто» (стр. 106 и 107).

Этот кратковременный (около двадцати минут), но напряженный бой с превосходящими силами немцев (три наших эсминца против восьми больших и двух малых немецких миноносцев) имел для «Изяслава» печальные последствия. Хотя прямых попаданий корабль не имел (осколками пробиты кожуха дымовых труб и надстройки, причем легко ранено несколько человек), но винты были повреждены, и один гребной вал, очевидно погнутый, стал сильно бить, сотрясая корму.

Перегрузив раненых с «Автроила» к себе на борт, мы помогли ему завести пластырь на пробоину, с чем провозились до темноты, после чего пошли (вернее, поплелись) под одной турбиной в Рогекюль (этот переход был сделан не 3(16) октября, как можно понять Косинского, а с утра 4(17) октября).

Итак, мы вышли из игры.

Однако даже этот уход оказался связанным с многими очень сильными впечатлениями, так как хотя мы уже не были непосредственными участниками последующих боев, зато были свидетелями героического выхода почти музейного «Баяна» (под флагом Бахирева) и «Гражданина» навстречу появившимся на зюйде новейшим «маркграфам» и «кайзерам», чтобы прикрыть отход остальных сил; хладнокровно рассчитанного затопления поврежденного в бою линкора «Слава», своим корпусом перекрывшего вход в фарватер, и многого другого. Это навсегда запечат-

<sup>1</sup> А. М. Косинский. Моонзундская операция Балтийского флота 1917 года. Изд. Военно-морской академии РККА Ленинград. 1928.

<sup>2</sup> Поворот был обусловлен тем, что дальше к югу глубины еще больше уменьшались, и мы рисковали вылететь на отмели, но у автора ошибка — поворот был сделан не в восемь румбов «все вдруг», иначе мы мешали бы друг другу при стрельбе прямо по корме.

лелось в памяти и оставило неизгладимый след, возможно, потому, что мы уже ничем не могли помочь, ничего не могли делать, как только смотреть и переживать каждый момент этой драмы.

Абсолютно все, кому положено и кому не положено, даже раненые австроильцы (кто не лежал), стояли на верхней палубе, на рострах, на мостиках, на прожекторных площадках... и смотрели, смотрели, не произнося ни слова, как бы запечатлевая видимое, накапливая ненависть и заноса в счет, на будущее время, как кайзеровской Германии, так и отечественной контрреволюции во главе с Керенским, сдавшей Ригу врагу, чтобы оголить берег Рижского залива, то есть фланг Петроградского направления.

Несмотря на приглушенные и отрывистые реплики, чувствовался какой-то скрытый мрачный накал всех, кто был на борту «Изяслава». Ни один человек не высказал облегчения или удовлетворения по поводу того, что нам приходится уходить в такой тяжелый, пожалуй, безнадежный момент для морских сил Рижского залива. У всех сжимались челюсти и кулаки, когда они смотрели на гибель «Славы» и на последующую подготовку к затоплению на фарватерах транспортов, и все были в смущении оттого, что «Изяслав» вынужден отходить первым.

В военных репортажах о Моонзундских боях не так уж много сказано, многое напутано и ничего не передано из того, что испытывали живые люди. А эти бои — поучительные бои на Кассарском плесе, полные драматизма последние арьергардные бои при отходе сил Рижского залива, замечательные случаи героизма как отдельных людей, так и кораблей или целых частей — заслуживают того, чтобы о них рассказать особо.

В данном случае я хочу напомнить об одном необычайном происшествии, которое произошло между 14 часами 14 минутами и 14 часами 30 минутами 3 октября 1917 года.

После поворота от противника огонь могли вести только кормовые 102-миллиметровые пушки (№№ 3, 4 и 5). С носового мостика даже наблюдение назад было затруднено из-за теплого воздуха, поднимавшегося из дымовых труб.

Получив по телефону от старшего артиллериста последние установки и приказание продолжать огонь, я запустил ручной автомат стрельбы и тотчас нажал реву, потому что дистанция быстро увеличивалась, а последние залпы, судя по всему, легли очень хорошо.

Сразу стало легче переносить вой немецких снарядов и громкие шлепки их о воду, так как теперь попытки рассмотреть в бинокль, как ложатся наши снаряды, для корректировки огня, отвлекали все внимание.

Прекратилось омерзительное чувство, очевидно, страха, которое вызывали вспученные грязные пятна на воде. Эти пятна проходили вдоль бортов, как только опадали гейзерообразные столбы воды<sup>1</sup>, поднятые близкими разрывами снарядов. Но даже далеко упавшие перелетные снаряды оставляли оспины на плесе. Это создавало впечатление огромного числа «накрытий».

Честно говоря, я ничего не видел из того, что полагалось видеть управляющему огнем; вернее, не мог отличить наших падений от австрийских или гавриильских, внезапно вспыхивавших белыми кустиками у бортов или за кормой длинных и смутных силуэтов немецких эсминцев. Но, пытаясь выдерживать темп стрельбы, я нажимал реву по отмашке рукой стоящего рядом гальванера, который, кроме наушников и эбонитового рупора на груди, держал в руках секундомер, кося одним глазом на отсчеты бесшумно тикающего автомата.

Несмотря на предохранительные шарики и вату, к этому времени все мы были почти абсолютно глухими.

<sup>1</sup> Немецкие снаряды не рвались от удара о воду (как наши), они взрывались у дна, так как имели не очень чувствительные трубки, а глубины на плесе были от 14 до 18 футов. Вот почему на воде оставались грязные круги вывороченного грунта с пеной

Не совсем ясно понимая, правильно ли действую, я по-детски радовался выкрикам торпедных электриков, смотревших на немцев в свою «панораму», кланявшихся перелетным снарядам и, захлебываясь, кричавшим мне в ухо:

— Есть! Накрыли!..

— Мачта валится! Ей-богу!

Из-за погнувшихся винтов корабль так дрожал, что невозможно было всмотреться в горизонт, не продавив себе глаз окулярами бинокля, и догадаться, есть ли попадание и чье оно.

Я уже начинал наполняться гордостью и сознанием, что все идет отлично, когда заметил на палубе артиллерийского офицера Петрова, быстро идущего от носовой части корабля к третьей пушке.

Примчался ли он из-за этого или здесь было совпадение, но пушка, задранная на большую дистанцию, молчала. Замок был открыт. Прямо против казенной части стоял второй подносчик патронов и, прижимая к груди, как ребенка, тяжелый унитарный патрон, ошарашенно глядел в пространство ничего не видящими, широко раскрытыми глазами.

Старший наводчик, продолжая поглядывать в прицельную трубу, все время подкручивал штурвал наводки, чтобы не выпустить из виду цель, временами свирепо оборачивался (и, как видно было по его губам, ругался), ожидая, когда дошлют патрон.

Но второй подносчик (заряжающий), очевидно, был в каком-то трансе. Он стоял, как статуя, мешая первому, подбежавшему уже в расчете на свою очередь, чтобы зарядить пушку.

От кормовых пушек к месту происшествия спешил старшина Капранов. Но Петров подошел раньше его и, как говорится, с налета ударил наотмашь в ухо остолбеневшего подносчика.

В наступившей в стрельбе паузе раздался хряск челюсти.

Вероятнее всего, никто этого хряска не слышал, так как все были оглушены стрельбой. Но нелепость и неожиданность нанесенного Петровым удара отозвалась в мозгу у каждого, кто был свидетелем этой сцены.

А свидетелей было слишком много.

Кроме прислуги злосчастного орудия № 3, почти рядом — высунувшиеся из машинного люка второй турбины (над которой стояла пушка); чуть подальше — две головы, выглядывающие из первой турбины; над ними — прислуга третьего торпедного аппарата (из-за малых глубин на плесе сидевшая без дела) и невдалеке — часть аварийной партии. Наконец, все «население» кормового мостика, нависавшего над средней частью палубы.

Все напряженно следившие за ходом боя и инстинктивно пригибавшиеся при перелете немецких снарядов, — абсолютно все досадливо повернулись к третьей пушке, когда она замолчала, и с явным и злым осуждением ждали конца паузы.

Нет ничего досаднее в бою, если в момент, когда вокруг падают или проносятся с нестерпимым визгом неприятельские снаряды, вдруг замолкает ваша пушка (или пулемет). Это всегда травмирует, привлекает внимание, вызывает мгновенно ощущение беспокойства, если не беспомощности. У обстрелянных бойцов это так же быстро проходит, особенно после того, как выяснится причина; но в первый момент почти невозможно не обернуться в сторону замолчавшего орудия.

Вот почему, когда Санька Петров, появившийся вдруг у замолкшей пушки, с размаху ударил подносчика, все, кто был на верхней палубе, стали свидетелями этой безобразной сцены.

Это был не тычок или подзатыльник и не боксерский выпад, а самый настоящий удар с размаху, сплеча, сделанный с большим чувством.

Многое из сказанного оформилось в сознании и было передумано значительно позже. Сейчас важно восстановить в памяти то, что произошло непосредственно после удара Петрова.

Пострадавший мгновенно вышел из транса и с какой-то лихорадочной поспешностью, дослав патрон до места, бросился за следующим, лежащим среди других у элеватора, на матах, разостланных под мостиком.

Первый наводчик, не отнимавший правого глаза от окуляра прицельной трубы, скосил левый на захлопнувшийся замок и, как бы вне связи с происходящим, продолжая подкручивать штурвал вертикальной наводки, вопросительно взглянул на меня и после ревуна с силой рванул спусковое устройство<sup>1</sup>.

Как только раздался долгожданный выстрел, слившийся с голосами остальных пушек, все как один повернули головы в сторону удалявшегося снаряда, и дальше, до конца боя, общее внимание было настолько поглощено тем, что делается у противника, что создалось впечатление, как будто у нас ничего особенного не произошло.

Петров, сложив ладони рупором, крикнул мне: «Переходите на беглый!» — и пошел в сторону носового мостика.

Минуты через две или три пришлось огонь прекратить, так как не только немецкие 88-миллиметровые сползли и падали далеко за кормой, в струях, оставляемых отходящими миноносцами 13-го дивизиона, но и изяславские 102-миллиметровые вскоре стали давать явные недолеты: немцы не рискнули нас преследовать.

Отбой сразу вызвал общее возбуждение. Повышенно громкими головами обменивались впечатлениями: как «мы накрыли концевое немца», или как «у одного грот свалился как подкошенный», а третий «запарил», и т. д.

Несмотря на то, что дивизиону пришлось отойти, что «Автроил» получил пробоины (из которых одна теперь под привальным брусом была хорошо видна, так как он шел на нашем левом траверзе и оставлял за собой нефтяной шлейф), а мы сами имели раненых и «покорябали» винты, — все же оставалось ощущение успеха, подъема, как будто после победы. Может быть, оттого, что помешали десантным транспортам противника и что дрались трое против десяти и те не посмели нас преследовать?..

Ни слова не было сказано о казусе у третьей пушки.

Надо сказать, что я с ранних лет бывал во многих переделках, но все это было не то, что я видел в тот день. Я видел, как извлекали из трюма «Автроила» и на коечном брезенте передавали к нам на борт человека, густо вымазанного с головы до пят в нефти и своей крови. А через пять минут, зайдя в кают-компанию, в которой (как всегда, по тревоге) был развернут боевой лазарет, я стал свидетелем трепанации черепа, причем на том самом столе, за которым вот уже больше года мы ежедневно обедали, ужинали и пили чай. Ничего подобного самый младший из всех офицеров на корабле раньше никогда не видел.

Очевидно, есть какой-то предел нагрузки человеческого сознания и его нервной системы новыми впечатлениями, после которого уже ничто не может ни растрогать, ни удивить. И именно так, по-видимому, произошло в данном случае.

Ничто не трогало, не волновало. Работал автоматически. К тому же сказывалась «накладка» от предшествующих боевых дней и физическое утомление: мы помогали «Автроилу» заводить пластырь на пробоину, перегружали раненых, переселяли начальника дивизиона со штабом и так провозились до темноты. Люди валились от усталости и засыпали в самых неподходящих местах и позах. Поэтому-то большая приборка и переход в Рогекюль были отложены до следующего утра.

---

<sup>1</sup> Орудия №№ 4, 5 продолжали стрелять без помех, успев сделать несколько залпов. Отделенные кормовым мостиком, они были слышны, но не видны участникам описанной сцены.

И все же сцена у третьей пушки ни на минуту не выходила из головы. От начальства было получено указание: «Обрубить водолазами загибы и заусенцы у лопастей гребных винтов. Опробовать турбины. Если эсминец не может держать эскадренный ход хотя бы 24 узла, то сразу же самостоятельно идти через Финский залив в Лапвик, после чего будет решен вопрос о доковании».

Стало ясно, что до перехода всех сил на северный берег Финского залива Шевелев хотел иметь в резерве хотя бы подбитый корабль, на случай решающего боя, в горле Финского залива, если немцы начнут генеральный прорыв на восток. Но когда начдив перешел на «Автроил», наш старший механик Жеденов, не рисквавший ему возражать, сказал: «Дай бог, если четырнадцать узлов выжмем, так как до исправления правого вала придется ходить под одной машиной».

Всем стало ясно, что мы уже не вояки и уходим совсем.

Постепенно забота о том, как «проскочить» через Финский залив, начинала оттеснять остальные мысли всего экипажа.

Никаких протестов или выкриков, жестов возмущения и т. п. после боя не было. Казалось, будто вообще у третьей пушки никакого происшествия не было. Но когда хотела этого молодость, внутреннее довольство собой после перенесенных боевых испытаний и... малодушие.

Но постепенно, с начала следующего утра, стали проявляться признаки того, что назревает какое-то продолжение.

Помимо общей замкнутости и неразговорчивости, совершенно неестественной для людей, относительно счастливо вышедших из тяжелых и рискованных боевых передраг, все матросы и офицеры двигались как-то вяло и были непривычно насуплены. Сперва это казалось следствием озабоченности предстоящим прорывом в финские шхеры. Но вот под полубаком была замечена группа так называемых анархистов, которые, тесно обступив «пострадавшего», чем-то возбужденно накачивали его. При этом сам пострадавший страшно смущался, краснел и имел вид гораздо более растерянный, чем накануне у пушки. Неприятно было и то, что при приближении кого-либо не входящего в их компанию анархисты переходили на страстный шепот или вовсе прекращали разговор.

В кают-компании все хранили мрачное, неестественное молчание и старались не смотреть друг другу в глаза.

Пасмурный, серый и сырой балтийский день; медленно тянущаяся вдоль бортов пена на поверхности свинцовой воды, скоростью перемещения напоминавшая о беспомощности раненого корабля, и дымы пожарищ на оставляемых вдали островах, уже опускающихся под горизонт, все больше и больше настраивали на мрачный лад.

Еще через час или два, когда справа по носу показался кран и крыша мастерских Рогекюля, на приказание старшего офицера закрыть аппараты чехлами один из анархо-торпедистов, став в развязную позу, истерично выкрикнул:

— А если нет? Что мне за это — по морде будет?

Почти вслед за этим раздалась дудка вахтенного: «после постановки ходи все в первую палубу на собрание!», отчего в груди как-то защемило.

Все складывалось странно и непонятно.

Казалось, ко мне лично это происшествие прямого отношения не имело. А между тем я волновался и не находил себе места, мрачно думая о каком-то страшном суде над офицерами. Пусть даже не коснется меня, пронесет мимо, но необходимость быть свидетелем безобразных сцен, а может быть, и расправы вызывала во мне протест. В то же время я отнюдь не был убежден в том, что поступок Петрова можно оставить вовсе без внимания. Где выход?

То обстоятельство, что команда постепенно переходит под влияние большевиков, казалось особенно зловещим, хотя я не мог сделать им ни

одного упрека, особенно в эти боевые дни. Но, очевидно, не зря в течение девяти месяцев работала «одесская» почта, живописуя матросские зверства, причем неизменно зверства матросов-большевиков.

Нужен был какой-то толчок, чтобы окончательно избавиться от этих отравляющих сознание внушений. И таким толчком явилось для меня общее собрание в Рогекюле.

В предрассветном тумане 6 (19) октября, проверяя еще и еще раз дополнительные посты наблюдателей в кормовых секторах и наличие всех комендоров в седлах своих установок, я вспоминал все детали памятного собрания и был почти счастлив, так как теперь кое-что понимал. Может быть, главное то, что незаметно для себя в течение тяжелых, долгих и подчас мучительных девяти месяцев 1917 года, начиная с Февральской революции и кончая вчерашним, последним боевым днем в Рижском заливе, так сжился с кораблем, с его экипажем, что сам стал полноправной и полновесной частицей этого коллектива. И не только сжился, но и претерпел значительную эволюцию вместе с теми, кто до того наивно считал себя стоящим «вне политики».

Дело было не только во вчерашнем дне и не в сегодняшнем (который неизвестно еще чем кончится), но и в будущих днях, которые нам предстоит еще пережить вместе. Назревание, предчувствие чего-то еще более значительного незримо и исподволь охватывало, конечно, не только один наш миноносец, плетущийся поперек враждебного Финского залива, но и другие корабли, весь Балтийский флот, как и всю Россию, накануне Великого Октября.

Теперь было ясно, что я опасался не за себя и не за Саньку Петрова или других офицеров, а за ум, волю и дух всей команды, включая и себя; за имя корабля, которое так хотелось видеть незапятнанным случайным нелепым происшествием и которое должно найти свое достойное место в предстоящих более важных исторических событиях. Оказалось, что не я один так думал и чувствовал, а и многие другие. Разница же заключалась в том, что новый хозяин флота — большевики — знали, что и как надо делать, а я еще многого не знал.

На этом собрании, происходившем в двух кубриках, соединенных открытой дверью и составивших так называемую первую палубу, было очень тесно, так как пришли почти все, кроме работавших у вспомогательных механизмов, одного радиста в рубке и одного сигнальщика на мостике. Такой «минимум» вахты не допускался никакими уставами и инструкциями, особенно для военного времени.

Бросалось в глаза, что многие небриты, измазаны и в грязном рабочем платье. Значит, пришли прямо от котлов и механизмов. Наконец, непривычное своеобразие вносили белые марлевые повязки раненых автормильцев, державшихся самостоятельной группой.

Офицеры стояли тоже купно, первое время недалеко от выходного трапа, но все новые и новые группы матросов, втискивавшихся в битком набитую палубу; постепенно оттеснили их к переборке, у которой они стояли с таким видом, как будто хотели раствориться в общей массе. А сзади них, стараясь раствориться хотя бы в офицерской группе, стоял Петров.

Только Сципион сумел остаться у трапа и, держась за поручень, с отсутствующим видом смотрел себе под ноги. За все время собрания штурман ни разу не поднял головы, не поднял также руку при голосовании.

При непрекращавшемся гомоне и возне с рассадкой по местам (не менее чем половине собравшихся пришлось стоять) начали выкликать фамилии в президиум.

Эсер Земсков, привыкший председательствовать на собраниях, явно стал нервничать и накаляться, когда выяснилось, что первым проходит не он, а баталер Сидоров, всегда поддерживавший большевиков.

Что-то пробурчав, вроде: «Подстроено!», Земсков уступил ему медный колокольчик и, крихтя, будто это было очень трудно, перелез через один стул с расчетом остаться рядом с председательствующим.

Это была первая неожиданность на собрании: до настоящего дня эсеры цепко держали в своих руках нити руководства настроениями матросского коллектива. Они пользовались инертностью большинства команды, обусловленной политикой, проводимой как по линии командования, так и по линии эсеровских функционеров. Лозунг был такой: «Мы в Рижском заливе — на фронте, а на фронте не митинговать, а воевать надо!» Поэтому обсуждение большинства острых политических проблем откладывалось до возвращения в базу. «Изяслав» в этом отношении отставал от «Автроила», на котором большевистская группа была более сильной и, хотя по численности все же оставалась меньше эсеров-меньшевистской, уже дала большевиков-делегатов в дивизионный комитет, таких, как Степан Карá и Георгий Галкин, который прошел в Центробалт и позже стал одним из первых комиссаров флота <sup>1</sup>.

Второй неожиданностью было то, что после выдвижения в президиум пяти или шести матросов, из которых не менее трех числились большевиками, кто-то крикнул: «Командира!»

В те времена слово «командир» не имело широкого собирательного смысла, так как в ходу продолжал оставаться термин «офицеры». В данном случае речь могла идти только о командире корабля, как и поняли все присутствующие.

Тотчас из разных углов раздались негодующие возгласы самого недвусмысленного содержания, тем более что командир корабля капитан 2-го ранга Леонтьев остался в каюте. Тогда внесший предложение встал, сделал жест рукой, как бы умоляя своих оппонентов помолчать, и с явной хитрецей в интонации голоса и с подчеркнута удивленной миной на лице сказал:

— Товарищи, я же не за Анюту <sup>2</sup>, я за Эмме говорю!

Взрыв одобрительного хохота и аплодисментов разъяснил полностью настроение команды в этом вопросе.

Так Виктор Евгеньевич Эмме за месяц до официального избрания и назначения узнал, кого команда считает своим настоящим командиром.

Земсков, желая как-то сохранить ведущую роль, встал и, держа в руках листок бумаги, привычным голосом «вождя» изрек:

— Я за кандидатуру старшего лейтенанта Эмме; тем более что он является докладчиком по основному вопросу.

— Заметано!..

— Давай кончай на этом!!

Эмме, которому при его появлении на собрании уступили сидячее место на рундуке, медленно пробрался к столу и сел на крайнюю скамейку президиума, как всегда внешне ничем не выражая своих чувств.

Особенно шумно и беспорядочно прошла попытка анархо-социалистов проташить в президиум хотя бы одного своего человека. Они стояли сплоченной группой и шумели громче всех: «Зажимаете рот!», «За что боролись?» и т. д.

Наконец и они утихли.

Не помню, кто секретарствовал, сидя с края стола с кипой чистой бумаги. — кажется, подшкипер Коломийцев.

Прежде всего постановили не курить.

Затем председательствующий объявил, что на повестке дня один вопрос: «Переход в Лапвик».

<sup>1</sup> От «Изяслава» (через дивизион) прошел на Второй съезд Балтфлота тов. Сутырин, однако, занятый в Гельсингфорсе делами одной из секций комитета, он на жизнь миноносца влияния не оказывал.

<sup>2</sup> Бесхарактерный, тихий, голубоглазый Леонтьев получил кличку «Анюта» еще до прихода на «Изяслав».

Это вызвало бурную реакцию значительной части присутствующих и испуганные выкрики и свистки анархистствующих, сгруппировавшихся в углу первого кубрика.

Земсков самодовольно улыбался, не скрывая радости по поводу того, что без его руководства собрание началось сумбурно и, очевидно, кончится плачевно. Но Сидоров, обмениваясь какими-то репликами с сидящими за столом Корнюшиным, Кшановичем, Марчуком и Злыдневым, сумел отбить атаки анархистствующих, предпринятые ими с целью поставить в затруднение президиум и навязать свою повестку.

Голос с места. Нам надо вынести постановление об отношении к Временному правительству!

Сидоров. Керенского мы послали подальше еще после июльского наступления. И сейчас, в Моонзунде, мы сражались не за него. Что же касается отношения к Временному, то, товарищи, есть смысл дожидаться решения Второго съезда, который заседает на «Полярной», и присоединиться, то есть поддержать наших же делегатов, которых мы выбрали, а они (как известно от радистов) Временное не признали!

(«Правильно!», «Долой!», «Не согласен!», «А своя голова на что?..»)

Другой голос, пробившийся сквозь шум. Пускай ревизор скажет, будут давать финские марки или нет? Мы ревельские, а в Гельсингфорсе без марок, как без...

Сидоров. До Финляндии еще дойти надо. («Верно!») Давайте заслушаем ревизора по приходе в Лапвик. А сейчас надо подумать, как переход сделать!

(«Правильно!..», «К черту шкурников!..», «Отложить!..», «Долой!..» и т. д.)

Так постепенно отбивались попытки нарушить намеченный порядок. Но оставался самый острый вопрос: относительно «избиения» подносчика третьей пушки. Выкрики с определенного румба не ослабевали:

— Замазываете!

— Офицеров прикрываете!

— Зажимаете рот!

Но момент уже был упущен.

Удачные ответы председательствующего как-то «сбукферили», смягчили общий накал, разрядили немного атмосферу. Уже, несмотря на отдельные выкрики, собрание шло солидно, по-деловому, и явно было, что в сознании присутствующих постепенно укрепляется мысль, что, пожалуй, «как дойти до Лапвика на одной машине» — главное в данный момент.

Теперь уже не только Сидоров из президиума, но и многие солидные матросы с мест увещевали наиболее рьяных защитников свободы:

— Ну вы, анархия! Потихе там!

— Не мешайте дело говорить!

Были «увещевания» и непротокольного характера.

Этим воспользовался товарищ Корнюшин, по представлению Сидорова встал и, выждав тишину, начал самым обычным, спокойным тоном:

— Товарищи! Прежде чем перейти к главному, надо покончить с одним недоразумением.

(Общая настороженность и гробовая тишина.)

— Некоторые ребята сомневаются, прямо не говорят, а по углам шушукуются. Все, конечно, понимают, что дело идет о маленьком происшествии во время последнего боя на Кассарском плесе.

(«Хорошее «маленькое!», «Цыц!», «Заткнись!»)

— Действительно один наш товарищ, можно сказать, немного оробел... (Реплика: «Обалдел!») Вот именно! И артиллерийский офицер его слегка стукнул, чтобы привести, как говорят, в чувство...

Громкие и испуганные крики со страстной жестикуляцией в пределах, допускаемых теснотой:

— Хорошо «слегка», когда, обратно, все зубы чуть не выбил!..



— Бил, как нас били при старом режиме!..

— Так при царе учили!..

Другая часть аудитории кричала в ответ:

— Дайте досказать!..

— Тебя самого, видно, мало били!..

Позиция негодующих поколебалась, когда кто-то из них в сердцах набросился на пострадавшего: «А ты, гнида, чего молчишь?! Тебя сколько раз учили, как выступать надо!..» А пострадавший, смутившись еще больше, покраснев и вспотев, начал, работая локтями, ретироваться.

Смешки показали, что негодующие окончательно терпят поражение.

Корнюшин продолжал:

— Получилась как бы таска от родителя. Любя не любя, но на пользу!

(Реплика кочегара Вербицкого: «Вроде как отцовское внушение?!»)

— Именно!

(Одобрительный гул. Смех. Уже не крики, а ворчание оппозиции насчет «офицеры».)

— Значит, товарищи, так и постановим — считать происшедшее о т ц о в с к и м в н у ш е н и е м! Кто за?

Безусловное большинство, но далеко не все, подняли руки. Сидоров не стал считать и попытался резюмировать итог голосования, сделав знак секретарю, чтобы тот ничего не записывал. Это не ускользнуло от собрания.

Оппозиция решила воспользоваться случаем, чтобы переломить настроение. Поднялся невероятный шум и крики:

— Замазываете!..

— Дружков выручаете!

— Отчего не записывать?

— Занести в протокол и заклеить позором, чтобы не повадно было!..

— Долой председателя!..

Не менее громкие голоса требовали прекращения шума и перехода к основному, но было ясно, что если поставить на голосование, заносить ли в протокол осуждение поступка Петрова, то большинство поддержит это по-своему логичное завершение «чрезвычайного происшествия».

Сидоров звонил в жалкий колокольчик.

Корнюшин стоял спокойно и, подняв руки с призывом к тишине, ждал, когда улягутся страсти.

Как только наступила относительная тишина, он так же спокойно обратился к вожаку наиболее шумливых оппонентов и с подкупающей искренностью спросил:

— Скажи, пожалуйста, Еремеев, неужто так и не было случая, что тебя отец, ну, скажем, вожжами или чем другим поучил?

Еремеев, не чувствуя подвоха и захваченный врасплох неожиданностью вопроса, тихо, но внятно ответил:

— Ну бывало, конечно.

— Так!.. Ну, а теперь скажи, пожалуйста, собранию, кто при этих случаях протокол составлял? А?

Громовой хохот присутствующих и символический плевок раздосадованного Еремеева были ответом на ход Корнюшина.

Сидоров, не ожидая, пока произойдет смена настроения, встал и громко объявил:

— Приступаем к п е р в о м у вопросу повестки! Слово имеет старший офицер!

Наступила полная тишина. Лица стали суровые и внимательные.

Поучительно было следить за поведением Земскова. Он несколько раз порывался вставить слово, но все больше выражение удивления и растерянности обозначалось на его лице. Сейчас он расплачивался за самоуверенность и переоценку успехов своей партии.

Земсков так и не заметил, что с начала Моонзундской операции фактическое руководство командой перешло к небольшой, но сплоченной группе большевиков, проводивших политику Второго всебалтийского съезда моряков, который работал в это время в Гельсингфорсе и через Центробалт или через Комитет морских сил Рижского залива давал указания «всем кораблям» относительно линии поведения в самых главных вопросах, возникавших в связи с быстро меняющейся обстановкой.

Эсеры привыкли действовать на подготовленных митингах с длинными гладкими речами и заранее распределенными ролями. А тут, как на грех, началось немецкое наступление, и с 25 сентября по 5 октября (н. ст.) из-за почти непрерывных боев нельзя было провести ни одного общего собрания. В эти исторические дни Балтийский флот окончательно вышел из подчинения Временного правительства, перешел на позиции большевиков. Команда «Изяслава» не представляла исключения, так хорошо и умело использовали создававшуюся обстановку те немногие партийцы и значительная часть не партийных, но «стоящих на платформе РСДРП» матросов.

Стойкость в бою; бесменная работа там, где это было необходимо; попутное разъяснение общей обстановки: боевой — в заливе и политической — в Питере и в Гельсингфорсе (на основе информации от радистов); «затыкание глоток» болтунам слева (анархистам и вообще бузотерам) и справа (сладкогласным эсерам и меньшевикам) — вот те методы и средства, которыми Цыганков, Ага-Гака, Злыднев, Сидоров, Вербицкий, Корнюшин, Марчук и немногие другие «перелицевали» основную часть команды корабля, опираясь на многочисленный актив беспартийных, таких, как Тузов и Капранов.

Рогекюльское собрание было переломным в жизни корабля накануне не только рискованного перехода через Финский залив, но и накануне великих, решающих для всей России и даже всего человечества дней.

Это собрание было решающим и для меня лично.

Внутри что-то пело, и не только потому, что все обернулось не так мрачно, как ожидалось, а вполне благополучно, но еще и потому, что я начинал понимать всю мудрость того шага, благодаря которому печальный случай вычеркивался из официальной истории славного эскадренного миноносца «Изяслав». Прошло еще немного времени, и я понял, что это было не только заботой о профессиональной чести или выражением корабельного патриотизма, но политическим расчетом заботливого хозяина-народа, в лице представивших его большевиков, старавшегося сохранить для флота офицера, хорошего специалиста, который не был неисправимым врагом и мог еще пригодиться для рабоче-крестьянского красного флота.

Прошло еще несколько месяцев, и этот расчет полностью оправдался, так как злополучный Санька Петров, несмотря на новые ошибки и промахи, все же в конце концов стал советским флагманом и сделал немало полезного для государства.

Но в описываемый момент хорошее настроение тут же было испорчено ошибкой Эмме.

Поднявшись во весь свой огромный рост, он при абсолютной тишине благожелательной к нему и понимающей значительность вопроса аудитории начал:

— Господа!..

Это обращение, конечно, было следствием привычки, усвоенной с ранних лет, но в данном случае исключительно неуместной.

— Господ здесь нет! — сразу же отозвался кто-то из слушавших. Это сказано было хоть и с укором, но не враждебно.

Как назло в этот момент над головами присутствующих раздалась браваурная мазурка: кто-то сел за пианино в кают-компани.

Вторая реплика: «Господа вон там! Наверху!» — уже имела явно недоброжелательную интонацию. И действительно, музыка была возмути-

тельно вызывающей, и не только своим победно-триумфальным мотивом, но и нарочитой громкостью.

В первой палубе я бывал много раз, но никогда не приходилось мне находиться в ней в тот момент, когда наверху, в кают-компании, играли на пианино. Учитывая, что их разделяет платформа всего в три миллиметра толщиной, покрытая сверху линолеумом, нетрудно было догадаться, что игра на пианино должна быть хорошо слышной внизу. Но как-то об этом не приходилось задумываться.

Теперь в наступившей тишине отчетливо звучал бравурный пассаж, хотя приглушенный и немного дребезжащий из-за вибрации каких-то металлических предметов на переборке.

Кто это мог играть?

Ясно, что не робкий Леонтьев, хотя он и отсутствовал на собрании.

Не оказалось у трапа Сципиона. Очевидно, он, дослушав до конца «дело Петрова», не вытерпел ожидания официальной части и, выскользнув из палубы, разряжал свое нервное напряжение в кают-компании. Ведь он готовился взойти на эшафот или «дорого продать свою жизнь», а все разрядилось каким-то анекдотом!

Стоявший у стола председатель собрания с укоризной посмотрел вверх и затем стал шарить глазами среди находящихся около трапа, очевидно намереваясь кого-нибудь послать в офицерский отсек. Но не успел он определить своего выбора, как кто-то из матросов вскочил, сделал выразительный жест в сторону президиума и добавил:

— Один момент! Сейчас перестанет!

Откинув пробковый матрац от борта, за спинами нескольких человек, сидевших на рундуке, он неожиданно извлек оттуда карабин (явно спрятанный от начальства). Затем, выбрав то место, на котором, по расчету на глаз, должна была быть привинчена наверху вращающаяся табуретка для пианиста, три или четыре раза с силой постучал прикладом.

Музыка тотчас оборвалась.

— Можно продолжать! — сказал матрос с видом фокусника после удачного номера и сел с винтовкой на свое место под общий одобрительный шум.

Эмме мрачно посмотрел на контрабандную винтовку и после вторичного «Прошу!» со стороны председательствующего начал свое выступление, на этот раз во избежание оговорки опустив обращение.

— Так вот! Нам предстоит переход через Финский залив. Из-за погибавала пойдем под одной машиной, значит — не более четырнадцати узлов. Пойдем совершенно одни, без поддержки. Разведки никакой нет. Поэтому...

Назидания о полной готовности оружия, о дополнительных наблюдателях по секторам и т. д.; сообщение о том, что обед будет дан в пять часов утра и что позже, до прихода в Лапвик, никаких уходов с постов разрешаться не будет, и тому подобное можно опустить, как не относящееся к теме.

Важно, что все это было выслушано серьезно и принято без обсуждения. Так же были приняты два-три толковых предложения от команды.

На вопрос председательствующего: «Ясно ли все?» — общий хор голосов ответил, что ясно.

Поднятая забинтованная рука остановила начавших расходиться матросов. Оказалось, что раненые автроильцы просят их использовать в походе.

Не успел Эмме открыть рот, как председательствующий, пошептавшись с ним и как бы от его имени, огласил:

— Поступаете в распоряжение артиллериста лейтенанта Петрова. Он укажет, кому — что! Можно расходиться!

Это было явно рассчитанным жестом. Своего рода точкой над «и».

Этот жест означал не только отпущение Петрову его греха, но и то, что он продолжает командовать артиллерией миноносца в этот ответственный момент.

Увидя мою радостную физиономию при входе в кают-компанию, некий гость с нашивками старшего лейтенанта, информированный Сципионом, с презрительно-снисходительной улыбкой сказал:

— Ну и ребенок вы, ревизор! Думаю, что дело обошлось бы совсем иначе, если бы не предстояло еще пересекать Финский залив, да еще в одиночку и с погнутыми лопастями. В этих условиях мы им пока еще нужны!

Я невольно смутился. Как об этом не подумал? Однако что-то внутри протестовало.

Неужели можно было так артистически разыграть комедию на собрании, думая только о своих шкурах?

Нет. Пусть молод, но не ошибся. А восемь месяцев упорной работы и учебы после Февральской революции? А минные постановки у Петерскапеле? А вся Моонзундская операция? Разве это не было подлинным патриотизмом, выполнением воинского долга балтийскими моряками? А политические бои за лучшую жизнь для всего народа — против Родзянки, Краснова и Керенского?

Нет, новому хозяину честные люди нужны не на час и не к случаю. Все же, чтобы быть объективным, надо сказать не только о трезвом расчете новых хозяев, но также об их тактичности.

Ни после благополучного перехода в Лапвик и затем в Гельсингфорс; ни позже, во время стоянки в доке; ни в процессе страстных и острых споров в Октябрьские дни, никто ни разу не помянул печального происшествия. Причем не только Петрову, но и другим офицерам. А между тем поводов для упреков или напоминаний было немало. И не только для отеческого внушения, но даже для приговоров революционного трибунала.

Однако об этом надо рассказать особо.

### Сципион уходит по-английски

«...В высшем английском свете принято с банкетов, раутов или званых вечеров уходить не прощаясь, незаметно, с тем чтобы не беспокоить и не отвлекать хозяев и гостей...»  
(Гоппе. «Хороший тон, или Как вести себя в обществе»).

Гоппе упомянут в данном случае без особой натяжки.

Не помню, кто его притащил на «Изяслав», но еще с Ревеля, после переселения всех на уходящий с завода корабль, штудирование правил хорошего тона стало одной из штатных форм развлечения кают-компания. В свободное время, по вечерам, книгу читали вслух и смаковали с хохотом. Причем поводом для смеха служили не столько рекомендации Гоппе, сколько комментарии присутствующих.

В конце концов научный трактат бедного магистра «хорошего тона» разодрали на несколько частей, и они исчезли по каютам. В дальнейшем практиковался метод перекрестных экзаменов, так сказать, в порядке повышения квалификации и усовершенствования. За чаем или за обедом владелец соответствующей главы задавал партнеру каверзные вопросы:

— Как следует поступать, если в гостиную, в которой вы уже раньше со всеми поздоровались, входит дама, которая старше хозяйки дома? А? Или:

— Какого цвета должен быть букет, если поздравляемая с днем ангела — вдова, но вы в отношении ее не имеете серьезных намерений?

И далее в том же духе...

Отвечали кто как умел, изощряясь в остроумии, не всегда-безукоризненным с точки зрения «хорошего тона».

Затем начал практиковаться обмен разодранных глав между каютами, и в конце концов книгу, как принято говорить, зачитали до дыр. А так как на свете все приедается, то ошметки Гоппе исчезли, перекочевав на другие миноносцы дивизиона.

Изредка о нем вспоминали, когда кто-нибудь делал так называемый «гаф»<sup>1</sup>, то есть брякал не подходящий к случаю самодельный афоризм или нечаянно опрокидывал тарелку с супом на колени соседа. Обычно после этого следовала реплика Димы Иконникова, сказанная бесстрастным тоном и в прострастном:

— Прямое нарушение страницы сто семьдесят пятой, главы четвертой — «Как вести себя за домашним столом!»

Повторяю, в данном случае уместно напомнить, что у английской аристократии было обыкновение уходить из дома, не попрощавшись с хозяевами.

Не помню, кто первый в это утро обратил внимание на то, что штурман Игорь Михайлович де Кампо Сципион не вышел к чаю<sup>2</sup>. С приходом в Гельсингфорс, после боев в Рижском заливе, он и раньше пропадал целыми днями вне корабля, хотя был трезвенником и пьянками или картежными вечеринками не интересовался. На «Изяславе» же после Октябрьских дней прекратились какие бы то ни было служебные или учебные занятия. Не до них было. Что касается штурманского вооружения, то оно сразу же с постановкой в док было сдано в «инструментальную камеру» гидрографии, а то, что хранилось на борту, содержалось в идеальном порядке, как все, чем заведовал Сципион. Однако, будучи холостяком, не имея квартиры в городе, он вынужден был ежедневно возвращаться домой на корабль<sup>3</sup>.

На стук в дверь его каюты никто не отозвался.

Повторные, более энергичные громыханья не на шутку обеспокоили командира корабля Эмме. Он приказал вестовым подобрать ключ. Возня у двери в тесном коридоре привлекла внимание и офицеров и матросов. Каюта Сципиона была первой от входа со шкафута под полубак, и тут постепенно образовалась плотная пробка.

Когда кто-то из машинистов распахнул наконец дверь, наступила значительная пауза, прерываемая тихими возгласами: «Ну и ну!» или «Вот те фунт!» и в этом роде.

В ярко освещенной каюте никого и ничего не было.

Был, конечно, стальной стол, отделанный «под дерево», такая же койка, шкаф, кресло... и больше ничего на столе, на полках, этажерках,

<sup>1</sup> Faire une gaffe — по-французски: сделать неловкость, глупость. По-английски гаф — балаган. Трудно сказать, откуда «сделать гаф» перешло в офицерский жаргон старого флота.

<sup>2</sup> Штурман «Изяслава» лейтенант И. М. де Кампо Сципион (р. 1892), произведенный в лейтенанты вне очереди «за отличие в делах против неприятеля», награжденный орденом Владимира 4-й степени с мечами и бантом, через ветвь византийских Сципионов являлся одним из потомков Сципиона Африканского. В парадные дни на груди штурмана красовалась медаль в память «300-летия дома Романовых», хотя в генеалогическом отношении эти самые Романовы ему в подметки не годились. Сципион был сто-процентным русским монархистом.

<sup>3</sup> Легучее выражение «На берегу — в гостях, в море — дома!», принадлежащее С. О. Макарову, вовсе не было фразой. Только начиная со старшего лейтенанта, а то и с капитана 2-го ранга, да и то «женатики», имели квартиры в Ревеле или Гельсингфорсе. Все остальные офицеры жили на кораблях со всем имуществом, каким располагали.

Если офицер говорил: «Ну, я пошел домой», — это означало, что он собирается на корабль, и никто не понял бы иначе. Такое положение было следствием того, что морские офицеры женились поздно. Женатый мичман или даже лейтенант был редкостью, и традиция осуждала преждевременные браки.

в платяном шкафу, в рундучных ящиках — абсолютно нигде ничего не было в старательно убранной и чистой каюте. На переборках четко выделялись квадратные прямоугольники от картин и портретов, висевших более двух лет, а теперь аккуратно отвинченных и исчезнувших.

Что хозяин каюты нас покинул, и покинул навсегда, было ясно. Но как и когда он ухитрился вынести все до единой вещи и вещички — это было не совсем понятно.

Совершенно очевидно, чтобы избежать подозрений, вещи выносились по частям — месяц, а то и два. Также очевидно, что большие чемоданы выносил не он сам. Значит, кто-то помогал. Сразу же вспомнили рулевого Верейкина, который обожал своего штурмана. В данном случае важно было то, что рулевой убирал каюту и носил белье Сципиона в стирку.

Хватились Верейкина: оказалось, что только вчера он демобилизовался и взял документы в Архангельскую губернию (откуда действительно был родом).

Чисто сделано.

— Ушел по-английски, не простившись, — резюмировал Дима Иконников и собрался уже назвать главу и страницу Гоппе, но проглотил язык под взглядом командира.

— Сципионов разных убыло... итога — один! — подражая канцелярскому стилю портовых чиновников, сострил кто-то из матросов.

— Дураков отменных, но с умным видом... из судового комитета... итога — четыре! А если и дальше так хлопать ушами будете, то они все у вас разбегутся! — в сердцах сказал Дмитрий Злыднев и пошел к выходу.

«Они» — это, очевидно, были мы.

В. Е. Эмме, с мрачным непроницаемым лицом стоящий тут же. (Его положение нетрудно было понять. Он командир, да еще выборный. Ему доверили корабль, а следовательно, и офицеров. И вот...)

А. И. Петров — заспанный и недоумевающий. (Он явно был ошарашен и не мог этого скрыть. Однако причина потрясения была не в измене и дезертирстве его лучшего приятеля, а в том, что он об этом ничего не знал. Товарищи по выпуску, они много лет служили вместе, а затем, с самой закладки «Изяслава», на заводе... Сципион, очевидно, уже месяц или два как сделал выбор, собирал и выносил вещи, наконец решился на такой шаг... А ему — ни слова. Даже намека! Что это? Значит, ему вообще нельзя доверять? Или Игорь считал его большевиком? Непонятно... но обидно до глубины души.)

Жеденов, старший инженер-механик, самый старший из всех присутствовавших не только по чину, но и по возрасту, стоял в сторонке и молчал с таким видом, как будто говорил, что механики за штурманов не отвечают.

Не помню, был ли в этот момент в коридоре, перед пустой каютой, еще кто-либо из офицеров — мрачных, как родственники умершего перед его разверстой могилой. Но среди них был и я.

Если в первый момент доминирующим было ощущение неожиданности и нелепости случившегося, то после реплики Злыднева «Они, все у вас разбегутся!» покраснели уши, застучало в висках и стеснило дыхание. «Значит, не доверяют! Значит, считают врагами!.. Значит, как ни служи, все равно тебя подлецом будут числить. Да еще притворяющимся честным до первого удобного случая!»

Я заперся в каюте.

Мичманское самолюбие. Это особая психологическая и моральная категория, недостаточно исследованная наукой.

Я замкнулся в себе и весь день ни с кем не разговаривал. Впрочем, очевидно ни у кого не было особой охоты говорить. Обед и ужин прошли в полном безмолвии, еще раз напомнив дом, в котором есть покойник.

Совершенно не представляя себе ясно до конца, что именно сделаю потом, я привел всю отчетность в порядок, подсчитал казенные суммы в финских марках и русских рублях, сделал реестр, положил его сверху в денежном ящике, закончив перед подписью фразой, которая мне показалась особенно колкой и ехидной:

«А затем честь имею кланяться,  
Мичман Иван Исаков».

Ключ от ящика положил сверху, на самом видном месте.

Собрав в маленький чемоданчик смену белья и бритвенные принадлежности, переодевшись в «первый срок»<sup>1</sup>, я стал ждать вечера, безнадежно пытаюсь несколько раз читать книгу.

Восстанавливая сейчас этот значительный для меня вечер, я хорошо помню, что до деталей продумал свой уход с корабля. Почему-то самым позорным представлялся обыск. Меня никто и никогда до того дня не обыскивал<sup>2</sup>. После того, что было сделано Сципионом, обыск чемоданчика, уносимого ночью с корабля, был неизбежен. Но я не понимал, что сам подстраиваю сцену, казавшуюся нестерпимо унижительной.

Тогда мне казалось, что раз офицер сделал свой окончательный выбор и вот уже два месяца «верой и правдой» служит новой, Советской власти, то она, эта власть, в лице матросов и ее комитета должна безоговорочно доверять ему, этому офицеру. Нелогичность такого построения, доказанная хотя бы на примере дезертирства Сципиона, как-то ускользала из моих сумбурных мыслей, подогреваемых мичманским самолюбием.

Самое несуразное заключалось в том, что до мельчайших подробностей было продумано «испытание на доверие», то есть выход с чемоданом с корабля. Но что делать дальше, когда с «Изяславом» будет все покончено, — эта часть плана проработана не была вовсе.

Квартиры в городе я не имел. Рестораны уже не функционировали — было слишком поздно. Какой-либо приятельницы или настоящего друга я не имел на берегу. Родные находились далеко на Кавказе. Два однокашника, такие же, как и я, мичманы, жили каждый на своем корабле. Штаб флота на «Кречете» всегда внушал неприязнь — там еще было засилье «старых» офицеров, да и нелепо на ночь глядя идти с просьбой о назначении на другой миноносец. Что это должен быть миноносец, ясно было само собой: мичман, служивший на миноносце, все остальные классы кораблей презирает.

Трудно было придумать более глупый выход — перейти служить на другой корабль в этот бурный период классовых боев, когда личное знание человека, особенно офицера, не могло быть заменено никакой анкетой, аттестацией или характеристикой. Но такое решение казалось мне неизбежным.

Куда же идти? Путь был один — «Полярная звезда», на которую давно уже перебрался с «Виолы» Центробалт.

Однако в декабре 1917 года мичман еще не дорос до того, чтобы в Центробалте искать разрешения тех сомнений, которые ставила жизнь, вернее — становление новой жизни. У меня не было оснований бояться делегатов от частей и соединений Балтийского флота, но, зная, что там занимаются решением крупных вопросов, обсуждением судеб флота, я боялся показаться смешным.

А мичманское самолюбие допускало любой драматический вариант, включая путь на голгофу, но показаться смешным — нет, это было свыше сил.

<sup>1</sup> Новое, лучшее из одежды по традиции называлось «первым сроком» — из лексикона хозяйственных установлений старого флота.

<sup>2</sup> При выходе с портовой территории офицер обычно сам приоткрывал чемоданчик или портфель, но в большинстве случаев «далматы», как прозвали вахтеров и таможенников, даже этого не требовали.

Часам к девяти вечера, совершенно изведя себя и не в силах выждать еще часа до ранее намеченного времени, я оделся, оглядел каюту — каюту корабля, на котором не только прожил два года, но и пережил две жизни и получил первое боевое крещение, — и, прислушиваясь к тишине, поджидавшей меня снаружи, вышел на палубу с чемоданчиком в руке.

Был очень холодный лунный вечер.

Корабль стоял кормой к стенке: под ней в качестве своеобразного буфера (кранца) приспособили отопительный понтон. Предстояло пройти почти весь корабль, в конце которого у сходни маячила монументальная фигура вахтенного, закутанного в постовой тулуп.

На берегу — ни души. Успела промелькнуть мысль: «Хорошо, что при этом позоре не будет посторонних зрителей».

Внутренне сжатый в пружину, я подошел к корме и, к своему удивлению, узнал в вахтенном комендора Тузова<sup>1</sup>, с которым затем произошел такой диалог:

— А, мичман! Добрый вечер! (Громко, на весь корабль.) Что, в баньку собрались? Хорошее дело! Ну, легкого пара вам!

— М...м...м!

— Обратно будете идти, не забудьте шкалик хлопнуть. Смотрите, какой мороз. Без этого и простудиться недолго! Да у вас и шинелька на рыбьем меху!

— Гм...м!

И вот я на стенке.

К недоумению Тузова, еле перебираю ногами. Куда идти — не знаю. Свернул за ближайший угол.

Никакой бани не было в голове. Несмотря на мороз, стало вдруг жарко. Затем невыносимо стыдно за себя.

Первый импульс — броситься обратно на корабль и облобызать вахтенного — угас, надо было разобраться, и прежде всего в самом себе.

Блуждая без цели, я начал замерзать, осмотрелся вокруг и увидел, что нахожусь неизвестно где. Темные, враждебные окна темных, враждебных домов темного и враждебного города. Миноносец вспомнился как родной дом.

Тускло освещена только одна улица.

Понял, что привлек внимание патруля финской красной гвардии («самообороны»), который шагает за мной в отдалении, но проверять не хочет. Очевидно, и зигзаги и прогулочный темп не выдавали во мне заговорщика. Скорее — выпившего.

Из-за одного перекрестка показалась ватага — несколько громко разговаривающих матросов, — и финны передали меня им.

Не только на сцене, но и в жизни бывают такие случаи. Оказалось, что это наши, из 13-го дивизиона, идут с горячего диспута в каком-то клубе.

— Чего вы в эту пору здесь бродите?.. Нарветесь еще на чужих, а потом выручай вас! Айда на корабль! Тем более что мороз крепчает. А у вас шинелишка-то на рыбьем меху!

Ни одного вопроса. Продолжение прерванного разговора о каких-то подлых и хитрых маневрах левых эсеров и меньшевиков, сбивающих недостаточно сознательных матросов. Презрительные эпитеты в адрес анархистов. Часть реплик бросается мне, как будто я с ними весь вечер.

Так мы всей гурьбой подошли к стенке, у которой стоял «Изяслав», и я с удовольствием заметил, что вахтенным стоит кто-то другой, не Тузов (значит, я проблуждал не менее трех часов!). Но у сходни столпилась небольшая компания вышедших с отопительного бона и из рум-

<sup>1</sup> Маленький коренастый блондин, очень сильный (кажется, моего срока службы), рассудительный и спокойный, Тузов, сколько помню, не был в партии, но всегда шел за большевиками. Был прекрасным сапожником и потому освобождался комитетом от нарядов.



пельного отсека. Перекур. Общий и шумный. Кто-то выскочил налегке, подтанцовывая от холода.

В момент, когда я проходил между расступившимися матросами, кто-то вернувшийся из города неожиданно крикнул:

— Ребята! Ревизора нашли! Тоже удрать хотел, да вот поймали! Раздался общий хохот и прибаутки на мой счет.

А я шел к себе в каюту, торопясь порвать свою записку к реестру, и улыбался про себя почти счастливый, потому что матросы, сами того не зная, были правы — они меня действительно нашли. Вернее, помогли мне найти самого себя.

Подробностей того, как ушел из жизни старший лейтенант Игорь Михайлович де Кампо Сципион, не знаю. Известно только, что в январе 1920 года где-то в Сибири он, служивший в то время в войсках адмирала Колчака, застрелился, когда узнал, что адмирал арестован, и понял, что дело его безнадежно проиграно.

### Человек, который проспал революцию

В штатах российского императорского флота всегда было несколько офицеров с истинно русской фамилией Петров — от мичмана до полного адмирала включительно.

Чтобы не запутаться в Петровых, служивших на Балтике и на Черном море, в Каспийской и Сибирской флотилиях, помимо имени, отчества и чина, статистическое отделение Гламора<sup>1</sup> присваивало им порядковые номера. Это не было смелым новаторством чиновников Адмиралтейства, так как еще с Петра Великого в списках флота можно было найти Спиридова 1-го, Спиридова 2-го и других весьма почтенных, но пронумерованных штаб- и обер-офицеров и даже адмиралов.

Судя по рассказу А. П. Чехова «Жалобная книга», в котором есть весьма нелестная запись в адрес Иванова 7-го, надо думать, что нумерацией однофамильцев занималось в старой России не только морское ведомство.

К началу 1917 года Петровых набиралось не то тринадцать, не то четырнадцать. Так они и упоминались в приказах или других официальных документах, с прибавлением номера после фамилии.

Однако не знаю точно, с каких пор это повелось, но еще задолго до Февральской революции существовала параллельно другая классификация Петровых, при помощи прибавления персональных эпитетов. Если первая, казенная, употреблялась преимущественно в письменном виде (как говорили остряки, относилась к области священного писания), то вторая передавалась только из уст в уста (как священное предание). По смыслу эпитетов совершенно очевидно, что в основу последних было положено качественное и количественное отношение Петровых к поглощению спиртных напитков.

Конечно, подобная, так сказать, художественная попытка дифференцировать Петровых была сугубо конфиденциальной и употреблялась только с учетом обстановки, слушателей и вероятной реакции каждого данного Петрова в отдельности. От матросов эта классификация наивно скрывалась, но через вестовых и кают-компанию не подлежащие широкому оглашению прозвища становились известными всем. У матросов эта офицерская затея не была особо популярной, так как они сами наделяли командиров прозвищами более хлесткими, подчас более остроумными и не столь односторонними в части оценки.

Старейший из Петровых, заслуживший славу непревзойденного поглотителя, назывался Петров-Всепьянейший, за ним шли Пьянейший,

<sup>1</sup> Гламор — сокращенное наименование Главного морского штаба.

Запойный, Пьяный, Полупьяный, Выливоха, Пьянчужка и далее в этом роде. Естественно, что эта, так сказать, спиртовая градация не отвечала последовательности статистических номеров, узаконенных Гламором.

Для объективности должен сказать, что, согласно преданию, как будто было даже такое время, когда на флоте оказался один из Петровых, не употреблявший спиртных напитков, почему именовался Петров-Непьющий.

Лейтенант Петров Александр Иванович, в просторечии — Санька Петров, бывший на «Изяславе» артиллерийским офицером, именовался Петров-Пьяненький. И надо сознаться, что это прозвище было дано на редкость удачно.

Небольшой, чуть белобрысый, почти всегда улыбающийся, никогда не пьяный, но и никогда не трезвый, этот незлобивый и не честолюбивый человек был неизменным компаньоном всех походов в «Фению», или «Олимпию», или в подвалы других значных мест, в которых пропадали по вечерам свободные офицеры возвратившихся с моря кораблей.

Я не помню за ним ни одного неблагоприятного поступка, если не считать «отеческого внушения» во время боя на Кассарском плесе. Он был очень хорошим артиллеристом, абсолютно спокойным в бою и всегда ровным в отношении к команде. Как рассказывали старые его соплаватели, он и до революции никогда не третировал матросов и не оскорблял никого руганью.

К Петрову-Пьяненькому больше, чем к любому другому, относился афоризм моей покойной матушки: «У него нет худшего врага, чем он сам».

Прирожденная слабохарактерность при отсутствии честолюбия, казенное воспитание в морском корпусе, затем служебная среда, в которой умение пить считалось чуть ли не профессиональным качеством, сделали его Петровым-Пьяненьким.

Февральскую революцию он встретил с улыбкой за бутылкой вина, а потом, когда при нем начинались политические споры, недоумевал: «Из-за чего это люди на стену лезут?»

Случай на собрании в Рогекюле заставил Петрова задуматься над своим отношением не только к команде «Изяслава», но и вообще ко всему происходящему в России. Однако при его отчужденности от матросов трудно было Петрову разобраться в событиях, которые сменялись все убыстряющимся темпом с момента постановки «Изяслава» в Сандвикский док в Гельсингфорсе, когда уже началась подготовка к вооруженному восстанию.

Он дежурил по кораблю, давал указания по ремонту артиллерии и по смене боезапаса и т. д. и т. п., то есть делал все, что полагалось. Но все чаще запирался в каюте и тихо «посасывал», как принято было говорить в его отсутствие. В. Е. Эмме категорически запрещал подачу в кают-компанию спиртного, даже слабых виноградных вин.

Демонстративное отбытие с корабля Клаши и неизменной при нем Анюты после Октября, очевидно, еще больше смутило Петрова, но внешне это заметно не было. Когда же Сципион «ушел по-английски», то это было для Петрова более чувствительным ударом.

Мальчишками, с кадетских годов, они сидели на одной парте, затем мичманами служили на больших кораблях Балтийского действующего флота и лейтенантами опять сошлись на палубе «Изяслава». Хотя Сципион не пил, он продолжал дружить с Санькой, разыгрывая его незлобивыми шутками.

Однако блестящая конспирация Сципиона при подготовке и бегстве показала, что дружба была только традиционной, внешней, а на самом деле друг детства Игорек жил совсем другой жизнью, посвящать в которую своего Саньку не рисковал.

Когда не только в день бегства Сципиона, но даже на следующее утро Петров не появился в установленное время в кают-компания, Эмме так потряс дверь его каюты, что можно было опасаться за целостность замка и петель. Но мычание, раздавшееся в ответ, убедило его в том, что владелец каюты находится в наличии и жив, однако настаивать на его появлении в кают-компания вряд ли целесообразно.

С тех пор Петров из категории Пьяненьких явно мог быть перечислен в высшую группу — Пьянейших или Запойных.

Димка Иконников острил, что старается быстрее проскакать по офицерскому коридору, потому что опасается воздействия винных паров, просачивающихся через пазы одной двери.

После нескольких серьезных внушений нового командира Санька Петров стал изредка — когда мог — появляться в кают-компания, по-прежнему доброжелательно всем улыбающийся, хотя немного растерянно шурясь на непривычно яркий свет, слегка хмельной, но уже заметно одутловатый и бледный.

Он спал, вернее отсыпался, после келейных выпивок очень долго. Постепенно это стало главной темой дружеского подтрунивания.

Он подхватывал эти шутки и ежедневно стал рапортовать относительно часов, «отработанных» во время сна, конечно не без помощи «сонных капель». Следующим этапом была попытка Петрова создать подобие теории или хотя бы системы сонного времяпрепровождения.

Согласно новой теории, авторство на которую принадлежит бесспорно ему, ночной сон назывался «основным», или «штатным». После туалета и завтрака (очевидно, с приемом «сонных капель») он ложился на «дополнительный» — досмотреть прерванные сны или «доработать», если «основной» оказался недостаточным.

Почему-то «сквознячком» назывался короткий сон перед обедом. После обеда автор теории реализовал на практике традиционный «послеобеденный», или «полуденный», сон (хотя обычно это происходило далеко за полдень). Перед ужином полагался «предварительный», так сказать, для раскочки или настройки организма, с тем чтобы потом завершить сутки «штатным», или «основным».

Не знаю, по сколько часов полагалось на отдельные этапы или циклы этой системы, но в сумме в течение суток Петрову удавалось валяться в койке до восемнадцати и даже до двадцати часов. Спал ли он все это время или думал о том, что же делать дальше, остается на его совести.

Поскольку он никому не мешал, его не трогали.

Первое время можно было слышать такие разговоры в коридоре офицерских кают:

— Вестовые! Что, артиллерист спит?

— Обратно спит!

— Ну, черт с ним. Пусть спит! Позвони, когда очухается...

После этого часто приходилось слышать из-за портьеры открытой двери командира:

— А вам что нужно от артиллериста?

— Да вот в порту предлагают брать боезапас к соткам — с порохом двух партий... Говорят, одного года, почти что разницы нет...

— Ни в коем случае не брать! Требуйте все до единого патрона одной партии.

— Есть!

...Наступил день, когда к артиллеристу перестали совсем ходить.

Вскоре он запретил убирать свою каюту, после того как, очевидно нарочно, вестовой выставил вдоль коридора накопившиеся за неделю пустые пузырьки различных форм и калибров, но одного назначения.

Теперь уже не столько спиртной, сколько затхлый запах явно ощущался, если приоткрывалась дверь злополучной каюты.

Находились остряки, которые пытались суточные упражнения Петрова с помощью «сонных капель» выражать в форме диаграмм или графиков. Общее же отношение к нему после Октябрьской революции определилось словами: «Человек, который проспал революцию».

Если же подойти к этой истории с более серьезным мерилом, то ее надо квалифицировать как попытку уйти, спрятаться от жизни. А так как в эти дни нельзя было оставаться в стороне от происходящих событий, то правильнее всего поведение Петрова было бы назвать своеобразной формой пассивного саботажа.

Конечно, плохо, что артиллерийским офицером не занялся судовой комитет; думается, достаточно было бы двух-трех серьезных разговоров, чтобы он вышел из своего сонного транса. Но, конечно, у комитета было много более важных дел, чем воспитание Петрова-Пьяненького. Гораздо хуже, что до этого не додумались и на это не нашли времени его товарищи офицеры.

Но сейчас речь идет о другом.

Что это — инстинкт? Или результат анализа дореволюционного поведения Петрова, его отменного управления огнем на Кассарском плесе? Но только его никто ни разу не упрекнул ни за срыв в этом бою, ни за последующее пьянство и почти полное игнорирование общих собраний команд даже в самые бурные дни; за то, что он полностью отстранился от всякой работы, когда артиллерию «приводили на зимнее хранение», ремонтировали или обновляли боезапас. Ведь его могли бы вышвырнуть с корабля, и это никого бы не удивило. А между тем почему-то не сделали. Ни комитет, после Октября в большинстве «стоящий на платформе РСДРП», ни команда, которая еще не полностью освободилась от стихийной реакции в некоторых случаях.

Сознательно или бессознательно, но щадили человека, который проспал революцию, проявляя к нему исключительную терпимость. А может быть, расчет? О расчете можно говорить на основе следующих итогов.

В период приближения к Гельсингфорсу войск контрреволюционного финско-русского генерала Маннергейма, когда в городе была очень сложная и путаная обстановка, воспользовавшись которой скрылись многие реакционные офицеры, Петров остался на «Изяславе», а затем участвовал на своем миноносце в легендарном Ледовом походе, то есть в операции по спасению Балтийского флота. Артиллерия главного калибра и зенитная были приведены им в порядок, а так как не хватало офицеров, он помогал нам и тем, что стоял ходовую вахту.

После нового срыва, когда Петров проспал так называемое «восстание на минной дивизии» и, не разобравшись в обстановке, сделал ошибку — выполнил требование эсеровских заговорщиков и, замещая отсутствовавшего в городе Эмме, вывел миноносец на середину Невы, у Обуховского завода, вопреки приказу Морской коллегии, — он был арестован и судим, но, вскоре амнистированный, опять служил в кадрах Военного флота СССР.

Последний раз я его встретил в Москве, десять лет спустя, уже в качестве старшего начальника ведомственного флота. Будучи беспартийным, Петров занимал должность, приравняваемую к званию контр-адмирала. Хотя прошлое отложилось отпечаток на морщинистом и бледном лице, это был трезвый, уверенный в себе, деловой моряк, преданный Советской власти, которая многое ему простила.

Снова стать человеком он смог только благодаря терпимости, деликатности и политическому чутью тех самых матросов, в руках которых была его судьба в зиму 1917/18 года.



---

## КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

### НОВЫЕ СТИХИ

\* \* \*

День кончен трудовой.  
Смеркается. Нежарко.  
А там, над головой,  
Гудит электросварка.

Померк закат в окне,  
И сумерки упали.  
Не видно — в вышине  
Девчонка или парень.

Лишь виден искр поток  
Над гребнями Урала.  
Да на лицо щиток  
Опущен, как забрало.

Поднявшийся туда  
Причастен к светлой доле,  
Став рыцарем Труда,  
И даже в ореоле.

На каменной стене,  
Где в извести стропила,  
Бушует в вышине  
Сияющая сила.

Проходят поезда,  
Всплывают самолеты.  
Горит в ночи звезда,  
Звезда его работы.

Горит, горит его  
Веселая зарница.  
Работы торжество!  
Что может с ним сравниться?

### ЖЕНЬКА

Стоит средь лесов деревенька.  
Жила там когда-то давненько  
Девчонка по имени Женька.

Мальчишечье имя носила,  
Высокие травы косила,  
Была в ней веселая сила.

Завыли стальные бураны,  
Тень крыльев легла на поляны.  
И Женька ушла в партизаны.

В секрете была и в засаде,  
Ее уважали в отряде,  
Хотели представить к награде.

Бывало, придет в деревеньку,  
Мать спросит усталую Женьку:  
— Ну, как ты живешь?  
— Помаленьку...

Висит фотография в школе.  
В улыбке — ни грусти, ни боли.  
Шестнадцать ей было, не боле.

Глаза ее были безбрежны,  
Мечты ее были безгрешны,  
Слова ее были небрежны...

### СЛЕЗЫ

В поселке пригородном слякоть,  
За перелеском стук колес...  
Давно я разучился плакать,  
Не помню, вкус какой у слез.

Лишь иногда порой ночью,  
Не потревожив тишину,  
Над чьей-то сладкою строкою  
Слезинку выдавишь одну.

Умели прежде умиленно  
Всплакнуть у друга на плече.  
Но каждый век — свои законы,  
И мы живем в другом ключе.

Какие дни, какие грозы!  
Цветут цветы по страшным рвам...  
О человеческие слезы,  
Мы понимаем цену вам!

Вам, молодым, первоначальным,  
И вам, ползущим среди морщин,  
Вам, и счастливым и печальным,  
И вам, что просто без причин.

Слезам фальшивым и лукавым,  
Что ни горьки, ни солонны,  
Слезам открытым, величавым  
И тем, что вовсе не видны.

\* \* \*

Будь у меня любимый старший брат,  
Его советы слушал бы, робея,  
Его защите братской был бы рад  
До той поры, покуда я слабее.

Будь у меня любимый младший брат,  
Его учил бы жизни, как умею,  
И защищал, не требуя наград,  
До той поры, покуда я сильнее.

Будь у меня любимая сестра,  
Я поверял бы ей свои секреты.  
Она умна была бы и добра,  
Мы были б дружбой нежною согреты.

Они читали б мой веселый стих,  
В тиши рожденный, в грохоте и лязге.  
Для их детей, племянников моих,  
Я б не жалел ни времени, ни ласки.

Нет у меня ни братьев, ни сестры.  
И не было.

Пусть есть жена и дети,  
Друзья... Но с незапамятной поры  
Мне грустно иногда на белом свете.

### АРБУЗЫ В МОСКВЕ

Под тентом полосатым и линялым  
В больших корзинах, прямо на камнях,  
Арбузы астраханские — навалом,  
Как на речных далеких пристанях.

Хвосты крючками — словно поросята.  
Лежит степей заволжских благодать,  
Округла, зелена и полосата.  
А что внутри? Попробуй угадать.

И продавец, поморщившись немножко,  
Всего тремя ударами ножа  
В арбузной корке делает окошко,  
Где мякоть открывается, свежа.

Арбуз внутри просахарен и красен —  
Томительного юга торжество.  
Как видно, был приход ножа напрасен,  
Здесь ни к чему вмешательство его.

«О! — Покупатель выглядит довольным.—  
Беру! Таких не видывал давно!..»  
И тем же самым ставнем треугольным  
Закрыто треугольное окно.

Идет, кряхтя под тяжестью арбуза,  
Встречая одобрение в пути.  
Воистину сладчайшая обуза —  
Домой арбуз торжественно нести.

И снова поражаюсь я, что лето  
Спокойно тащит полновесный груз  
И что земля вынашивает это:  
Не абрикос, не яблоко — арбуз!

**ОСЕНЬ**

Был поздний ветер джуж,  
Нес пепел листьев прелых  
И муть, как из тарелок,  
Выплескивал из луж.

Рябины рдела гроздь.  
А лес, густой недавно,  
Листвой блиставший славно,  
Стал виден всем насквозь.

Он был как близкий дом,  
Где содраны обои,  
Нет ламп над головою,—  
Узнаешь, да с трудом.

В различные концы,  
Сложив свои гардины  
И сняв свои картины,  
Разъехались жильцы.

Струился дождь из мглы,  
Тянулся запах прели,  
И словно обгорели  
Намокшие стволы.

О милые дома!..  
Напрасно сердцу грустно:  
Все выправит искусно,  
Все выбелит зима.

**ДОРОЖНЫЕ КАРТИНЫ**

Поезд скорость сбавил? Значит, надо!  
Посмотри в вагонное окно.  
Так и есть: ремонтная бригада  
На подъеме чинит полотно.

Узелки с едой за штабелями  
Снегозаградительных щитов.  
Теплый ветер веет над полями  
И разносит запахи цветов.

Поезд — дальше. Перемены быстры —  
Вон висят качели на суку,  
Вон шофер тяжелые канистры  
Медленно несет к грузовику.

Мост. Разъезд. Речушка в желтых лозах.  
Девочка с малиною в ведре.  
«Миру — мир!» — известный людям лозунг,  
Выложенный щебнем на бугре.

Лес, где хвоя в нитях паутины,  
Фабрика в сиянии сплошном.  
Издавна знакомые картины  
Бегло проплывают за окном.



И влекут они неудержимо  
Силой недоступности своей,  
Потому что поезд мчится мимо  
Тех лесов, поселков и полей...

...Я прошел от края и до края  
Землю, что светла и хороша,  
Но, как будто что-то оставляя,  
В сотый раз тревожится душа.

### НОЧЬЮ

Ночь июльская темна.  
Храбро девушка одна  
Вышла за калитку —  
Кофточка внакидку.

Постояла у ворот,  
Присмотрелась, видит: ждет,  
Курит папироску —  
Пиджачок внаброску.

Ночью слышен каждый звук,  
Сердце бьется: тук-тук-тук.  
Сторона степная  
Без конца, без края.

Время движется вперед.  
Над землю ночь пройдет,  
Как обыкновенно.  
А для них — мгновенно.

Ибо в юные года  
Людам кажется всегда,  
Будто ожиданье  
Дольше, чем свиданье.

Над просторами земли  
Паровоз поет вдали,  
И черна, как уголь,  
Ночь идет на убыль.



---

---

НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Вот приехали и уезжаем,  
до свиданья, дружище море!  
Немного камушков взяли,  
немного твоей синей соли,  
немного твоей бесконечности,  
немного твоей печали.  
Ты кое-что нам рассказало  
о себе, о морской своей доле,  
чуть больше полны мы надежды,  
чуть больше людьми мы стали...  
Вот приехали и уезжаем,  
до свиданья, дружище море!

### О ДУНАЕ

На небе ни облачка.  
Ивы дождливые.  
Повстречал я Дунай,  
течет мутный-мутный.  
Эх, Назым, Назым,  
был бы ты  
водою  
Дуная,  
шел от Черного леса  
в Черное море,  
становился бы синим,  
синим,  
синим,  
сверкая  
под солнцем  
в Босфоре.  
Над тобою бы веял  
воздух  
Стамбула...  
И до самой пристани  
Кадыкея  
дошел бы,  
бился, бился б о борт,  
увидав, как садятся в катер  
Мемед с его матерью...

### ЕЩЕ О ДОЖДЕ

Постукивая, как воробьи,  
 дождь ест крошки хлеба,  
 которые я насыпал  
   на железную крышу,  
 ест тревожно, тревожно —  
 тук-тук, тук-тук,  
 как воробьи.

### КОНЦЕРТ СЕБАСТЬЯНА БАХА ДО МИНОР

Утром осенним  
 в виноградном саду  
 лоз посаженных в ряд  
   повторенье,  
   кистей на лозах,  
   виноградин на кистях,  
   сияния на виноградинах.

Ночью  
       в очень большом,  
       очень белом доме —  
       в каждом отдельный свет —  
   повторение окон.

Всех дождей повторенье,  
   капель, падающих  
   на землю,  
   на дерево,  
   в море,  
   на мои руки, лицо и глаза,  
   и капель,  
   раздавленных на стекле.

Дней моих повторенье,  
   один на другой похожих,  
   не похожих один на другой.

Повторенье плетенья,  
 повторение звездного неба,  
 повторение слова «люблю»  
   на всех языках,  
 повторение дерева в листьях,  
 и на каждом смертном одре  
   горечь прощанья с быстрой  
   жизнью.

Снега падающего повторенье,  
   мелких мокрых снежинок,  
   крупных снежинок,  
   снежных хлопьев,  
 снега чистого,  
   падающего в метель  
   и закрывшего мне дорогу.

Дети бегают во дворе,  
 во дворе бегают дети.

Старая женщина проходит по улице,  
проходит по улице старая женщина.

Ночью

в очень большом,  
очень белом доме —  
в каждом отдельный свет —  
повторение окон.

Виноградин на кистях,  
сияния на виноградинах.

Идти к лучшему, к справедливому, к правде,  
бороться за лучшее, справедливое, за правду,  
добиться лучшего, справедливого, правды.

Безмолвных слез твоих, милая,  
и улыбки,

рыданий твоих  
и хохота, милая,  
сияющего белозубого хохота  
повторенье.

Утром осенним  
в виноградном саду  
лоз посаженных в ряд

повторенье,  
кистей на лозах,  
виноградин на кистях,  
сияния на виноградинах,  
моего сердца в сиянии.

Чудо  
повторения, милая,  
неповторимость

повторения...

*Перевела с турецкого М. Павлова.*



---

Г. НОВОГРУДСКИЙ, А. ДУНАЕВСКИЙ

★

## ПАУ ТИ-САН И ЕГО ТОВАРИЩИ\*

### 6. Так учил полководец Сунь-цзы

**К**азарма китайского батальона размещалась в двухэтажном здании, в центре города. Порядки здесь были другие, чем в Петроградском отряде, где до этого служил Ли. Там все держалось не столько на дисциплине, сколько на чувстве долга. А Пау Ти-сан требовал соблюдения всех тонкостей устава воинской службы. Павел Иссифович Кобаидзе помнит, что Пау Ти-сан говорил ему по этому поводу:

— Мы, китайцы, любим порядок и дисциплину. Посмотри, как китаец сажает руками каждое пшеничное зернышко в отдельности, как корзинами таскает землю, чтобы создать поле там, где песок и камень, и ты поймешь, какая огромная внутренняя собранность нужна для подобного адского труда. Воинская служба — это так же, как земледелие: хорошо ухаживай за землей, и ты будешь хорошим крестьянином; хорошо выполняй все требования устава, и ты будешь хорошим солдатом.

Строго размерен был ход жизни в китайской казарме. Строевые занятия, политбеседы, охранная служба, отдых. На все свое время. И только иногда, как вспоминал Ли Чен-тун, установленный распорядок дня менялся. Это случалось, когда во Владикавказ доставлялись оказией из Москвы листовки на китайском языке. В такие дни во всех уголках казармы вслух читались листовки. Большинство бойцов было неграмотно. Но листовку старался подержать в руках каждый. Она переходила от одного к другому.

Ли Чен-тун рассказал нам о первом комиссаре батальона, русском товарище, которого бойцы называли «комиссар четыре глаза» (он носил очки). Фамилии его Ли не помнит<sup>1</sup>. Это был молодой и очень старательный человек, проводивший целые дни с бойцами. Кончатся строевые занятия — он уже в казарме, позовет переводчика, читает газеты, рассказывает что-нибудь, на вопросы отвечает.

— Бывал у нас в казарме и другой комиссар, — продолжал Ли Чен-тун, — «Большой комиссар» — Киров. Он вручал нам батальонное знамя и говорил тогда, что китайские бойцы воюют не только за то, чтобы революция победила в России, но и за то, чтобы она победила в Китае. «Я знаю, — говорил Киров, — придет час — и на вашей родине тоже грянет гром пролетарской революции». Пришел Киров к нам и в Первомайский праздник. В тот день в гости к китайцам собрались красноармейцы из других владикавказских подразделений — русские, осетины, украинцы, грузины, ингуши. Очень хорошо было тогда в казарме. Далеко по улицам города разносились звуки многоголосого красноармейского хора. Сергей Миронович пел вместе со всеми. Когда он ушел, бойцы говорили, что в нем есть мудрость и простота. Только по-настоящему большие люди бывают такими.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

<sup>1</sup> Мы не могли установить фамилии первого комиссара Владикавказского китайского батальона, пока не получили письма из Киева от Екатерины Кузьминичны Черненко, узнавшей через «Литературную газету» о наших поисках.

В 1918 году Екатерина Кузьминична служила во Владикавказском китайском батальоне медицинской сестрой. Она хорошо помнит комиссара батальона Евгения Еленевского. Ему было тогда двадцать три—двадцать четыре года.

Евгений Еленевский — вот кого называли китайские бойцы «комиссар четыре глаза».

Через месяц с небольшим после Первого мая в батальоне Пау Ти-сана отмечался праздник «Дуань-у» — «Две пятерки». Он празднуется в Китае в пятый день пятого лунного месяца.

«Дуань-у» — двойной праздник: праздник дракона, повелителя влаги, защищающего поля от бедствий засухи и недорода, и день памяти певца народной печали — поэта Цюй Юаня, жившего более двух тысяч лет назад. В Китае в этот день все от мала до велика собираются на берегах рек, бросают в воду чжунцы — рисовые треугольные печеня, завернутые в кукурузные листья, поют песни, танцуют под звуки тростниковых дудочек и удары барабанов.

С тех пор как бойцы Пау Ти-сана попали в Россию, «Две пятерки» они отмечали впервые. Не в рабочих же бараках, куда их загоняли к вечеру, было отмечать китайцам свой праздник.

Во Владикавказе, по словам Ли Чен-туна, китайские красноармейцы отвели душу. Батальонные повара раскатали, как положено, на длиннейшие полосы тесго и нажарили треугольных печений; батальонные искусники соорудили из красного кумача, обручей и шестов изображение дракона. Немалого труда стоило добиться, чтобы страшная пасть повелителя влаги выражала одновременно свирепость и доброжелательность.

Дракона хотели пронести по городу, но Пау Ти-сан, сначала одобривший такой план, потом отменил его.

— Напугаем людей,— говорил он.— Да и для суеверных слухов дадим пищу. Не стоит...

Повелитель вод остался во дворе казармы, а батальон, закончив строевые занятия и сдав караульные посты, двинулся во главе с командиром к Тереку. Здесь, на берегу бурной горной реки, китайские бойцы плясали, пели песни, прыгали через костры. Праздник получился на славу. Все было как на родине.

О многом передумал Ли Чен-тун в день, когда отмечал на берегу Терека праздник «Дуань-у». Он больше не чувствовал себя на чужбине.

Летом 1918 года обстановка на Тереке заметно усложнилась. Беспokoйство вносило контрреволюционное офицерство.

— Царских офицеров было тогда во Владикавказе свыше трех тысяч,— вспоминал Павел Иосифович Кобайдзе, коренной владикавказец, человек, как уже было сказано, близко знавший Пау Ти-сана и его бойцов.— Сначала офицеры играли в нейтралитет, уверяли, что не собираются поддерживать ни красных, ни белых. Но к лету 1918 года они подняли голову. Бесчисленные слухи поползли по городу, сея смуту, сбивая людей с толку. На базарах, в духанах, церквах, мечетях упорно говорили: «К красным шло оружие из Москвы, да не дошло. Ждали они солдат, да не дождались. А без оружия и солдат какая у Советов власть?.. Такую власть толкни — упадет». Распространяя такие слухи, белые готовили почву для внезапного выступления.

Идти на открытое столкновение с местной контрреволюцией в те дни было невыгодно, сил не хватало. А врага надо было как-то обезвредить, припугнуть.

Слушая П. И. Кобайдзе, мы вспомнили короткую запись Филиппа Махарадзе, ту самую, в которой старый большевик упоминал о «маленьком батальоне из китайцев» и которая, как знает читатель, стала отправной точкой наших поисков.

Итак, «маленький батальон из китайцев» представлял собой в те дни на Тереке солидную силу, а враг — грозный и многочисленный — бряцал оружием. Надо было его припугнуть.

Пау Ти-сан сумел это сделать как нельзя лучше.

В одном из древнейших в мире трактатов о воинском искусстве, принадлежавшем перу Сунь-цзы, рассказано о том, как важно ввести противника в заблуждение. Не знаем, читал ли Пау Ти-сан знаменитое сочинение своего соотечественника, но он решил поступить именно так, как советует Сунь-цзы.

Свой план Пау Ти-сан изложил военному республике Я. П. Бутырину:

— Яков Петрович, хорошо бы сделать так, чтобы белые думали, будто у нас китайских бойцов раз в десять больше, чем на самом деле.

— Хорошо-то хорошо,— ответил Бутырин,— но почему нужно удесятить в представлении белых численность именно китайского батальона?

— Нас здесь плохо знают, и мы кажемся все на одно лицо. С помощью моих бойцов легче будет обмануть врага.

На следующий день бойцы первой роты китайского батальона несли усиленную караульную службу и патрулировали по городу в самых людных местах. Пау Ти-сан без конца мелькал на своем иноходце то тут, то там.

— В тот день, куда бы я ни шел, Костя всюду попадался мне на глаза,— вспоминал П. И. Кобаидзе.— В конце концов при очередной встрече я не выдержал и спросил: «Костя, можно подумать, будто тебе делать нечего. Что ты все скачешь взад-вперед?» «Я не просто скачу, а со смыслом скачу»,— с шутилой многозначительностью ответил Пау Ти-сан. Только позднее мне стал ясен смысл всей этой бурной деятельности.

Бойцов батальона Пау Ти-сана можно было увидеть в тот день не только во Владикавказе. Вторая рота батальона разместилась в эшелоне, который медленно потянулся от Владикавказа к Беслану, от Беслана — к Дарг-Коху и дальше. За один день эшелон с китайскими бойцами побывал на многих железнодорожных станциях, прошел мимо десятков аулов и станиц. Тысячи горцев и казаков, работавших в поле, пасущих скот, толпившихся на привокзальных платформах, глазели на мелькавшую мимо длинную цепь вагонов с китайскими солдатами.

Китайцы сидели на подножках, стеной стояли в широко распахнутых дверях теплушек, и никому из глядевших на них в голову не приходило, что за их спинами — пустой вагон.

Ночью эшелон вернулся во Владикавказ. А утром следующего дня базары, шашлычные, духаны, церкви, мечети полны были слухов о крупных воинских пополнениях, присланных из центра в распоряжение Терского правительства. Обмануть врага удалось как нельзя лучше. Белогвардейцы, окопавшиеся во Владикавказе, приутихли. В городе стало спокойнее.

## 7. Белый траурный цвет

Этот эпизод, рассказанный Ли Чен-туном, не имеет прямого отношения к боевым событиям прошлых лет. Но он освещает те стороны души воинов китайцев, разглядеть которые бывает не так легко.

Как-то Пау Ти-сан говорил с бойцами о Ленине, о деятелях большевистской партии. «Одного такого человека и вы знаете,— сказал он бойцам.— Это товарищ Ной, здешний председатель». Пау Ти-сан рассказал бойцам о прошлом испытанного революционера, председателя Совета Народных Комиссаров Терской республики Ноя Буачидзе, о том, что Ленин очень уважает и ценит его.

Один из бойцов, часто стоявший на часах у входа в здание Совнаркома, спросил командира, почему у Ноя такой болезненный вид. «Когда проходит, смотреть жалко, совсем больной человек». «Он надорвал свое здоровье в царских тюрьмах»,— ответил комбат.

Бойцы долго расспрашивали его об удивительных людях, большевиках-революционерах, которые ради свободы и счастья народа, не колеблясь, шли в тюрьму, на каторгу.

После этого Пау Ти-сан попросил Буачидзе приехать в гости к китайским красноармейцам. Ной согласился. Встречу наметили через три дня.

Как обрадовались бойцы, когда узнали, что у них будет Ной! Тут же стали готовиться к приему гостя, и первое, что сделали,— вынесли решение не курить в зале, где должна была состояться встреча. «Нехорошо, если такой уважаемый всеми человек, у которого плохое здоровье, будет у нас дышать вредным, прокуренным воздухом».

Курить перестали, окна в зале держали открытыми день и ночь, но избавиться от табачного запаха в насквозь прокуренном помещении было нелегко.

Тогда один боец — Ли Сан-тин, которого товарищи называли Ли-младший в отличие от нашего знакомого Ли Чен-туна, которого называли Ли-старший,— вызвался пойти в горы за травами. Прогулка в горы в те беспокойные времена была не простым делом. Вместе с Ли, вооружившись винтовками и сунув в карманы по паре гранат, отправились еще несколько бойцов. Долго бродили они в цветущих, окруженных скалами долинах и вернулись с большими охапками ароматных трав. Пучки их были развешаны в зале.

Когда Буачидзе приехал в казарму, там стоял чистый, свежий воздух альпийских лугов. Ему никто не сказал, каких усилий это стоило. Бойцы считали, что сделанное ими даже в малой степени не соответствует тому, что заслужил Ной.

Прошло немного времени. И вот в том самом зале казармы, где висели связки пахучих трав и раздавался голос Ноя, был установлен его портрет в рамке, отороченной черным крепом. Революционер-большевик Ной Буачидзе погиб. Предательская пуля сразила его на митинге во дворе Апшеронских казарм, где он выступал перед казаками.

Весь трудовой Владикавказ вышел проводить Ноя в последний путь. Над городом самолет сбрасывал листовки, посвященные памяти этого замечательного человека. У гроба Буачидзе произносились речи. Китайские добровольцы внимательно вслушивались в слова ораторов. Не всё понимали они, но основной смысл речей был ясен и западал в душу: друг Китая, жизнерадостный, добрый Ной погиб от руки врага, не знающего пощады. Борьба идет неумолимая, жестокая. Нужно выстоять, нужно победить.

Среди множества венков, возложенных к гробу, был один, выделявшийся цветом своей траурной ленты и надписью. Лента была белой, потому что именно белый цвет считается в Китае траурным. Выведенная же иероглифами надпись на ней, по словам старшего Ли, гласила:

«Ты жил для людей, ты погиб за людей, ты вечно останешься в наших сердцах, товарищ Ной».

## 8. Жаркий август

Белые продвигались к Тереку. 13 июля 1918 года пала Тихорецкая, 18-го — Кавказская, еще через десять дней — Армавир.

Контрреволюция на Тереке лихорадочно готовилась к восстанию. Ударить наметили в первую очередь по Владикавказу. «Во Владикавказе голова Красной Армии — Совдеп и СНК,— писал один из главарей восстания, полковник Беликов.— Там же Государственный банк и Монетный двор, там и армейская база. Ясно, что удар по Владикавказу — удар по голове большевиков, удар и в тыл им»<sup>1</sup>.

Сигнал к восстанию был дан в ночь с 5 на 6 августа. Поднялись населенные лавочниками, купцами, чиновниками, зажиточными мещанами Верхне-Осетинская и Владимирская слободки. Ворвались в город белоказаки окрестных станиц, подошли к окраинам черные сотни офицеров. В рядах мятежников насчитывалось до десяти тысяч человек.

Защитников Советов было в несколько раз меньше.

В этих невыгодных для красноармейцев условиях начались тяжелые уличные бои.

В ту ночь китайцы дрались в Курской и Молоканской слободках, в занятом под правительственные учреждения доме барона Штейнгеля, в доме, принадлежавшем купцу Зипалову, на Госпитальной улице, в здании реального училища.

Эта раздробленность батальона меньше всего свидетельствовала о недомыслии, нерадивости или — что тоже случалось в те времена — злом умысле. Бойцы Пау Тисана сражались с мятежниками там, где обычно несли свою службу.

Трудно восстановить все детали событий тех дней.

В газете «Горская правда» от 19 августа 1923 года мы нашли воспоминания П. Чеберяка. Он писал: «...полномю один эпизод: в доме Зипалова засело два красноармейца-китайца... Сменяя накалявшиеся от непрерывной стрельбы винтовки, они отстреливались от наседавших на проспект с Графского переулка белых».

Многие рассказывали нам о китайцах пулеметчиках, оборонявшихся на колокольне Линейной церкви. Эту героическую историю знают местные старожилы. Пока в городе шли бои, засевшие на колокольне китайцы пулеметчики держали под обстрелом перекресток двух основных городских магистралей, контролировали и подходы к зданию штаба, за которое тоже шел бой. Казаки обложили церковь, но заставить замолчать пулемет китайцев не могли.

Так продолжалось десять дней. Когда мятеж в городе был подавлен, обессиленных бойцов бережно сняли с колокольни.

<sup>1</sup> Журнал «Революционный Восток», 1929, № 6.



Кто были эти китайцы, как они могли продержаться на колокольне десять дней, не имея ни пищи, ни воды?

Долго мы искали человека, который мог бы ответить на этот вопрос. И наконец нашли. Это был Ча Ян-чи.

В Армавирском архиве среди документов гражданской войны попала нам на глаза справка: «Ча Ян-чи, рождения 1899 года, по национальности китаец. В начале 1918 года добровольно вступил в Красную Армию. Потом до окончания гражданской войны служил в 3-м Кубанском кавалерийском полку...» Далее шел внушительный список городов и населенных пунктов, где участвовал в боях Ча Ян-чи.

И вот мы на рисовом поле в одном из колхозов Чечено-Ингушской Автономной Республики, где живет и работает Ча Ян-чи. Подложив под себя охапку соломы, сидим на земле возле седого, с морщинистым лицом человека и слушаем его увлекательный неторопливый рассказ.

Свой путь красноармеец Ча Ян-чи начинал под Одессой. Там была создана рота китайцев красновардейцев, в нее он и вступил.

Весной 1918 года, когда началась эвакуация Одессы, интернациональному отряду чешских, сербских и китайских бойцов было поручено вывезти золото, хранившееся в Государственном банке.

Интернационалисты везли золото парходом до Феодосии, оттуда — поездом<sup>1</sup>. Доставив груз до места назначения, китайская рота ушла на юг.

Потом Ча Ян-чи воевал на Кубани под Тимашевской, Тихорецкой, Лабинской, Невиномысской. Отсюда с несколькими бойцами попал во Владикавказ, в батальон Пау Ти-сана. Здесь и застали его тревожные августовские дни.

Несколько дней провели мы в гостях у Ча Ян-чи, а потом поехали вместе с ним в Орджоникидзе, на места боев, участником которых он был.

Начали с того места, где стояла когда-то Линейная церковь. Ча Ян-чи хорошо помнил все, что происходило здесь в дни белогвардейского мятежа. На колокольне сидели с пулеметом его товарищи. Их было трое. Это командир роты Су Ло-дю сообразил тогда, что нужно занять колокольню, господствующую над большим районом города. Он снабдил трех бойцов-пулеметчиков запасом хлеба, воды, патронов. «Стреляйте с толком. Патронов зря не тратьте», — сказал он им на прощание.

Вспомнил Ча Ян-чи и имена героев, державшихся десять дней на колокольне, — Ван Ден-шин, Ко И-лу и Ти Фун-чо.

Узнали мы со слов Ча Ян-чи, дополненных рассказами старых владикавказцев, и об ожесточенных боях, развернувшихся неподалеку от Линейной церкви, в длинном, приземистом здании бывшего воинского присутствия, где располагался в те годы штаб Красной Армии.

Здесь шла война этажей: белоказаки захватили первый этаж дома, а во втором держались десятка два китайцев красноармейцев.

Казаки, не зная, кто засел наверху, кричали: «Сдавайтесь, большевички! Русских не тронем, осетин не тронем, а если китайцы у вас есть — вяжите. Вместе вешать будем».

В ответ они слышали стук над головой: сверху пробивали потолок.

Пробив в потолке небольшую дыру, красные затихли. Казаки стали стрелять в пробитое отверстие, но вскоре поняли, что это бесполезно.

<sup>1</sup> Летом 1957 года мы познакомились со многими из ныне здравствующих интернационалистов — участников гражданской войны в СССР. Среди них был Адольф Шипек, старый большевик, один из организаторов чехословацких подразделений Красной Армии. Он-то, как оказалось, и был командиром того самого интернационального отряда, о котором вспоминал Ча Ян-чи.

— Золота было, — рассказывал нам Адольф Степанович, — миллионов на четыреста с лишним. Когда мы выгрузились в Феодосии, под него понадобился целый железнодорожный состав. Охрану вагонов несли китайцы. Их в отряде было около двухсот человек. Командовал ими Чжан. Толковый, смелый и решительный человек. Я на него мог положиться во всем, как, впрочем, и на всех китайских бойцов. Они меня иной раз просто поражали своей выдержкой, дисциплинированностью, хладнокровием и, что самое главное, высокой, будто бы отроду присущей им революционной сознательностью. Посмотрели бы вы, как спокойно несли они охрану вагонов. На всем длинном и тяжком пути «золотого поезда» — с опасностями, стычками, перестрелками — случая не было, чтобы хоть один боец сделал малейшую попытку нарушить свой долг.

Тогда в проломе появился подвешенный на веревке листок бумаги. На листке был изображен улыбающийся красноармеец с узким разрезом глаз и звездочкой на фуражке, показывающий кукиш бородатому казаку в погонах. Белые сгрудились вокруг рисунка. Этого, видимо, наверху и ждали. В отверстие полетела граната, раздался взрыв.

После этого бойцы Пау Ти-сана стали пробивать потолки и в других комнатах и таким образом теснить врага.

Тут опять проявилась их удивительная находчивость и умение приспособиться к необычным условиям «войны этажей».

Применили гранаты-маятники: подвязывали гранату на веревке и метали из окна с таким расчетом, чтобы она, описав подобно маятнику дугу, залетала в окно нижнего этажа.

Это давало немалый эффект. Казаки нигде и ни на одну минуту не чувствовали себя спокойно, да и потери несли немалые.

Правда, в одном казаки сумели использовать преимущества своего пребывания на первом этаже: отключив водопровод, они оставили верх здания без воды.

Трудно пришлось китайским бойцам — ведь дело было в августе, в самое жаркое время. Нужно было уходить, пробиваться к своим.

Вокруг дома, в котором были блокированы бойцы Пау Ти-сана, шел высокий кирпичный забор.

Ночью, когда бой между этажами затих, кто-то из китайцев ужом прополз через двор, подложил связки гранат под забор, привязал к запальному кольцу веревку, отполз подальше и тихо свистнул.

По его сигналу бойцы стали бросать оставшиеся гранаты в комнаты с пробитыми потолками. Раз за разом раздавались взрывы в здании, потом сильный взрыв прозвучал во дворе. Среди казаков начался переполох. Пока они метались по зданию, не понимая, что происходит, вся группа китайских бойцов спустилась из окон второго этажа во двор и через брешь в заборе ушла к своим.

## 9. Побег

Китайские бойцы дрались разрозненными группами в разных частях города. А где был в это время комбат?

По словам Ча Ян-чи, командир, когда начался мятеж, был на съезде.

— На каком съезде?

— Кто знает... Куда-то мы выбирали его, а куда — не помню...

Владикавказские газеты за первые дни августа 1918 года, к которым мы обратились, публиковали отчеты о 4-м Терском народном съезде. Очевидно, на этот съезд и был делегирован Пау Ти-сан.

Попробовали найти списки делегатов съезда — их в архиве не оказалось.

Стали разыскивать участников съезда. В осетинских, ингушских и чеченских селениях такие старики нашлись. Они слышали речь чрезвычайного комиссара Юга России Серго Орджоникидзе, видели Якова Бутырина, Кирилла Кесаева, Асланбека Шерипова...

И про Пау Ти-сана слышали. Только был ли он на съезде — сказать не могут. Со всего Терка делегаты собрались. Разве всех запомнишь...

Может быть, Пау Ти-сан был среди тех делегатов, которые находились в здании кадетского корпуса, на окраине Владикавказа, где заседал съезд? Когда вспыхнул мятеж, они оказались отрезанными от города и во главе с Серго Орджоникидзе ушли в Ингушетию, чтобы поднять горцев на защиту города.

Отвечая на наши расспросы, был ли Пау Ти-сан с ними, свидетели тех дней отрицательно качали седыми головами: Пау Ти-сан в Ингушетию не уходил.

Оставался еще один человек, способный пролить свет на интересующий нас вопрос, — Павел Иосифович Кобаидзе...

Когда через некоторое время мы встретились с ним, нам едва хватило блокнота, чтобы записать все, что он рассказал.

— Армейцев, — вспоминал Кобаидзе, — было на съезде человек тридцать—тридцать пять. Пау Ти-сан тоже был там. Мы с Костей рядом сидели.

Жарко было на съезде — в смысле политического накала. Страсти разгорались до того, что казалось, вот-вот все взлетит в воздух.

Исключительно вызывающе вели себя представители казачьей верхушки. Они все время выдвигали ультимативные требования, угрожали. Наиболее горячие хватались за оружие даже в самом зале.

Помню, как Костя схватился с Фальчиковым, есаулом, возглавлявшим казачью делегацию. Фальчиков позволил себе грубый выпад против китайцев. Костя ему ответил. Фальчиков взвился: «Желтая собака! Казаков смеешь оскорблять!..» Пау Ти-сан побледнел, вскочил и трясушимися от гнева руками стал отстегивать кобуру маузера. Видно было, что человек себя не помнит.

Два других китайца — тоже делегаты — побелели от волнения, тоже стали вынимать пистолеты. И у казаков, смотрю, в руках пистолеты поблескивают. В зале шум, оратора гонят с трибуны. Председательствующий пытается навести порядок, но его звонка не слышно. Ну, думаю, сейчас начнется стрельба, только этого не хватает.

Дело, однако, до стрельбы не дошло. Обстановку разрядил... мулла. Да, среди делегатов съезда было несколько мусульманских служителей культа. Большинство их не скрывало ненависти к Советам. Но тот мулла, о котором я говорю, член чеченской делегации, придерживался других взглядов. В своей речи, произнесенной незадолго перед тем, он призывал горские народы поддержать Советскую власть.

И вот под сводами зала, перекрывая шум, вдруг разносится: «Ля Илляха или Алла!» — «Нет бога кроме бога». Во всем мусульманском мире так призывают верующих к молитве.

Надо сказать, что большинство делегатов горских народов свято соблюдало часы молитвы, и из уважения к их обычаю съезд на это время устраивал перерыв.

Услышав муллу, присутствовавшие в зале мусульмане встали со своих мест. Нашу армейскую делегацию и делегацию казаков на несколько минут разделила живая стена. А нам, товарищам китайских делегатов, это только и нужно было. Мы стали их успокаивать, говорили, что, поддавшись на провокацию Фальчикова, они сыграют только на руку врагам.

Костя первый пришел в себя, отнял руку от маузера, бросил яростный взгляд в сторону Фальчикова и что-то сказал по-китайски своим бойцам. Те покорно сели на место.

Инцидент был исчерпан. Я взглянул на часы и понял, что чеченский мулла призвал верующих к намазу раньше обычного...

Это произошло за день или за два до мятежа.

— А когда бои начались, где был Пау Ти-сан?

Полковник Кобаидзе задумался.

— Не знаю... наверно, дома... Во всяком случае, с первыми выстрелами он, как и я, побежал к своим бойцам и так же, как я, попал к белым в плен.

— В плен?

— Ну да. Благодаря Косте, собственно говоря, мы и беседуем сейчас с вами. Если бы не он, лежать бы мне в могиле... Вместе бежали...

Вот как это произошло.

Вечером 5 августа Павел Кобаидзе, молодой комиссар 1-го Красногвардейского полка, усталый вернулся со съезда домой и рано лег спать. Под утро он проснулся от винтовочной и пулеметной стрельбы.

Стрельба доносилась со всех сторон. Разобраться в том, что происходит в городе, кто в кого стреляет, было невозможно.

Быстро одевшись, комиссар выскочил на улицу и побежал по направлению Апшеронских казарм, в свой полк. Когда Кобаидзе пробегал мимо какого-то сонного, с наглухо закрытыми ставнями домика, несколько дюжих казаков, выскочив из засады, навалились на него, стали крутить назад руки.

Еще мгновение, и руки были связаны. Двое казаков, ругаясь, повели оглушенного Кобаидзе к зданию Харламовской церкви.

Комиссара ввели в ограду. Подъесаул, распорядившийся там, спросил казаков:

— Что, хлопцы, еще одного большевика привели? Кто такой, не знаете?

— Кто его знает,— равнодушно ответил казак, всю дорогу особенно рьяно колол Кобаидзе по спине.— Видать, из начальников... Кольт держал... Кольт у них только начальникам положен.

— Так, так, разберемся, какой начальник... Тут вот перед вами «главного ходю» привели, то действительно птица...

Кобаидзе обернулся. В нескольких шагах от него, прислонившись спиной к стволу дерева, молча стоял Пау Ти-сан. Павлу Иосифовичу хотелось крикнуть: «Костя!», броситься к другу, но, увидев его предостерегающие знаки, комиссар сдержался. Он понимал: Пау Ти-сан заботится не о себе. Его все равно опознали, да и не могли не опознать: слишком уж приметен. А Кобаидзе пока не знают. И лучше ему не выдавать себя, не показывать, что они близки.

Казачьи и подьесаул ушли. Кобаидзе оглянулся. Обширная территория, примыкавшая к церкви, была обнесена со всех сторон оградой полутораметровой высоты, с железными прутьями. У ворот ограды с наружной стороны стояли двое часовых. На пленных красноармейцев никто не обращал внимания — их было немного, человек пятнадцать. Молча, тесной понурой группой они сидели в холодке позади церкви.

Прошло минут двадцать. Из церковной сторожки появился подьесаул, за ним двое казаков с грудой лопат в руках. Бросив лопаты на землю, они подошли к красноармейцам, что-то сказали им. Пленные встали, взяли каждый по лопате и принялись рыть яму. С десяток вооруженных белогвардейцев, встав позади, молча наблюдали за их работой.

Пау Ти-сан подошел сзади к Кобаидзе, тихо сказал:

— Бежим, Павел, все равно пропадать.

Кобаидзе не успел ничего ответить. Все дальнейшее произошло с ошеломляющей быстротой. Присев, Пау Ти-сан вдруг пронзительно крикнул, с непостижимой ловкостью перемахнул через забор и побежал, пересекая улицу, в сторону реки.

— Костин крик передать невозможно,— вспоминал полковник.— Вы не представляете себе, что это было. Какой-то дрожащий горловой звук на невероятно высоких нотах. Потом, уже много времени спустя после августовских событий, Костя объяснил мне, что этим криком он хотел поразить казаков. И действительно поразил. Оглушенные, растерянные, казаки какое-то мгновение тупо смотрели, как убегает от них китайский командир. Я сначала тоже опешил, но тут же пришел в себя, подтянулся, прыгнул через забор, упал, вскочил, побежал через улицу, завернул в чей-то двор... Там снова забор, двор, забор... И наконец Терек. Кубарем скатился в реку. Сзади стрельба, крики... А Терек меня подхватил и понес. Вынесло на другой берег, а там уже были свои. Костя тоже спас Терек. Его снесло ниже того места, где вышел я. Все августовские дни он в Курской слободке воевал — там, где держали оборону рабочая дружина Павла Огурцова, отряды Кирилла Кесаева и Саши Гегечкори.

На двенадцатый день боев мятеж был ликвидирован. 20 августа Владикавказский телеграф передал в Москву В. И. Ленину телеграмму. Серго Орджоникидзе докладывал:

«...После одиннадцатидневных упорных боев мятежники разгромлены, сбежали из города. За время боев Красная Армия вела себя выше всякой похвалы, грудью защищала Советскую власть».

## 10. Фальшивая пятирублевка

«Командиру китайского батальона т. Пау Ти-сану.

При сем препровождается красноармеец Шоу Чжен-уан, задержанный на вечернем базаре и доставленный в комендатуру, как пытавшийся сбыть фальшивый знак пятирублевого достоинства, что не подтвердилось.

Комендатура обращает внимание на факт хождения красноармейцев по базарам, как явление нежелательное и требующее решительного пресечения.

Дежурный по комендатуре  
(подпись неразборчива).

Листок, извлеченный из старых папок, сколько-нибудь значительного интереса не представлял. Мелкий бытовой штришок, и только. У бедняги Шоу возникли, видно, какие-то заботы, погнавшие его на вечерний базар, и он пострадал. Любитель базарной толчеи не мог остаться в отряде безнаказанным. Со слов Ли Чен-туна и Ча Ян-чи складывалось определенное впечатление о строгой и сознательной дисциплине, господствовавшей в батальоне.

Они рассказали нам, что все случаи нарушения дисциплины разбирались на батальонном собрании. Чаще всего дело сводилось к общественному порицанию или выговору перед строем. Применялась также формула «признание, продумывание и осознание» — нарушитель дисциплины сообщал товарищам о своем проступке и о том, к чему, осознав его, пришел. Если товарищи находили, что он достаточно продумал и осознал свою вину, вопрос считался исчерпанным, больше к нему не возвращались.

Расспросив о том, как поддерживалась дисциплина в отряде, мы отложили в сторону записку о любителе базарной толчеи. Однако вскоре знакомство с Габо Карсановым и Син-ли заставило нас отнестись к эпистолярному наследию дежурного коменданта с новым интересом.

Но прежде — о Карсанове. Высокий, статный, с гордо посаженной головой, он и сейчас, в семьдесят семь лет, еще красив. Можно представить себе, каким молодцом выглядел он в свои молодые годы.

Многое довелось повидать и испытать Габо Карсанову. В хозяйстве его отца на одиннадцать ртов приходилось три десятины земли. Юноша Габо ушел из аула на ремонт железной дороги. А после 1905 года, спасаясь от преследований за участие в революции, уехал в Японию, а оттуда — за океан.

Восемь лет прожил Габо в Соединенных Штатах и в начале 1918 года вернулся домой.

«Американец» Габо, как называли его друзья, стал командиром осетинской конной сотни. Сотня стояла во Владикавказе, и здесь-то и произошел заинтересовавший нас эпизод.

Как-то летним вечером Габо услышал на улице английскую речь. Хорошо зная этот язык — единственное достояние, вывезенное им из Америки, — он без труда разобрался в том, о чем говорили англичане.

Стало ясно: перед ним английские офицеры, переодетые в штатское; они приехали из Тифлиса. Само собой возникал вопрос: для чего эти господа приехали в большевистский Владикавказ?

Полный смутных подозрений, Карсанов направился к тому, с кем за последнее время уже не раз встречался, — к чрезвычайному комиссару Юга России Серго Орджоникидзе. Несмотря на позднее время, Орджоникидзе работал в своем кабинете. Габо попросил секретаря доложить о нем.

— Что у тебя, Габо? — спросил комиссар, когда Карсанов вошел. — Почему не спишь?

— Дело есть, товарищ Серго, — сказал Габо. — Я не знаю — может быть, пустяк. Во Владикавказе англичане появились. Офицеры.

Серго внимательно выслушал Карсанова.

— Это офицеры из английской миссии, — сказал он. — Они перебрались сюда из Грузии. Туда немцы пришли, им там оставаться нельзя.

— Значит, все правильно с ними, товарищ Серго?

— Как сказать... Очень не любят они нас. Очень хотят, чтобы нас не было. И, надо думать, кое-что для этого делают. — Серго помолчал. — Да, Габо, — продолжал он, — это просто отлично, что ты знаешь английский язык.

Карсанов был прикреплен как офицер связи к английской военной миссии и теперь проводил много часов в особняке на Лорис-Меликовской, где обосновались англичане.

Однажды к Габо подошел китайский комбат.

— Скажи, Габо, — спросил Пау Ти-сан, — говорит ли кто-нибудь из англичан офицеров миссии по-китайски?

— Зачем тебе? — удивился Карсанов.

— В последние дни ко мне несколько бойцов приходили, одну и ту же историю рассказывают. Кто-то, понимаешь, пытается установить с ними связь, провокационные разговоры ведет.

— На китайском языке?

— Да. Болтает еле-еле, но, в общем, объясняется. Вопросы задает одни и те же: не взят ли в Красную Армию насильно, не заставляют ли служить против воли, не приковывают ли китайцев во время боя цепями к пулеметам.

— Вот идиот!— воскликнул Карсанов.

— И еще спрашивает, нет ли настроения вернуться на родину. Кто, говорит, хочет уехать, можно устроить. И деньги будут и документы. Сначала на пароходе до Сингапура доедут, а там — в Китай.

— Так ты считаешь, что это кто-то из англичан?

— Почти уверен. Один шанхаец утверждает, что говорил с ним англичанин. А у шанхайцев на англичан глаз наметанный.

— А как этот англичанин выглядит, знаешь?

— Невысокий, рыжий, кривые ноги, слева в челюсти золотые зубы...

— Кептэн Боб!— вырвалось у Габо.

Он был знаком с этим офицером. Рыжий капитан действительно прожил несколько лет в Китае.

— Ну, так вот, передай своему кептэну Бобу, чтобы он к моим ребятам не приставал. А то неприятности могут быть. Бойцы сказали, если рыжий к кому-нибудь еще пристанет, заведут его в тихий угол и... поговорят по душам.

— Смотри, Костя, международный скандал будет,— встревожился понаторевший в дипломатических тонкостях Габо.

Пау Ти-сан в ответ только пренебрежительно махнул рукой.

Дня через два Габо увидел кептэна Боба с кусками пластыря на лбу и припудренным синяком под глазом.

— Хэлло, кептэн, что с вами? — участливо справился Карсанов.

— Ничего. Ночью в темноте на дверь наткнулся,— мрачно ответил англичанин.

— И знаете,— говорил нам семидесятисемилетний Габо, по-мальчишески улыбаясь,— после того, как кептэн Боб «ушибся», никто уже больше не заговаривал с китайцами на плохом китайском языке, не задавал глупых вопросов, не делал провокационных предложений. Как ножом отрезало.

Судя по многим признакам, деятельность английской миссии во Владикавказе отнюдь не ограничивалась тем, что кто-то из ее офицеров, толкаясь в штатском костюме по базару, занимался «улавливанием» душ. Такие вылазки были, конечно, для сотрудников миссии занятием второстепенным. Основное заключалось в другом — в собирании сведений о положении на большевистском Тереке, в передаче этих сведений своей разведке и командованию белой армии, финансировании, инструктировании и всяческой иной поддержке внутренних сил терской контрреволюции.

Все это можно было предполагать. Но, как говорится, не пойман — не вор. Прямых улик не было.

Эти улики появились с арестом незаметного, серенького человека, выдававшего себя за приехавшего из Тифлиса мелкого конторского служащего. Он показался подозрительным простой женщине, солдатской вдове, у которой снял комнату. Что-то проskalъзывало в нем высокомерно-барское, офицерское.

Женщина сообщила в ЧК. Конторщика задержали. Сначала он пытался отпереться, потом признался: да, он не конторщик, а кадровый царский офицер, бывший штабс-капитан, но политикой не занимался и не занимается, к белогвардейцам никакого отношения не имеет, единственное, к чему стремится,— это к тихой, мирной жизни обывателя. Потому и приехал из Тифлиса сюда. В Тифлисе — меньшевики-националисты, там русскому человеку неуютно. А здесь легко дышится. Он просто в восторге от Владикавказа.

Осмотр немудрящего багажа бывшего штабс-капитана ничего не дал. Угневенко (такова была фамилия любителя спокойной жизни) собирались отпустить.

О том, что произошло дальше, рассказал Павел Иосифович Кобаидзе. В то время, когда во Владикавказе появился Угневенко, Кобаидзе перешел из красновардейского полка, где был комиссаром, на работу во Владикавказскую ЧК.

События разворачивались так.

Председатель ЧК Кэтэ Цинцадзе доложил Орджоникидзе о решении освободить Угневенко.

— Правильно. Если чистый человек, держать не надо,— подтвердил Серго.— Обыск что-нибудь показал?

— Ничего. Все, что было на нем, тщательно осмотрели. Вещи тоже. Багаж у него небольшой: маленький чемоданчик, несколько пар белья, разная мелочь и две или три коробки папиросных гильз. В общем, пустяки, смотреть не на что.

— Гильзы? — спросил комиссар.— Вы их проверили?

— Проверили.

— Как?

— Открыли коробку, высыпали содержимое. Только гильзы. Ничего другого.

— А в гильзах?

Цинцадзе смутился.

— В гильзы не заглядывали. Как-то не пришло в голову...

— Эх вы, дети наивные...— усмехнулся Орджоникидзе.— Это ведь азы конспиративной техники — держать важные документы в мундштуках папирос или в гильзах... А ну, распорядитесь доставить сюда чемодан вашего штабс-капитана, да и его самого заодно.

Когда Угневенко усадили в кабинете чрезвычайного комиссара, а его коробки с гильзами выложили на стол, в глазах офицера блеснул беспокойный огонек.

Серго раскрыл коробку и стал надирать гильзы одну за другой. Десятая... двадцатая... тридцатая... Горка пустых гильз росла, занятие казалось бесполезным, но Орджоникидзе терпеливо и методично продолжал свою работу. И вот сто десятая или сто двадцатая гильза. Она поддается ту же других. Серго разворачивает мундштук. Внутри — свернутая трубочкой узкая полоска тончайшей шелковистой бумаги, сверху донизу густо исписанная микроскопически мелким почерком. Впрочем, лупа позволяет разглядеть: текст английский, полоска — только часть письма, фраза обрывается на полуслове.

— Была бы часть — целое найдется,— говорит Серго и берется за очередную гильзу.

Скоро на столе чрезвычайного комиссара лежала с одной стороны куча сломанных гильз, с другой — десятка два свернутых в трубочки узких полосок тонкой бумаги.

Среди них было удостоверение генерального штаба добровольческой армии, выданное штабс-капитану Угневенко в том, что он командирится в распоряжение противника. Всем антибольшевистским организациям предлагалось оказывать ему всяческое содействие.

Но штабс-капитан был сравнительно мелкой сошкой. В письмах, написанных на тончайшей бумаге и разрезанных на полоски, фигурировали имена покрупнее. Под письмом, адресованным английской миссии, стояла подпись Локкарта — одного из организаторов покушения на Ленина, под другим в тот же адрес — подпись видного монархиста Шульгина. Содержание писем не оставляло сомнений: Владикавказская миссия англичан — гнездо шпионажа и контрреволюции<sup>1</sup>.

Было решено закрыть английскую миссию во Владикавказе. Кстати, во время ее ликвидации выяснилось, что фальшивые деньги печатались именно здесь, в подвале особняка, занимаемого миссией<sup>2</sup>.

Пока мы слушали повествование Павла Иосифовича о драматических событиях, связанных с особняком на тихой Лорис-Меликовской улице, в памяти снова всплыл бедняга Шоу Чжен-вуан с его неприятностями из-за фальшивой пятирублевки. Так вот, оказывается, откуда тянутся корни базарной истории! Захотелось разузнать подробности о Шоу. Разыскивая людей, которые могли бы что-нибудь знать о нем, мы столкнулись в Беслане со старым Син-ли.

<sup>1</sup> 12 октября 1918 года чрезвычайный комиссар Г. К. Орджоникидзе в телеграмме В. И. Ленину сообщил: «...Во Владикавказе арестована английская миссия, уличенная в сношениях и связи с добровольческой армией Алексеева и с контрреволюционным Моздокским советом. Задержано письмо Локкарта председателю английской миссии полковнику Пайку, а также письмо Шульгина с просьбой установить связь Алексеева с союзниками» (Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи, т. I, изд. 1956 г., стр. 45).

<sup>2</sup> О клише для изготовления фальшивых пятирублевок, обнаруженном в здании английской миссии, см. книги М. С. Тотоева «Очерк истории революционного движения в Северной Осетии (1917—1920 гг.)» и профессора И. Разгона «Орджоникидзе и Кирова и борьба за власть Советов на Северном Кавказе».

Син-ли работает сейчас поваром в столовой. Что он делал в годы гражданской войны? Нет, не воевал. В отличие от многих других своих земляков, он не вступил в Красную Армию, а присмотрел во Владикавказе подходящее помещение, нашел компаньона осетина, и скоро к десяткам ресторанов, духанов и шашлычных бойкого города прибавилось еще одно подобное заведение.

Торговля шла неплохо. К Син-ли приходили бойцы из батальона Пау Ти-сана. Он готовил для них рис, пампушки, лапшу, овощи по-китайски. Красноармейцы охотно просиживали у него свободные часы. Син-ли перезнакомился почти со всем батальоном.

Знал ли он Шоу Чжен-вуана?

Старик пытался вспомнить это имя. Чтобы помочь ему, мы задали наводящий вопрос.

— У этого Шоу была какая-то неприятность из-за фальшивой николаевской пятирублевки. В комендатуру человек попал — может, помните?

Син-ли оживился.

— Я одного такого знал, который на фальшивой николаевке попался. Только фамилии не помню. Один раз пришел он ко мне в столовую. «Я сегодня,— говорит,— жалованье получил, хочу поменять на николаевские. Можешь это сделать?» Я говорю: «Не могу. Иди на базар, там поменяешь». Он поменял. Три николаевские пятирублевки получил. Я его спросил: «Зачем тебе николаевские?» Он сказал: «Пусть лежат. Война кончится, я домой поеду, матери подарок куплю». Потом еще немного времени прошло. Смотрю, приходит, просит: «Син-ли, меня на базаре не знают, тебя знают, помоги патроны купить». Тогда патронов мало было. Кто хотел воевать, патроны на базаре покупал. Горцы из аулов приезжали, продавали; казаки из станиц тоже продавали. Я спрашиваю: «Какие деньги есть?» — «Три николаевские пятирублевки». — «Зачем,— говорю,— отдаешь? Матери подарок нужен». — «Э,— говорит,— не до этого... Надо патроны купить». Я сказал: «Иди к Селиму—тому, что мылом торгует. У него патроны спросишь». Как я сказал, он так и сделал. Пошел к Селиму покупать патроны. И из-за этого у него неприятность получилась. Пятирублевки фальшивые оказались. Тогда во Владикавказе много фальшивых николаевок было. Очень ловко их делали, совсем как настоящие выглядели. И мой земляк не разобрался. А Селим в деньгах хорошо разбирался, сразу понял — фальшивые. И очень рассердился — думал, мой земляк обмануть хотел. А тот в чем виноват? Сам за свои честные солдатские деньги фальшивые получил...

Вот все, что рассказал нам Син-ли о китайском бойце. Был ли это Шоу Чжен-вуан, упоминавшийся в служебной записке, написанной некогда дежурным Владикавказской комендатуры, мы так и не узнали.

## 11. Русская мама

Мы ехали от берегов Терека к берегам Сунжи. Дорога вилась среди зеленых холмов, садов, полей, виноградников.

Четыре десятка лет тому назад в этом же направлении, только не напрямик, через станицы, в которых хозяйничали белоказаки, а в обход, шли форсированным маршем китайцы из отряда Пау Ти-сана. Они спешили в Грозный, где не утихали бои, вошедшие в историю гражданской войны под названием «стодневных».

Сто дней и сто ночей слышались в долине Сунжи грохот артиллерийской канонады и винтовочная трескотня; сто дней и сто ночей поднималось над городом зарево, клубился дым пожаров.

С одним из участников грозненской эпопеи, активным собирателем материалов по истории родного края, Александром Филипповичем Кучиным, мы встретились в первый же день нашего приезда в Грозный.

Его небольшая квартира напоминает филиал краеведческого музея. На стенах — портреты героев стодневных боев, фотографии тех мест, где шли бои, планы города, схемы оборонных рубежей, списки воинских частей и рабочих дружин, принимавших участие в обороне.

Александр Филиппович называет нам места, где китайские добровольцы вместе с грозненскими пролетариями защищали город. Они были в окопах Граничной улицы,



за брустверами, сооруженными на Горячеводской улице; китайские добровольцы помогали рабочим-дружинникам оборонять Беликовский, Староконный, Барановский, Железнодорожный мосты, они участвовали в штурме вокзала.

В городе Орджоникидзе рассказывали, что в августовские дни на помощь грозненцам была отправлена из батальона Пау Ти-сана рота, насчитывавшая примерно сто штыков; по мнению же Кучина, китайских бойцов было значительно больше.

Кучин познакомил нас с Василием Евменовичем Михайликом — бывшим командиром красногвардейского отряда нефтяников, с Иваном Григорьевичем Василенко — некогда начальником пулеметной команды бронепоезда «Борец за власть и свободу трудового народа», с Ильей Васильевичем Гречкиным — в прошлом отважным артиллеристом-наводчиком. Они рассказали немало интересного о китайских добровольцах.

Если в Орджоникидзе удалось установить имена многих китайцев красноармейцев, то в Грозном было иначе. Сообщая о подвигах, совершенных китайскими бойцами в дни осады, грозненцы говорили так: «китайский командир», «китаец разведчик», «китаец пулеметчик».

Ни фамилий, ни имен...

В ноябре 1957 года, когда мы познакомились в Москве с «солдатом Ленина» Ли Фу-цином, мы встретились также с другим китайским ветераном — Цзи Шоу-шанем, имя которого упоминалось в «Литературной газете» в очерке «Братство, рожденное в бою». Там излагалась запоминающаяся история о «русской маме», жительнице Грозного Артеминой, которой Цзи обязан жизнью.

Дело было в начале 1919 года. Цзи лежал после тифа в грозненском госпитале, когда в город ворвались белые. Ночью полураздетых больных красноармейцев погнали на городское кладбище и учинили над ними расправу. Расстреливали и рубили всех подряд. Цзи спасло то, что он потерял от слабости сознание. Каратели приняли его за мертвого.

На рассвете боец очнулся, выбрался из груды мертвых тел и, собрав последние силы, ползком добрался до заселенной рабочими заречной части города. Там он свалился возле какого-то дома. Потом, набравшись сил, постучал в окно.

На стук выглянула пожилая женщина.

— Кто там? — спросила она.

— Я своя, — прошептал боец на ломаном русском языке. — Китайца красноармейца...

Цзи рисковал выдать себя, но другого выхода не было. Избитый белыми, он понимал, что без посторонней помощи ему все равно не обойтись.

Ни о чем не спрашивая Цзи, женщина втащила его в дом, стянула с него мокрое тряпье, обмыла, перевязала раны, смазала ссадины от побоев каким-то домашним снадобьем, напоила горячим молоком, уложила на печь, укрыла теплым одеялом. Боец впал в беспамятство, стонал, бредил, порывался бежать. Женщина всю ночь, не смыкая глаз, просидела возле него.

Неделю жил Цзи в гостеприимном доме. Свою спасительницу Цзи называл «мама», а та его — «сынок». Три ее сына тоже служили в Красной Армии, тоже были коммунистами.

— Наш дом на примете, — говорила она. — Да, слава богу, тиф помогает... Дочки у меня во флигеле после тифа отлеживаются. Вот белые и не лезут.

Как ни боялись белые тифозной заразы, но долго держать в доме беглеца из тюрьмы было рискованно. Когда боец немного окреп и встал на ноги, «русская мама» нашла надежных людей и с их помощью переправила его в ближний чеченский аул Гойты, а там горцы помогли красноармейцу пробраться к партизанам<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Укрывать китайских добровольцев и спасти их от белогвардейской расправы гойтинцы считали для себя делом чести. Они платили добром за добро.

Илья Васильевич Гречкин рассказывал нам, что в августе 1918 года, когда белоказаки грозили гойтинцам смертью, из Грозного на защиту чеченского аула была перебросена часть батареи, в которой служил Гречкин, а для прикрытия ее — китайская рота в сто пятьдесят штыков.

Действуя сообща, местный чеченский отряд, русские артиллеристы и китайские добровольцы заставили белоказанов отступить от аула,

Много воды утекло с тех пор, и вот мы сидим с товарищем Цзи в большом нарядном зале, и он рассказывает нам о прошлом, о стодневных боях, в которых участвовал.

— Сколько китайских бойцов было тогда в Грозном? — спросили мы.

— Думаю, человек триста, не меньше. Бойцы Пау Ти-сана из Владикавказа и еще китайский отряд из Астрахани, человек полтора. И еще были китайцы пулеметчики, служили в разных подразделениях по два, по три человека. Я сам тоже пулеметчиком был. На бронепоезде «Богатырь».

Значит, правы были Кучин и его товарищи, когда говорили о численности оборонявших Грозный китайских бойцов.

Цзи Шоу-шань назвал несколько имен, в частности командира китайской роты, героически защищавшей вместе с грозненскими рабочими Беликовский мост в дни, когда белые выпустили из нефтехранилищ горючее и подожгли Сунжу. Его звали Лю.

Вскоре после встречи с Цзи мы попали в Грозный, вспомнили об очерке в «Литературной газете» и попытались разыскать «русскую маму» Артемину.

Однако разыскать Артемину оказалось нелегко. В адресном столе значилось до удивления много грозненцев, носящих эту фамилию. Даже после того, как были отставлены в сторону карточки всех Артеминых, не подходивших к той, что мы искали, по каким-либо признакам, у нас на руках осталось несколько адресов.

Напрасно мы колесили по городу, напрасно посещали всех старушек Артеминых — ни одна из них не была той, которую имел в виду наш китайский знакомый.

Решили прибегнуть к помощи грозненского радио. Попросили откликнуться тех, кто может хоть что-нибудь сообщить о спасительнице китайского бойца.

На наш призыв откликнулась Анастасия Тихоновна Галенская, старая большевичка, персональная пенсионерка.

Она пришла к нам не без колебаний. Нечто похожее на то, о чем мы рассказывали по радио, произошло с ее матерью. Это было в марте 1919 года. Мать приютила молодого китайца красноармейца, бежавшего от денкинцев. Китаец неделю жил у них, а потом его переправили в горы. Она в это время болела тифом. И братьев у нее трое, все коммунисты. Словом, все совпадает, за исключением одного — фамилия ее матери не Артемина, а Хохлова. Значит, возможно, тот китайский товарищ, который приезжал в Москву, говорил о другой.

— Как звали вашу мать?

— Надежда... Надежда Артемовна... — На лице нашей собеседницы появляется улыбка. — Погодите, я, кажется, начинаю понимать... Ну конечно, маму в поселке иначе, как по отчеству, никто и не звал — Артемовна и Артемовна... Это имя, должно быть, и запомнилось китайскому бойцу.

Надо думать, Надежда Артемовна Хохлова и есть та русская женщина, которая спасла китайского бойца. Она скончалась несколько лет назад на восемьдесят шестом году жизни.

## 12. Перед уходом

Конец 1918 года. 11-я армия отступает. «Пожалуй, единственная из всех красных армий, — писал позже об этом отступлении Маршал Советского Союза А. И. Егоров, — бывшая 11-я армия стратегически и тактически находилась в самых плохих условиях. Без сколько-нибудь оборудованного тыла, без коммуникаций и средств связи, без гарантий на какую-либо безопасность — этих основных элементов войны...»<sup>1</sup>

— Держитесь, — подбадривал Пау Ти-сан своих солдат, вымотанных непрерывными боями. — Наше дело — помочь красным полкам уйти в степь. За ними и мы уйдем в Астрахань, к товарищу Кирову.

Ли Чен-гун и Ча Ян-чи помогли нам восстановить картину тех тяжелых дней.

Пау Ти-сан говорил тогда бойцам, что Киров пытался пробиться с транспортом оружия на Терек, но белые перерезали дороги, и вот сейчас он ждет в Астрахани.

<sup>1</sup> Газета «Заря Востока» от 14 августа 1922 года.

Там будет хорошо: обмундирование получат новое; кому нужно винтовку сменить — сменят; патронов насыплот каждому полные подсумки — Ленин прислал в Астрахань оружие и боеприпасы. Да и отдохнуть там можно будет, подкормиться и обогреться.

Бойцы стойко сдерживали натиск врага, пока из штаба армии не приказали: китайскому батальону отходить на Кизляр.

В этот трудный поход батальон не мог взять раненых. Но и оставить их было негде. Раненых чеченских и ингушских бойцов нетрудно было разместить по аулам: горцы их белым не выдадут. Раненых русских бойцов тоже можно было пристроить. А вот как быть с китайцами? Приютить-то их приютят, но ведь их сразу же опознают белогвардейцы, и это будет означать для бойца верную смерть. По приказу Деникина китайцы подлежали военнополовому суду. «Их ловили,— писала в то время «Правда»,— заставляли самих рыть себе могилы и расстреливали»<sup>1</sup>.

Когда пришел приказ оставить город, ни у кого ни на минуту не возникло сомнений — раненых китайских воинов надо вывезти в первую очередь. Но куда и на чем?

Командиры собрались на совет.

Габо Карсанов хорошо помнит, как Николай Гикало, возглавлявший партизанские отряды, сказал на этом совете Пау Ти-сану:

— Другого выхода нет. Твоих раненых бойцов возьмем мы. Увезем их в горы, будем лечить.

Пау Ти-сан пожал плечами. Чтобы увезти раненых в горы, нужны лошади. А лошадей не хватало даже для таких прирожденных конников, как горцы из отряда Асланбека Шерипова и сотни Карсанова. На чем же увезут партизаны раненых китайцев? Горцы же не отдадут своих коней. Гикало это известно не хуже, чем другим.

Гикало ничего не ответил Пау Ти-сану. Он посоветовался с Шериповым, и тот созвал конников-партизан.

— Вы сами видите,— сказал Шерипов партизанам,— что китайские добровольцы борются за наше дело, как за свое. А сейчас им нужна наша помощь. Во Владикавказе в госпитале лежат двадцать шесть китайцев. Их нужно вывезти в горы. А без коней как вывезешь? Что мы ответим раненым китайским братьям? Найдутся ли среди нас двадцать шесть человек, которые согласятся отдать им своих коней?

На поляне, где собрались конники, с минуту стояла тишина. Бойцы колебались. Но вот один спешился и протянул повод Шерипову.

— Возьми моего коня, Асланбек.

— И моего коня возьми...

— И моего...

Раненых китайцев красноармейцев эвакуировали в горы. Некоторые из них попали в Гойты, тот аул, куда «русская мама», Надежда Артемовна Хохлова, переправила бежавшего от белых китайского бойца. В гостеприимных саклях нашли тогда приют сотни больных и раненых бойцов Красной Армии.

В Грозненском архиве сохранился документ, рассказывающий о том, как генерал Шатилов, захвативший Грозный, предъявил гойтинцам ультиматум: красноармейцев не горской национальности выдать всех до единого, в первую очередь коммунистов и китайцев. На обдумывание давалось двадцать четыре часа. Генерал грозил снести аул с лица земли, если горцы не подчинятся его требованию.

Горцы ответили: «Обдумывать нечего, ответ у нас один — не выдадим!»

Казачи окружили аул. Гойтинцев поддержали соседние селения. Поднялась вся Чечня. «Полицейская операция местного значения», как именовался бой у Гойты в сводках белогвардейского штаба, не принесла успеха казакам. Генерал Шатилов попытался еще раз урезонить горцев. В обращении к ним он писал:

«Сегодня я предпринял наступление на аул Гойты для захвата скрывавшихся там большевиков и для ликвидации там большевизма. Однако... все окрестные аулы поднялись против меня и стали нападать на меня со всех сторон...

Если чеченский народ не хочет одуматься и если селение Гойты не пришлет своих представителей для принятия моих условий, для выдачи большевиков и других, то я буду принужден беспощадно карать всякое сопротивление».

<sup>1</sup> Газета «Правда», № 222 от 15 октября 1918 года.

Белогвардейский генерал напрасно ждал. Чеченский народ не прислал своих представителей и не принял его условий. Четыре дня жители Гойты и соседних аулов, вооруженные лишь винтовками и охотничьими ружьями, сдерживали натиск регулярных белогвардейских подразделений.

Сражение в Чечне прекратилось лишь тогда, когда все, кому гойтинцы оказали приют, были переправлены в горы.

Спротивление, оказанное гойтинцами, напоминает другую героическую страницу истории гражданской войны на Северном Кавказе.

В то время, как раненых китайских бойцов переправляли в горы, а батальон Пау Ти-сана после боя за станцию Терек<sup>1</sup> отходил через Кизляр на Астрахань, небольшое ингушское селение Долаково продолжало вести с врагом неравную борьбу.

В двух музеях — С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе в г. Орджоникидзе и Грозненском краеведческом — хранится немало материалов, посвященных замечательной долаковской обороне. Тут и записи воспоминаний, и пухлые альбомы с фотографиями, и многочисленные архивные документы.

В бою за Долаково участвовали курсанты Владикавказской школы красных командиров, грозненские дружинники и все от мала до велика жители героического селения. Среди защитников аула были и китайские бойцы.

Курман Қозырев, принимавший участие в боях за Долаково, сам пришел к нам, узнав, что мы собираем материалы о китайских бойцах.

На третий этаж гостиницы Курман Магометович поднялся не без труда. Отдышавшись, он сказал:

— Вы насчет китайцев пишете? Пожалуйста, мои слова тоже запишите. Я расскажу про Долаково. Там мало китайцев было. Сейчас точно не помню — может быть, двенадцать человек, может быть, пятнадцать. Но записать все равно надо, потому что — герои. Каждый за десятерых воевал.

Курман Магометович сумел передать в своем рассказе дух братства и беззаветного героизма, воодушевлявший участников долаковской обороны.

По древнему ингушскому обычаю, защитники Долакова — русские, ингуши, осетины, грузины, китайцы — объявили себя братьями. Традиционная церемония побратимства произвела на всех бойцов сильное впечатление. Происходило это так. Все носящие оружие собрались на площади и поклялись защищать Долаково до последней капли крови. После этого старейший из воинов, восьмидесятилетний седой горец, высоко поднял над головой большую чашу, наполненную молоком. Он первый приложился к ней и, отпив глоток, передал чашу кому-то из грозненских рабочих, стоявших поблизости. От грозненца она перешла к осетинскому бойцу, затем к китайскому добровольцу и дальше по кругу. Все отведали молока из общей чаши.

Серго Орджоникидзе, который остался на Тереке, чтобы вместе с горцами продолжать борьбу, приехал в Долаково на следующий день после церемонии побратимства. Когда ему рассказали об этом, он попросил принести чашу, из которой пили бойцы, и тоже отпил из нее молока.

— Держитесь, братья, — сказал Серго бойцам. — Дадим врагам почувствовать, что такое советское Долаково.

Увидев в наспах отрытом окопе нескольких китайских бойцов, Орджоникидзе удивился и обрадовался.

<sup>1</sup> Из партийного архива Кабардино-Балкарского обкома КПСС нам переслали воспоминания участника гражданской войны И. В. Гобидашвили. Он рассказывает о выступлении бывшего командующего 11-й армией Левандовского на красноармейском интернациональном митинге, созванном на железнодорожной станции Терек.

Командующий армией призывал любой ценой задержать наступление белых, чтобы спасти больных и раненых бойцов.

«Левандовский, — пишет Гобидашвили, — заявил, что на помощь должны прибыть Ленинский полк и китайские бойцы, хорошо вооруженные и подготовленные в боевом отношении.

Ночью подкрепление прибыло. Ленинский полк находился на правом фланге, китайские бойцы занимали центральную линию фронта. Они держались стойко, отбивали одну атаку за другой. Израсходовав запасы патронов, унося с собой раненых, китайские бойцы отступили к Кизляру, а оттуда вместе с 11-й армией — на Астрахань».

— Здравствуйте, товарищи!— громко произнес Серго. Потом повернулся к сопровождавшему его горцу.— А ты говорил, будто все китайцы ушли в Астрахань и в Ингушетии ни один не остался.

Среди китайских бойцов лучше других объяснялся по-русски молодой китаец — Козырев помнил, что долаковцы звали его Сеня. Услышав слова Орджоникидзе, Сеня сказал ему:

— Китай там, где нужно. Кому надо в Астрахань идти — пошел в Астрахань, кому надо здесь оставаться — остался здесь. Долаково для меня сейчас все равно как место, где отец-мать живут.

— Почему? — спросил Серго.

— Потому что здесь вчера русский, чечен, ингуш, китаец вместе молско пили, слово дали, братья стали. Тот дом, где один брат живет, для других братьев — тоже дом.

Двенадцать дней держались защитники Долакова. Хорошо написал о них Георгий Заматаев, чьи воспоминания хранятся в Музее С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе:

«Умирали, ясно сознавая, что на победу нет ни капли надежды, что вся задача погибающих заключается только и только в том, чтобы на день-два задержать стремительное движение белых, преградить им дорогу».

### 13. Зима. Степь. Астрахань

Отрезанная от источников снабжения, зажатая деникинцами в клещи, терпящая нужду решительно во всем, оборванная, голодная, усталая, 11-я армия шла степью — страшной в своей бесприютности зимней степью, с обжигающими ветрами, снежными буранами, морозами, бездорожьем.

Такой степью сутки пройти, и то судьбу проклянешь. Люди же шли дни и недели. Сотни километров отделяли Кизляр от заветной Астрахани.

Унылое серое небо, унылые серые шеренги бойцов, бесконечные обозы с обмороженными, ослабевшими, тифозными. Где-то в конце медленно одолевающего степь человеческого потока шагали солдаты Пау Ти-сана. Был среди них и наш знакомец Ча Ян-чи.

На первых порах, рассказывал он, когда объявляли привал, бойцы подолгу засиживались у костров, вспоминали родные места, рассказывали о боях.

Но чем дальше углублялась армия в степь, тем меньше слышалось разговоров. И костры на привалах уже еле горели: топлива не хватало. Колючий, ледяной ветер пробирал до костей. Термометры на госпитальных повозках показывали по утрам двадцать и двадцать пять градусов ниже нуля. Плохонькие шинели не защищали от холода.

Силы людей убывали. После дневного перехода валились на мерзлую землю и, тесно прижавшись друг к другу, укрывались с головой шинелью, забывались в тяжелой полудреме. Каждое утро на земле оставались лежать заболевшие красноармейцы. Их относили на госпитальные повозки, переполненные тифозными больными. Оружие выбывших из строя сдавали в обоз.

Наступило время, когда обозные перестали принимать винтовки: некуда было складывать, не было лошадей, чтобы везти.

Потери от голода, мороза, болезней росли с каждым днем. Путь армии через степь отмечался холмиками над телами тех, кто нашел в бесприютных просторах последний привал.

Тот, у кого еще хватало сил, подбирал оружие павших товарищей. Солдаты Пау Ти-сана складывали подобранное оружие на двуколку и тащили ее, сменяясь каждые полчаса.

Бойцы несли на себе не только оружие погибших. Екатерина Кузьминична Черненко, проделавшая с батальоном Пау Ти-сана весь страшный путь через степь, писала нам:

«В китайском батальоне было восемьсот китайцев и двадцать русских. Я и Надежда Михайловна Генфер были медицинскими работниками. Людей разных нацио-

нальностей объединяло одно желание защитить молодую Советскую власть. Китайцы и русские жили дружно, как родные братья. Во время тяжелого перехода в Астрахань медицинская сестра Н. Генфер заболела сыпным тифом. Транспорта не было, и китайские бойцы, сделав носилки, десятки километров несли ее на своих руках».

Так шли день за днем.

Однажды на привале Ча Ян-чи услышал разговор Пау Ти-сана с командиром роты Лю Фа-ляем. Комбат спросил, сколько оружия в роте.

— Винтовками двуколка доверху забита,— ответил Лю Фа-ляй,— а пулеметов сейчас десять.

Так много пулеметов в роте никогда не было. Комбат сказал, что излишки оружия придется в Астрахани сдать.

Тогда бойцы, сидевшие поблизости, вмешались в беседу. Зачем сдавать, говорили они, пусть командование оставит им пулеметы. Когда гражданская война в России кончится и они вернутся домой, оружие там тоже понадобится. Винтовки — ладно, на месте раздобудут, а пулеметы возьмут с собой. Пулеметы в Китае очень пригодятся.

Изнемогая от усталости, бойцы Пау Ти-сана продолжали тащить свою тяжело груженную двуколку через степь.

На двадцать девятый день пути ледяной ветер по-прежнему вздымал тучи песка и сухого, похожего на песок снега, больно сек лицо; голод туманил мозг, винтовки оттягивали плечи, ослабшее тело тянулось к земле. Все было так же, как на протяжении предыдущих четырех недель тяжелого перехода, но люди почему-то выглядели бодрее, шаг был тверже, слышались даже шутки.

Яндыковка — это слово было на устах у всех. Конец походу, конец нестерпимым мукам, скоро, совсем скоро, впереди замаячит село Яндыковка — первое большое село на подступах к Астрахани.

Вот уже на фоне мертвой бугристой равнины показались высокая колокольня, крутые скаты крытых тесом крыш, длинные шеи колодезных журавлей.

Пау Ти-сан шел впереди своего сильно поредевшего батальона. На виду села он приказал развернуть знамя, всем бойцам подтянуться.

Так вступили в Яндыковку. На окраине, возле колодца, бойцы увидели старый, отживающий свой век автомобиль. Высоко поднятое сиденье делало машину похожей на карету, из которой выпрягли лошадей. В автомобиле стоял Киров.

Сергей Миронович вышел из машины, обнял Пау Ти-сана. Красноармейцы китайцы обступили Кирова, пожимали руки.

Астраханские власти принимали все меры к тому, чтобы солдаты 11-й армии могли отдохнуть, отмыться, отоспаться, согреться, набраться сил для предстоящих боев. Газеты в Астрахани выходили в те дни с заголовками на целую полосу:

«Неделя помощи раненым и больным бойцам Красной Армии!»

«Окружим красноармейцев вниманием и заботой!»

«Каждый дом в Астрахани должен стать родным для красных воинов!»

На видном месте было напечатано обращение Временного военно-революционного комитета ко всем трудящимся Астраханского края.

«...Главная наша задача,— говорилось в обращении,— это работа для армии, ей мы должны отдать все. Наш долг во что бы то ни стало дать армии продовольствие, обеспечить спокойное пребывание в городе Астрахани больных бойцов. Об этом должны неустанно заботиться все советские учреждения, все, кому дороги Советская Россия и революция»<sup>1</sup>.

На призыв ревкома откликнулись тысячи астраханцев. Речники и портовики, судоремонтники, железнодорожники, рыбаки считали для себя честью взять в дом красноармейца, окружить заботой, выходить.

<sup>1</sup> В работе подполковника М. Б. Траскунова «Героический боевой путь 11-й армии на фронтах гражданской войны» говорится:

«В связи с создавшейся обстановкой Центральный Комитет партии и В. И. Ленин поставили перед коммунистами Астраханского края и С. М. Кировым следующие основные задачи: встретить, ободрить, реорганизовать остатки 11-й армии, создать новые дивизии для перехода в наступление».

Особенно внимательны были астраханцы к китайским добровольцам. Их наперебой приглашали на квартиру.

— Я попал в семью железнодорожника,— вспоминает Ча Ян-чи.— Хозяина звали Степаном, хозяйку — Машей. Хорошие люди были. Я себя чувствовал, как в родной семье... Степан сам пришел за мной в казарму. Я тогда очень ослаб, лежу на койке, не могу встать. Степан подошел ко мне, говорит: «Вставай, друг. До моего дома недалеко. Я помогу». На улице нас ожидала пролетка. Городской союз извозчиков постановил больных бойцов перевозить бесплатно. А дома Маша достала для меня из комода белье мужа, гимнастерку, сапоги, согрела воды... Часа через два я как будто снова на свет родился. Сажу за столом чистый, в чистой одежде, побритый. А на столе много вкусной еды. И Маша и Степан все уговаривают, чтобы ел побольше. Растрогало меня их внимание, даже слезы выступили. Не мог удержаться. Вот, думаю, что сделала революция, как породнила людей...

Для бойцов, нуждавшихся в отдыхе, были оборудованы помещения бывшего Чуркинского монастыря, пригородные дачи астраханских миллионеров, стоявшие на зимнем приколе пассажирские пароходы.

Девушки шили для красноармейцев белье, старухи вязали теплые вещи. Тысячи пакетов-подарков были заготовлены и преподнесены красноармейцам. На пароход «Гелиотроп», где находилось подразделение китайских бойцов, с подарками пришли дети. Дня через два они снова явились с рулонами пестрой бумаги в руках.

От учителя географии они узнали, что в Китае существует обычай развешивать в жилищах длинные бумажные или шелковые полосы с пожеланиями обитателям дома довольства, счастья, радости, здоровья. Такие же полосы приготовили дети в подарок китайским бойцам. «Желаем жизни и удачи», «Пусть сопутствует храбрым китайским друзьям счастье»,— выведено было на полосах детской рукой. Бойцы были взволнованы и согреты вниманием маленьких друзей.

Надо сказать, что в батальоне Пау Ти-сана были не только китайцы. Вместе с ними воевал и Михаил Миронович Карпунин, ныне подполковник в отставке, с которым мы познакомились в Ростове. Сын пензенского крестьянина, он семнадцатилетним парнишкой вместе с отцом вступил в Красную Армию. Во Владикавказе с несколькими русскими красноармейцами Карпунин был зачислен связным в китайский батальон, привязался к своему командиру, чистосердечно делился с ним своими мыслями.

Пау Ти-сан любил подшутить над Мишей. Стоило тому загрустить по дому — а на первых порах это нередко случалось,— как комбат начинал корить Мишу за то, что он мало предан батальону.

— Чем же я не предан? — недоумевал Карпунин.

— Не о том мечтаешь. Ты какой части боец?

— Китайской.

— Значит, и мечтать должен о Китае. Вот кончится война, поедем вместе в Мукден. Хороший город.

— А что, поедем!.. — загорался Миша.

Во время перехода через степь юношу свалил тиф. Санитары хотели взять больного на госпитальную повозку, но комбат не отдал. Он сам ухаживал за метавшимся в жару Мишей, кормил его, укрывал своей шинелью.

В Астрахани Пау Ти-сан отвез Мишу, находившегося в забытьи, в госпиталь. Уходя, он вынул из кармана несколько кусочков сахара, три сухарика и передал сиделке. Сиделка рассказала потом Карпунину, как Пау Ти-сан попросил ее:

— Придет в себя больной — напоите его чаем.

— Он кем же вам приходится? — поинтересовалась она.

— Братом.

— Братом? — Она удивленно всмотрелась в лицо китайского командира. — Что-то не похоже.

Комбат ничего не ответил, несколько минут постоял возле Миши, ласково дотронулся ладонью до его горячего лба.

Больше Михаил Карпунин не встречался с Пау Ти-саном<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подполковник М. Карпунин много сил потратил, чтобы разыскать китайского командира. Михаил Миронович показывал нам копии своих запросов в воинские части, в адресные столы, в Управление кадров Министерства обороны.

Истощенная тяжелым походом армия постепенно приходила в себя. В частях и подразделениях наводили порядок, заново составляли списки личного состава, оружия, обмундирования, боеприпасов.

Когда поступила отчетность из китайских подразделений, в штабе ахнули. Таких излишков вооружения, как в батальоне Пау Ти-сана, в батальоне Ян-жуня, входившем в Дербентский полк, в небольшом сравнительно отряде Лан Фу-чина, ни у кого не было. В казарму полетел приказ сдать сверхкомплектное, не числящееся за подразделениями оружие на склад.

Узнав о предписании штаба, красноармейцы запротестовали: «Не отдадим пулеметов! Без нас они все равно остались бы в песках!»

Пау Ти-сан позвонил в штаб и сказал, что бойцы отказываются сдавать сверхкомплектные пулеметы.

Дело о пулеметах дошло до председателя Временного военно-революционного комитета С. М. Кирова. Он приехал к бойцам, поговорил с ними, разобрался, почему они так настойчиво добиваются отмены приказа о сдаче излишков оружия. Как вспоминает бывший комиссар Дербентского полка Федор Михайлович Яковенко, Киров сказал тогда бойцам:

— Это хорошо, что вы, товарищи, хотите крепко белых бить. И то, что вы пулеметы вытащили из песков и на своих плечах донесли сюда, тоже очень хорошо. Ваши руки — крепкие, рабочие, надежные руки. Вы делом доказали, что умеете хорошо использовать оружие против врагов Советской власти. Пусть пулеметы останутся у вас. Громите ими белогвардейскую нечисть.

Пулеметы остались у китайских добровольцев. Вскоре они имгодились.

Утром 10 марта в городе раздались тревожные гудки, послышалась винтовочная стрельба, а затем и залпы орудий. Так начался в Астрахани белогвардейский мятеж. Его подняли местная буржуазия, казацки верхи, белогвардейское подполье. Момент для свержения «Совдепни» казался им подходящим: с востока к городу приближались астраханские и уральские белоказаки генерала Толстова; севернее, в недалеком Гурьеве, высадился английский десант; южнее, в Петровске (нынешняя Махачкала), держались англичане; они же шныряли по Каспию у самого устья Волги, забрасывали в Астрахань свою агентуру.

Ревком объявил в городе чрезвычайное положение. Два полка местного гарнизона, засоренные купеческими и кулацкими сынками, были разоружены, а их оружие передано рабочим. Дружинники вместе с китайскими бойцами несли усиленную охрану телеграфа, вокзала, пристаней, государственного банка. Другие воинские части прикрывали подступы к Астрахани, где с минуты на минуту можно было ждать появления регулярных белоказачьих сил.

Несколько бойцов из Владикавказского батальона под командованием Лю Фа-ля охраняли подходы к пристани. Красноармейцы залегли за бруствером из мешков с песком. Офицерский отряд, во много раз превосходивший численностью горстку китайцев, наступал с трех сторон. Офицеры выкатили легкое орудие и били по брустверам прямой наводкой.

Один за другим бойцы выбывали из строя. Вот уже за бруствером осталось в живых трое, двое, один... Это был Лю Фа-ляй. Раненый, он еще пытался сопротивляться, но, увидев безнадежность своего положения, застрелился, чтобы не сдаваться в плен врагу.

Общими усилиями красноармейцев и дружинников мятеж был подавлен. Город еще не оправился от ран, нанесенных уличными боями, когда пришла сюда волнующая, радостная весть: в Венгрии революция, в Будапеште Советская власть!

В Народном доме состоялся интернациональный митинг, посвященный провозглашению Венгерской Советской Республики.

Венгры чувствовали себя именниками. Их поздравляли, обнимали, жали им руки. Выступал Киров. Ча Ян-чи, присутствовавший на митинге, с волнением слушал, как

---

— Последние годы, — говорит он, — я искал Пау Ти-сана через китайские организации. Запрашивал посольство в Москве, обращался с письмом в редакцию издававшейся в Пекине газеты «Дружба». Просил помочь в моих розысках. Но найти в громадной стране человека только по фамилии, да и то, должно быть, не очень точно произносимой по-русски, — дело не простое.



Киров говорил о победоносном пролетарском корабле, о рулевом этого корабля — Ленине — и о тех, кто плывет под его парусами. Ча Ян-чи, как он сейчас с улыбкой вспоминает, думал, что Киров имеет в виду именно его и его товарищей — бойцов китайского батальона. Ведь это они, не колеблясь, вступили на корабль русской революции, плывут через бури и штормы к победе. И рядом — русские братья, и братья венгры, и братья чехи, и братья поляки... Сынов всех народов собрал под парусами революционного корабля великий рулевой Ленин.

А Сергей Миронович, обращаясь к присутствовавшим в зале красноармейцам-интернационалистам, говорил:

«...Вы здесь не чужие. Перенеся невероятные лишения, испытав невероятное горе и несчастья, вы в конце концов получили непосредственную возможность приобщиться к тем светлым идейным лозунгам, которые написаны на этих красных знаменах... Еще раз повторяю вам, что, как бы ни старался издыхающий буржуазный мир воспрепятствовать нам в наших завоеваниях, какие бы преграды ни ставил, какие бы обвинения ни высказывал по нашему адресу, какие бы ужасные бури ни ожидали нас на нашем океане,— наш корабль достаточно прочно забронирован и пройдет через все препятствия.

К нам будут примыкать все новые и новые силы, и близок час, когда мы пойдем вперед, имея в своих рядах представителей уже нескольких народов»<sup>1</sup>.

В зале на разных языках раздались приветствия в адрес революционной России и революционной Венгрии.

Кирова слушали не только красноармейцы-интернационалисты. Здесь были и китайцы — портовые грузчики, рабочие рыбных промыслов. После собрания человек тридцать, обступив Пау Ти-сана, стали просить принять их в китайский батальон. Они пришли на смену тем, кто вместе с Лю Фа-ляем остался лежать в астраханской земле.

#### 14. Первые танки

Весною 1919 года в Астрахани усиленно формировались свежие воинские соединения. Один за другим уходили на фронт в сторону Дона полки и батальоны новой 33-й дивизии. На рассвете ясного майского дня покинули Астрахань и бойцы батальона Пау Ти-сана, переформированного и сведенного в отдельную китайскую роту при штабе дивизии.

Среди тех, кого недосчитывался поредевший Владикавказский отряд, был и Ча Ян-чи, так много рассказавший нам о Пау Ти-сане и его бойцах.

Ча Ян-чи стал кавалеристом и перешел служить в Таганрогский полк. Случилось это так.

В фельдшерском околотке, ожидая очереди на перевязку обмороженных рук, Ча познакомился с Василием Костомаровым, разведчиком Таганрогского полка. У него был конек хороших статей, хоть и мелковатый. Когда Костомаров приезжал в околоток, Ча Ян-чи не мог оторвать глаз от коня.

— Ай лошадь!..— говорил он.— Какая лошадь!.. Моя такую хочет. Моя Китае лошадь не имел — может быть, здесь можно..

— Отчего же, можно,— соглашался Костомаров.— Ты кто? Боец Красной Армии, защитник революции. Тебе лошадь вполне положена.. если, понятно, ты в кавалерии служишь..

— Не служу,— горестно качал головой Ча Ян-чи.— Китайцы в кавалерию мало идут, китайцы лошадь мало знают. А моя лошадь знает.

Костомаров посоветовал:

— Иди к нам, коня получишь. Нам бойцы в разведке нужны.

Костомаров написал за Ча Ян-чи заявление, а тот «подписался», нарисовав внизу пятиконечную звезду.

К заявлению в штабе отнеслись со вниманием. Это был редкий случай, когда китайский боец просил о переводе из китайского подразделения. Просьбу Ча Ян-чи удовлетворили. Стал он конным разведчиком Таганрогского полка, получил гнедого мерина.

<sup>1</sup> С. М. Киров. Избранные статьи и речи. Изд. 1957 г., стр. 46—47.

Вскоре Ча Ян-чи стал бойцом 3-го Кубанского кавалерийского полка. Здесь вместе с ним служили еще восемь китайских добровольцев, тоже любителей лошадей и лихих рубак.

— К нам в полку очень хорошо относились,— вспоминал Ча Ян-чи.— Когда мы попадали в какой-нибудь новый город, на нас, китайцев, все оборачивались на улицах. С виду кубанцы и кубанцы — черески с газырями, мягкие сапоги, круглые каракулевые шапки с малиновым верхом, бурки, шашки... но лицом не похожи на казаков. Один старик казак остановил, помню, нас в Краснодаре, спрашивает, кто такие. Я говорю: «Казак». — «Какие казак?» — «Китайские». — Старик очень удивился. «Разве есть китайские казак?» Наш однополчанин Андрей Донцов ответил: «Есть, папаша. Они хоть родом из Китая, но Советская власть их красными казакками сделала».

В тяжелых боях крепла дружба между китайцами и казакками.

Однажды в расположении белых появилось четыре танка. Танки тогда были в диковину. Со страшным грохотом катились они все ближе к редким цепям красноармейцев, а за ними двигались тяжелые двухбашенные броневики.

Неизвестно, чем кончился бы этот поединок стальных машин с пехотой, если бы не все усиливавшийся туман. Пелена его была настолько плотной, что в двух шагах ничего нельзя было рассмотреть. Бой затих.

— Слушай, Андрей,— обратился лежавший в цепи Ча Ян-чи к Донцову,— ты не знаешь, у танков дырки ест?

— Щели? — переспросил Донцов.— Щели есть — смотровые, пулеметные... — И вдруг загорелся: — А что, ребята, давайте подберемся к танкам, попробуем белякам жару дать. Туман нам на руку.

К танкам поползли восемь бойцов: Донцов, Ча Ян-чи, Ширшов, Коваленков, Ху Ши-тан, Курдюмов, Борискин и Ко Чин-хуэй. Опытный пласгун, разведчик, получивший четыре Георгия в германскую войну, Донцов сразу взял верное направление и уверенно полз в густом, как вата, молочном тумане. Товарищи старались не отрываться от него. Ползли долго. У Ча Ян-чи уже мелькнула мысль, не сбился ли Андрей. Но вот и танк. Бойцы чуть не наткнулись на него.

От стального чудовища несло запахом машинного масла и бензина. Изнутри слышались приглушенные голоса.

Донцов и Ча Ян-чи, бесшумно ступая, обошли танк кругом: не так-то легко разобратся в невиданной машине, понять, как вскарабкаться на нее.

Другие занялись соседними танками. С первым же выстрелом товарищей следовало, ни секунды не медля, открывать огонь всем. Так условились.

Просунув дула винтовок в щели, Донцов и Ча Ян-чи одновременно нажали спусковые крючки.

Только в одной из четырех машин экипаж спасся от красноармейских пуль. Запустив мотор, танк скрылся в тумане. Другие три танка вместе с уничтоженными экипажами остались на поле. Это были одни из первых танков, захваченных Красной Армией.

Летом 1919 года корпус генерала Гусельникова, зайдя в тыл Красной Армии, занял крупный железнодорожный узел Лиски. В тяжелом положении оказалась 33-я дивизия. Станцию нужно было вернуть во что бы то ни стало.

К станции вел единственный подход — узкий железнодорожный мост. Любая попытка атаковать и продвинуться по мосту днем грозила огромными потерями. Два пулемета могли здесь сдерживать целую часть.

В штабе дивизии возникла мысль о ночной атаке. Провести ее было поручено китайскому батальону Дербентского полка. Батальоном командовал Ян-жунь<sup>1</sup>. Для

<sup>1</sup> Недавно советская общественность воздала должное бойцам героического батальона Ян-жуна. В городе Морозовске (бывшая станция Морозовская) над братской могилой, где похоронено двести китайцев красноармейцев, погибших в этих местах, установлен шестнадцатиметровый обелиск. На русском и китайском языках высечена надпись: «Здесь похоронены красноармейцы китайского батальона 292-го интернационального Дербентского полка, погибшие в боях за власть Советов в районе станции Морозовской в июне 1919 года».

связи с соседними частями к нему прикомандировали Пау Ти-сана, учитывая то, что он свободно владеет русским языком.

Найти участников тех памятных событий оказалось нелегко. Понадобилось много усилий, прежде чем мы узнали наконец о старом дербентце, бывшем комиссаре славного полка, Федоре Михайловиче Яковенко. Он работает сейчас в Пятигорском краеведческом музее. Там и состоялась наша встреча. Федор Михайлович рассказал нам о боях за Лиски. Китайские воины сыграли в них выдающуюся роль.

Безлунной ночью китайцы ползком, бесшумно подползли к железнодорожному мосту, сняли часовых и так же без единого шороха преодолели мост. И тогда тишину взорвал оглушительный треск самодельных трещоток, какие звучат обычно на праздниках в северо-восточных провинциях Китая. Им вторили резкие, высокие улюлюкающие голоса бойцов и частая винтовочная стрельба. Тьму разрезали пылающие смоляные факелы, тоже напоминающие праздничные вечера в деревнях Китая.

Эффект получился сильный. Шум трещоток, огни факелов, завывание непривычно высоких голосов... Казакам, должно быть, показалось, будто тысячи дьяволов из преисподней ринулись на них.

Пользуясь замешательством врага, через мост на поддержку китайского батальона прорвались бойцы Дербентского полка, а за ними другие части и подразделения 33-й дивизии. Когда занялся рассвет, вокруг станции кипел жестокий бой. Участь Лисек была решена. Белые отступили. Днем над зданием вокзала уже развевалось красное знамя.

Серго Орджоникидзе, на глазах которого происходили эти события, писал о 33-й дивизии в своем докладе на имя Совета Народных Комиссаров, озаглавленном «Год гражданской войны на Северном Кавказе»: «Вся эта дивизия спасла положение и своим удивительным маневром вместо отступления к Воронежу разбила врага и захватила у него Лиски и Бобров. И кто знает, если бы не было их,— в чьих руках был бы сейчас Воронеж»<sup>1</sup>.

Красная Армия, одерживая одну победу за другой, двигалась к устью Дона, освободила Таганрог, освободила Новочеркасск, подошла к Ростову.

Морозным январским утром 1920 года ростовчане с радостью приветствовали части Красной Армии, вступившие в донскую столицу. Гордые одержанными победами, шагали по улицам Ростова и китайские бойцы.

## 15. Частица ордена

После освобождения Дона бойцы Пау Ти-сана воевали на Кубани, а дальше их след теряется. Миша Карпунин, верный связной китайского командира, остался, как мы знаем, в тифозном бараче астраханской больницы. Оторвался также от своих товарищей по Владикавказскому батальону и Ли Чен-тун. Летом 1919 года где-то под Армавиром он был ранен, попал в госпиталь, а когда вышел, никто не мог сказать ему, где воюет сейчас Пау Ти-сан. Красноармейца Ли направили в другую часть. Он воевал на Украине и с земляками из Владикавказского батальона больше не встречался<sup>2</sup>.

И Ча Ян-чи тоже потерял след Пау Ти-сана. Дойдя до Дона, он повернул на запад и в рядах конников корпуса Гая совершил знаменитый рейд в глущину Польши<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи, т. I, изд. 1956 г., стр. 91.

<sup>2</sup> Ли Чен-тун служил на Украине в одной части с А. Федоровым, ныне дважды Героем Советского Союза, автором известной книги «Подпольный обком действует». Мы были свидетелями трогательной встречи двух ветеранов гражданской войны. А. Федоров, находясь в Нальчике, пришел к Ли Чен-туну в гости. «А помнишь...» — то и дело говорил один другому. Боевые друзья долго вспоминали бои, в которых участвовали, товарищей однополчан.

<sup>3</sup> О значительном числе китайских добровольцев, участвовавших в боях на Западном фронте, свидетельствует хранящаяся в Центральном государственном архиве Красной Армии запись разговора по прямому проводу между начальником штаба Белорусско-Литовской армии и главнокомандующим вооруженными силами республики. Запись датирована апрелем 1919 года.

«Велополяки, — сообщал начальник штаба, — эвакуируют Слоним и отходят, переносив части на Лиду... Китайские части 1-й бригады Западной дивизии уже заняли Тартак и находятся в десяти верстах от Слонима».

— Во время боев,— рассказывал Ча Ян-чи,— наш корпус вырвался далеко вперед, прошел Польшу, дошел до границы с Германией. А сзади большие силы белых поляков были. И мы не могли повернуть, чтобы присоединиться ко всей армии. Пришлось перейти границу. Это произошло в августе 1920 года. В Германии мы провели шесть месяцев. В лагере было около двенадцати тысяч красноармейцев, в том числе пятьсот китайцев. Нас держали отдельно. Хотели, чтобы мы оторвались от русских и больше в Россию не возвращались. «Зачем вам Россия? — говорили нам.— Оставайтесь здесь. Дадим вам работу, дадим немецкие паспорта. У нас вам будет хорошо, не так, как у большевиков». Чтобы показать, в каком красивом городе мы можем жить, нас возили в Берлин. Но из нескольких сот красноармейцев китайцев ни один не согласился остаться в Германии. Мы уже привыкли смотреть на все другими глазами. Зачем нам жить в стране, где рабочий — последний человек, когда есть Россия? Там Советская власть, там рабочие сами себе хозяева, там нет чужих и своих — все равны. Мы вернулись в Россию.

Где же воевали Пау Ти-сан и его бойцы начиная с лета 1919 года?

Ни Ча Ян-чи, ни кто-либо другой не могли ответить на этот вопрос.

Но героический батальон и его командир не должны были затеряться без следа! Мы продолжали поиски, и не напрасно. Нам удалось узнать, что в Самарканде, в одном из ведомственных архивов, хранится папка с документами о Пау Ти-сане.

Около четырех часов стремительного полета на «ТУ-104» от Москвы до Ташкента, еще час в воздухе на другом самолете — и мы в Самарканде.

Нет, он не обманул наших ожиданий, этот удивительный город, где древность и сегодняшний день переплетаются, точно многоцветный узор восточного ковра.

Самаркандская папка действительно оказалась для нас драгоценной находкой. Ни в одном из архивов страны (а мы побывали в десятках) не было таких богатств. Самаркандские документы дали возможность восстановить боевой путь прославленного китайского батальона, следы которого терялись на Дону.

Одно из удостоверений, хранящихся в папке, гласило:

«Р.С.Ф.С.Р.

Штаб

Кавказской армии труда  
Административное управл.  
Отделение Инспект.  
1 октября 1920 г.  
№ 7852/под.  
гор. Грозный

Удостоверение

Предъявителю сего Командиру 10-го Восточно-Интернационального батальона Пау тисану, следующему с тремя китайцами в Прохладную через Владикавказ разрешается проезд в штабных вагонах.

Что подписью и приложением печати удостоверяется».

Здесь все было интересно — и то, что китайское подразделение Пау Ти-сана, сведенное в Астрахани в роту, впоследствии, как свидетельствовало об этом удостоверение, было снова развернуто в батальон, названный «10-м Восточно-Интернациональным», и то, что этот батальон находился в составе Кавказской армии труда.

Гражданская война еще не кончилась, интервенты готовили новые удары, а красноармейцы, не выпуская винтовок из рук, уже брались за мирный труд, за восстановление разрушенного.

В эту невиданную в мире «армию труда» входили, если судить по найденному в самаркандской папке удостоверению, и китайские бойцы.

...Под крылом самолета промелькнули и скрылись пески Средней Азии, серо-зеленая гладь Аральского моря, излучины Дона. Потом в горизонт вписали свои очертания могучие хребты Кавказа, а внизу густым лесом поднялись бесчисленные нефтяные вышки, заводские трубы.

Мы снова в городе на Суиже, в Грозном, где китайские бойцы так хорошо воевали в 1918 году. Что же они делали здесь два года спустя, в 1920-м?

О Кавказской армии труда сведения имеются. О ней можно узнать из материалов, собранных в краеведческом музее, из местных газет того времени, из исторической литературы. И мы пользовались всеми этими источниками. Наши блокноты пополнялись записями. И с каждой новой строчкой становилось все понятнее, какое громадное

значение для страны имели действия армии труда именно в Грозном. Без преувеличения можно сказать, что из всех фронтов того времени грозненский трудовой фронт был одним из самых важных<sup>1</sup>.

Молодая Советская республика в течение многих месяцев подвергалась нефтяной блокаде. Два основных нефтяных района — Баку и Грозный — были отрезаны от страны. Остановились автомашины, песок заметал на аэродромах самолеты, не могли выходить в плавание суда. Каждый литр горючего расценивался на вес золота.

И вот весной 1920 года Красная Армия добилась победы, изменившей стратегическое положение республики. Грозный снова стал советским. Нефтяной блокаде пришел конец.

Как только известие об освобождении Грозного дошло до Москвы, Ленин откликнулся на него специальным письмом. Он давал подробные указания об охране, учете и транспортировке горючего, о ремонте транспорта и мобилизации шоферов. Длинные нефтяные составы зшелон за зшелоном потянулись с Кавказа на север.

Но в Россию пока шла нефть только из немногих, чудом уцелевших хранилищ. Буровые бездействовали. Разрушенные промыслы не давали ни тонны горючего. Пять нефтяных фонтанов, подожженных еще в конце 1917 года, продолжали гореть.

Днем над Грозным стояла туча копоти, ночью город освещался зловещим заревом. По подсчетам специалистов, эти фонтанирующие скважины выдали за два с половиной года свыше 150 миллионов пудов нефти, и вся она превратилась в море kloчущего пламени.

Полковник О'Рен знал, что делал, когда подослал своих агентов для поджога грозненских фонтанов. Авантюрист, агент британской разведки, командовавший в царской армии полком, он выполнял приказ своих хозяев.

Два с половиной года день и ночь пылали в Грозном чудовишные факелы. Рабочие-нефтяники пытались потушить пожары, но им это не удалось. Когда Грозный захватили белогвардейцы, нефтепромышленники тоже пытались потушить горящие фонтаны и тоже безуспешно. Пять факелов продолжали вздымать к небу свои огненные гривы.

А зшелоны с горючим все уходили и уходили в Россию. Хранилища пустыли, ни одно из них не пополнялось свежей нефтью. Чтобы восстановить разрушенное, вернуть к жизни буровые, нужны были такие силы, какими обезлюдевшие промыслы не располагали.

Тогда-то на помощь нефтяному городу и пришли трудовые армии. Это было волнующее зрелище, когда батальоны пехотинцев, роты пулеметчиков, взводы разведчиков, превращенные в батальоны, роты, взводы бурильщиков, кочегаров, слесарей, плотников, монтажников, двинулись на промыслы. Бойцы восстанавливали дороги, приводили в порядок скважины, ремонтировали вышки, наматывали канаты на барабаны тартальных машин, чинили трубопроводы, очищали от ржавчины долго бездействовавшие насосы, собирали по винтикам разбросанные части бурильных станков.

Мы побывали на грозненских промыслах и отчетливо представили себе, как все происходило здесь без малого четыре десятка лет назад. Не хватало одного — сведений о китайцах трудовых армий, о бойцах Пау Ти-сана. Многие грозненцы, когда мы задавали им вопрос о батальоне Пау Ти-сана, трудившемся на восстановлении промыслов, беспомощно разводили руками. Дело давнее, промыслов много, где-то, помнится, работали...

<sup>1</sup> В приказе по Всевостановительской армии труда № 452, изданном в Грозном 6 сентября 1920 года, говорится.

«...Совет Труда и Обороны Республики призвал армию на борьбу с врагом не менее грозным, чем отживший фронт, — призвал на борьбу с разрухой транспорта и промышленности».

Но и на фронте труда, как и на боевом фронте, Кавказская Армия Труда — детище военной Армии — несмотря на краткость срока, начала одерживать не менее ценные победы. Широкой волной полилась к центру драгоценная нефть, закипела восстановительная работа на железной дороге, началась усиленная эксплуатация леса и т. д.».

Луч надежды мелькнул было при встрече с Федором Васильевичем Артемовым, с которым мы познакомились.

Федор Васильевич работал в 1920 году в политотделе Кавказской армии труда. Он помнит субботники, на которые трудовармейцы выходили вместе со всем населением города, помнит, как дружно шло восстановление промыслов, с каким воодушевлением работали тогда в Грозном все от мала до велика.

Помнит Федор Васильевич и то, что в восстановительных работах на грозненских промыслах участвовали китайские бойцы. Но сколько их было, где работали, в какую часть армии труда входили,— Федор Васильевич сказать не мог.

Помог Христофор Амбарцумов. Семидесятидвухлетний нефтяник, не одну скважину в свое время пробуривший на промыслах Тапы Чермоева, он чуть ли не всю жизнь прожил на промыслах. Густой лес нефтяных вышек вырос в долине Сунжи на его глазах. Он знал прошлое грозненских промыслов так же, как настоящее.

Знал он и о китайцах. Видел их во время стодневных боев и в 1920 году на промыслах.

— Они в строю приходили вместе с другими красноармейцами. Лопаты и ломы — как винтовки на плечах... Бодро шли, с песнями... Китайцы, помню, были и в том батальоне, который горящий фонтан тушил. Чермоевский фонтан. Семьсот тридцать дней горел.

Амбарцумов рассказал нам, как тушили этот фонтан.

— Пробовали тушить по-всякому. Но ничего не получалось. Притащили чугунную плиту, очень тяжелая плита была. Накрыли устье — думали, воздух перестанет поступать, заглушим пламя. Нет, не вышло. Фонтан отбросил плиту, как маленькую щепку. Другой раз большой бак привезли, накрыли им фонтан. Но опять ничего не получилось. Бак сначала до красноты раскалился, а потом сгорел. Совсем сгорел, ничего не осталось. Мы думали: что бы еще предпринять? Китайский командир (не помню его имени, знаю только, что по-русски хорошо говорил и быстрый такой, боевой был) оставил работу, отошел в сторону, вынул часы и то на фонтан смотрит, то на часы. Я подошел к нему, спрашиваю: «Зачем смотришь?» Он говорит: «Смотрю, какой у фонтана характер». Я понял, что его интересует, говорю: «Характер обыкновенный, как у всех горящих фонтанов: снизу сильный напор идет — тогда пламя сильно бьет, потом напор слабее становится — тогда огонь уменьшается, фонтан спокойно, как свечка, горит, коптит сильно». «А ты знаешь, сколько минут фонтан сильно горит, сколько — слабо?» — спрашивает меня китайский командир. Я говорю: «Не знаю. По-моему, тут расписания нет». Он опять вопрос задает: «Как думаешь, может быть, нам к характеру фонтана надо приспособиться? Как пламя ослабевает — сразу всем камни в устье бросать...» — «Попробовать можно,— говорю,— почему не попробовать...»

Командир что-то сказал по-своему солдатам, те набрали камней, кирпичей, ждут... Все равно как перед атакой.

Когда пламя ненадолго упало, мы все кинулись к фонтану, стали забрасывать камнями. Сначала будто хорошо шло. А потом огонь как ударит, все наши камни как полетят вверх, будто из пушки ими выстрелили... Мы кто куда. Одному бойцу осколком камня плечо разбило, другому в голову кирпич попал... «Не получилось,— говорю,— командир, отбил фонтан твою атаку». — «Да,— отвечает,— с таким противником не сразу справишься».

После этого прошел день-другой, китайского командира не видно. Фонтан горит, красноармейцы как работали, так и работают, а командир не появляется. Вот, думаю, до чего у человека руки опустились. Пока верил, что толк будет, как вол работал.

Но я был неправ. Оказывается, в те дни в штаб трудовой армии приехали опытные люди из Москвы, из Баку. Там разговор шел, как с пожарами покончить. И ведь придумали! Очень хорошо придумали!

На третий день китайский командир приехал на грузовике, привез пустые мешки. За первым пришли еще грузовики — тоже с мешками. Целый день их возили, много тысяч штук привезли. Солдаты насыпали тем временем в мешки песок. «Что будем делать?» — спрашиваю командира. «Бруствер вокруг фонтана сложим. Сначала большое кольцо обведем, потом поменьше...»

Верно. Сделали укрытие из мешков с песком — стало легче. Пламя всюю клокочет, а терпеть можно, бруствер защищает. В минуты, когда огонь затихал, строили солдаты вокруг фонтана второе, меньшее кольцо. Еще, значит, ближе подобрался к пламени. Потом третье внутреннее кольцо сложили — почти у самого жерла. На этом ближнем бруствере поставили наклонные железные желоба и стали по ним спускать в устье фонтана мешки с песком.

Сначала фонтан не сдавался, отбрасывая груз. Но мешки ведь тяжелые, далеко не отлетали — обгорят и упадут рядом. Из них песок рассыплется — опять хорошо, все трещины в земле забивает, доступ воздуха к огню преграждает.

Вижу, пошло дело, слабеет пламя, на глазах убывает. Мешки бросаем, и они уже не отлетают в сторону. Так, думаю, значит наступление идет, а отбить атаку у фонтана уже сил не хватает. Наша возьмет!..

И песок затушил пламя. Чистое небо стало над нами — ни копоти, ни зарева. И тишина кругом. Два с половиной года в голове гул стоял от горящего фонтана, а тут вдруг тишина. Я смотрю на китайского командира, на его солдат — на лицах их сажа, на руках кровавые мозоли, глаза красные, гимнастерки обгорели, усталые... Но довольны. Видно, что очень довольны... И правильно — большую победу одержали. До сих пор побеждали на фронте, а тут первая трудовая победа. Самая радостная из всех побед, какие могут быть у человека!

Грозненцы рассказали нам потом, как потушили и другие фонтаны. Настал день, когда нефтяники смогли торжественно отрапортовать партии и правительству о достижении грозненской нефтяной промышленностью довоенного уровня.

В 1924 году Грозный был награжден орденом Красного Знамени. Как было сказано в постановлении, город награждался орденом за героическое участие грозненского пролетариата в гражданской войне и в восстановлении нефтяной промышленности.

Александр Филиппович Кучин, историк родных мест, говорил нам:

— Когда я выступаю на заводах и промыслах и рассказываю о высокой награде, которой наш Грозный удостоен в числе первых советских городов, я всегда отмечаю, что частица нашего ордена, какой-то его кусочек, принадлежит китайским товарищам — тем, кто воевал вместе с грозненцами в годы гражданской войны и кто вместе с ними позже восстанавливал промыслы.

## 16. И вот войне пришел конец...

В самаркандской папке хранится удостоверение, датированное февралем 1921 года. «Военком 10-го отдельного восточно-интернационального батальона Пау Ти-сан, — говорится в удостоверении, — командируется в Тифлис для организационной работы среди китайцев».

Вместе с Пау Ти-саном поехал из Грозного в Тифлис один из бойцов китайского батальона, Лю Фа. Мы разыскали его в Самарканде. Рослый, жизнерадостный, хорошо сохранившийся, Лю Фа рассказал, для чего ездил Пау Ти-сан в Тифлис.

Дни пребывания батальона в Грозном подходили к концу. Подразделению предстояло перебазироваться во Владикавказ, чтобы начать борьбу с засевшими в горах белогвардейскими бандами. Состав батальона к тому времени сильно поредел. Надо было подумать о пополнении. Вот для того и поехал Пау Ти-сан в Грузию. Там жили тысячи китайских тружеников, которых правительство Ноя Жордания, в бытность свою у власти, всячески преследовало. Комбат считал, что среди них наверняка найдется немало желающих вступить в Красную Армию.

Он не ошибся. Пау Ти-сан и Лю Фа скоро вернулись во Владикавказ, и вместе с ними прибыло человек полтораста добровольцев.

В той же самаркандской папке хранится аттестат, выданный Народным комиссариатом Горской автономной республики китайскому батальону<sup>1</sup>. В нем отмечаются заслуги китайцев красноармейцев в борьбе с окопавшимися в горах бандами белогвардейцев, говорится о Владикавказском китайском батальоне как об «организованной воинской

<sup>1</sup> Терская республика потом называлась Горской республикой.

единице, ударном кулаке, являющемся могучей опорой Рабоче-Крестьянского правительства».

Заключительную часть аттестата стоит привести целиком. Она как бы подводит итог всей боевой деятельности Владикавказского китайского батальона на Северном Кавказе в годы гражданской войны.

«Отряд китайцев под командованием Пау Ти-сана,— говорится в документе,— будучи материально не обеспечен, полураздет и иногда голоден, вдали от родного края, безропотно выполнял все многочисленные боевые задания в горах Сев. Кавказа, борясь как с отдельными бандами, так и с организованными, руководимыми контрреволюционерами, хорошо вооруженными воинскими единицами, являя собой яркий пример подлинного Интернационала, пример истинных защитников прав трудящихся».

Под аттестатом дата — 27 декабря 1921 года<sup>1</sup>.

В канун нового, 1922 года, через несколько дней после того, как Пау Ти-сан получил почетный аттестат, китайский отряд по приказу Северокавказского военного округа был переброшен в Ростов.

На новом месте бойцы Пау Ти-сана находились сравнительно недолго, всего два месяца. То были самые спокойные, самые тихие месяцы за все время существования китайского подразделения.

Пропахшие порохом недавних боев войны все чаще стали вспоминать, что они ведь, в сущности, люди мирного труда. Что же им делать в казарме? Не пора ли расстаться с винтовкой, начать устраивать свою жизнь?

Ча Ян-чи, снова вернувшийся в родной батальон, мысленно уже видел себя хлопочущим на участке земли, который он высмотрел под Бесланом еще в те дни, когда шла война. Хороший участок! Самый подходящий для рисового поля, хотя риса там никто никогда не сеял. И напрасно. Он, Ча Ян-чи, научит русских, чеченцев, ингушей, как возделывать рис. Он такие урожаи будет снимать, что все удивятся. Большое дело — рисосеяние. Много пользы может дать оно людям.

Приятель Ча Ян-чи, Ван, поддерживал стремления друга, но сам думал о знакомом ему просторном полуподвальном помещении в Харькове. Там отличную прачечную можно открыть. И там же, в Харькове, живет девушка Шура. Хорошая, славная, скромная девушка. Ван познакомился с ней и хочет на ней жениться. И Шура тоже не прочь выйти за него замуж.

А Ли Сан-тину вспомнился Баку, в освобождении которого он участвовал. Вот город так город... Там и работать можно и учиться. Ли непременно запишется в вечернюю школу для взрослых, будет вести общественную работу, будет достойным членом большевистской партии, в которую он незадолго перед тем вступил<sup>2</sup>.

И другие бойцы тоже уносились мыслями за стены казарм, туда, где люди, покончив с войной, сеют хлеб, сажают сады, строят дома, трудятся у станков.

Солдаты с нетерпением ждали дня, когда придет приказ о демобилизации. И этот день наступил. Пау Ти-сан велел построить бойцов и прочел им приказ, в котором говорилось о расформировании батальона, о переходе красноармейцев на мирную жизнь.

— В тот день,— вспоминал Ча Ян-чи,— отряд выстраивался дважды. В первый раз — когда перед нами зачитывали приказ, во второй раз — когда в гости к китайским добровольцам приехал командующий Северокавказским военным округом Климент Ефремович Ворошилов.

Командующий приехал не верхом на лошади, как привык его видеть Ча Ян-чи на фронте, а в автомобиле. Выступая перед китайскими бойцами, Ворошилов сердечно

<sup>1</sup> Героический образ бойцов Владикавказского китайского батальона, самоотверженно сражавшихся на берегах Терека, с годами не померк. В ноябре 1957 года в Орджоникидзе в торжественной обстановке состоялась закладка памятника бойцам Пау Ти-сана. Надпись на плите, установленной там, где в скором времени поднимется монумент, гласит: «Здесь будет сооружен памятник бойцам и командирам китайского революционного отряда, погибшим за Советскую власть в годы гражданской войны в Северной Осетии».

<sup>2</sup> Ли Сан-тин выполнил свое намерение — поселился в Баку, учился в комвузе. В сборнике о XVIII Бакинской партконференции, изданном в 1929 году, фамилия Ли Сан-тина упоминается в числе делегатов конференции и членов Бакинского комитета партии. Умер в 1939 году.



поблагодарил их за честную, самоотверженную службу в рядах Красной Армии и выразил уверенность, что не за горами время, когда многомиллионный китайский народ сбросит со своих плеч собственных и иностранных угнетателей и в Китае, как в России, будет народная власть.

Заканчивая свою речь, командующий сказал, что благодарные сыны новой России не забудут китайских братьев, не пожалевших ни крови, ни жизни ради торжества революции. По первому зову Советская Россия придет на помощь пробуждающемуся Китаю.

Речь товарища Ворошилова никто не переводил. За годы службы в Красной Армии китайские бойцы научились понимать по-русски. Им были близки и дороги его слова об интернациональном братстве, о воинском товариществе, о грядущей победе революции на китайской земле.

На следующий день бойцы стали собираться в дорогу. Укладывали в деревянные сундуки и чемоданы свои нехитрые пожитки, получали в штабе литеры на бесплатный проезд по железной дороге: кому совсем близко — до какой-нибудь северокавказской станции, кому за Дон, а кому и до границ Китая.

— А вам, товарищ командир, куда литер выписать? — спросил штабной писарь, когда Пау Ти-сан зашел в канцелярию.

Этот разговор происходил в присутствии Ча Ян-чи. Старый Ча его запомнил.

— Мне? — переспросил Пау Ти-сан. — До Кантона выписывай. И командировку заодно.

— Как до Кантона? — Писарь с изумлением посмотрел на комбата, но, сообразив, что тот шутит, рассмеялся. — Пожалуйста, товарищ командир, и литер и командировку могу выписать. Вот только не знаю, что в командировку указать.

— Укажи, что командируюсь в Китай делать революцию.

Пау Ти-сан говорил шутя, но думал о возвращении в Китай всерьез. Родина звала. Он слышал призыв своей великой пробуждающейся страны.

Но Пау Ти-сан не сразу поехал в Китай. В самаркандской папке мы нашли распоряжение штаба помощника главнокомандующего всеми вооруженными силами республики по Сибири, датированное мартом 1922 года. В нем предписывалось Пау Ти-сану «с получением сего отправиться в г. Иркутск в распоряжение Командарма-5».

После этого-то и начался среднеазиатский период боевой деятельности неутомимого командира. Пау Ти-сана направляют в Самарканд, где разгул басмачества в тот период был особенно силен. Он становится командиром Мусульманского кавалерийского дивизиона, грозой многочисленных банд Бахрамбека, Ачилбека, Хамидбека, Тайлатыша, Мирзапалвана.

Самым сильным, умным, хитрым врагом был Бахрамбек. Борьба с ним не прекращалась ни на один день. Наконец знаменитый курбаши был сломлен. Зажатый в тиски, понимая безвыходность своего положения, он явился с группой басмачей на историческую площадь Регистан в Самарканде, выступил перед тысячной толпой с речью, заявил, что слагает оружие и клянется не выступать больше против Советской власти. Но волк остается волком. Прошел короткий срок, и Бахрамбек бежал из Самарканда, снова стал собирать свою рассеявшуюся по кишлакам банду.

Пау Ти-сан ночью узнал об этом, поднял бойцов, ринулся в погоню. Через несколько дней он привез труп вожака басмачей в город.

Президиум Самаркандского ревкома вынес по этому поводу специальное постановление. «Принимая во внимание всю серьезность и государственную важность выполненного боевого задания, — было сказано в нем, — командира Мусульманского дивизиона, тов. Пау Ти-сана, как неоднократно отличавшегося в деле борьбы с басмачеством, наградить золотыми часами с надписью: «На добрую память доблестному защитнику власти Советов рабочих и дехкан за энергичную работу по борьбе с басмачеством тов. Пау Ти-сану от Президиума Самаркандского Горвоенревкома».

В аттестате, выданном Самаркандским исполкомом, много хорошего сказано о борьбе Пау Ти-сана с басмачеством. За бой под Раджаф-Амином он был представлен к ордену Красного Знамени. «Тов. Пау Ти-сана, — говорится в аттестате, — можно поистине назвать первым героем басмаческого фронта».

А дальше начался новый этап в жизни Пау Ти-сана.

Во время нашей недавней встречи с полковником Кобаидзе он рассказал:

— В 1937 году я получил письмо из Китая от своего друга Темира Джелиева. Темир тоже был участником гражданской войны на Тереке, а потом пошел учиться в Институт народов Востока, и я потерял с ним связь. И вот приходит письмо из Китая. Темир, оказывается, там. Вместе с новостями о себе сообщает, что виделся с Костей Пау Ти-саном, который служит в Китайской Красной армии.

Это было последнее, что удалось нам узнать о Пау Ти-сане.

\* \* \*

Три года шаг за шагом идем мы по следам бойцов героического Владикавказского китайского батальона. Многое еще осталось нераскрытым, о многом еще можно рассказать. Хочется верить, что на опубликование этого повествования о китайских бойцах отзовутся новые и новые свидетели их героических дел.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

★

## ВСТРЕЧИ НА АНГАРЕ

### 1. Землепроходцы

**М**ихаил Михайлович Одинцов рассказывал мне. Впервые он вышел к Падуну в начале тридцатых годов. Тайга, по которой три месяца шла группа геологов, неожиданно расступилась, и с вершины сопки раскрылся чуть ли не безбрежный вид на Ангару. Одинцов долго стоял наверху и все смотрел, смотрел на чистые ангарские просторы, смотрел и слушал, как шумит и пенится внизу знаменитый Падун.

Потом он спустился в деревню, которая тесно легла на узкой прибрежной полосе между рекой и лесом. Люди в той деревне жили таежные — охотники, рыбаки. Встретили они пришельцев настороженно: не так уж часто приходили на Падун люди из города.

Одинцов рассказал крестьянам, что партия геологов, с которой он пришел, вела съемку местности для трассы новой железной дороги. Они прошли по тайге от Тайшета до Ангары и сняли на карту полосу шириной в пятьдесят километров. Теперь проектировщики определяют лучший вариант трассы, строители проложат дорогу, и паровоз прибежит на Ангару, а потом пойдет еще дальше — на Лену.

Крестьяне никак не могли поверить, что такая машина может прийти в их таежную глушь.

Одинцов остался в деревне, ходил на лодках через пороги, ловил рыбу, варил уху, делал съемки берегов Ангары, заканчивая съемку трассы. Мог ли будущий доктор геологических наук профессор Одинцов подумать тогда, что спустя четверть века он будет баллотироваться в депутаты Верховного Совета страны от Братского избирательного округа и приедет на предвыборное собрание в село Падун, где вырос один из самых крепких колхозов Приангарья.

Постройка железной дороги затянулась. Война прервала начатые работы, и первый поезд пришел на Ангару лишь в конце сороковых годов, а на Лену, в порт Осетрово, и того позже. А Одинцов уже пересекал сибирскую тайгу в других местах, летал на самолетах, ходил нехожеными тропами по новым маршрутам.

По этой дороге, трассу для которой прокладывал Одинцов, ехали на Братскую ГЭС, на Лену сотни и тысячи парней и девушек с комсомольскими путевками. По этой же дороге в первый раз приехал в Братск и я в 1956 году и тогда еще не знал, что в этих же краях состоится моя встреча с М. М. Одинцовым.

Старый разбитый автобус, дребезжа и грохоча всеми своими составными частями, вез нас от железнодорожной станции к Падуну. Проруб-

---

Очерк «Встречи на Ангаре» является продолжением очерка «На Сибирской магистрали», опубликованного в январской книжке «Нового мира».

ленная в тайге дорога то спускалась к самой реке, то уходила в глубь леса и вилась лентой по склонам сопок, и автобус то надсадно пыхтел и кашлял, взбираясь на перевалы, то стремительно катился вниз, раскачиваясь и подпрыгивая. Навстречу нам неслись тяжелые самосвалы, и невообразимая пыль стояла столбом до неба.

Крутой спуск вывел нас к реке, и дорога ровно и прямо пошла вдоль прибрежного откоса у самого среза воды. Я смотрел и не понимал, куда же течет Ангара. Там, куда бежала река, стояли сопки и горы. Вся долина реки была окружена высокой волнистой линией сопок, лишь позади видно было, как горы расходились,—оттуда текла Ангара. Но куда? Ведь путь впереди закрыт. В это время небольшой лесистый островок в пойме сдвинулся чуть вправо и за ним раскрылся узкий провал, разъединяющий горы.

Вот он, знаменитый Падунский проход, или, как еще называют его, Падунское сужение. Оно раскрылось глубокой расщелиной, но автобус катился вперед, уходя от реки и снова возвращаясь к ней, и с каждым новым выходом к реке Падунский проход приближался к нам еще на несколько километров и стены его раздвигались все шире, открывая Ангаре дорогу на север.

Шоссе взбежало на взгорок и неожиданно вонзилось в узкий коридор с рублеными бревенчатыми стенами. Сразу и не поймешь, что это такое. Что-то древнее, грязное, пыльное. Но вот по обе стороны шоссе часто замелькали окна и ставни — село. Избы его стоят, тесно прижавшись одна к другой, крепкие бревенчатые заборы наглухо соединяют их, закрывая от постороннего взгляда дворы и огороды. Перед окнами ни деревца, ни палисадника. Ни одной привычной приметы русской деревни, которая свободно и легко раскинулась где-нибудь на пригорке, украсилась купами садов, склонившимися над прудом ивами. Даже вывески в этой сибирской деревне свои, непривычные: «Смешанный магазин», «Промысловые товары».

По деревне, поднимая столбы пыли, несутся самосвалы, и все вокруг в этой пыли: стены домов, крыши, заборы, ставни, вывески,— все покрыто плотно серым налетом.

Так выглядит сегодня исконное сибирское село Падун, едва ли не самое старое во всем Приангарье. Еще в 1631 году енисейский казак Максим Перфильев заложил на этом месте острог, и только двадцать один год спустя на Ангаре, против того места, где впадает в нее река Иркут, было заложено Иркутское зимовье.

Быстрая вода в сибирских реках! Тяжело идут баркасы против течения. В баркасах на веслах беглые боярские мужики, «воровские» казаки, свободные «гулящие» люди,— вряд ли они называли себя тогда землепроходцами, как называем их теперь мы. На быстрых перекатах приходилось выбрасывать на берег бечеву, и гребцы становились бурлаками.

Землепроходцы шли на восток по рекам — по Каме, Белой, Чусовой; через Урал и дальше — по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби; отсюда на Енисей, на Среднюю Тунгуску, на Ангару. И вот уже байкальские дали раскрылись перед ними, а за ними другие — Селенга, Лена, Амур.

В изустных преданиях сохранилось наивное и трогательное объяснение названий сибирских рек—Вилой, Кута, Купа, Муха, Лена... Вилой—река крутая, извилистая, по ней не плыли, а виляли. На Куту пришли зимой и кутались в меха. Зато на Купе купались, а может быть, крестили кого-нибудь в купели. С трудом поднимались по быстрой Мухе и вдоволь намучились. Потом вышли на большую реку и вольно поплыли по ней вниз, только за рулем смотрели и ленились — значит, плыли уже по Лене.

Братск — бурятский город, своего рода столица племени бурят. И буряты стали братьями русских землепроходцев.

Падун — порог быстрый, пенистый, вода на нем так и падает по каменным плитам.

Енисей — река быстрая, ноская. Она легко несла на себе казачьи баркасы, и землепроходцам, видно, пришлось по душе хакасское слово «ионесси», что значило «голубая быстрая вода». Отсюда, верно, и получился Енисей.

Мы говорим сейчас о бурном заселении Сибири, и оно действительно шло быстро и широко. Но сопоставьте даты: в 1580 году беглый казак Ермак Тимофеевич перевалил через Урал, спустя шесть лет его сподвижники заложили первый сибирский острог на реке Туре — Тюмень; прошло еще тридцать два года, и был основан Енисейск; спустя еще десять лет, в 1628 году, — Красноярск; в 1636-м — Братск, в 1652-м — Иркутск. Почти столетие понадобилось русским землепроходцам, чтобы пройти от Урала до Байкала.

Землепроходцы осваивали новые земли. Там, где много рыбы, они ставили шалаши, забрасывали сети, били в тайге зверя, собирали ягоду.

«Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети поселщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти... Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям, к расторопности сделала сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церковей оставила его ум свободнее, чем в России...» — так писал А. И. Герцен, характеризуя потомков сибирских первооткрывателей.

И далее:

«Сибирь имеет большую будущность; на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилем, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет...»

Теперь на сибирские реки — на Енисей или к Падуну — пришли строители. У них есть точные планы, сроки. У них есть в огромном количестве мощные машины, взрывчатые вещества; они валят тайгу, взрывают горы, прокладывают дороги. Самосвалы строителей несутся по деревянной улочке Падуна, обдавая избы грязью и пылью, заставляя жителей тесниться к заборам. А придет срок, строители вовсе затопят древнее сибирское село водами Ангары. Они затопят и самый Братск, откуда начинали они свое наступление на тайгу, — уже теперь они зовут его «Старый Братск», — затопят избы, простоявшие сотни лет, перенесут на новое место старинную холодную башню острога, в которой коченел непокорный протопоп Аввакум. Зачем строителям Старый Братск, когда у них уже есть свой Новый Братск? Строители затопят даже железную дорогу, по которой сами же приехали сюда, ту самую дорогу, трассу для которой прокладывал в свое время Михаил Михайлович Одинцов.

## 2. Утро на Ангаре

Пароход только что отвалил от маленькой пристани, и колеса его часто и гулко шлепают по воде. Выбираемся на середину реки; частое шлепанье колес незаметно переходит в мерное плескание. Над головами вырастает новый звук — долгие, тревожные гудки сирены: плывем в непроливаемом молочном тумане. Видна часть палубы, навес, белые поручни, уходящие в туман, да внизу два изумрудных ломтя ангарской воды, разрезаемой носом парохода.

Мы стоим с М. М. Одинцовым на верхней палубе. Михаил Михайлович рассказывал о Сибири — о железной руде, о том, как искали алмазы, о своих товарищах геологах, летчиках. Мы проговорили всю ночь, вышли на палубу подышать свежим воздухом и вот никак не можем уйти отсюда — уж очень красив рассвет над Ангарой.

В тумане возникает темное расплывчатое пятно. Оно движется навстречу, приобретает очертания рогатины, и неожиданно совсем близко от нас проплывают мимо черные корявые сучья горелого дерева; кажется, кто-то их воткнул в плотную белую стену тумана, и вот они висят прямо в воздухе, возникая из него.

С другой стороны проступает едва заметная волнистая полоса — берег. Обдувая наши лица, струя теплого воздуха прорывается сквозь туман, промывает в нем неширокое рваное окно, и на мгновение раскрывается прозрачная глубокая даль — невысокий берег реки, утыканный пнями, за ним далекие вершины сопок, густо поросшие лесом, волнообразно набегающие друг на друга.

С противоположного берега доносится пронзительно веселый петушинный крик. Оглядываемся. В тумане не видно деревни, только жердяные ряды изгородей спускаются к воде, разделяя огороды.

Впереди показывается островок. Пароход плавно огибает его, и островок, уходя назад, проплывает совсем близко от борта. Он сильно вытянут, приглажен со всех сторон, словно его специально сделали посреди реки.

— Это его ангарская шуга так причесала,— говорит Михаил Михайлович.

Теплый ветер снова овеивает лица и вдруг, буквально в одну минуту, сдувает туман с реки. Невозможно даже предположить, куда он исчез,— то ли поднялся вверх, то ли погрузился в воду. Только под кручей берега еще болтаются седые лохматые клочья да впереди тонкая белая простыня колеблется над водой и в ней движется рыбацья лодка.

Неоглядные дали раскрываются во все стороны. Ангара бежит на север по широкой долине, то растекаясь по ней многочисленными протоками, то собираясь в один могучий свободный поток, и по берегам бегут то круглые и покатые, то острые причудливые вершины сопок, бегут нескончаемой волнистой грядой по обоим берегам. Безбрежное лесное море покрыло склоны и вершины сопок, и редкие села с трудом разместились на узкой прибрежной полосе между рекой и тайгой, редкие дороги прорезают тайгу неширокими просеками,— а кругом море, зеленое, безбрежное...

— Какая тишина! Какой покой! — с упоением произносит чей-то голос за нами.

Говорит высокий сутулый мужчина с биноклем в руках. Его спутник, молодой человек в ярко-клетчатой рубашке, согласно кивает головой. Мне очень не хотелось бы слышать эти слова: они совсем не к месту в моем очерке, посвященном индустриализации Сибири. Я собираюсь писать о новых гидростанциях, городах, домах, а тут «тишина и покой». Но, словно на помощь мне, прилетает сверху тонкий однообразный звук. В высоком чистом небе быстро передвигается крохотная точка, а за ней тянется белая пушистая нить, и самолет неумоимо прядет ее на широкой небесной синеве.

— Наше небо нынче не пустует,— говорит Михаил Михайлович, и я охотно соглашаюсь с ним.

А белая нить все тянется и тянется по небу, распускаясь и становясь все пушистее.

Михаил Михайлович вскоре ушел в каюту, а я остался на палубе. Волны, расходясь, бежали к берегу, и небо ломалось и качалось, отражаясь в них. Пароход набежал на темную желтую струю, разбил ее корпусом и колесами, и голубое небо потемнело в мутной полосе.

«Фенолы!» — подумал я, но мутная полоса скоро осталась за кормой, и ничто больше не омрачало чистоты реки.

Не знаю уж, что я видел в ангарской воде — фенолы или еще что-нибудь, но желтая муть в реке напомнила мне об одном разговоре, который состоялся незадолго до моего отплытия в Братск. Разговор этот,

тревожный, настораживающий, был с профессором Я. М. Грушко, заведующим кафедрой гигиены Иркутского медицинского института.

Яков Михайлович Грушко с невозмутимым спокойствием наговорил мне кучу всяких ужасов о загрязнении рек отходами промышленности, и я, памятуя об одном из острейших противоречий нашего века — о противоречии между прогрессом техники и сохранностью природы, спросил его, не сгущает ли он краски.

— В этом вопросе не страшно сгустить краски,— спокойно ответил Я. М. Грушко.— Не страшно хотя бы потому, что в свое время боялись сгущать их на Волге, и вот теперь эти мутные краски поплыли по великой русской реке.

Вот что говорил профессор Я. М. Грушко.

— Да, да. Не страшно сгущать краски. Сначала мы недооцениваем опасность, а замечаем ее и начинаем кричать о ней, когда она становится явной и когда кричать уже поздно. Два ведомства кровно заинтересованы в этом вопросе — здравоохранение и рыбное хозяйство. Но в конечном счете проблема касается всех людей, живущих на берегах рек, озер, водоемов, то есть большей части человечества. Вкратце об истории вопроса. В сорок четвертом году вышло постановление, которое временно разрешило сброс некоторого количества неочищенных вод. Война давно кончилась, а военное постановление осталось. Более того, различные ведомства и службы, казалось бы в одинаковой степени заинтересованные в проблеме, не координируют своих усилий, а тянут в разные стороны. Появилась даже так называемая теория самоочищения природных вод: под влиянием кислорода, содержащегося-де в воде, в реках происходит полное и быстрое самоочищение всех промышленных отходов. Опыты ставили в пробирках, по порочной методике: каплю нефти перемешивали в литре речной воды и делали выводы, что ничего опасного нет. А река не пробирка — ее не перемешаешь. И вот первые результаты этой теории. Что мы имеем на Волге? Легкие фракции нефти плывут радужной пленкой по поверхности реки, тяжелые фракции оседают на дне ее. От Ярославля до Астрахани тянется по Волге радужный шлейф по поверхности и тяжелый нефтяной хвост по дну. Как показали наблюдения, в волжской воде концентрация нефти во много раз больше предельно допустимых норм; в волжских загонах концентрация еще выше; речное дно пропитано нефтью, содержание ее в грунте доходит до полупроцента. Некоторые нефтеперегонные заводы сбрасывают с отходами в Волгу по семидесяти тонн нефти в сутки. Нефтекараваны также оставляют в реке определенную долю нефти. Тысячи и тысячи тонн нефти стекают в Волгу, плывут в реке, отравляя рыбу, попадая в пищу людей. Где уж тут сгущать краски! Надо думать о будущем.

— Но все-таки реки загрязняют не авторы теории самоочищения. Вряд ли на них следует направлять главный удар.

— А кто же виноват? Хозяйственники? Но ведь они имеют право сбрасывать неочищенные или очищенные не до конца отходы в реки. Проектировщики? Но ведь они имеют право проектировать предприятия без учета всех требований очистки. Выходит, виновных нет?

Слушая профессора Грушко, я вспомнил другую свою поездку, которую совершил за несколько недель до путешествия по Сибири. Это было далеко от Ангары, на берегах Волги, где строится Ново-Горьковский нефтеперерабатывающий завод.

На строительных площадках, раскинувшихся на многие километры, царил горячая предпусковая пора. Стройка была объявлена ударной. Сплетение труб, рыжие нагромождения земли, толпы башен и башенок, обвитых трубами, корпуса цехов, тяжело ворочающиеся машины — завод был огромен. Мы шли наискосок по площадкам, постепенно удаляясь от шума стройки, от работающих людей и машин.

— Наши очистные сооружения,— с широким жестом проговорил инженер, сопровождавший меня.

Здесь было тихо и пустынно. Широкие прямоугольные пруды с покатыми ровными откосами. Чуть в стороне — невысокая башенка, и на свежавыкрашенной двери ее — большой замок.

— Там будут фильтры,— сказал инженер, указывая на башню.

— Замок, наверное, повешен не зря. Сооружения сданы?

— Что вы? — удивился инженер.— Они готовы не больше чем на семьдесят процентов.

Теперь пришел мой черед удивляться: все сделано, распланировано, людей не видно, даже замок висит. Что же здесь еще делать?

— А завод? Ведь очистные сооружения должны быть связаны с заводом, со всеми его установками и сооружениями. А это десятки километров подземных коммуникаций. А фильтры? Ведь их еще надо поставить.

— Почему же это не делается?

— Тяжелые условия работы,— вздохнул инженер,— обильные грунтовые воды, кислые грунты...

— Но это так называемые объективные причины. Может быть, есть другие?..

— А кому они нужны, эти очистные сооружения! — с неожиданной злобой проговорил инженер.— У нас есть основные объекты, и мы на них ждем.

— А как же очистка?

— В ней никто не заинтересован. Дирекция пока выжидает, жмет на основные объекты, а потом вдруг доложит: «Завод готов к пуску. Можно давать продукцию. Но очистные сооружения еще не совсем готовы к вводу. Что прикажете?» И будет дан приказ — никто не имеет права срывать правительственные сроки. И мы пустим завод и будем сбрасывать все отходы в Волгу.

— Неужели мы можем мириться с этим явлением? — такой вопрос задал я профессору Грушко, рассказав ему о Ново-Горьковском заводе.

— На той же Волге работает Саратовский нефтезавод,— возразил Я. М. Грушко,— и там прекрасно действуют все очистные сооружения: ловушки, отстойники, фильтры.

— Отчего же возникает такая разница?

— Даже затрудняюсь ответить на такой вопрос. Разве что в Саратове директор нефтезавода любит ловить рыбу.

— ?!

— Увы! — Профессор развел руками.— Более объективных причин нет.

— Выходит, надо выбирать директоров для химических заводов по одному признаку — рыболов он или нет? Иначе мы не решим эту проблему?

— Видите ли,— невозмутимо продолжал Я. М. Грушко,— вот у нас есть Министерство геологии и охраны недр. Охрана недр! А от кого их нужно охранять, эти недра? Сама природа и так запрятала их достаточно надежно. А вот естественную природу надо беречь в оба глаза. Кто же сейчас ее охраняет? Самодеятельная общественная организация в виде Общества друзей зеленых насаждений. Можно назвать еще Комитет охраны природы при Академии наук. И, пожалуй, все. Дело, разумеется, не в количестве организаций, а в том, что эти организации гораздо слабее, чем министерства, совнархозы, слабее даже, чем рядовые предприятия с их железными сроками и планами. А именно они-то рубят лес, загрязняют реки и озера, коптят небо.

— Создать еще одно министерство — охраны природы?

— Дело не только в этом. И нынешние министерства занимаются этим делом. Министерство сельского хозяйства, например, не раз прини-



мало решения о том, что надо использовать для удобрения полей бытовые стоки больших городов. И под Москвой действительно есть колхозы, которые получают эти богатые удобрения. А вокруг других городов? Я что-то не слышал об этом. Решения, даже самые хорошие, сами по себе ничего не решают. Дело в том, что очистка сточных вод сейчас не приносит никакой пользы предприятиям. Более того, заниматься очисткой просто невыгодно: она ложится на себестоимость продукции, на план; за нее не дают ни знамен, ни премий.

— В свое время примерно так же обстоял вопрос с внедрением новой техники, новых машин. Заводу было невыгодно внедрять новую технику, потому что от нее страдал план.

— Мне кажется, что с очисткой решить вопрос будет проще, чем с новой техникой.

— Где же выход?

— Утилизация. Максимальная утилизация всех отходов. Ведь сброс промышленных отходов наносит двойной ущерб: мы не только портим природу, но и выбрасываем вместе с отходами миллионы рублей. Очистка не дает предприятию выгоды, а утилизация и переработка отходов даст выгоду — будет получен дополнительный продукт. Вот гидролизные заводы сбрасывают лигнин, а ведь его можно пустить в дело. Целлюлозные комбинаты сбрасывают сульфатный щелок, а ведь его можно использовать на девяносто процентов и получить из него кормовые дрожжи, этиловый спирт, экстракт для дубления кожи...

— А почему же это не делается?

— Виновата ведомственность. Работники целлюлозной промышленности говорят: «Кожа и дрожжи — не наша специальность. Мы не умеем заниматься такими продуктами». Или такой пример. В угле содержатся ценнейшие фенольные соединения. Отдельные их виды стоят до трех тысяч рублей за килограмм. Но угольщики говорят: «Это не наша специальность». Значит, нужны комплексные усилия. А раз так, это дело должны возглавить совнархозы, у них есть специалисты по всем отраслям, им и карты в руки. Совнархоз уже не сможет сказать, что это не его специальность.

— Пока что-то не слышно, чтобы они занимались такими делами.

— Раскачиваются. Но рано или поздно займутся. Вынуждены будут заняться. Ведь и природа и те ценные продукты, с помощью которых мы ее загрязняем, принадлежат одному хозяину: народу. Дело это огромной государственной важности, и теперь, когда начинается столь грандиозная химическая программа, это вдвойне важно.

Профессор Грушко раскрыл небольшую брошюру и сказал:

— Вот посмотрите. Вокруг Братской ГЭС, куда вы направляетесь, создается мощный промышленный комплекс с десятками предприятий. Один только целлюлозный комбинат на берегу Братского моря даст ежедневно полмиллиона кубометров сильно загрязненных сточных вод — это двести тонн взвешенных и шестьсот тонн растворенных органических веществ, лигнин, смола, щелок. Такое загрязнение эквивалентно загрязнению бытовыми стоками от города с населением в восемь миллионов человек. Больше Москвы — это не шутка. Но вы, вероятно, знаете, какое огромное очистное хозяйство в Москве и вокруг нее. Там применяются самые новые методы биологической очистки — аэро-фильтры и так далее. Я еще не знакомился с проектом очистки сточных вод целлюлозного комбината, но боюсь, как бы там не нашлись сторонники теории самоочищения. А вы говорите — не надо сгущать краски...

Я смотрел на изумрудную ангарскую воду, разламываемую носом парохода, и думал о словах профессора Грушко. А вода ангарская лилась и лилась навстречу, рассыпалась хрустальными брызгами, разбега-

лась чистыми волнами и не думала, не гадала о тех страхах и спорах, которые кипят вокруг нее.

Зато совнархозам есть над чем подумать, поломать голову, чтобы обратить в реальные ценности те миллионы рублей, которые уплывают из наших рук вместе с отходами.

### 3. Алмазы

— И было сказано — найти алмазы в Советской стране. И мы искали их днем и ночью. Зимой и летом. Искали долгие годы. Мы путались и блуждали по сибирским просторам — и ничего не находили...

Пароход неумоимо бьет колесами по воде, и мне приятнее слушать рассказ М. М. Одинцова, чем думать и вспоминать о разговоре с профессором Грушко, приятнее хотя бы потому, что я знаю, как счастливо и триумфально закончилась алмазная эпопея, и никакая тревожная мысль не может омрачить предстоящего рассказа или моих воспоминаний о нем.

— Остался в памяти самый первый год работы Тунгусской экспедиции, — рассказывает Михаил Михайлович. — Три партии геологов раскиданы по всему бассейну Нижней Тунгуски. Главная наша база — в большом таежном селе Ереме, и мне то и дело приходится летать из одной партии в другую. И вот как-то летим мы в Чунскую партию, к геологу Фанштейну. До него всего семьсот километров — по нашим сибирским масштабам, пустыки. Самолетик у нас старый — «ПО-2», но летчик... Какой летчик! С крыльями! Майор морской авиации Иннокентий Трофимович Куницын, он еще донашивал свой фронтальной китель — шло лето сорок седьмого...

На промежуточный пункт, в Вановару, мы прилетели без приключений. Перекусили — и снова к самолету. Я по рассеянности подошел к кабине с правой стороны. Куницын всполошился: «Не лезь! Уйди». И заставил меня обойти вокруг хвоста и сесть в самолет с левой стороны. Примета оказалась со смыслом, хотя поначалу ничто не предвещало ее торжества. Я посмеялся над Куницыным и поудобнее уселся на бачках с бензином, даже подложил один бачок под спину — для мягкости.

Мы летели, как у нас говорится, «с работой». Это значит, что у меня на коленях лежит планшет, в руке карандаш, а голова — за бортом. Я верчу головой, фиксирую рельеф местности, описываю обнажения пород. Если вижу что-либо интересное, прошу Куницына повременить: он спускается метров до восьмидесяти, и мы крутимся то над тайгой, то вокруг скалы, а потом снова выбираемся на курс. Куницын никогда не роптал на маршруты «с работой», хотя для летчика, как легко себе представить, они нож острый.

Наш маршрут проходил как раз над местом падения знаменитого Тунгусского метеорита. Крутимся над этим загадочным местом. Сквозь молодую поросль тайги отчетливо виден бурелом — деревья повалены радиально, с удивительной геометрической точностью: корнями к центру падения метеорита. По тайге вьется речушка, а в том месте, откуда расходятся порушенные стволы, — круглое болото. Таинственное это место. Какую тайну скрывает оно?

Я вздохнул, когда оно осталось позади. Куницын оборачивается, кричит: «Через час будем на Чуне!» — и дает газ.

И вдруг что-то круглое, пестрое промелькнуло над головой, и стало тихо-тихо. Полная тишина, как ранним утром на реке. Я кричу что есть мочи: «Кеша, что такое?» А он отвечает спокойно, почти шепотом: «Сейчас присядем. Без винта летать инструкция не разрешает». Я оглянулся. И правда: винт от нашего самолета падает позади нас в тайгу. Падает и продолжает вращаться — это показалось мне удивительным, хотя пора уже было подумать и о том, как вслед за винтом будем падать и мы.

«Ну, держись!» — говорит Куницын и круто планирует вниз. Я высунулся наружу: все-таки любопытно было взглянуть, куда мы будем падать. Кругом гарь. Острые горелые лиственницы часто торчат из земли. Трудно придумать более неудобное место для посадки, а Куницын знает себе пикирует. Я тогда не разгадал его маневра: он скорость набирал. «Ну, — думаю, — лишь бы не ноги. Пусть руки, шею, лишь бы не ноги. Если ноги, тогда все». Скорее вытащил ноги из-под бачков с бензином, наган передвинул на живот. «Лишь бы не ноги», — больше ни о чем не думал.

Над самыми лиственницами он вывел самолет из пике и спланировал на крохотное болотце: единственная полянка на десятки километров вокруг досталась на нашу долю.

Самолет проехал по кустарнику, напоз на муравьиную кучу и уткнулся в нее. Куницын выбрался из кабины и прыгнул на кучу. «Ну, Миша, отныне мы с тобой близнецы. У нас обоих сегодня день рождения — запомни его. И никогда не лезь в кабину с правой стороны: человеку положено только один раз рождаться и один раз умирать». А я молчу и только улыбаюсь, глядя на Куницына.

Осмотрели мы мотор. На носке коленчатого вала была крупная раковина — заводской дефект. Мы сделали фото раковины, написали акт — все, как полагается, чтобы не было никаких лишних разговоров. Потом закрыли самолет чехлами и пошли на Стрелку Чуни, где сливаются Северная Чуня и Южная. На третий сутки вышли на дорогу, нашли балаган, сложенный из коры и веток, отоспались в нем внаглую и пошли дальше. Еще через день встретили эвенка, переночевали у него в юрте, сложили вещи на оленей и побежали налегке на Стрелку.

Пришли — и сразу на рацию. Слышим, за дверью радист кричит: «Отряды вышли! Сведений о самолете нет, сведений о людях нет. Самолеты на поиски выслать нельзя: в тайге начались пожары». Мы рассмеялись, рванули дверь, кричим радисту, что мы здесь, а у него на ушах резиновые наушники, он нас не слышит. Куницын хлопает его по плечу. Он смотрит и не понимает. «Внимание, беру минутный перерыв». И к нам: «Это вы?» — и обнимается лезет, добрый человек.

Куницын берет микрофон и докладывает на базу нашему начальнику Сафьянникову: «Иннокентий Иванович, это мы. Вынужденная посадочка. Пришли на Стрелку своим ходом. Живы, здоровы».

Так начиналась наша эпопея алмазная...

Мы сидим в каюте втроем: Михаил Михайлович Одинцов, молодой коллектор, московский студент-практикант Игорь Тихонов, который должен пойти с Одинцовым в тайгу, и я, их попутчик до Братска. М. М. Одинцов — замечательный рассказчик: его рассказы так и просятся в книгу, но, пожалуй, еще больший интерес испытываю я, глядя на юного коллектора Игоря. Он слушает взахлеб, на лице его сложнейшая гамма переживаний: восторг и зависть, удивление, страх и ожидание чудес, еще более удивительных.

— А как же «ПО-2»? — спрашивает Игорь. — Остался в тайге?

— Зачем? Зимой Куницын приехал туда на нартах, привез новый мотор, расчистил кустарник, поставил самолет на лыжи и взлетел. Мы на этом самолете еще целый год гуляли по тайге. А потом исчез наш крылатый летчик.

— Как исчез?

— Попал в снежный буран, заблудился, полетел не в ту сторону, бензин кончился, сел в тайгу и стал с товарищем зимовать. А продуктов у них не было — одна банка топленого масла на двоих. Ели они кору, клюкву из-под снега — не выжил Иннокентий Куницын. И приплыл весной на плоту по Вилюю, приплыл уже мертвый. Положили его на высоком берегу Вилюя и поставили на могиле звезду и пропеллер — память первому алмазному летчику Иннокентию Куницыну.

Некоторое время мы молчим. Потом Игорь спрашивает с надеждой: — А вот мы, Михаил Михайлович, пойдем в тайгу. А с чем же мы там встретимся?

Одинцов смеется?

— Если бы можно было заказывать приключения по телефону — как кило колбасы в Гастрономе! Прошу вас приготовить один лесной пожар и двух медведей... Ох, и скучные были бы тогда экспедиции!

— Простите, Михаил Михайлович, — спрашиваю я, — но мне кажется, что вашему рассказу о вынужденной посадке не хватает концовки. Вы очень скупо рассказали о том, как шли шесть дней по тайге, словно не по тайге шли, а гуляли в иркутском горсаду вдоль Ангары. А ведь это тайга.

— Ну что там говорить! Шли и шли. Продукты у нас были. И мы знали, где сели и куда идти — каких-нибудь сто двадцать километров. Тут нет ничего опасного.

— Я не о том. Но вы говорили, что летели «с работой». И шли, наверное, тоже «с работой» — снимали рельеф, искали выходы пород? Так?

— Не понимаю, куда вы клоните?

— Вот если бы вы нашли что-нибудь по дороге — это было бы здорово! Какое-нибудь месторождение. Полет, авария, вынужденная посадка — и открытие. Понимаете, какой неожиданный поворот?

— Увы! Так не бывает. Если бы я прочитал о таком случае в книге, я сразу подумал бы, что это враки. Месторождения открываются более продуманными способами, с более тщательной подготовкой. Мы искали алмазы много лет, и никакие случайности нам не помогали, пока стрелка наших знаний не вывела нас на правильную дорогу, на алмазную тропу — пиропы. Кроваво-красный минерал — пироп — вывел нас к цели. Тут было всякое: и бессонные ночи в кабинете наедине с минералом или с книгой, и волнующие минуты выхода анализов. И конечно же, ночи у костра, порожистые реки и знойные таежные пожары — словом, эпопея. На старт вышли сотни и тысячи, а к финишу дошли единицы, самые упрямые, выносливые, молодые.

— А кто является автором этого метода поисков алмазов по пиропам? Одинцов внимательно посмотрел на меня и ответил:

— Его впервые описала и применила Наталья Николаевна Сарсадских, ленинградский геолог. Ее ученица, Лариса Попугаева, нашла по пиропам первую в нашей стране алмазоносную кимберлитовую трубку «Зарница» и тем самым подтвердила этот метод на практике. Но и для метода необходима отвага и выносливость. Я как-то допытывался у Ларисы: «Как ты нашла? Какой метод применила?»

— А она? — не выдержал Игорь.

— «Метод, — говорит, — простой: «животный». Ползала два месяца на животе с лупой в руках. Очень полезный метод. Рекомендую всем толстякам». Так что, как видите, случайности в нашем деле исключаются.

— Но ведь Попугаева ползала по тайге не одна. Другие тоже ползали. А нашла именно Попугаева. Как же так?

— Это действительно дело случая, — задумчиво сказал Одинцов. — Вот был у нас в тайге даже такой случай. Два геолога, молодой и старый, вышли по обнаруженным пиропам к одной и той же кимберлитовой трубке, но, когда старый добрался до нее, оказалось, что молодой уже побывал там на неделю раньше. Однако подобные случайности не учитываются в работе. Ведь можно сделать и другое допущение — что Попугаева ползала лучше других. И в этом опять-таки есть своя закономерность.

— Что касается меня, я за случай, — с живостью возразил Игорь. — Если не бывает случайностей — значит, я ничего не найду в нынешней экспедиции.

— Поползаешь лет десять по тайге, тогда, глядишь, и откроешь что-нибудь, — сказал Одинцов.

Вечером мы прогуливались по палубе. Проплыли мы за день каких-нибудь двести километров, а берегов Ангары уже не узнать. Тайга исчезла. Лишь изредка тонкие зеленые языки ее спускаются к воде, а потом снова тянутся голые берега и обнаженные склоны холмов, утыканные пнями. У самой воды лежат аккуратно сложенные штабеля могучих лиственниц и кедров. Следы гусениц сходятся со всех сторон к штабелям, и где-то за срезом берега слышен стрекочущий гул невидимых машин: они-то и оголили берега реки.

Я смотрю на берега Ангары, и на меня веет дыханием Братской ГЭС. Строительные площадки ее еще далеко, сама станция еще не скоро вступит в строй, но недаром здесь, за сотни километров от гидростанции, срезана тайга — это готовится ложе для будущего Братского моря.

И снова раздается на палубе удивленный и в то же время восторженный возглас:

— А где же тайга?

Это сутулый мужчина с биноклем, который утром восхищался тишиной и покоем, вышел на палубу после обеда и снова удивляется и восхищается.

#### 4. Стройка семилетнего плана

Вся Братская ГЭС, со всеми ее котлованами, перемычками, эстакадами, бетонными заводами, экскаваторами, со всеми ее дорогами, кинотеатрами, школами, родильными домами, со всеми тридцатью тысячами ее рабочего люда — экскаваторщиками, бетонщиками, машинистами, бульдозеристами, диспетчерами, инженерами, — легко уместилась в одной строке контрольных цифр семилетнего плана: «Будет введена в строй крупнейшая в мире Братская ГЭС...»

Соотношение естественное: Братская ГЭС у нас не одна, у великой страны множество других равновеликих дел и забот, и с той вершины, где эти дела и заботы сходятся вместе, Братская ГЭС, верно, так и видится — одной короткой строкой в планах нашего будущего.

Но вот я приплыл на пароходе в Братск и первым делом спустился с крутой горы в котлован Братской ГЭС — и горизонт мой сразу сузился и ограничился. Насыпи высохших перемычек заслонили ангарские просторы, только слышно было, как глухо и тревожно шумит за ними река. Лишь вершины дальних сопok виднелись в туманной дымке за перемычками да высилась широкая отвесная стена Падунской скалы, прикрывающая котлован с берега.

Зато самый котлован оказался огромным. Он занял все видимое пространство, и в нем легко и свободно разместились десятки больших машин. Им совсем не тесно было работать и двигаться в котловане, они даже значительно отстояли одна от другой и методично и упорно делали свое дело: выгребали ковшами куски скалы с обнаженного и раздробленного дна Ангары, увозили камень из котлована, привозили и укладывали бетон на место изъятых камней, переносили по воздуху железные тяжести. Всюду, куда ни посмотришь, была Братская ГЭС. Перемычки и эстакады — Братской ГЭС, строители — бетонщики, машинисты кранов, бульдозеристы — Братской ГЭС, экскаваторы, самосвалы, краны, бетоновозы — Братской ГЭС. Непосвященному человеку с одного взгляда трудно было разобраться в назначении и целях действия этих машин, одно можно было сказать с определенностью, без боязни ошибиться, — машины строили Братскую ГЭС.

— Как раз над нами, на высоте ста двадцати семи метров, проходит гребень плотины.

Я невольно посмотрел вверх, хотя знал, что увижу там только небо, глубокое, бездонное, бирюзовое ангарское небо. Я перевел глаза на своего спутника, молодого инженера Губайдуллина. Тот все еще смотрел

вверх, и рука его была поднята и чертила в воздухе широкий полукруг. А в глазах Губайдуллина было нечто такое, что тотчас погасило мою невольную улыбку: я уже ни капли не сомневался, что Губайдуллин видит в ясном ангарском небе то, о чем говорит и чего не вижу я.

— Пойдемте на низовую перемычку. Оттуда лучше будет видно всю плотину.

Мы долго пробирались мимо серых кубических громад бетона, которые то тут, то там прорастали из дна Ангары, мимо стальных опор высокой эстакады, пересекающей котлован из края в край, мимо работающих машин и неподвижных каменных глыб. Одно уже ощущение того, что мы как ни в чем не бывало шли по дну Ангары, было само по себе необычным, но к этому быстро привыкаешь, особенно если ты живешь в стране, где каждый год рождаются новые искусственные моря, где как грибы растут новые города и заводы и как в сказке ложатся по земле дороги...

И вдруг я увидел крутые железные бока баржи, которая косо сидела на камнях ангарского дна, и это ощущение необычности, потушенное привычкой, оживилось во мне. Баржа, видно, стояла здесь давно: бока ее почернели, покрылись пятнами ржавчины. Как она попала сюда? Люди привезли ее или баржа утонула? Я остановился и окликнул своего спутника. Губайдуллин подошел ко мне и похлопал по барже ладонью.

— О, это целая история,— ответил он,— как-нибудь я расскажу ее при случае. А сейчас будем последовательными. Идем на низовую перемычку.

Мы пошли дальше, но скоро Губайдуллин сам остановил меня у самосвала, который вываливал бетон в большую коническую бадью.

— Это бадья камского типа,— сказал Губайдуллин.— Пока мы пользуемся ими. Но скоро у нас появятся свои бадьи, ангарские. Об этом я тоже расскажу вам, когда придет срок.

Я обратил внимание, что шоферу пришлось долго трясти и качать кузов, стучать по нему ломом, скрести его лопатой, пока остатки бетона не вывалились из кузова в бадью.

Спартак Губайдуллин тяжело вздохнул.

— Вот вам и механизация. Никто об этом не думает всерьез, а ведь нет ничего проще — сделать на кузове зажим и прикреплять к нему переносный вибратор. Кузов очистится за пять секунд.— Спартак Губайдуллин даже покраснел от стыда: молодой инженер чувствовал себя ответственным за любой беспорядок, который мог случиться на стройке. Он быстро и молча пошел прочь от машины.

С низовой перемычки в самом деле лучше было видно весь котлован и становилось яснее, что к чему. Мы стояли как раз посредине реки, и свежий ветер с верховья обдувал наши лица. Сверкая пенистыми бурунами, Ангара с рокотом катилась неподалеку от нас в узком проходе, который до поры до времени оставили ей строители. Справа и слева высились отвесные Падунские скалы, а за верховой перемычкой раскрывался сам знаменитый Падунский порог; отсюда было отчетливо видно, как вода уступами ниспадала и кипела на плитах порога, даже на глаз были видны его ступени, и падающая пенистая вода только подчеркивала их отчетливость: на протяжении одного километра Ангара падала в этом месте на тринадцать метров.

— Вот тут и проходит она от левого берега до правого, от скалы до скалы и даже чуть выше ее.— Губайдуллин прочерчивал рукой небо, «показывая» мне плотину.— Видите расщелину на правом берегу? Это врезка, своеобразный паз в скале — его сделали путем взрыва. Видите серую кучу камней? Это тысячи кубометров скалы сползли после взрыва в котлован. А в скале образовалась врезка. В нее, как в паз, войдет бетонный зуб плотины, и берег и плотина соединятся в единый монолит. На левом берегу будет сделана такая же врезка.

— Нет, нет, еще выше!— быстро сказал Губайдуллин, видя, что я смотрю на скалу.— Гребень плотины пройдет значительно выше. Проектировщикам пришлось подправить природу и надстроить Падун примерно на тридцать пять метров. По верху плотины проходит железнодорожный путь и автодорога. Задняя, невидная отсюда, грань плотины — отвесная: в нее упирается Братское море, и волны его плещутся о бетон. В нашу сторону опускаются под углом водосливная часть плотины и быки. Сама станция — этакий четырехсотметровый низкий прямоугольник — находится вон там. Она начинается от левого берега и доходит вон до того столбика: четыре ее секции из двадцати заходят в котлован. Но в общей громаде плотины станция почти незаметна — просто небольшая пристроечка внизу с машинным залом для турбин. Красивая у нас плотина, не правда ли? — Губайдуллин так доверчиво посмотрел на меня, что я не посмел не согласиться с ним.

Мы познакомились с Губайдуллиным всего несколько часов назад. Строительные объекты Братской ГЭС раскиданы на огромной территории во много десятков квадратных километров; я опасался, что не сумею сам разобраться в их последовательности и значении, и обратился с просьбой о провожатом к главному инженеру строительства А. М. Гиндину. Мы плыли на пароме, который перевозит строителей с берега на берег. Главный инженер направился к группе строителей, стоявших у борта; там завязался какой-то быстрый, напряженный разговор, а ко мне подошел невысокий молодой человек в очках. На лацкане его пиджака был приколот синий ромбический значок с маркой «МЭИ» — Московского энергетического института. В левой руке молодой человек держал рулон чертежей.

— Спартак Усманович Губайдуллин, инженер техотдела, — представился он и тут же прибавил: — Зовите меня просто Спартаком. Арон Маркович просил меня показать вам стройку. С чего мы начнем?

Я сказал, что совершенно не представляю, с чего надо начинать. Молодой человек заговорил о стройке, и во всем существе его тотчас обозначилось воодушевление. Все на этой стройке было грандиозно, масштабно, необыкновенно. И это просто замечательно, что он, молодой инженер, сразу же попал на такую стройку и что теперь рядом с ним есть человек, которому можно рассказать, какая это необыкновенная стройка.

Об Ангаре Спартак Губайдуллин не мог рассуждать равнодушно.

— Ангара — необычная река, — с жаром говорил он. — Вы просто не представляете себе, какая это необычная, редкая река.

Мне казалось, что я кое-что знаю об Ангаре и ее особенностях: что Ангара вытекает из самого глубокого озера в мире, что в ней быстрое течение и необыкновенно чистая вода, что зимой на ней бывает знаменитая ангарская шуга и так далее. Я уже приготовился вежливо выслушать прописные истины об Ангаре, но Губайдуллин вдруг подошел к ней с совершенно неожиданной стороны. Молодой инженер рассуждал об Ангаре как гидростроитель.

Мы по-прежнему стояли на низовой перемычке и смотрели на Ангару. Губайдуллин говорил:

— Пожалуй, не найдется второй такой реки на нашей планете, которая имела бы столь идеальные условия для строительства гидроэлектростанций. Возьмем показатель неравномерности водного режима рек: отношение максимального расхода реки — паводок — к минимальному — межень, отношение паводка к межени. Ока в районе Калуги дает нам огромную разницу в этом отношении — триста шестьдесят три раза, Днепр у Днепрогэса — двести двадцать пять раз, Дон у Калача — сто девяносто пять, Кама у Перми — сто шестнадцать, Волга у Горького — восемьдесят один раз. Вы представляете, какая это огромная разница? Даже Енисей у Красноярска имеет колебания режима — шестьдесят шесть раз. А наша Ангара — сколько по-вашему?

— Ну, если вы спрашиваете с таким видом, раз двадцать, не больше.

— Всего шесть раз,— с торжеством сказал Губайдуллин.— А равномерность водного режима означает прежде всего равномерность работы станции, а это в свою очередь имеет прямое отношение к количеству вырабатываемой электроэнергии. Теперь вы представляете, какая редкая река Ангара?

Это действительно было интересно, и я записал все цифры, о которых говорил Губайдуллин.

— Миллионы лет назад,— продолжал свой рассказ молодой инженер,— Ангара текла на сто метров выше. Падунская скала лежала на ее пути, и Ангара текла поверх нее, низвергалась вниз гигантским стометровым водопадом и пилила, пилила себе проход в твердейших сибирских траппах, упрямо точила камень, слизывала его по одному сантиметру в столетие и вот — проложила-таки себе современное русло, и скалы отвесно встали в Падунском проходе: сама природа миллионы лет готовила эту идеальную площадку для станции. Нам надо только поставить плотину, и она снова закроет путь реке, снова поднимет ее на сто метров, и Ангара опять станет низвергаться бушующим водопадом, как миллионы лет назад, но уже на пользу Сибири. Наш искусственный водопад будет даже выше. Вон там начинается он, от гребня плотины. Видите?

Я кивнул Спартаку, не желая огорчать его. Наверное, надо быть поэтом или гидростроителем, чтобы увидеть плотину, которой еще не существует.

Я все еще никак не мог представить себе одну строку из семилетнего плана, не мог забраться на такую вершину, чтобы охватить Братскую ГЭС одним взглядом.

## 5. Перекрытие

Мы стоим на самом краю отвесной скалы. Спартак ни за что не пустил меня сюда раньше. «Сначала надо посмотреть стройку снизу, со дна Ангары,— говорил он.— А потом, после котлована, можете смотреть сколько влезет».

Отсюда, со стометровой отвесной скалы, раскрывается широкий вид на Ангару. Река течет по долине спокойно и широко, расходясь притоками, образуя множество островов — их причудливые зеленые пятна раскиданы по всей пойме. Но вот сопки ближе подступают к реке, протоки собираются вместе — Ангара выходит к Падуну. Кипя на плитах порога, выбрасывая белоснежные буруны, она сплетается в один мощный поток и входит в Падунское сужение.

Тут-то и начинается рассказ о котловане. Со скалы он как на ладони. До него по прямой не более пятисот метров, но, чтобы попасть из него на эту скалу, нам пришлось выбраться из котлована, сесть в автобус, доехать до пристани, переправиться через Ангару на катере, снова сесть в машину и проехать километров десять по крутой, петляющей по падям дороге, ведущей от реки на скалу. Словом, добирались мы сюда часа два — и теперь вознаграждены прекрасным видом.

Огромный котлован, который занимал все видимое пространство, когда я был внутри него, представляется сверху небольшим четким чертежом, развернутым на чистой глади реки. Он вырастает у подножия скалы на противоположном берегу, и валы двух перемычек разворачиваются и ложатся поперек реки, а третья, продольная, перемычка, как бы заканчивая главный контур чертежа, соединяет оба поперечных вала. Стена этой перемычки обшита брусом и напоминает причал речного порта, который вдруг вырос посреди Ангары.

Котлован отнял у реки две трети ее ширины, и Ангара, которой и до того было тесно в Падунском сужении, сжата теперь до двухсот семиде-



сяти метров, и воды ее, вскипая бурунами, вздуваясь тугими мускулистыми струями, мчатся между скалой и перемычкой.

Я смотрю на котлован, на крохотные машины, которые ворочаются в нем, на обнаженное дно Ангары и не могу даже представить себе, как возник и образовался котлован в мощной стремнине Ангары. Ведь всего два года назад, осенью 1956 года, я вот так же стоял на этой же скале и никакого котлована в помине не было. Ангара стремительно катила свои воды по Падунскому сужению, и уже тогда казалось, что ей тесно меж этих скал и никакого вмешательства человека в жизнь реки здесь невозможно. И вот поди же: огромный котлован возник на самой быстрине и занял две трети русла.

Как же он возник?

Спартак Губайдуллин только и ждал этого вопроса.

— Впервые в истории гидротехники,— начал он,— была совершена отсыпка банкета перемычек в зимних условиях, со льда реки. Следует отметить, что эта дерзость даже не планировалась вначале. Предполагалось вести отсыпку перемычек котлована обычными, проверенными способами, с наплавного моста. Я уже говорил вам о водном режиме Ангары, но у нее есть и другие особенности. Ангара имеет весьма своеобразный ледовый режим.

Как известно, реки замерзают с севера к югу, по мере продвижения зимы. У европейских рек этот процесс совершается естественно и безболезненно: река замерзает с верховья. А Лена, Енисей, Ангара начинают замерзать с низовий. На реках появляются ледяные зажоры, начинается торошение, поднимаются горизонты воды — своеобразный зимний паводок. Ища выхода, вода ломает лед, поднимается на шесть-семь метров. Замерзание рек затягивается. Кроме того, на многочисленных ангарских порогах происходит переохлаждение воды, начинает идти шуга, которая образуется в течение всей зимы. Словом, бурный ледостав. Исходя из всего этого, проектировщики и предлагали начать строительство перемычек для котлована после весеннего ледохода — летом 1957 года. Но это означало, что окончание работ по строительству котлована уйдет в зиму. И тогда родилось предположение — начать сооружение перемычек на полгода раньше, зимой, со льда. Вместо наплавного моста в нашем распоряжении будет мощный ангарский лед, к осени мы вполне успеем закончить весь котлован и так далее — выгод сулилось великое множество. Сейчас даже трудно установить, кто первый сказал «а» — словом, так решил коллектив: будем перекрывать Ангару зимой.

Тут же возникли сотни технических сложностей, никто ничего не знал — ни из опыта других, ни из литературы. Ничего подобного до сих пор не встречалось в практике гидростроительства. Во-первых, как резать лед толщиной в два метра — надо было вырезать около пяти погонных километров льда. Во-вторых, как удалять глыбы льда из майн — срок тысяч тонн льда. В-третьих, как обкалывать лед на ряжах, которые предполагалось опускать на дно реки. В-четвертых, как бороться с ангарской шугой. В-пятых...

— В-пятых, вы замечательный лектор,— перебил я Спартак.

Он посмотрел на меня, ничуть не удивившись, нисколько не радуясь комплименту.

— Я работаю лектором в обществе по распространению знаний,— спокойно ответил Спартак,— и я привык к тому, чтобы мои слушатели не перебивали меня. Тем более, что у нас сегодня сравнительно немногочисленная аудитория. Вопросы будете задавать после.

— В письменном виде?

— Путем поднятия руки. Впрочем, я постараюсь изложить все так, чтобы не осталось никаких неясностей.

Итак, началась, как говорится, одна из самых героических страниц в истории нашей стройки. Возможно, будущее напишет другие страницы в

летописи Братской ГЭС, более яркие, но все равно они не затмят и этой. Работы по сооружению котлована продолжались несколько месяцев, и в кратком обзоре невозможно рассказать обо всем их многообразии. Остановлюсь на технической стороне дела, которая тем не менее представляет широкий интерес. В конце декабря тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, когда лед достаточно окреп, на Ангару вышли семь бульдозеров. Они очистили лед реки от снега и торосов, проложили дороги. На льду поставили столбы электролиний, вышки для бурения лунок, построили бараки, обогревательные пункты. Ледяная поверхность Ангары стала огромной строительной площадкой. Теперь можно было начинать сооружение продольной перемычки. Предстояло опустить на дно Ангары сорок срубленных из брусьев ряжей, опустить и засыпать их тяжелой гравийной массой, чтобы ряжи прочно встали на дне реки.

Рубленный ряж — это довольно громоздкое сооружение размером примерно десять на двадцать метров и высотой до девяти метров. Вес ряжа доходит до ста тонн. Рубили их тут же, на льду, вблизи от майны, чтобы недалеко было тащить в воду. Сначала ряжи рубили в виде опыта, хотели посмотреть, как пойдет дело. Но в январе прошла первая партийная конференция Братской ГЭС, и был взят твердый курс: перекрывать реку до ледохода.

Сложности вставали на каждом шагу. Судите сами — за весь январь с огромным трудом удалось опустить на дно Ангары всего один ряж. В феврале опустили уже тринадцать, а в марте — остальные двадцать шесть.

На льду в это время работало до тысячи человек — плотники рубили ряжи, взрывники измельчали лед в майнах, экскаваторщики вычерпывали его ковшами из воды и отбрасывали в сторону, бульдозеристы отгребали лед еще дальше, чтобы он не мешал строителям. Работа кипела. Строительная площадка являла собой великолепное зрелище скопления машин и людей. Ряжи стояли на льду в длинном ряду, вертикальные брусья торчали, как частокол, и стены брусев росли не по дням, а по часам. Вдоль майны всюду краны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы — десятки разных машин. Все гудит, грохочет, взрывается, двигается. Десятки машин подвозят брусья, гравий для засыпки ряжей. Тракторы стаскивают готовые ряжи в проруби. Лед реки изломан, искорежен, засыпан стружкой, опилками. Из прорубей поднимается пар, и ветер гонит его по льду. Один ряж уже в воде, в него засыпают гравий, и он постепенно погружается на дно; другой готовят к спуску: зацепляют тросами, тянут трактором, сзади еще один трактор — на страховке, чтобы ряж не опрокинулся.

И вот продольная перемычка встала на дно Ангары, но это был только первый этап, далеко не самый трудный. Ведь перемычка стояла вдоль течения, она ничего не возмутила в Ангаре, не нарушила ее естественного хода. Просто в середине реки вырос очень узкий длинный остров. Оголовье перемычки сделано в виде носа парохода. Вода бурлит, набегая на него, и спокойно обтекает перемычку.

Теперь-то и начинается самое трудное: надо соединить продольную перемычку с берегом и для этого насыпать каменный банкет поперек реки. Поперечная перемычка вызовет резкое нарушение режима Ангары — будет оставлена только треть русла. Тесновато для такой реки, что и говорить!

Снова возникают десятки сложнейших проблем. Расскажу для примера об одной. Гидравлические расчеты показали, что при закрытии протоки произойдет значительный подъем воды в верхнем бьефе — до ста двадцати пяти сантиметров. Поднимется и лед реки. Значит, ледяной покров нарушится, разорвется на отдельные льдины, майна во льду может закрыться, дороги на льду сломаются. Тогда было решено отрезать лед от берега на всю длину подпора: чтобы он поднимался, не раз-

рушаясь. Смело? Да, это смело. Кроме того, чтобы еще больше укрепить этот лед, на нем сделали широкий настил из брусчатки.

Несколько дней шла предварительная отсыпка каменной постели для банкета, отработка движения машин на льду, а затем, тридцатого марта, в восемь часов утра, на лед вышли двести двадцать два самосвала — начался решающий штурм: закрытие последнего прорана. Реку можно было перекрыть только молниеносным ударом: по мере отсыпки камня скорость течения воды возрастает, река уносит камень, и, следовательно, его должно поступать все больше и больше — прямая пропорциональная зависимость между скоростью воды и поступлением камня.

Сотни машин работали на льду, многотонные глыбы диабаз рушились в воду, ледяные фонтаны вставали над Ангарой. Ледяной мост трещал и колебался под тяжестью машин.

Ангара сопротивлялась. Скорость течения поднялась, и быстрая вода начала слизывать снизу лед под настилом. Толщина двухметрового льда дошла до метра. Еще несколько часов такого размыва, и лед не выдержал бы тяжести машин, но уже к вечеру тридцатого марта полезли из воды каменные глыбы — и Ангара отступила, пошла по левой протоке.

Теперь надо было укреплять и наращивать перемычки и ждать ледохода. Впрочем, я оговорился. Не ждать, а готовиться к нему, предотвратить возможную беду — мощному ангарскому льду ничего не стоило смести все наши пока еще непрочные перемычки. А шел уже апрель. Было решено устроить своеобразный искусственный ледоход. На стройку вызвали вертолет. Грузенный ящиками с взрывчаткой, он летал над Ангарой, опускался на небольшую высоту, сбрасывал на лед ящики с зажженными бикфордовыми шнурами и быстро поднимался вверх, а внизу ухал взрыв.

Так был расчищен ото льда фарватер реки на несколько километров вниз и вверх от перемычек. Ледоход прошел сравнительно спокойно: большие льдины ломались и дробились на камнях Падунского порога, и все наши страхи ограничились тем, что одна льдина напоздла на перемычку и на три часа закрыла дорогу, пока ее, льдину, не раздробили.

После ледохода начали насыпать с берега нижнюю перемычку, чтобы замкнуть котлован третьей линией. Перед тем как нижняя перемычка сомкнулась с продольной, катер втащил в котлован две баржи. Теперь котлован представлял собой тихое квадратное озеро, отделенное от реки перемычками. На баржах, плавающих в этом озере, были смонтированы мощные насосные установки, и в сентябре тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года началась откачка воды из котлована. Баржи качали воду день и ночь и в конце концов сели на дно Ангары.

Таким образом, сооружение котлована было закончено на полгода раньше, и, кроме всего прочего, отсыпка перемычки со льда дала нам свыше восьми миллионов рублей экономии. Вот, кажется, и все. Есть вопросы?

— Благодарю вас. Все предельно ясно. Разве что спросить про «кроме». Что вы имели в виду, когда говорили, «кроме всего прочего»?

— Разве вы не знаете о том, что Братскую ГЭС собирались консервировать?

— Кое-что слышал. Но при чем здесь котлован?

Спартак снисходительно улыбнулся моему незнанию.

— Котлован — наш главный козырь. Козырной туз. Сейчас-то мы прочно стоим в семилетнем плане, и никаких сомнений быть не может. А тогда, в начале пятьдесят седьмого года, делались еще только первые наброски по семилетке и еще неясно было, что делать с Братской ГЭС — включать или не включать, быть или не быть. А весной уже красовался наш котлован на Ангаре. Стройка вступила в такое состояние, что останавливать ее просто было невозможно. Не разбирать же котлован!..

Я снова смотрю на котлован, смотрю совсем другими глазами. Теперь мне понятно, почему внешняя часть продольной переемычки с ее ровной брусчатой стеной напоминает причал порта — это опущенные в воду ряжи соединились в четкую линию: они держат напор реки, защищают котлован от ледохода. Я вижу и баржи, они кажутся отсюда совсем крохотными, — и теперь мне понятно, как и почему оказались они в котловане.

— Действительно козырной туз, — говорю я Губайдуллину.

Он живо откликается на мои слова:

— Теперь котлован сыграл свою роль и уже, увы, перестал быть тузом. Ведь сам котлован и все, что в нем пока сделано, — почти ничто в сравнении с тем, что нам предстоит сделать. Теперь плотина и станция — вот наши тузы.

— Вон там проходит она, — я наобум ткнул рукой в небо, — как раз над нашими головами. Видите?

Спартак рассмеялся.

— Я-то вижу. А вам, видно, предстоит выслушать еще одну лекцию: «Как будет строиться Братская ГЭС».

— Готов хоть сейчас...

## 6. Идея и тайга

Изменилась не только Ангара с выросшим в ее русле котлованом. Всюду на Братской ГЭС разительные перемены.

В 1956 году я застал еще тот период строительства, о котором строители говорили не без гордости: «Идея и тайга — вот все, что у нас есть». Тайги вокруг было более чем достаточно. А идея, кроме своего государственного значения, имела техническое воплощение, сконцентрированное в толстых томах проекта гидростанции. Тайга противоречила идее, вступала с ней в единоборство. Из тайги налетали на строителей тучи мошкары, наплывали едкие туманы таежных пожарищ. Тайга отгораживала строителей от внешнего мира. Тайга защищала Ангару. Прежде чем начинать борьбу с рекой, надо было покорить тайгу. На тайгу двинулась мощная техника — трелевочные тракторы, бульдозеры, скреперы, — и первые просеки для дорог вскоре пролегли в непроходимой чащобе. По улицам первых строительных поселков с утра до ночи мотался грузовик, в кузове которого стояло странное сооружение — нечто похожее на большой самовар. Из толстой самоварной трубы валил плотный молочный дым, он медленно оседал на землю, обволакивал дома, палатки.

Мальчишки бежали за грузовиком и весело кричали:

— Мошкодавы поехали!

Главный инженер строительства Братской ГЭС А. М. Гиндин, занятый сложнейшими техническими вопросами, чуть ли не ежедневно вынужден был собирать совещания по мошке.

— Начался массовый вылет мошки, — докладывали строители с обоих берегов.

— Производительность труда в закрытых помещениях упала на тридцать—сорок процентов, — сообщали прорабы.

— Работы на открытом воздухе приостановились. Рабочие спрашивают, кто будет оплачивать простои.

— Дайте восемь тракторов для опрыскивателей.

— Немедленно пришлите сетки.

Главный инженер строительства тут же, на совещании, пишет телеграмму в отделение Аэрофлота: «Связи появлением большого количества мошки работы на Братскгэсстрое приостановились. Прошу вас немедленно прислать самолет-опрыскиватель».

Молодой экскаваторщик приходит на свидание с девушкой и в знак особой признательности дарит ей свой накомарник. Секретарь горкома

приехал в женское общежитие и принимает на себя весь удар женских бригад: «В магазин привезли капроновые чулки и губную помаду. А где крем против мошки?»

У главного инженера собирается новое совещание. Принимаются срочные меры. Тракторы тянут еще более огромный дымящийся самовар по улицам поселков, по строительным площадкам. Юркий «кукурузник» снует над Ангарой и бомбит химическими бомбами места, где выплаживается мошка. Из Москвы летит специальный грузовой самолет, имея на борту пять тысяч противомоскитных сеток Павловского.

Работы на берегах Ангары возобновляются. Рушится стена леса, прорубаются просеки, встают стены производственных цехов.

Так начинала воплощаться идея.

— С чего же начинать? — рассказывал один из руководителей стройки. — Куда ни ткнешься, всюду заколдованный круг. Нам нужен лес — строить дома, цехи. С огромными трудностями смонтировали пилорамы. Собираемся пускать лесозавод. Приезжает пожарный инспектор — для пуска необходима его виза. А он ее не дает: «К заводу не подведена дорога. Пуск запрещаю. Вы сгорите, а я потом отвечай за вас».

Ну что тут делать? Чтобы проложить дорогу, нужны люди. А людям необходимо жилье. А чтобы построить жилье, нужен лесозавод. Выходит, все начинается с пожарника.

Тем не менее идея развивается, а тайга отступает. Действия строителей становятся все более логичными, целеустремленными. Об этой последовательности просто и образно говорил тогда, в 1956 году, главный инженер строительства Арон Маркович Гиндин.

— Гидроэнергия — это энергия падающей воды. Однако до поры до времени она расплылена в течении реки. Река тратит свою энергию вхолостую: точит и размывает берега, катит по дну огромные массы гальки, намывает острова. И вот мы ставим плотину, поднимаем воду, создаем водохранилище, и оно-то и аккумулирует в себе энергию реки. Было бы правильнее называть его не водохранилищем, а энергохранилищем. Задача строителей и сводится к тому, чтобы сконцентрировать эту колоссальную энергию реки в хранилище и потом обрушить ее на турбины и превратить собранную в кулак энергию воды в энергию движущихся электронов. По этому же принципу концентрированного удара действуем и мы, строители. Сначала цепляемся за тайгу, строим жилье, дороги, потом создаем малую производственную базу — лесозаводы, гаражи, мастерские. Эта малая база нужна нам для создания большой базы — база для базы. Наши усилия кажутся пока еще разрозненными, несоединенными. Реку, то есть главное, мы пока не трогаем. Проходит год, другой — и вот вырастает наша большая база, и тогда мы получаем возможность сконцентрировать все свои усилия и обрушить их на котлован.

Теперь, спустя два года, я вижу наяву то, о чем говорил главный инженер Гиндин. Конечно же, невозможно было бы проделать такие сложные работы по сооружению котлована, о которых рассказывал Спартак Губайдуллин, если бы у строителей не было крепкого тыла, мощной производственной базы.

Взять хотя бы такой вопрос, как дороги. На Братской ГЭС построено свыше двухсот километров первоклассных дорог — соединены все объекты, поселки, вдоль Ангары у подножия отвесных Падунских скал насыпаны бечевники, ведущие в котлован, — в любую точку строительства можно попасть легко и быстро. А вот незадолго перед отъездом в Братск я был на Иркутской ГЭС и не смог узнать дороги, ведущей к ней от Иркутска. Я ехал по широкому асфальтированному шоссе, не узнавая дороги, и вспоминал, как бились тут на ухабах машины, как садились они в грязь осенью и весной и поднимали пыль летом и пассажиры тряслись в автобусах. Почему же строители Иркутской ГЭС не построили хоро-

шего шоссе раньше, в 1951 году, когда начиналась стройка? «Не было ассигнований на дорогу,— ответили мне на стройке,— а теперь дали, и мы построили».

А строительство тем временем уже закончено, и редкая машина пробежит теперь по шоссе, а сотни машин поломали свои бока на ухабах за годы стройки.

Кажется, прошло не много лет, но ныне у строителей другой стиль работы, и они начинают с дорог, потому что дороги — это тоже подсобная база.

Я недаром веду столь долгие разговоры о подсобной базе. Она вполне заслуживает того. Стоимость подсобного хозяйства Братской ГЭС составляет свыше двух миллиардов рублей — на такие деньги можно выстроить город на сто тысяч жителей.

Гигантские бетонные заводы, каких еще не было в стране (их краснотоловые башни высятся на обоих берегах Ангары), мощные дробильные, гравийные заводы (они работают на полный ход, и грохот их разносится далеко окрест), лесокombинаты, механические заводы, гаражи — вот что такое подсобная база Братской ГЭС, и мы еще не раз вернемся к ней, пока будет продолжаться наш рассказ.

Недаром строители говорят: «Теперь у нас есть идея и подсобная база».

А тайга? Что ж, тайга отступила, ушла, спряталась за холмами и падами. Даже считавшаяся непобедимой мошка уничтожена и не досаждала больше строителям.

Неузнаваемо изменился и город, в котором живут строители. Город, построенный их руками, город, построенный для них.

Новый Братск начинался с так называемого романтического периода палаточных городков. Палатки прорастали на берегах Ангары повсюду. Они стояли длинными однообразными рядами, располагались вразброд по склонам холмов. «Зеленый городок» — так называлось это скопище палаток. Брезент их давным-давно выщвел, стал грязно-бурым, и эпитет «зеленый» звучал по меньшей мере нелепо.

Может быть, это кажется и романтическим, но людям, которые по два года жили (и зимовали!) в палатках, было не до романтики. В палатках жили тесно, скученно. Летом в палатке душно, зимой ее легко продувает леденящий ветер.

Судя по многим признакам, «романтическая» эпоха палаточных городков подходит к концу на наших стройках. Честь и слава людям, которые жили и зимовали в палатках, но, думается, в годы великой семилетки мы можем обходиться без такого вынужденного героизма и начинать наши стройки с более благоустроенных жилищ.

Среди строителей ходит поговорка, что нет более долговечных сооружений, чем временные бараки или палатки. На Братской ГЭС с палатками расправились решительно и беспощадно. Сняли брезент палаток, и по «зеленому городку» проехали бульдозеры, разравнивая площадки и выгребая кучи мусора и грязи. На месте «зеленого городка» образовалась спортивная площадка, действительно зеленая и живописная.

Новый Братск вырос на высокой горе, и улицы его светлы и прямы, а одна из них называется даже не улицей, а набережной, хотя река находится далеко внизу, а Братское море поднимется к набережной только через несколько лет, — но ведь именно так и будет.

Новый Братск тоже начинался с идеи, но теперь эта идея воплощена в сотнях домов, в десятках школ, магазинов, в кинотеатрах и яслях, стадионах и больницах. Интересно ознакомиться со статистикой молодого города. Возьмем тот ее раздел, который расскажет нам о людях. В городе живет уже пятьдесят тысяч человек. За девять месяцев 1958 года в Братске родился 1041 человек, умерло почти в десять раз меньше.

Зарегистрировано браков — 534, разводов — 25. Ежедневно в Братске рождается четыре человека.

Любопытно проследить, как меняются нужды и запросы молодого города. Три года назад речь шла о предметах первой необходимости: где провести ночь приедем, где купить гвозди? Братску нужны были накомарники и брезентовые койки-раскладушки, ведра для питьевой воды и топоры. Теперь горисполком хлопочет об аппаратуре для показа широкоэкранных фильмов, добивается, чтобы скорее присылали пассажирские автобусы: из восемнадцати обещанных для Братска автобусов пришло только четыре. В мебельном магазине очередь за книжными шкафами и диванами; раскладушки кучей лежат в углу, и никто не берет их.

Своеобразной иллюстрацией к этим фактам может послужить один разговор, при котором мне довелось присутствовать. Разговор происходит в городском комитете партии. Ведут его первый секретарь горкома Сергей Иванович Георгиевский и депутат Верховного Совета Михаил Михайлович Одинцов.

— Получил ваше письмо относительно врачей,— говорит М. М. Одинцов.— К сожалению, ничего не удалось сделать. Был даже такой вопиющий случай. Ко мне на прием пришла женщина, молодой врач, и просила, чтобы я помог ей получить назначение на Братскую ГЭС, потому что она хочет работать именно там. Я писал письма, звонил, ходил в облздрав — все напрасно: ее послали в Черемхово, к угольщикам.

— Облздрав перевел нас на самообслуживание,— смеется Георгиевский.

— А вы знаете, Сергей Иванович, они меня едва не убедили...

— Разумеется, государственные интересы... Не беда, Братская ГЭС проживет и без облздрава. За последние месяцы к нам приехали тринадцать врачей — и только один по путевке облздрава, а двенадцать приехали сами, с мужьями или просто так. Но вот зубной врач нам нужен до зарезу. Или нам придется всех новых инженеров и рабочих принимать на стройку по принципу — если у него жена зубной врач.

— Хорошо. Зубного врача я вам обещаю. Я у них зубного врача вырву...

Группа женщин приходит на прием к своему депутату М. М. Одинцову; женщины просят достать машину, чтобы возить детей из поселка геологов в школу. Газета строителей «Огни Ангары» печатает заметку — необходимо установить второй, вечерний, рейс на авиалинии Братск—Иркутск.

В той же газете я натолкнулся на серию интересных статей «Прошлое, настоящее и будущее Братска». И я уже не удивился, прочитав подпись — С. Губайдуллин.

Вместе с группой своих однокурсников по Московскому энергетическому институту Спартак Губайдуллин приехал на стройку более четырех лет назад, морозным февральским днем 1955 года, когда стройка только-только начиналась. Молодой инженер не без основания считает себя старожилом Братска: город рождался и рос на его глазах, при его непосредственном участии.

Спартак работает в техническом отделе строительства, но года два назад у него появилась еще одна должность, по совместительству. Он увлекся историей Братска. Раскопал интереснейшие летописные материалы, документы по истории заселения Сибири, архивы ссыльных революционеров. И будущее и прошлое занимали его ум с одинаковой силой. Как-то вечером мы сидели в номере гостиницы, и Спартак рассказывал о сибирских землепроходцах: о Максиме Перфильеве, заложившем Братский острог, о казаке Пенде, который первым прошел на лодках через всю Ангару, через все ее пороги.

— ...Они плыли на длинных весельных баркасах и на ночь втаскивали их на берег, а поутру снова садились на весла и пускались в путь. И тайга стояла нетронутой стеной по берегам, и плескалась в воде непуганая рыба, и красавцы лоси выходили к воде и смотрели на лодки. И тогда запевала начинал старинную русскую песню. Впрочем, я, кажется, оговорился из привычки к шаблону: всякому русскому, пустившемуся в дальнюю дорогу, положено петь старинную русскую песню. Какие же песни пел Пенда? Постоите, постоите, дайте сообразить. Я совсем забыл о песнях. Ведь землепроходцы не могли спеть песню даже о своем предводителе Ермаке Тимофеевиче — эту песню Рылеев написал спустя двести лет. А «Славное море, священный Байкал» написана и того позднее. Выходит, наши старинные русские песни не такие уж старинные? Интересно, очень интересно. Что же все-таки пел Пенда? Судя по сохранившимся документам, человек он был отважный и крепкий, занимался промыслами, строил мастерские. Он прошел по притокам Ангары, вышел на Лену, и там затерялись его следы...

Кстати, свою думу «Смерть Ермака» Рылеев посвятил соратнику по борьбе декабристу Муханову, а Муханов, представьте себе, был сослан как раз сюда, в Братск. И он привез рылеевскую думу из Петербурга, как-то вечером вышел из дому и долго шел по берегу у самого среза воды, а потом поднялся на высокий утес — Ангара была у его ног — и читал:

О, спите, спите,— мнил герой,—  
Друзья, под бурю ревушей;  
С рассветом глас раздастся мой,  
На славу иль на смерть зовущий!

В начале нынешнего века в Братск прибыли первые партии ссыльных революционеров, среди ссыльных было два замечательных человека — Василий Ефимович Евдокимов и Валентин Владимирович Рябиков. Валентин Владимирович — член партии с тысяча девятьсот третьего года, он и сейчас жив и здоров и живет в Москве. У него написаны интереснейшие воспоминания о Братске, нигде, к сожалению, не опубликованные. Он прислал мне один экземпляр, и я берегу его для нашего музея.

— Разве в Братске есть музей?

Вместо ответа Губайдуллин лишь тяжело вздохнул.

Спартак думал о прошлом ради будущего. Его исторические поиски имели одну цель — организовать в новом городе музей по истории края. Ведь когда-то в Старом Братске уже был музей, организованный ссыльным революционером В. В. Рябиковым. Однако в тридцатых годах музей сгорел, и с тех пор никто не делал попыток восстановить его. К сожалению, все усилия Спартака Губайдуллина до сих пор остаются безрезультатными — он пишет письма в Иркутск, в Москву, обращается в местные организации, но, оказывается, все дело в том, что для музея нужна специальная штатная единица (всего-навсего одна единица!), и никто в Иркутске и Братске не может отважиться на то, чтобы утвердить эту одну-единственную единицу без разрешения Москвы. Вот и тянется переписка, согласовывается и утрясается простейший вопрос, а время идет, и день за днем безвозвратно уходит в прошлое, и уже становятся героической историей события на Братской ГЭС — они забудутся, если никто не будет собирать и записывать их для истории.

А история Старого Братска — разве она не заслуживает быть в музее? Я рассказал только небольшие отрывки из этой истории, но у Спартака Губайдуллина и его товарищей, таких же энтузиастов, есть множество других материалов, не менее интересных, значительных. А разве не обидно будет, если при затоплении Старого Братска уйдет на дно



моря и древняя, почерневшая от времени башня острога, в которой томился в заточении протопоп Аввакум? Будут затоплены весьма своеобразные старинные сибирские избы, остатки уникальной церкви, построенной в Братске декабристом Мухановым. А разве не достойны быть в музее материалы по истории Николаевского железодельного завода? Принято считать, что в Сибири никогда не было своей металлургической базы, но это ошибочно. Неподалеку от Братска работал довольно большой по тем временам металлургический завод с двумя домнами, вагранками, прокатным станом. Завод выплавлял до двухсот тысяч пудов чугуна и железа в год, и изделия его были широко известны и расходились по всей Сибири. Николаевский завод не раз получал медали и дипломы на промышленных выставках, а в 1878 году даже получил серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже.

За годы семилетки в Сибири будет создана мощная металлургическая база, третья в стране, будут воздвигнуты заводы, производящие миллионы тонн металла, но от этого не становится менее интересной история Николаевского завода.

Творя будущее, мы не должны забывать о прошлом.

## 7. Поиски продолжаются

Михаил Михайлович Одинцов уходил в экспедицию. Депутатские дела в Братске были закончены, и грузовики уже приехали в поселок геологов. Сначала сто двадцать километров на север от Братска до села Усть-Вихорева, затем километров семьдесят на лошадях до реки Ковы и дальше вверх по Кове на лодках — таков маршрут экспедиции, которую поведет М. М. Одинцов.

А цель ее?

Обвешанные сумками, биноклями, фотоаппаратами, геологи сидят на поваленных бревнах, и профессор Одинцов дает последние указания начальникам партий, перед тем как они разойдутся по маршрутам.

— По нашим предположениям, они должны находиться как раз здесь, на юге платформы, в пределах Иркутской области или Красноярского края. Ради чего, спрашивается, мы так упорно ищем их, хотя нашли уже более чем достаточно? К сожалению, природа разбрасывает свои месторождения не всегда там, где это нужно людям, чтобы легко и быстро освоить их. Многие якутские трубки находятся буквально в недоступных местах. Придется истратить миллиарды для того, чтобы только добраться до них с современной техникой. Поэтому надо попробовать найти месторождения алмазов где-нибудь поближе. На Иркутской конференции мы выдвинули в качестве предполагаемого района поисков южную часть сибирской платформы: район Ангары и ее притоков. На секции геологов был большой спор по этому вопросу. Даже некоторые академики утверждали, что алмазов на юге сибирской платформы нет и не может быть. Разумеется, такого спора не решишь в кабинете. Спор решат натуральные образцы алмазов, и дело нашей чести — найти их. Как дела в третьей партии, доложите.

— План работ выполнен на сто три процента,— докладывает начальник партии.

— И премию, наверное, получили? — спрашивает Одинцов.

— Получили.

— И план перевыполнили и премию получили... Теперь остается только найти алмазы — совсем немного. Желая ни пуха ни пера.

Начальники партий расходятся к машинам.

— Какие же данные говорят здесь, на юге, в пользу алмазов? — спрашиваю я у Одинцова.

Он смотрит на меня лукаво и отвечает так:

Мы маршрутом идем не по тропам,  
По нехоженным раньше местам.

Мы идем по следам, по пиропам,—  
За верстой уходит верста...

Помните наш разговор на пароходе о стежке алмазной?

Я полюбопытствовал, кто написал эти стихи.

— Так, один наш геолог, который увлекается пиропами. Вот он и написал эту песню о пиропах...

Погрузка снаряжения заканчивалась. Раскладные байдарки, палатки, спальные мешки, приборы, аккумуляторы, мешки с продуктами, котелки, сумки, ружья — все постепенно находило свое место в кузове машины. Я наблюдал за геологами, снующими вокруг грузовиков, и думал о молодом коллекторе Игоре. Вот он отправляется в экспедицию, первую в его жизни. И вот так же двадцать семь лет назад уходил в тайгу молодой коллектор геологической партии Михаил Одинцов.

Неужели так же? Нет. Многое изменилось за эти годы и в работе геологов, хотя, кажется, речь идет о такой области деятельности человека, которая меньше всего поддается изменениям и усовершенствованиям. Современная техника, наука властно вторгаются в тайгу. Михаил Михайлович Одинцов рассказывал, как он шел в первую экспедицию к Рудной горе. Компас, молоток — вот и все тогдашнее снаряжение геолога. А теперь для молодого коллектора Игоря Тихонова летит над тайгой самолет, и тончайшие приборы его фиксируют все невидимые глазу подробности земной коры — растет и развивается геофизика. Теперь молодой коллектор тащит в грузовик батарею с аккумуляторами — вместе с геологами будет в тайге рентгеновская установка, и они просветят ею найденные породы, выскивая алмазы. Теперь молодой коллектор, как азбуку, знает такие методы и такие приемы поисков, о которых и понятия не было двадцать лет назад.

И здесь идет процесс роста, который мы привыкли называть ростом производительности труда. Рост геологической науки привел ее к великим открытиям века — открытию якутских алмазов, сибирских углей, железных руд. Сибирь уже удивила мир своими открытиями и еще не раз удивит в будущем. Мы еще услышим о сибирской нефти, о сибирском газе, о новых алмазных трубках, и имена новых открывателей узнает страна.

А пока молодой коллектор с гордостью тащит огромный, величиной с ведро, чайник, черный от копоти, — истинно таежный, истинно вечный походный инструмент.

Мы садимся в грузовик и едем: меня подвезут до Падуна. Там, на скале, я условился сегодня встретиться со Спартаком Губайдуллиным, чтобы послушать его рассказ о том, как будет строиться Братская ГЭС.

Быстрый ветер обдувает лица. Кто-то начинает песню «На диком берегу Иртыша...», мы подхватываем ее, и она летит впереди нас. У геологов счастливые, возбужденные лица, и я понимаю их состояние и завидую им.

Грузовик тяжело взбирается по крутому подъему и на минуту останавливается на вершине скалы. Я прыгаю наземь. Счастливого пути, удачных поисков!

Машина бежит по склону горы и вскоре исчезает за поворотом.

Спартак Губайдуллин уже ждал меня на условленном месте. Я хотел извиниться за опоздание, но Спартак остановил меня вопросом:

— Провожали Михаила Михайловича?

Я уже начинал привыкать к всезнающему Спартаку, но тем не менее никак не мог предполагать, что он знает Одинцова. Спартак спокойно пояснил:

— Прошедшей весной профессор Одинцов был у нас консультантом по основанию плотины. Это не лишено интереса, и я отниму у вас одну минуту. Проектировщики требовали, чтобы мы долбили скалу до тех пор, пока не доберемся до цельного массива, когда скала начнет звенеть. А в верхних слоях основания между плитами скалы имеется воздух, и скала глухо отзывается на удар — «бухтит», как говорят строители. Выбирали-выбирали мы скалу, а она все бухтит. Целый месяц по стройке только и ходил один вопрос: «Бухтит или не бухтит?» Проектировщикам мерещится — бухтит, строители утверждают — звенит. Тогда главный инженер Гиндин пригласил для консультации геологов. Профессор Одинцов побывал в котловане и дал заключение, что скала может бухтеть бесконечно и что можно ставить плотину — пусть себе бухтит. Огромная масса плотины придавит скалу, и она уже не забухтит. И мы начали класть бетон.

— Кроме того, — продолжал Спартак, — Михаил Михайлович Одинцов, как вы знаете, наш депутат. Первый депутат от Братского избирательного округа: ведь наш округ появился лишь в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году. Я был агитатором, и мы ходили в агитпоход на лыжах и прошли двести километров по приангарским селам. Замечательный был поход! Нас было пятеро и одна гитара. Перед входом в деревню мы надевали свитеры, на них были нашиты призывы: «Все на выборы!», «Голосуйте за Одинцова!» Встречали нас хорошо, мы читали в колхозах лекции — о Братской ГЭС, о спутниках Земли, — устраивали под нашу гитару концерт на два отделения и рассказывали колхозникам биографию Одинцова.

— А не расскажете ли вы и мне?

— Пожалуйста. Это не является тайной и было напечатано на плакатах, которые висели перед выборами. Михаил Михайлович Одинцов родился в тысяча девятьсот одиннадцатом году в семье учителя. Кончил Иркутский государственный университет по факультету геологии. Был последовательно коллектором, прорабом, начальником партии, ассистентом, старшим преподавателем, заведующим кафедрой геологии, директором Иркутского геологического института, где и работает в настоящее время. Профессор Одинцов написал сорок восемь научных работ, имеет звание доктора геологических наук. Независимо от ленинградского геолога Натальи Николаевны Сарсадских и одновременно с ней Михаил Михайлович Одинцов открыл спутников алмаза — пиропы — и теоретическим путем выделил для поисков район, где летом пятьдесят четвертого года Лариса Попугаева нашла первую кимберлитовую трубку. Товарища Одинцова недаром называют «отцом сибирских алмазов», и он является достойным избранником народа.

— Пойдите, Спартак, пойдите. Наверное, вы знаете и это. Два геолога, молодой и старый, шли по пиропам к одной и той же кимберлитовой трубке, но, когда старый добрался до нее, оказалось, что молодой уже побывал там на неделю раньше. Вы слышали эту историю?

— Разумеется. История широко известная. Изучая по отчетам следы пиропов, профессор Одинцов рассчитал место, где должна находиться алмазная трубка, и направился в тайгу, чтобы проверить свои расчеты. И точно на этом месте молодой геолог Шукин открыл трубку «Маршрутная». К сожалению, обстоятельства сложились так, что Одинцов задержался в дороге и опоздал на неделю. Но Михаил Михайлович сказал на предвыборном собрании перед избирателями, что он непременно найдет алмазы у нас, в Иркутской области. И, голосуя за Одинцова, мы, в частности, голосовали и за это. Такой человек найдет!

Забегая вперед, я должен рассказать о том, как закончилась послед-

няя экспедиция, которую провел по тайге профессор Одинцов. Уже зимой я получил письмо из Иркутска. М. М. Одинцов писал:

«Извините, что задержал с ответом. Вернувшись из маршрута, сразу же вылетел в Новосибирск на очередное общее собрание Сибирского отделения Академии — там мы заседали, как говорится, «без отрыва от стульев». Честное слово, ходить по тайге гораздо приятнее и — хотя эта мысль, быть может, еретична — полезнее для дела.

О короткой, но довольно красочной поездке на Кову. Результаты ее интересны, но не чрезвычайно. Мы поймали пиропы и шли по ним километров сто — пока не кончились продукты и не повалил снег. Он-то и замел алмазную тропу и заставил нас возвращаться обратно. Пойманный нами след мы проследим до конца в будущем году — как только он раскроется из-под снега.

Вообще-то здесь, на южном крае сибирской платформы, основные породы разломаны, взбудоражены, перемешаны со всякими наслоениями, как более поздними, так и более ранними. Здесь нет такой идеальной хрестоматийной картины, как в Якутии — в центре сибирской платформы, где пиропы как были вынесены из месторождения в периоды размыва, так и сохранились нетронутыми до нашего времени, — и шагай по ним прямо к цели. На Кове все перемешано, и следы то размываются, то уходят под наслоения других пород. Впрочем, это может означать одно — нам придется побольше поползать здесь...

Сейчас увязываем наши данные с геофизиками, анализируем образцы пород...»

Что ж. Выходит, алмазы на юге сибирской платформы пока не найдены. Пока... И мне хочется повторить слова Спартака Губайдуллина:

— Такой человек найдет!

## 8. Как будет строиться Братская ГЭС

Я смотрю со скалы вниз, на котлован, в котором распласталась вся стройка. Как же поднимется над рекой огромная 127-метровая плотина? Как поднимется она над Падуном, как соединит скалистые берега?

И снова разворачивается внизу четкий чертеж котлована, и Спартак Губайдуллин неторопливо и обстоятельно рассказывает:

— Объем нашей бетонной плотины — около шести миллионов кубометров бетона. Посмотрите на котлован. То, что вы видите внизу, — это котлован первой очереди. В нем возводятся секции плотины с водосливными отверстиями в них, идет монтаж двух эстакад — малой и большой. Как только секции плотины, эстакады, секционная перемычка поднимутся выше уровня реки, мы сможем затопить часть котлована первой очереди и пустить Ангару через водосливные отверстия в поднявшейся плотине. Я сказал «можем затопить» и тем самым оговорился. Не можем, а должны. И очень скоро — в мае пятьдесят девятого года. Это очень важный момент, своего рода кульминация всей стройки. Если мы опоздаем здесь хотя бы на месяц, то станция будет пущена на целый год позже. И вот почему. В мае мы затопим котлован первой очереди, перекроем оставшуюся часть Ангары и начнем возводить перемычки и откачивать воду из котлована второй очереди, который примкнет к правому берегу. Если мы успеем сделать все эти работы до ледостава пятьдесят девятого года — мы выскочили. Бетонные секции, эстакады — все будет выше уровня реки. Ангара будет идти под нами — она уже не будет мешать нам. А если не успеем до ледостава соорудить перемычки и откачать воду, то вода замерзнет и в котловане второй очереди образуется огромная глыба льда, которую не так-то просто выбрать, — у нас пропадет целый год. Но, надо думать, мы успеем сделать все, что намечено графиком.

Пока сооружается котлован второй очереди, работы будут идти в промежуточном котловане, образованном двумя перемычками: ряжевой — той самой, героической, — и секционной, которую мы сооружаем посуху. А после того, как мы откачаем воду из второго котлована, ряжевая перемычка нам больше не нужна. Она честно отслужила свой срок, и ее разберут. Так мы последовательно от левого берега к правому, в три этапа, отвоевываем у реки ее пространство, и Ангара оказывается уже под ногами строителей.

Теперь берега Ангары сомкнулись — сначала их одна за другой соединили поперечные перемычки, потом соединит малая эстакада и наконец большая. Очередь — за плотиной. С обеих эстакад идет укладка бетона, начинается невиданный разворот работы, плотина растет не по дням, а по часам. Скажем, в январе пятьдесят девятого года намечено уложить тридцать тысяч кубометров бетона, по тысяче кубов в сутки. А когда заработают обе эстакады, мы будем класть до сорока тысяч кубов в день. Темпы возрастут в сорок раз. Представляете?

— А где же будет малая эстакада?

— Как где? — Спартак удивленно посмотрел на меня сквозь очки. — Вон она, в котловане, монтируется полным ходом, скоро на ней проложат три железнодорожных нитки, и загудят, пойдут бетоновозы...

Эстакада представлялась сверху неширокой полосой железных конструкций, укрепленных на высоких мачтах. Зато из котлована она кажется огромной. Мачты вознесли ее на высоту многоэтажного дома, и она господствует над всем котлованом, пересекая его из конца в конец: ведь высота эстакады почти двадцать пять метров.

— Не почти двадцать пять, а всего двадцать пять, — хладнокровно поправил Спартак. — Поэтому она и называется малой. А большая эстакада будет иметь высоту девяносто метров! Она перекинется над Ангарой на высоте Падунских скал — этакий своеобразный двухъярусный мост через Ангару. Вон там будет проходить он, от того дерева, и сюда, на наш берег. — Спартак провел воображаемую линию в воздухе, и я внимательно следил за его рукой: мне показалось, что я что-то вижу там, куда указывает Спартак.

— В нижнем ярусе эстакады, — продолжал Спартак, — будет проходить двухпутка железной дороги Тайшет — Лена и шоссе для автомашин; впоследствии они будут вынесены на гребень плотины. На верхнем ярусе большой эстакады будет все, что нужно строителям, — четыре железнодорожные нитки для бетоновозов и специальные пути для уникальных бетоноукладочных кранов. Эти краны конструируют и делают сейчас по специальному заказу Братской ГЭС. Высота крана — метров сорок, и он имеет две горизонтальные стрелы с вылетом по пятьдесят метров каждая. Вы когда-нибудь видели такой кран? И при таком гигантском вылете стрелы кран сможет поднимать до двадцати двух тонн груза — вес бетонной бадьи емкостью в шесть кубометров: специальная бадя ангарского типа. Для нее-то и нужны эти краны, каких еще не знает современная техника. На Братской ГЭС эти краны будут применены впервые, а затем мы отправим их на Красноярскую станцию.

И вот представьте, что мы пошли смотреть стройку в январе шестьдесят первого года — в год пуска первых агрегатов. По нижнему ярусу большой эстакады мы доехали на рейсовом автобусе до середины Ангары, поднялись на верхний ярус и сели в кабину лифта, который поднимет нас еще выше, на вершину крана. И вот мы в просторной светлой кабине гигантского крана. День сегодня замечательный, солнечный. Мороз — двадцать пять градусов, но в кабине крана тепло, и машинист его одет по-летнему. Мы — на вершине стройки. Падунские скалы стелются под нами, и башни бетонных заводов торчат над лесом. По соседству виднеются другие такие же краны, работающие на эстакаде, и их стометровые плечи размеренно поворачиваются и несут бадьи с бетоном.

А внизу? Посмотрите только, что делается внизу. Там кипит и бурлит незамерзающая Ангара: вода с кипением вырывается из донных отверстий, и клубы тумана рождаются там, внизу, устремляются кверху и окутывают всю плотину. Туман разрывается ветром, и в просветах его внизу проступит на миг то широкая плоскость бетонного массива, то густое сплетение арматуры, то светлая, сверкающая инеем грань бетонного куба.

Кран поднимает бадью над эстакадой, делает разворот, и вдруг бадья с бетоном погружается в клубящийся туман. Но что это? Крановщик не останавливает крана, а продолжает спокойно управлять рычагами. Да. Наши уникальные бетоноукладочные краны снабжены специальными телевизионными установками и могут работать при полном отсутствии видимости: окутанная туманом бадья с бетоном будет все время на экране телевизора.

— Но как же будет укладываться бетон при сильных морозах?

— Все предусмотрено. Вы помните это чудесное ощущение? В Большом театре, в Москве. Раскрасневшись от мороза, вы входите в вестибюль, и вас обдаёт волна теплого воздуха. Это работают калориферы. На Братской ГЭС в блоках будут установлены калориферы куда более мощные, чем в Большом театре. А теперь спустимся вниз. На эстакаде тоже работают лифты, они доставят нас в блоки, где идет укладка бетона. Прошу вас! — Спартак сделал приглашающий жест рукой и звонко рассмеялся, потому что никакого лифта не было, мы сидели на краю отвесной скалы и головокружительная высота была под нами.

Но я уже видел, о чем так вдохновенно говорил Спартак: мы спустились в лифте в недра клубящегося тумана и долго ходили по плотине, по нижней эстакаде, и всюду кипело движение работы: тупорылые бетоновозы, сияя мощными фарами, тащили сквозь туман платформы, на которых стояли высокие конические бадьи с бетоном, монтажники опускали щит, закрывая одно из донных отверстий, тут и там плотники возводили опалубку, огораживая пространство гладкими деревянными стенами, и в образовавшийся блок начинал валиться бетон. Конические бадьи спускались сверху, с большой эстакады, бетон подавали снизу, с малой эстакады, бетон привозили на самосвалах, гнали по трубам. Всяду был бетон. Бетон рос, отвердевал, высился перед нами огромными отвесными плоскостями.

Мороз падал. Термометр показывал пять градусов ниже нуля, туман на глазах оседал, и только легкие облачка его парили внизу над волнующейся водой. Освещаемая лучами солнца, стройка раскрылась во всю ширь. Мы подошли к краю отвесной бетонной плоскости, и я увидел вдруг всю громаду плотины — она встала поперек Ангары и наглухо сомкнула ее скалистые берега.

И уже закрывались донные отверстия, и Ангара накатывалась на бетонную стену и, не в силах пройти вся через несколько оставшихся проходов в этой сплошной бетонной стене, поднималась, ломала лед, затопляла острова, заливая снег, расходилась по лощинам и падям — начиналось Братское море.

А в здании станции полным ходом шел монтаж первых агрегатов, и вот настал день, когда монтаж был закончен, открылись задвижки — и массы поднятой воды низверглись сверху, привели в движение огромные турбины и, клокоча и пенясь, вырвались на свободу по ту сторону плотины. Братская гидростанция дала первый промышленный ток. Это было...

— Когда будут пущены первые агрегаты?

— В декабре шестьдесят первого года, — без запинки ответил Спартак на мой вопрос. — Точнее — тридцать второго декабря.

— Почему же так?

— Потому что строителям, как и студентам, всегда не хватает одного дня. Впрочем, у нас всегда имеются в запасе пять часов разницы с Москвой, и мы можем пустить Братскую ГЭС по московскому времени, когда в Москве будет еще тридцать первое декабря, а у нас уже тридцать второе. Вы не представляете, что такое пять часов в момент пуска агрегатов,— огромный резерв времени.

Что ж, пусть Братская ГЭС будет пущена по московскому времени. Московское время — самое точное.

## 9. Зона влияния

Я никогда не был на Усть-Каменогорской ГЭС, никогда не видел этой станции даже на фотографии, но однажды все-таки встретился с ней, и обстоятельства этой встречи были не совсем обычными и в то же время самыми будничными.

Я ехал через алтайские степи, кругом колосились хлеба, по широким пшеничным полям шагали мачты высоковольтной линии, пересекая степь из края в край. К вечеру состоялась остановка в одном из новых совхозов, возникших в том году на целинных землях, и мы допоздна сидели в конторе, беседуя на разные житейские темы, слушая рассказы новоселов. Все время меня не покидало какое-то очень слабое, глубоко спрятавшееся ощущение необычности всей обстановки вечера. Все оказалось проще, чем можно было предположить сначала. Я обратил наконец внимание, что в комнате необычайно светло и лампа под потолком горит ровным сильным светом. Я подошел к окну — огни на столбах горели так же сильно и ровно. Откуда появился такой яркий электрический свет в далеком, затерянном посреди степей селении? И даже тарахтящего движка не было слышно поблизости.

— Мы подключены к Усть-Каменогорской ГЭС,— ответил директор совхоза.— Линия проходит совсем близко от нас, и в районе сделали подстанцию. Это не только в нашем совхозе...

Где-то за сотни километров, за хребтами Западных Саян, воды Иртыша низвергались в турбины Усть-Каменогорской станции. Во все концы от нее шагали по горам и долам мачты высоковольтных линий, и эта далекая падающая вода освещала улицу в целинном совхозе, приводила в движение заводы и рудники, станки и машины.

Так я попал в зону влияния Усть-Каменогорской ГЭС и встретился с ней, не видя ее.

А теперь, спустя несколько лет, я нахожусь уже не только в зоне влияния электрической станции, а в самом центре ее, и чем дальше я живу в Братске, тем шире и полнее раскрывается для меня значение Братской ГЭС — значение одной строки семилетнего плана.

Крупные тепловые, атомные, гидравлические электростанции являются как бы сильнейшими магнитами, к которым по законам магнитного поля притягивается все железное, индустриальное окрест: заводы, фабрики, рудники, комбинаты. Какая обширная и сильная промышленность выросла, например, вокруг Днепрогэса — первенца советских пятилеток! А ведь Братская ГЭС будет вырабатывать энергии чуть ли не в десять раз больше днепровской станции.

Строят Братскую ГЭС тридцать тысяч рабочих, а на обслуживании ее будет занято всего триста четырнадцать человек. Но город строителей — Новый Братск — не опустеет: строители станции станут потом строителями, рабочими заводов, которые должны вырасти вокруг гидростанции.

Себестоимость электроэнергии Братской ГЭС баснословно низка — меньше одной копейки за киловатт-час. А передача каждого киловатт-часа на большое расстояние обойдется в полторы-две копейки, и это удо-

рожит энергию Братской ГЭС чуть ли не в три раза. Значит, выгоднее располагать потребителей Братской ГЭС неподалеку от станции.

Есть и другой резон в пользу того же вывода. Строители Братской ГЭС создали мощную подсобную базу. Такой мощной производственной базы нет в Сибири на тысячи километров вокруг. Наличие этой базы дает возможность построить в Братском районе любое промышленное предприятие любого профиля на два года быстрее, чем в каком-либо другом месте Сибири.

Я рассказываю вещи, которые кажутся сейчас очевидными. Однако сколько споров кипело еще совсем недавно из-за того, как и где строить заводы, работающие на энергии Братской станции.

Ныне эти споры решены самой жизнью. Братский промышленный район стал частью семилетнего плана развития народного хозяйства страны. На XXI съезде партии Н. С. Хрущев говорил в докладе: «Создание новых мощных промышленных узлов: ...Ачинско-Красноярского, Братско-Тайшетского и других — даст огромный толчок развитию производительных сил Востока страны».

Братская ГЭС станет энергетическим центром Братско-Тайшетского промышленного узла — одного из самых крупных в стране, ибо мощность промышленного района стоит в прямой связи с мощностью его энергетики.

И вот вместе с бетонной плотиной Братской ГЭС растут по берегам Ангары промышленные комбинаты, заводы, фабрики. Полным ходом идет строительство Коршунихи — крупнейшего в стране горнорудного комбината. Богатая железная руда лежит здесь чуть ли не на поверхности: на глубине трех-четырех метров начинаются первые рудные жилы. В Коршуниху уже пошла от Братска линия электропередачи длиной сто шестьдесят четыре километра, и первая очередь рудного комбината вступит в строй вместе с первыми агрегатами Братской ГЭС.

В Тайшете идет выбор площадки для крупного металлургического завода — этот завод станет составной частью третьей металлургической базы страны, создаваемой по планам семилетки на Востоке. Руда в Тайшет пойдет по прямой линии из Коршунихи, а уголь — из Кузбасса и тоже по прямой железнодорожной линии, которая строится одновременно с Тайшетским заводом, — Абакан—Тайшет. От Братска в Тайшет будет прорублена через тайгу еще одна линия — высоковольтная; энергия Ангары переплавится в сталь.

А Братское море? Его тоже создают строители. Кажется, достаточно поставить плотину, закрыть в ней отверстия, и море возникнет само собой. Нет, море тоже надо строить. Для этого необходимо снять тайгу с огромной площади, убрать десятки миллионов кубометров древесины — стоимость леса, который стоит на территории будущего моря, равна стоимости всей Братской ГЭС.

Значит, на берегу Братского моря надо создавать леспромхозы, предприятия по переработке древесины. И строители гидростанции строят крупнейший в стране деревообрабатывающий Ново-Чунский комбинат, который будет снабжать Сибирь пиломатериалами, столярными изделиями, мебелью, сборными домами, бумагой, картоном. И снова прорубается сквозь тайгу линия электропередачи, ведущая от Братской ГЭС к Ново-Чунскому комбинату.

На берегу будущего моря, пока что в стороне от Ангары, возводятся корпуса другого комбината по переработке древесины — сульфит-целлюлозного. О нем-то и говорил профессор Грушко, опасаясь, что этот мощный комбинат будет загрязнять воды Ангары. Надо полагать, что строители целлюлозного комбината не допустят загрязнения моря, созданного их же руками.

Я назвал только четыре крупные стройки, а всего в Братско-Тайшетском промышленном районе будет построено за семилетку свыше три-



дцати предприятий. И центром всей этой мощной индустрии будет Братская ГЭС.

Когда-то, в конце двадцатых годов, у нас нашлись инженеры, которые всерьез утверждали, что в России нельзя строить Днепрогэс, ибо мы не сможем использовать такую большую мощность. Сейчас это воспринимается как курьез. Ныне самая мощная в мире Братская ГЭС строится, казалось бы, в глухом таежном углу Сибири, и вся ее мощность уже расписана, что называется, до последнего киловатта. Строители Братского промышленного района боятся, что к 1965 году у них уже будет нехватка электрической энергии. Но ведь Сибирь обладает огромными энергетическими ресурсами. Одна Ангара заключает в себе энергии больше, чем все реки Франции и Западной Германии.

Братская ГЭС будет работать в энергетическом содружестве с другими станциями. Уже сейчас через тайгу, прямая как стрела, прорублена и работает линия электропередачи: Братская стройка, ее заводы, котлованы, машины питаются энергией Иркутской гидростанции. Однако придет срок, и линия Иркутск—Братск станет работать в обратном направлении: поток энергии польется из Братска в Иркутск, приводя в движение заводы и комбинаты другого промышленного района — Ангаро-Черемховского. Другая линия передачи: Братск—Тайшет—Красноярск — соединит Братскую ГЭС с Красноярской; две крупнейшие станции мира явятся главными звеньями единой высоковольтной сети Восточной Сибири. В кольцо гидростанций вольют свою энергию и мощные тепловые электростанции: Назаровская, Азейская, которые также будут построены в Сибири за годы семилетки. А потом, уже за пределами 1965 года, к этой сети присоединятся другие ангарские гидростанции — Усть-Илимская, Богучанская.

Так на карту Сибири накладывается единая высоковольтная энергетическая сеть, и немалая роль в этом гигантском электрическом кольце принадлежит Братской ГЭС.

Можно привести такой разительный пример. Только простое соединение Братской и Красноярской ГЭС высоковольтными линиями повысит гарантированную мощность этих станций на 450 тысяч киловатт. Каждый, наверное, видел красивые кадры кинохроники: каскады пенящейся воды обрушиваются с бетонной плотины — кинооператоры любят снимать эту величественную, эффектную картину. А ведь она свидетельство вынужденных издержек производства. Во время весеннего паводка на Волге на Куйбышевской ГЭС работают с полной нагрузкой все двадцать агрегатов, но все равно через них нельзя пропустить всю весеннюю волжскую воду, и ее приходится сбрасывать без пользы, да еще строить для такого сброса специальные водосливные плотины, которые стоят сотни миллионов рублей. А потом, осенью, во время межени, на станции работают только пятнадцать агрегатов, а пять стоят без движения, и водосливная плотина закрыта наглухо: воды в реке мало, и идет сработка водохранилища. Вот к чему приводит неравномерность водного режима.

С помощью линии электропередачи Братск—Красноярск можно регулировать неравномерность водного режима Ангары и Енисея. На Енисее паводок совершается весной, а на Ангаре — осенью. Значит, весной Красноярская ГЭС будет помогать Братской, а осенью и зимой, когда на Енисее минимальный проход воды, Братская ГЭС восполнит провалы Красноярской — гарантированная мощность обеих станций возрастет на 450 тысяч киловатт.

Братская ГЭС еще не работает, до пуска первых ее агрегатов осталось два с половиной года, а до тех пор, когда станция заработает на полную мощность, — и того больше. Но уже теперь, загодя, пришли в движение огромные силы на тысячи километров окрест — рубятся в тайге дороги и дома, поднимаются мачты электролиний и стены про-

мысленных корпусов. На приангарскую землю накладывается черновой набросок Братско-Тайшетского промышленного района.

Так постепенно раскрывалось для меня значение Братской ГЭС, которая вовлечет в зону своего влияния огромные пространства Восточной Сибири — от Байкала до Енисея.

## 10. Московское время

Ранним осенним утром я уезжаю из Братска. На земле лежит первый серебристый иней — уже недалеко ангарская зима. Машина быстро мчится по пустынным улицам поселка. За Ангарой поднимается большое медное солнце. Спускаемся с горы, и машина стремительно въезжает в деревянную улочку Падуна. Старинное сибирское село еще больше постарело за это время: дома совсем покосились, многие из них стоят с заколоченными ставнями — село Падун готовится к погребению на дне моря.

Машина сворачивает в сторону от Ангары и начинает петлять по холмам. Три года назад здесь была дремучая тайга, а сейчас холмы стоят лысые и по их склонам стелется густой едкий дым: готова ложе для Братского моря, строители очистили землю от леса, собрали сучья, хворост в кучи и зажгли их. Огонь ползет, прижимаясь к земле, лижет толстые пни, рассыпанную хвою. Мне становится грустно — может, оттого, что я уезжаю из Братска и совсем не знаю, когда снова увижусь с ним; может, оттого, что слишком неприветливо и тоскливо выглядят эти обнаженные дымящиеся холмы, покосившиеся избушки Падуна. Что-то должно умереть, уйти, чтобы могло народиться новое.

На аэродроме весело и звонко гудят моторы. Я лечу сначала в Иркутск, чтобы пересесть там на скоростной реактивный самолет и быстрее попасть в Москву.

Между Иркутском и Москвой — пять часов разницы, и я не очень-то думал о ней, пока был на месте. Но вот сел в самолет и вдруг всеми своими чувствами ощутил эту разницу. Написал я так и усомнился: как можно ощутить, да еще всеми чувствами, пять часов разницы? Так ли? Может быть, то, что я чувствовал, совсем не разница, а равенство, потому что никакой разницы во времени не было. Впрочем, лучше не пытаться объяснить, что я чувствовал, лучше просто рассказать, как я чувствовал, — ощущение это настолько ново, что люди еще не успели отобрать самые точные слова для его определения. Ведь можно сказать и так: я ощущал эту разницу во времени лишь потому, что ее не было.

Да, мгновение остановилось. Мы круто взлетели на запад от Иркутска и забрались на высоту. Как раз пора захода солнца. Но оно почему-то не заходит: как повисло над горизонтом, так и висит неподвижно — час, другой, третий.

Я прошел в кабину пилотов, сижу там и смотрю, как висит солнце. Летчики летают по этой линии взад и вперед больше года, они уже привыкли к остановившемуся солнцу, и у них радость, что есть над кем пошутить и посмеяться.

— Вот и остановили этот водородный шарик. Что нам стоит!

— Нам бы ветерок попутный — мы бы этот шарик вспять повернули.

А солнце все висит и не заходит. Вначале это любопытно, потом становится как-то не по себе. А что, если мы будем все лететь и лететь — ведь теперь можно заправляться на лету. И безостановочно полетим за солнцем, догоним его, и оно остановится, и мы обогнем весь земной шар и снова прилетим в Иркутск. Интересно, какой день будет в Иркутске? Тот же или все-таки следующий?

Тут разделились мнения даже среди летчиков. Мы долго спорили и единогласно отложили решение вопроса до будущего, когда облетим вокруг «нашего древнего шарика» и сами проверим, что к чему.

В Омске мы ненадолго остановились, а солнце пришло в движение и опускается все ниже, ниже — вот уже коснулось дальнего леса, тонет, совсем потонуло за ним. Зашло все-таки! Нет! Мы снова забираемся на одиннадцатикилометровую воздушную гору, и солнце высунулось из-за горизонта и опять застыло — ни с места. Только в Москве я вздохнул с облегчением — все-таки спокойнее видеть солнце таким, каким видели его наши деды и прадеды.

А ведь я еще не сказал, что мы летели на такой высоте и погода была такая ясная, что я видел сразу Свердловск и Челябинск, а потом сразу Горький и Казань и чуть ли не пол-Волги в придачу к ним.

А еще раньше передо мной раскрылись с высоты широкие пространства Сибири, от них тянутся за самолетом невидимые нити, и я лечу домой, а Сибирь все еще держит меня в своей власти, я все думаю о том, что осталось позади.

У строителей Братской ГЭС сложилась хорошая традиция — они тщательно ведут летопись своей стройки. Вот несколько дат из истории строительства.

Март 1956 года — в индивидуальном поселке открыт продовольственный ларек. При прачечной построена сушилка.

Январь—апрель 1956 года — за четыре месяца сдано в эксплуатацию 4 500 квадратных метров жилья.

Январь 1957 года — на промплощадке открыта столовая на сто мест, а в постоянном поселке — продовольственный магазин на четыре продавца и хлебопекарня на шесть тонн хлебных изделий.

Июль 1957 года — введен в эксплуатацию столярный цех деревообрабатывающего комбината.

Август 1957 года — сдана школа на 280 учащихся в поселке Пурсей.

Сентябрь 1957 года — за один месяц введено в эксплуатацию 7 246 квадратных метров жилой площади.

В ноябре 1957 года установлено регулярное воздушное сообщение с Иркутском и Москвой на самолетах «ИЛ-14».

Открылась столовая и прачечная, построен магазин и столярный цех — события сами по себе обычные, но для строителей Братской ГЭС в те годы они были событиями огромной важности.

Идут быстрые годы, растет Братская ГЭС, и ширится ее влияние по всей Сибири. Нетрудно назначить и другие даты: они легко различимы с той высоты, с которой задуманы контрольные цифры семилетнего плана. Перелистаем несколько страниц будущей летописи Братской ГЭС.

Декабрь 1961 года — вступили в строй первые агрегаты Братской гидростанции. Первая очередь Коршунихи дала первую руду. Вступил в строй алюминиевый комбинат.

1962 год — первые домны Тайшетского завода дали чугун. Вступила в эксплуатацию железнодорожная линия Абакан—Тайшет. Новые агрегаты Братской ГЭС дают промышленный ток.

И эти события станут такими же обычными и в то же время будут событиями значительными, как новая школа на 280 учащихся, открытая в таежном поселке Пурсей несколько лет назад.

Так из года в год круто и стремительно меняется жизнь далеких окраин страны и меняются даже самые масштабы этих изменений.

Развитие Советской Сибири началось не сразу — оно шло исподволь и все идет, ускоряясь, нарастая. Ныне даже кипучие годы первых пятилеток не годятся здесь для сравнения. Где уж тут сравнивать, если сейчас одна Иркутская область имеет столько же капитальных вложений, сколько имела вся наша страна за всю первую пятилетку!

Где уж тут сравнивать, если сейчас мы вкладываем в семилетку два триллиона рублей капитальных вложений, в тридцать раз больше, чем было вложено за годы первой пятилетки.

Тридцать первых пятилеток! Сто пятьдесят лет — вот какой путь пробежит наша страна за семь лет, если измерять этот путь легендарными масштабами первой пятилетки.

У всякого чуда, кроме того, что оно чудо, есть еще одно необычное свойство — люди очень быстро привыкают к чуду. Еще вчера оно казалось всем удивительным, невозможным, а сегодня уже стало обыденностью — к чуду привыкли. Если бы это было не так, мы до сих пор удивлялись бы искусственным спутникам Земли, телевизорам и даже двигателю внутреннего сгорания.

Чудом, потрясшим весь мир, были первые советские пятилетки. А теперь о контрольных цифрах семилетки мы говорим как о реальных фактах. Может быть, еще сегодня они чудо, но уже завтра не будут чудом, а станут просто электростанциями, домнами, атомными ледоколами, ткацкими станками, холодильниками. Даже наши недруги привыкли к этому чуду наших планов: они уже не сомневаются в их реальности, а берут в руки карандаши и лихорадочно подсчитывают, когда мы догоним и перегоним их.

И Сибири отдано немалое значение в грандиозных планах семилетки.

Сибирь — молодая земля. Ее реки прозрачнее, чище, холоднее европейских; ее горы причудливы и контрастны, словно только вчера вырвались из глубин планеты; ее земля щедра и просторна; ее растения крепки и выносливы; ее леса почти нетронуты. И надежды и планы у нее, как у всякого молодого существа, большие и дерзкие.

Сибирь полна неукротимых сил и энергии. Сюда сотнями эшелонов спешат смелые молодые люди — у них нет инерции старой Сибири, им не жаль нарушить ее прошлые традиции, поломать ее глушь и покой. Сибирь пришла в движение, все здесь кипит, растет, меняется: реки и улицы, бетон и человеческие души.

Я не был пять лет на Уралмаше и прошлой весной приехал туда, прошел по знакомым улицам, заводским корпусам — и легко находил и узнавал людей, с которыми встречался пять лет назад; они работают у тех же станков, сидят за теми же конструкторскими столами, живут в тех же квартирах. Только машин с маркой Уралмаша не узнал я, но ведь и машины изменились для того, чтобы люди могли остаться самими собой.

Но вот я приехал в Сибирь, где не был всего два года, и хожу, езжу по старым местам и не могу узнать их. Разлилось Иркутское море (а ведь я ходил по дну его), у Падуна вырос огромный котлован, и я гуляю по дну Ангары (а ведь как раз тут я плыл на катере), встали новые города там, где мы ходили за дичью. Горы перекопаны, реки перекрыты. В далекую Сибирь пришло иное время, бурное, стремительное время созидания — московское время.

А люди? Их понаехало видимо-невидимо, старые, знакомые лица потерялись в гуще новых, незнакомых. Молодой парнишка, о котором я писал два года назад, закончил стройку, получил орден и уехал еще дальше на север — строить новую гидроэлектростанцию. Мой иркутский друг шлет привет с алмазного прииска в Якутии, другой ушел в тайгу искать нефть.

В Сибирь двинулась советская наука: под Новосибирском, на берегу Обского моря, растет новый городок Сибирского отделения Академии наук СССР; неподалеку от Иркутска, на левом берегу Ангары, раскинулись строительные площадки другого научного центра — Восточно-сибирского филиала...

Едут в Сибирь седовласые ученые и молодые девушки с Ивановского текстильного комбината, опытные строители и безусые практиканты-

первокурсники — их трудами будет преобразаться жизнь молодого края.

Новоселы обживаются в Сибири быстро и надолго. Они ехали сюда, и среди них еще различались ростовчане и туляки, москвичи и вологодцы, ленинградцы и куряне, но прошло два-три месяца, и они соединились новым землячеством — все они стали сибиряками.

Традиционные представления о Сибири меняются на глазах. Мы говорили: «сибирские меха», а теперь слышим по радио: «сибирская сталь».

У советской семилетки семимильные шаги, и они ведут нас в Сибирь. Сибирский уголь и капрон, сибирская нефть, сибирские станки, телевизоры, автомобили — всему дает свое имя Сибирь, машинам и людям.

Сибирь становится близкой, доступной, благоустроенной. О том, что происходит сейчас с Сибирью, историки будущего напишут в учебниках особые главы — «Годы бурного освоения Востока». И радостно быть свидетелем этих бурных свершений.



---

---

ВИКТОР ПАНОВ

★

## ОТ ВОЛГИ ДО БАЛТИКИ

*Путевые заметки*

### 1. По каналу и морю

**В**ясный день сентября в Москве, в Химках, сел я на пароход и отправился на трассу строящегося Волго-Балтийского канала.

Мы знаем, в какие короткие сроки построены крупнейшие в мире каналы: Беломорско-Балтийский, имени Москвы, Волго-Донской имени В. И. Ленина; проведена большая работа по комплексному использованию водных ресурсов Волги, Камы, Днепра и других рек; реконструированы Нева и Свирь. В самые ближайшие годы новый водный путь между Волгой и Балтикой завершит единую глубокую сеть внутренних водных путей Европейской части СССР. Крупнотоннажный флот Волги получит свободный выход на речные и озерные просторы северо-запада, к Ленинграду. Самоходные баржи от Москвы до Ленинграда будут идти 3—4 суток вместо 6—8 в настоящее время. Для ленинградских промышленных предприятий, расположенных в прибрежных районах, особенно велико значение нового пути. Город станет крупнейшим портом. После открытия движения по новой трассе намного возрастет грузооборот по Неве, Свири, на каналах Беломорско-Балтийском, Московском, пропускная способность которых пока используется лишь в незначительной степени.

Небольшой пароходик почти бесшумно отделился от пристани в Химках и не быстро пошел, как бы оберегая зеркальную гладь Московского канала, гладь, отражавшую в себе зеленые мягкие увалы, лес, бревенчатые дома, стожки сена, даже автомашины, бегущие по серым дорогам, и, конечно, облака, словно для того и задержавшиеся в небе, чтобы полюбиться на себя в спокойной воде.

В Рыбинском водохранилище, когда на сильной волне закачался и заскрипел наш «Козьма Минин», сосед по палубе и собеседник мой, плотник Аюхин, заговорил о стожках сена. Когда-то тысячами ставили их по лугам и низинам, теперь затопленным.

— Сперва втыкают в землю высокий кол,— рассказывал он, сложив на коленях большие руки в рубцах и шишках,— потом начнут метать сено к нему — стожат. Зимой увезут сено, темные круглые пятна останутся — остожья. Да и кол в наших местах зовут остожьем. До самого Ленинграда по берегам увидишь стожки, остожья. В Москве улица Остоженка — теперь она Метростроевская — откуда взялась, думаешь? Сенокосы подступали к батушке Кремлю.

На корме, скрытые от холодного ветра, мы грелись под скупым солнышком; за кормой вились чайки, как это бывает в море поблизости от берегов. Рядом, на скамейке, подвернув под себя ногу в капроновом чулке, сидела женщина лет тридцати, с неопишимо рыжей шапкой волос, в зеленом пальто, просторном, как шатер. Она читала газету. Две колхозницы ели с оберточной бумаги вареное мясо, третья забавлялась с девочкой в синей шапочке. Высокий детина в новых ботинках на толстой белой подошве,

в добротном коричневом пальто шелкал фотоаппаратом. На детину все посматривали — фотографирует голую воду, до горизонта во все концы пятнышка не видно...

Аюхин покосился на заморские ботинки и коричневое пальто.

— Зачем тебе вода? — спросил он.

— На память,— ответил тот, щелкнув своей машинкой.

— Ты бы людей снимал...

— Мне вода нужна.

Аюхин, глянув на большие руки фотографа, спросил дружелюбнее:

— Ну скажи, милый человек, зачем воду снимаешь?

— Мы тут жили, когда еще моря не было, сеяли пшеницу и рожь...

Огороды были, колхоз...

— Увидишь сквозь воду?

Став к нам спиной, фотограф сказал:

— Увидим чего-нибудь. Детство свое и на морском дне разглядишь...

Рыжеволосая женщина взволнованно начала рассказывать: ей было двенадцать лет, когда из деревни ездил с отцом в город Мологу — необыкновенно красивым показался ей маленький городок, теперь затопленный.

Гражданин с фотоаппаратом вздохнул:

— А луга-то какие были...

И разом вслух вспомнили травы, сенокосы, строевой лес, высокие бременчатые дома. А что дает людям Рыбинское море?

Заспорили.

— Рыбы нет в нем, оно без жизни,— сказал Аюхин, кивнув на крутую волну с белым гребнем.— Одна грузопассажирская линия. Стужа. Огурцы не растут... Вода не хлеб. Хлебом хвались, а водой чего хвалиться? Нынче вон хлебаросло — вовеки не бывало столько в России! Хлебом и хвались. Из целины в Сибири пашню сделали — это да! Море хлеба — счастье народу, а море воды — кому радость?

Притихнув, мы посматривали на Аюхина. Крестьянки давно прислушивались к его словам, переглядывались с другими пассажирами. Рыжеволосая женщина отложила газету, два молодых человека с чемоданчиками пренебрежительно косились на плотника, как на невежду. Признаюсь, и меня озадачили его слова.

Он продолжал:

— Зачем разливать воду так широко? Нужен ход — копай машинами канал, добрался до низкого места — насыпью отгородись, поставь бетонный забор, не гони людей с места. В сухую, голую степь дай воду, а в сырые места под Москвой — зачем она?

Пожилая крестьянка в синем ватнике, вздохнув, сказала:

— В Рыбинске на море станцию поставили, а нам свет не дали, а мы думали землю пахать электричеством, когда станция строилась. Близко ведь. Можно рукой подать нам проволоку от Рыбинска.

Рыжеволосая пассажирка в зеленом пальто рассмеялась.

— Подать нельзя — напряжение большое. В деревнях надо строить подстанции.

— Матушка моя, мы тоже не дураки. Подстанции делать — не велик подвиг, когда море сделано. От силы и силу давай нам, а не от движков, что тарахтят в колхозах.

Аюхин заговорил о каналах — мало по ним идет барж и плотов, сетовать стал, что Москве со всех концов страны подается электричество, газ, а в деревни по берегам Рыбинского моря керосин завозят, и то непостоянно. Фотограф заспорил с ним, обвинив во всех сельских беспорядках деревенское начальство. Две колхозницы немедленно поддержали Аюхина, а не фотографа.

Крестьянка постарше, в синем ватнике, давно приглядывалась к Аюхину — к его широко расставленным бегающим глазам, к морщинкам

на лбу, к неторопливым жестам,— пытаюсь, видимо, вспомнить, где и когда с ним встречалась. В Москве? В Рыбинске? А не односельчанин ли?

— Узнать не можешь? — спросил он.

— Да вроде бы видела обличье... Ой, господи, сосед! — Она распахнула стеганку, засмеявшись громко.— Росли вместе. Дашку неужели не помнишь? Ну, а теперь Дарья Петровна... Редкий гостенек на родимой улице... Никто и не вспомнит, когда ты срубил и распластал последнюю сосну в наших лесах. Годов, поди, тридцать шатался по белому свету? А под старость на печку потянуло? Много вас таких развелось...

Из разговоров с Аюхиным я уже знал, что он работал плотником на многих стройках.

— Давай-ка дома отличись плотником, — сказала Дарья. — Клуб строят.

— Рано мне на тариф садиться, — рассмеялся Аюхин. — На стройках сдельно платят, прогрессивки всякие, бежит копейка на копейку, а в деревне тариф скупой. Вон фотограф тоже не торопится с завода на родимую улицу, погорюет над снимками с моря да на том и успокоится...

Женщины рассмеялись, а гражданин с фотоаппаратом ответил с досадой Аюхину:

— Это вас не касается. Здесь я родился, а на заводе в люди вышел. Тарифа не боюсь и моря не отрицаю.

— Ну, а я где в люди вышел? — У плотника все морщинки на лице заиграли. — Как началась первая пятилетка, так мы и поехали в люди, а вслед за нами дети, внуки... Ну, а нынче тянемся к родным селам...

Разговор оборвался. Наступал вечер. Палуба остывала. Солнце медленно закутывалось в позолоченные тучи. Аюхин, склонив голову набок, задумался. Колхозницы спустились по лестнице в теплое нутро парохода. Щеголеватый гражданин сфотографировал закат и ушел в ресторан.

Ночью пароход усердно кланялся, скрипел, как плетеная корзина. Не спалось. Включил свет. Стул опрокинулся на диван, книжки и тетрадки — под столиком. Морская качка под Москвой!

## 2. Рыбинск — Череповец

Из шлюза, отгораживающего водохранилище от Волги, мы увидели Рыбинск — смотрели на город с высокой водной площади, заключенной в гигантское железобетонное корыто. В то время, когда мы опускались между мокрыми стенами корыта до уровня Волги, рядом с нами, в другом шлюзе, пароход поднимался от Волги до уровня моря, чтобы уйти из Рыбинска в Москву или в Череповец.

Шлюзы от Москвы до Ленинграда, большие и маленькие, бетонные, гранитные и бревенчатые, как, наверное, и все шлюзы на свете, очертаниями похожи на букву «П». Войдет пароход в «П», закроются за ним железные или тесовые ворота, поднимется или спустится он, заключенный в коробку, затем откроются ворота перед его носом, и он отправится в путь.

Еще в первом шлюзе девочка в синей шапке, бегая по палубе, восхищалась:

— В букву пэ въехали, из буквы пэ уехали!

Спускаемся. Справа и слева стесняют нас все растущие стены, до того высокие под конец, что с палубы приходится смотреть на их край, как с земли смотришь на вершину сосны. В другом шлюзе подъем. Со дна из открытых заслонок прибывает вода, кипит, как в огромном котле. Через две-три минуты под судном плавно расходятся круги — сколько заслонок на дне, столько и кругов. Судно поднято. Впрочем, в большинстве шлюзов нет бурления со дна — подъем плавлен.

На всем пути от Москвы до Ленинграда — старинные города; Рыбинск самый крупный из них. Без малого тысячу лет назад на месте города



было селение Рыбаньское, позже — Рыбная слобода, а с 1777 года — город. Бурлацкая столица! Здесь пели: «Да вы, ребята, не робейте, свою силу не жалейте!», «Уж вы стойте-ка, братцы-ребятушки, стойте, не гребитесь, уж вы дайте-ка, братцы-ребятушки, Волге устояться...» Здесь «хорош миленький уродился, но в бурлачишки подрядился». В Рыбинск собирались к весне сотни бурлаков, сплавщиков, водолизов работать на Волге до Астрахани и по Мариинской системе до Петербурга. Система начиналась отсюда.

Рыбинск в прошлом — это перевалка грузов с волжских судов на мелкие барки, полулодки, мариинки, чтобы тянуть их 50—60 дней до Петербурга; это сотни пароходов и барж, принадлежавших купцам Жеребцовым, Охлобыстиным, Милютиным; это поколения судопромышленников и бурлацкой голытьбы.

Ныне в городе строят озерные буксиры, плавучие перегрузочные краны, моторные рыболовецкие боты, лесорамы для обработки древесины, дорожные, кусторезные, полиграфические машины, землесосные снаряды, гидромониторы. В сотнях городов страны газеты печатаются на машинах, изготовленных в Рыбинске.

Рыбинская станция дает электрический ток Москве.

Приток волжских грузов в Рыбинск и отправка из него по Мариинской системе непрерывно возрастали и в прошлом веке. Заметный спад начался в 1870 году, с открытием Рыбинско-Бологовской железной дороги, чуть не полностью «перехватившей» грузы с Вышневолоцкого и Тихвинского водных путей. Меньше повезли товаров и по Мариинской системе — железная дорога доставляла их быстрее раз в десять. Водой тянули сравнительно недорогой груз — волжский хлеб, нефтеналивные посудыны. В наше время у пристани тихо. Во-первых, пароходы большие, государственные, порядок иной; во-вторых, теперь перевалка с волжских судов на мелкие переместилась из Рыбинска в Череповец, потому что вместо мелководной Шексны с ее порогами между этими городами легло море, и мимо причалов Рыбинской пристани проходят большие транзитные составы — хлеб, руда, соль, цемент; в-третьих, надо прямо сказать (тут и вспомнишь Аюхина), что пропускная способность водных путей не только на стыке Волги с Мариинской системой, но и по всей стране используется на одну треть. Доля речного транспорта в общем грузообороте не достигает и шести процентов.

Над причальной стенкой Рыбинской пристани — пять мощных кранов, из них четыре бездействуют: нет грузов. Тихо. И странно видеть здесь рейдовые буксиры с названиями «Ураган» и «Пурга». Непонятно с первого взгляда, почему многочисленные предприятия Рыбинска отправляют свою продукцию во все районы СССР по железной дороге, а не по воде. Ведь, к примеру, в 1957 году на Волге себестоимость грузовых перевозок была 1,49 копейки за тоннокилометр, а на смежных и параллельных железных дорогах общего пользования — от 3,13 до 3,89 копейки.

— Это мы знаем, — сказал мне ответственный работник завода, изделия которого отправляются семидесяти совнархозам. — Знаем больше: если бы полностью загрузить реки, каналы да ускорить ход судов, то перевозка грузов водой стоила бы раза в четыре дешевле железнодорожной...

— Но в чем же дело? — воскликнул я.

— А в том, что медленно ходят наши суда, мало самоходного флота... Плохо механизировано хозяйство пристаней, портов, почти не механизированы работы в трюмах. А склады? У нас в городе несколько мельзаводов, но разве решатся они муку отправлять водой, если у Рыбинской пристани нет благоустроенных емких складов? Все эти помехи надо устранять немедленно, а то и новый канал будет не полностью загружен.

От Рыбинска снова через шлюз поднялись в море и всю ночь по крутым волнам добирались до Череповца. Утро было серое, плотные тучи

лежали в небе, как прибрежные пески. За лесом, за тучами показались трубы металлургического завода.

Лес на берегу Рыбинского моря будит во мне острую жалость, потому что не вьется здесь, как это бывает вокруг озер, зеленая опушка с густым кустарником, не шумят пышные деревья по краю дубравы, а сразу с берега начинается середина леса, вся в следах половодья: крест-накрест полулежат мертвые сосны и ели; невысокие, но крепкие дубки уткнулись лобастыми вершинами в воду; черные стволы намокших лип, почти спрятанные в осоке, — в ядовитых стеблях болотного хвоща; березняк похож белизною на кости.

На береговой горе — большой дом с вывеской: «Северо-Западное речное пароходство. Пристань Череповец». И помельче: «Первого разряда». Иду знакомиться с начальником пристани. Гуман Мажитович Мажитов — татарин, из Караганды. До восемнадцати лет в казахстанской степи воды и в луже не видел, но тянуло его к реке, к морю. Окончив в Ленинграде речной институт, женился на однокурснице родом из Череповца...

Телефонный звонок из Ленинграда прерывает наш разговор. Гуман Мажитович рассказывает начальству о делах пристани. Из этого телефонного разговора мне стало понятно, что первое место в перевозках теперь занимает соль — ее отправляют в Мурманск для засолки рыбы.

— Не берут, — негромко говорил в трубку Гуман Мажитович, словно его собеседник находился не за сотни километров, а за стеной кабинета. — «Мурманрыба» не принимает, Андрей Владимирович. У них этой соли запас годов на пять. А соль идет и идет к ним. Хлеба? — Он молча слушал заместителя начальника пароходства, делая пометки в настольном календаре. — Хлеба до конца месяца отправим десять тысяч тонн. Я послал бы с хлебом большую самоходку, но технический участок не пропустит ее в систему. Краны режут меня! Площадок мало!

Я понял также, что с большого волжского судна в Череповце приходится перегружать пшеницу на десять, а то и пятнадцать маленьких суденышек, чтобы отправить по старинной системе в Ленинград. Эта старинная система узенькой водной полоской, ниточкой протянулась между Волжским и Балтийским бассейнами.

— А после постройки Волго-Балтийского пути никаких перегрузок не будет, — объяснил мне Гуман Мажитович. — В чем тут дело? — Он подошел к схеме Волгобалта, висевшей на стене. — По старинной системе допускается лишь малая ссэдка... Но дело еще и не только в этом — можно недогрузить большие баржи на Волге, и они из Череповца уйдут в Ленинград, — дело в том, что новые волжские баржи огромны и по величине и по ширине. Не проскочить великану в узенькие воротца старых шлюзов! Тут и вся беда. Грузы? На Ленинград их в два с половиной раза больше, чем на Москву и Волгу. Да, — согласился он, — в старой России из Череповца на Волгу почти не было грузов, но мы и не сравниваем себя со старинкой. За семилетку здесь появится большой порт металлургического завода. В городе — сто новых улиц.

Иду знакомиться с улицами. Обгоняя трамвай, мчатся грузовики с тесом, с громыхающим железом, с кирпичом, с бревнами. Клены и топольки пока еще редкими цепочками тянутся по краям новых улиц. А в старой части города наоборот: дома запрятаны под кронами берез и тополей. В одном из таких домиков в начале века четырнадцать лет жил Иван Васильевич Петрашень, знаменитый строитель деревянных шлюзов и плотин по Шексне, по Северо-Двинской системе, связавшей Архангельск и Вологду с Петербургом и Волгой.

Начальник технического участка в Череповце — старый инженер, Василий Васильевич Абрамов, — рассказывал мне: в пятидесяти километрах от Череповца, вверх по Шексне, на правом берегу ее, возводится шлюз, будет плотина. Она еще больше поднимет уровень воды не только Шексны, но и Белого озера. Но строится шлюз очень медленно.

Это будет первый шлюз, первая плотина новой трассы, начинающейся у Череповца. Трасса пройдет по реке Шексне, через огромный Череповецкий бассейн (в пять раз больше Московского моря), по Белому озеру, по рекам Ковже и Вытегре (каналы прокладываются в их долинах) и закончится у южной части Онежского озера. Будет шесть гидроузлов: Череповецкий, Шумкинский, Пахомовский, Новинкинский, Белоусовский и Вытегорский; из них первый и два последних строятся. Вытегорский и Белоусовский узлы, электростанции на них, совмещенные с водосбросами, предполагается ввести в дело к 1960 году, что позволит сразу отключить из Маринской системы десять шлюзов. Стало быть, уже в шестидесятом году продвижение судов между Ленинградом и Москвой значительно ускорится.

Василий Васильевич недоволен строителями; расставаясь со мной у пристани, он говорил:

— Двадцать лет уже прошло с того времени, как начали строить шлюз на Шексне. Сперва война помешала, потом, годов десять тому назад, хорошо взялись, потом бросили все. За последнее время решено в первую очередь поставить шлюзы с ленинградского конца, а по-моему, надо бы поторопиться и с Череповецкого. Большой шлюз на Шексне и электростанция — это энергия металлургическому заводу, высоковольтная линия от завода к предполагаемой станции давно поставлена. Но завод вынужден питаться током из Рыбинска — за двести с лишним километров, а тут — под руками. Сделать подпор выше Череповца на Шексне — выпало бы восемь шлюзов до Белого озера на двести девяносто километров. И — ток заводу.

Череповецкий комбинат, к слову сказать, металл свой в адрес ленинградских заводов летом отправляет по железной дороге, да и руду в Череповец с Кольского полуострова весь год возят в вагонах, в вагонах возят из Кировска апатитовый концентрат во все города, расположенные на водных путях, — в Ленинград, Горький, Пермь и другие. Экономисты подсчитали: перевозка тонны апатита из Кировска в Ленинград водным путем обходится вдвое дешевле, чем железной дорогой, но руководители предприятий не спешат ломать сложившуюся практику, экономить на перевозках. А ломать придется, в особенности после того, как новая трасса войдет в единую глубоководную сеть и, согласно Контрольным цифрам развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы, в значительной мере по всем рекам обновится флот, а грузоподъемность самоходного флота увеличится примерно в три раза.

### 3. По Шексне

Вечером пароход линии Череповец — Белозерск вошел в Шексню.

По берегам зябли затонувшие кусты, березы; бежала на них легкая волна от парохода.

Рядом с нами плыли баржи, самоходные суда. Шексна уже не мелководна — приподняло ее уровень Рыбинское водохранилище. А ведь не одно столетие народ маялся на отмелях и порогах реки, в особенности от Буркова до Иванова Бора. Глубина реки менялась в зависимости от уровня воды в Белом озере; бывали годы, когда исток из озера почти прекращался, и река на порогах чуть ли не обнажала дно. Сотни барж останавливались в пути. В судно с грузом около трехсот тонн на Иваново-Борских и Ниловицких порогах запрягалось до восьмидесяти лошадей — табун лошадей для одной баржи! Надо представить себе картину: восемьдесят лошадей тянут судно через пороги; толпа погонщиков с кнутами — спор, крики, ругань; избитые лошади; пьянки у первого кабака. Купец развязывал кошель для дополнительных расходов. Рассказываю

об этом потому, что лошади, запрягаемые в баржи на Мариинском водном пути, не древняя история. За Белым озером по Ковже еще колхозы подражались в тягу по бечевнику.

На Шексне в конце прошлого века коня заменила туерная тяга — по дну реки прокладывалась тяжелая прочная цепь, она из воды как бы взбегала на нос буксира, попадала в барабан лебедки и с кормы вновь спускалась на дно. Ил, грязь, песок оставались на палубе от большой цепи. Но тяга туером была самой надежной. Компания цепного пароходства главенствовала по Шексне, спекулируя на мелководье, на порогах. От Рыбинска до пристани Чайка у Белого озера, за четырехста верст, туерщики брали с купца по три копейки за пуд груза, в то время как за тягу бечевою от Чайки до Петербурга на перегоне в шестьсот пятьдесят верст платилось только полторы копейки с пуда.

Воз, идущий за туером, состоял из пяти-шести судов, а буксирный пароходишко временами не мог тянуть одно суденышко. Разбогатевшие туерщики шутя говорили, что могли бы золотую цепь проложить по всему дну Шексны, тоже в дюйм с лишним толщиной. Подобно щуке, заглатывающей жертву вдвое больше ее нутра, они, не считаясь со своими возможностями, заключали и заключали договоры на тягу судов, чтобы полностью вытеснить с Шексны волжских пароходоладельцев. Суда, попавшие к туерщикам по контрактам, выстраивались весной в длинную очередь и стояли по неделе, по две, особенно когда закладывали на дно знаменитую цепь.

От туерной тяги, как и от бурлаков, остались лишь воспоминания в народе да кое-где ржавые обрывки цепей, взятые со дна реки.

— Она еще перед самой революцией побрякивала, — рассказывал мне старый шкипер Матвей Егорович Новиков. — Лопнет она, два якоря бухнут с носа и с кормы, изловят ее со дна, скуют — и снова поехали с возами, снова забегает из воды цепь на нос парохода и с кормы ложится на дно... А уж когда по Шексне шлюзы поставили, паровички появились — кончилась масленица туерщиков. Теперь же еще, говорят, и паровички отживают свой век.

Идем быстро; бегут от бортов шелестящие серебристые валики на береговую осоку; плывут назад зеленые холмы, деревеньки, села по взгорьям, отмеченные высокими башнями для силоса, группами скотных дворов на окраинах. Грузовики, легковые машины. Стожков мало, большие стога наметаны.

Сосед мой по каюте Смирнов, лесоруб Вашкинского леспромхоза, очень молод, на темной куртке его, какие носят лыжники, значки — комсомольский и парашютиста. Он высок, строен, светловолос, как и подавляющее большинство потомков Новгородской Руси, движения неторопливы, уверенны, разговор певучий. Наполовину не докуренную дорожную папироску небрежно выбрасывает в окно через борт, и она уходит от нас к близкому берегу вместе с чистой волной. Закрыв книгу с заложенной в нее спичкой, Вениамин Смирнов говорит:

— Дед мой с парой коней ходил здесь в тягу по бечевнику. Явится домой — трешка и костлявые лошададки...

Вениамин возвращается с прорубки трассы в лесу для высоковольтной линии от Череповецкого металлургического завода до Рыбинска.

— Руководство плохое было, — вспоминает он работу. — Надо бы сразу пластать лес, откидывать сучки, а мы навалили его рядов семь. Черт ноги сломит в кряжах и сучьях. Трасса широкая — до семидесяти метров. Чем выше лес, тем шире проход, а если не уширить трассу, то при ветре вершины заденут за провода. Трудно? Да ничего не трудно. Моторная пила валит. Одиннадцать килограммов весу в пиле — один легко несешь от дерева к дереву, а заработок — тысяча семьсот рублей в месяц.

Пароход остановился.

Я пошел смотреть старый шлюз, построенный Иваном Васильевичем Петрашенем в 1914—1916 годах,—любопытно увидеть этот шлюз после гигантов, поставленных в наше время на канале имени Москвы, у Рыбинска. Это оказалась очень длинная камера, сравнительно широкая, с низкой кромкой; по две женщины справа и слева от начала камеры крутили ворота, похожие на буквы «Т»; без особой натуги крутили они скрипучие ворота, изобретенные человеком в глубочайшей, почти недосягаемой древности.

Мы простояли в камере всего на пять минут дольше, чем в камерах канала, где подъем и спуск воротов-шитов механизирован. Небольшая разница? Нет, разница очень большая: ведь там поднимали или опускали нас на высоту, в шесть—восемь раз большую, чем здесь.

Осенняя ночь тучами накрыла пароход; деревни по берегам спрятались за густым лесом, за кустарником, тоже не раздетым еще первыми заморозками, и казалось, что яркие огни светят не из окон изб, а из леса, сидят в елках и березах то низко, то высоко, то редко, то густо и приветствуют пароход, с берега похожий, наверное, на большой фонарь, плывущий по черной воде.

Солнечное сентябрьское утро открыло передо мной необычайную красоту берегов Шексны, задремавших в ожидании близкой зимы. Река приближалась к селам на взгорьях, голубой лентой уходила от них, вилась в пышном кустарнике пестрой раскраски. Картины незабываемой древней Руси. Одни названия сел говорили о многом: Коленец, Великий Двор, Ниловицы, Иванов Бор, Звон, Топорня, Горицы, Чайка. Топорня славилась плотниками, строившими крепкие баржи. Топорнинский канал — начальное звено Северо-Двинского водного пути, ответвляющегося от Шексны к озерам Сиверскому, Благовещенскому, реке Порозовице, озеру Кубинскому и Сухоне, впадающей в Северную Двину. Горицы! Пароход причаливает к высоким холмам, на которых сохранились еще белые церкви бывшего женского монастыря. Заточали тут княжеских жен, матерей, невест. Жена князя Владимира Андреевича Старицкого, Евдокия Александровна, утоплена в Шексне близ Гориц по повелению Ивана Грозного. Крепкое подворье ныне занято колонией инвалидов. За колонией — большой фруктовый сад, за садом — гора Маура. Предание, сохранившееся в народе, рассказывает, будто бы архимандрит Кирилл в 1397 году поднялся на Мауру, стал на большой камень и, очарованный видом Шексны, Сиверского озера, избрал место для будущей обители. Возник здесь известный Кирилло-Белозерский монастырь, успешно выдержавший в 1612—1613 годах осаду литовцев.

Кириллов остался за горой в семи километрах от нашего пути. Немного не доплыв до Белого озера, я на пристани Чайка сошел с парохода и на попутном грузовике поехал в Белозерск, думая, что найду там контору по строительству Волго-Балтийского канала.

Конторы в Белозерске не оказалось. Пришлось пойти в гостиницу. Чистая, очень тихая, она помещается в доме бывшего купца Калинина. Дом этот с причудливой резьбой, с башенками по краям крыши похож на сказочный теремок. Давненько из крепких бревен поставили его на горке, а выглядит новеньким теремок этот. Молодым, веселым выглядело и Белое озеро, безбрежное, как море.

Здесь же, на берегу канала, огибающего озеро, инженер технического участка водного пути Анатолий Валерьянович Морозов объяснял мне:

— Гарантийная глубина озера — два метра без пяти сантиметров, а после постройки Волго-Балтийского пути она будет три метра шестьдесят пять сантиметров, но каналчик этот все-таки оставим для местного транспорта: мелкие суда боятся озерного шторма.

К обходному каналу, прорытому в 1846 году, огибающему чуть не

половину озера, сейчас подвозят на машинах грунт с карьеров, на баржах — камень, чтобы укрепить и поднять узкий вал, отделяющий его от озера.

— Какая же сила поднимет воду в Белом озере?

— А плотина и шлюз на Шексне — разве не сила?

Теперь только я со всей очевидностью понял, что по Шексне разольется еще одно море. На севере оно соединится с Белым озером, а на юге будет в каких-то пятидесяти километрах от Рыбинского бассейна. Я прямо-таки ужаснулся.

Морозов, рассмеявшись, указал на карты и чертежи, разостланные по столам.

— Не пугайтесь. Череповецкое море будет почти в четыре раза меньше Рыбинского: правый-то берег Шексны высок, разольется она по левому, и тоже не очень...

Утром в Белозерске из окна гостиницы увидел я темное озеро с парусами рыбаков, сверкающими чайками и осеннюю, слепящую голубизну небес. К рыбакам, под их паруса, хотелось попасть, но рыбаки, бывает, по неделе не возвращаются на берег, и я не рискнул поехать с ними.

Вдоль по набережной, в десяти метрах от канала, тесно стоят лучшие дома города со множеством окон — некогда жила тут купеческая знать.

Шкипер в черном полушубке и солдатской шапке, с которым я, стоя на набережной, затеял разговор, ответил мне с палубы, что его грузовой теплоход идет из Вологды в Ленинград. Спросив, кто я по должности, куда, зачем направляюсь, он подумал порядочное время, оглядел меня и наконец пригласил плыть с ним до Ленинграда.

— Кроме шуток! Поговорим. И отец и дед ходили по системе. Садись. Копейки не спрошу.

Но мне хотелось еще побыть в здешних местах. Я отказался.

В доме на набережной распахнулось окно, и молодая женщина крикнула шкиперу на теплоход, стоявший в канале:

— Заходи к свежему пирогу! Только что из печки вынули.

Сто с лишним лет кряду в погожие дни раскрываются окна в домах по набережной вдоль канала, и жители Белозерска, облокотясь на подоконники, не спеша рассуждают со шкиперами, матросами с пароходов и барж, идущих из Ленинграда и Вологды, Череповца и Рыбинска.

#### 4. В деревне

Из Белозерска задумал я вернуться либо на пристань Чайка, либо в Крохино, чтобы проехать посередине озера. Залез в грузовик, полный футболистов, уезжавших играть с командой города Кириллова. Шумно спорили футболисты, вспоминая выносливость и сноровку своих соперников из кирилловской команды, проявленную теми в прошлое воскресенье. Они, эти белозерские парни, по имени знали игроков Бразилии, Германии, Чехословакии, Швеции, как будто запросто встречались с ними на белозерском стадионе.

Отъехав немного от Дома культуры, ребята спохватились — надо бы взять с собой баян. Сбегали за баяном. Вскоре пустился за нами директор Дома культуры; размахивая руками, он кричал: «Верните баян! Баян! Баян!» Машина прибавила ходу, но человек в расстегнутом пиджаке, с растрепанными волосами пытался все-таки догнать нас. Потом он остановился на перекрестке дорог и долго смотрел вслед машине.

С озера налетели тучи; начал хлестать косой дождь. Машина виляла на скользкой дороге, и дождь стегал нас в лицо справа, слева, в затылок. Спортсмены притихли, плотно прижавшись друг к другу на

двух скамейках, поставленных вдоль бортов грузовика, а я, подбрасываемый на ухабах, скользил между ними, с трудом удерживаясь на ногах.

Во второй или третьей деревне от города, мокрый, злой на себя, вылез я из машины и вошел в первые попавшиеся сени, пахнувшие молоком, свежей капустой. В избе никого не оказалось. Изба большая, с лавками по стенам. Пол поднят над землей метра на два с лишним, потолки высокие, окон много. Лесу тут вдоволь, строятся двух- и трехэтажные хоромины с большим приделом, в котором уместился бы кинозал из какого-нибудь колхоза Калужской или Тульской областей.

Я сушился на горячей печке, когда в дом явилась хозяйка с дочерьми.

— Льет? — спросил я с печи.

— Перестал,— ответила хозяйка, нисколько не удивившись моему появлению в ее доме.— Если тучи с озера — скоро пронесит, а если на озеро — надолго зарядит.

Она с дочерьми принесла с болота полный мешок спелой клюквы.

— Ее там красно-красно, пригоршнями сгребали. Куда клюкву-то? А сдаем в магазин. Год от году дороже и дороже принимают. Нынче — по три шестьдесят за килограмм. Сколько? Да килограммов сорок принесли. Ходит народ, пока не шибко стынут руки. Принимают и бруснику и морошку.

— Одно плохо,— сказала беловолосая девушка,— змеи в болотах...

— Змеи тут водятся?

— В избе, в подполье живут, окаянные...

У хозяйшек моих городская внешность: в яркие ткани одеты, обувь дорогая. С печки я хорошо вижу ботинки и башмаки, в два ряда поставленные под лавкой.

— Этого добра столько забрасывают, что я туфли посылаю своим девчонкам и в Калинин и в Раменье.

Раменск под Москвой здесь перекрестили в «Раменье». Паруса на рыбачьих лодках хозяйка называет «парусьём».

— Чем же славится ваш колхоз? — спросил я, ожидая рассказа о хозяйстве, о трудовнях.

Проворно доставая горшки из печи, моложавая хозяйка ответила:

— Выставляем людей в Вологду по всем видам спорта. Игорь — штангист, первое место по области брал; Женька тоже гири ворочал, да в армию ушел и там гирями играет, а как вернется — снова всех городских зажмет; Юрка, машинист с косилки,— лыжник знаменитый... Кто еще у нас?

Дочери подсказали:

— Альберт.

— Какой Альберт?

— Да ну, с челкой до глаз, на цыгана похож! Ну и назвали же человека! — Беловолосая девушка засмеялась.— И Капитолина Круглова в Вологде от нас, мастер спорта, про нее часто в газетах пишут.

Хозяйка кивнула на младшую дочь с темной косой.

— В Белозерске первое место взяла, в Вологде — второе, да без локтей приехала домой: начисто кожу содрала... На самокатке не знаешь, где убьешься.

Сели за стол, к ухе из душистых снетков, до того прозрачных, что казалось, из стекла они вылиты. Весной и осенью большими неводами ловят знаменитых белозерских снетков. В старину весенние уловы снетка были настолько велики, что крестьянская семья снастью добывала его за путину до восьми—десяти тонн. Нежную и мягкую рыбу эту осторожно сушили в обыкновенных печах. В неурожайные годы из смелотого снетка пекли лепешки.

Разрезая белый объемистый каравай, хозяйка притворно жаловалась:

— Избаловались — за обед не садятся с черным хлебом, а уж про чай говорить не приходится: пирожки, печенье просят.

Дочь постарше сказала:

— У нас доярка за границу ездила, а потом печатали в районной газете путевые заметки ее, с предложениями...

Заговорили о председателе колхоза.

Девушки засмеялись.

— Невидный из себя — толстенький, коротышка. Зимой в шубу нарядится — в «победу» не может влезть. Любой тулуп на нем в обтяжку.

Я заинтересовался председателем после того, как хозяйка сказала, что каждому в колхозе, кто работает, дается по четыре рубля в день, кроме немалого количества продуктов на трудодни, что доярки получают по шестьсот рублей в месяц и даже по семьсот. Это в лесной глухомани, на тощей земле. В старину-то, бывало, здесь к ржаной мучке примешивали толченую кору, лебеду. Да что там старина — годов, поди, пять тому назад весьма скудно жили.

Утром я познакомился с председателем. Невысок, толстоват, глаза быстрые, живые. Он сразу достал записную книжку, заполненную цифрами, из которых легко было понять, что после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, через два года примерно, колхозники стали получать на трудодень впятеро больше того, что получали до Пленума. Нынче доход четыре миллиона: два — от продажи льна и два — молоко, свинина, шерсть.

— Владимир Евгеньевич, вы давно работаете председателем?

— После Пленума.

— А раньше?

— Раньше — восемнадцать лет — секретарем райкома партии. — Он широко улыбнулся, спрятал записную книжечку. — В колхоз — по собственному желанию. Кто приходит сюда, — он указал на свой стул, — с партийной работы в село, тому не боязно.

На «победе» я возвратился к пристани Чайка, затем по Шексне поднялся до Белого озера в Крохино.

## 5. От озера до водораздела

Деревня Крохино — у входа в Белое. В старину здесь перегружали на озерные суда хлебные и другие товары с барж, поднявшихся по Волге и Шексне, — кипела бурлацкая и купеческая жизнь, но путь повернул в обходный канал, и село стало гаснуть: разорились купеческие династии, ушли бурлаки и матросы из Крохинского посада. Еще чуть не столетие тому назад в посаде начали ломать каменные палаты, хлебные амбары, причалы.

У берега покачивается брандвахта — самоходная баржа, в сущности, двухэтажный дом, в котором живут рабочие землечерпалки, прокладывающие судовую трассу большого канала.

Командир земснаряда Алексей Дмитриевич Салов, затянутый в форменную тужурку водника, молод, но производственник он с отроческих лет; не расставаясь с брандвахтой, заканчивает речной техникум. В маленькой канцелярии, скрипящей на волне, Салов сразу становится важным, скупым на слово.

— За лето разработали Солодовские гряды. Так. — Алексей Дмитриевич подумал, покосился в окно. — Снимаем глубокий слой песка и глины. Имеем обязательство в честь съезда успешно закончить к концу навигации прорез канала на четыре километра. — Помолчал, заглянул в бумаги. — Выполним. Соревнуются многие с нами, но мы уверенно держим вымпел.

Смотрим в окно: вдали, на воде — земснаряд. Через двадцать минут поедут в озеро сменщики.



— Можно мне съездить?

— Не советую. Волна с песком, с глиной, даже с галькой — тяжелая, грубая волна.

Мне вспомнились рассказы рыбаков и рыбачек. «Поддень ведерко воды в шторм — грязи останется вершка на два». «Муж вывез меня на волну — чуть с ума не сошла». «Круто гнет парусье на сторону — воды бортом нахватаешь».

Я все-таки поехал на катере с практикантами из Ленинградского и Горьковского речных училищ; в комнатах плавучего дома видел я их за чертежами, за книгами, а теперь, одетые в спецовки, выросшие как будто вдруг, они готовы были в штормовую погоду стоять вахту.

Волны помешали вплотную приблизиться к бортам черпалки, к шаландам, и я не осмелился прыгать на них с катера, как это делали юноши. Позор, но куда деться от возраста? Зато на обратном пути, с другой командой, когда кипящие валы поднимали хвост нашего катера, вышел я из будки капитана и, держась за поручни, спустился на корму. Усталые ребята, тесно сидевшие на возвышении вокруг обширной трубы, удивленно посмотрели на меня, без надобности подставившего спину ветру и брызгам. Волна, крылом своим захватив часть кормы, поставила меня на колени, наказав за ненужное молодечество.

Остаток дня и ночь я сушился на печи в старинной крохинской избе, а утром на берегу, в будке оператора, слушал разговоры о затонувшей барже.

Седой капитан, с обвислыми щеками, в твердом новеньком картузе, говорил по телефону в Ленинград:

— В шестнадцать километрах от берега! Полметра воды на палубе — торчат нос и рубка. Людей спасли. Господи, если бы это пустая консервная банка, а то ведь пятьсот тонн груза. Она была на третьей чалке, под кормой проходила цепь от другой баржи — либо, значит, протерло дно цепью, либо долго стучалась носом в соседнюю баржу и достучалась до пробоины. Вызвал водолазов с брандвахты. Он? Здесь.

Трубку взял очень волновавшийся небритый капитан средних лет. — Зачем пошел? — спросил он и нервно откашлялся. — А зачем посылали? Зачем давать прогноз три-четыре балла, когда на озере восемь? Каналом? Каналом я бы не провел такой воз. Пусть синоптик не вертится. Не философствует. Вывесил бы штормовой сигнал — не пошел бы! А чего теперь философствовать? Выпустил в озеро — нечего вертеться. Оставалось километров двадцать, когда баржи начали отрываться. Был бы ветер навстречу, нас обратно понесло бы и все баржи разметало по озеру. Бакены снесло! — Положив трубку, капитан сказал товарищам: — Надо, говорит, водить каналом. Забивает словами. Если осень — то води каналом.

В операторской зашумели. Озером посылают, а как случится беда — почему не шел обводным каналом?

Конечно, каждому хотелось в озеро, а не в канал — идешь раза в три быстрее, поворотов нет, ну, простор, одним словом, не стукнешься о берега.

Не одно столетие купеческие баржи разбивались в озере, целые караваны терпели бедствие, а все-таки не любили и не любят отказываться от прямого пути здешние водники...

— Прогноз дан, — возмущался старый капитан, — а потом вдогонку тебе начинаются добавления к нему, а я уж на середине озера — что мне с добавлениями делать?

Под вечер сел я на грузовой теплоход «Сысола», идущий с бумагой из Рыбинска в Ленинград. Вскоре на озере увидели мы три кораблика, носами стоящие друг к другу, а между ними две черные точки от затонувшей баржи. Людей не видно, и создавалось впечатление, будто кораблики обнюхивают жертву озера.

— Везем груза четыреста тонн,— рассказывал капитан теплохода Борис Филиппович Иванына, уроженец города Сумы, заканчивающий двадцать пятую навигацию,— а когда будет построен канал, мы поведем здесь и судно другое, и груза возьмем при той же команде в пятнадцать— двадцать раз больше. А сейчас никому не охота огибать озеро. По прямой пройду в четыре раза быстрее, чем по каналу. Это древнейший путь.

— Прежде баржи с грузом от Рыбинска до Петербурга шли по полтора-два месяца, сколько же времени идут теперь такие вот теплоходы? — спросил я капитана.

— Дня четыре, но как только снимут тридцать восемь шлюзов и поставят девять, в два с половиной дня уложимся. А таких случаев с большими судами,— он кивнул в сторону затонувшей баржи,— не будет.

За озером — река Ковжа.

Утром вползли в старый деревянный шлюз и остановились в такой тесноте, что с любого борта ребенок мог перешагнуть на бревенчатую кромку шлюза. Это был водораздел между Черным и Балтийским морями. Сзади остался очень покатый спуск к Череповцу, а спереди был очень крутой — к Онежскому озеру, к Балтике. Борис Филиппович, расставаясь со мной, сказал:

— Остаетесь на горе — сто двадцать метров над уровнем Балтики. На Десятинском перевале посмотрите на все чудеса Мариинки.

Из операторской по телефону он говорил в Петрокрепость, что везет бумагу в разные адреса и необходимо предупредить получателей, чтобы они в кратчайший срок опорожнили теплоход. Я вспомнил рассказ престарелого шкипера Матвея Егоровича Новикова: «По месяцу, а то и по два стояли в Питере с товаром — зерно за дорогу отсыреет, затхлое станет, и никто не берет его. Купчишка мечется по Питеру, как ошалелый, хлеб за полцены согласен отдать, а суденышко — на слом».

Проводив теплоход из шлюза, пять женщин пришли в операторскую завтракать — ели горячую картошку из кастрюли, струившей пар. На плите клокотал пузатый чайник, пахло свежей заваркой.

Началась утренняя пересмена. Отдежурившие восемь ночных часов сдавали дневным не только шлюз, его деревянные вороты, но и кастрюльки, чашки, ложки, ножи, сахарницу, ведро.

## 6. У водораздела

Инженеру Юрию Викторовичу Дмитриеву двадцать семь лет. Он коренаст, широк в плечах; ладони жесткие, в ссадинах. Еще будучи в средней школе, начал работать грузчиком, был грузчиком и когда учился в институте. Из Ленинграда послали в Вытегру на ответственный пост, но попросился на канал.

— На брандвахте у меня суровый закон: пьяных не должно быть. С неисправимыми пришлось расстаться. Что у меня самое главное? — Он смотрит мне в глаза, как будто я должен догадаться, что у него самое главное, и сказать об этом.— Люди. Характеры. Душа человеческая — вот основное и на земснаряде, и на заводе, и в колхозе... Смирнов был у нас — только и целился сшибать верхушки, прятаться за чужую спину. Матросы поедут якорь переносить, а он сидит-посиживает. Лодырь высшей марки. Пришлось уволить.

Потом он заговорил о себе.

— Стал я ее просить, а она не захотела.— Он, видимо, продолжал вслух свои мысли.

— Кто?

— Жена. Разошлись по идеологическому вопросу.

— По идеологическому? — насторожился я.

— А как бы вы сказали? Ей — жить в большом городе, а мне в лес, в болота, на канал хочется. По-моему, тут идеологическое расхождение. — Он вздохнул.

— Дети есть?

— Да вот в том-то и дело — сын. Пытаюсь вернуть семью, но пока безрезультатно.

Я заметил на столе пепельницу из глины — еще не сработана до конца, но в двух матросах, стоящих на ее высоких краях, угадывались энергия, сила.

— Да нет, не очень это хорошо. — Юрий Викторович поморщился. — Анатомию не знаю. Увлечение самоучки. — Он раскрыл большой альбом с рисунками карандашом.

Судить о мастерстве скульптора и живописца Дмитриева не берусь, но в альбоме увидел я его товарищей по работе. Вот Борис Быков, первый помощник, вместе с матросами занят перекладкой якорей, натягивает трос — ветер распахнул его стеганку, треплет волосы, но Быков, занятый делом, уперся крепко в чугунную тумбу.

— Верно подмечено, — сказал сам Быков за моей спиной. — У Семки только ноги длинноваты да штанина чересчур захлестнулась.

Быкову тоже двадцать семь. Зимой — в техникуме, летом — на канале, а в прошлом — плотник. Богатырски сложенный северянин с огненной шевелюрой.

На следующих листах — матросы, прораб, старая-старая часовня, газету читают в обеденный перерыв, сказку слушают у костра, пристань, река Свирь, берега Онежского озера, стожки сена, похожие на шапки, уборка урожая на взгорье, старые шлюзы на Девятинском перевале.

— Если их не сфотографируют, — сказал Юрий Викторович о шлюзах, — то рисунки мои, хоть и плохие, останутся памятниками — Маринка прослужила народу сто шестьдесят лет.

Иду в лес.

От Ковжи, соединенной на водоразделе с Вытегроей, четыре снаряда рыли канал по древнему искусственному руслу, заброшенному лет семьдесят тому назад. Ход, заросший кустарником, осинами, елями, едва угадывался по отлогим берегам. Лесорубы и тракторы готовили путь для снарядов, снимая вековую тайгу там, где новое русло канала не совпадало со старым. Я шел мимо болотистого поля вырубками, до того густо покрытыми крупной клюквой, что она казалась посеянной здесь. Брусника, клюква, рябины в ягодах, осинник, березки, словно застыдившиеся своего багрянца, — все это было так ярко под чистыми небесами... Я вздрогнул, испуганный, застыл на месте — зашевелился пень! Людей поблизости не было, а старый пень, обросший мхом, зашевелился, точно Змей-Горыныч из народных сказок. Вот он склонил свою голову, и корни его, еще не обессиленные давнишней смертью, подняли за собой толстый круглый щит налипшей земли. Пополз, поехал чудовище-пень, сокрушая все на своем пути. Я побежал за ним, чтобы узнать, какая же сила потянула древнего старца, и оказалось, на шее у него была стальная, крепко захлестнувшая петля, концом уходившая далеко в лес. Всесильный мотор тащил этого дядю, прочно угнездившегося в земле. Мне вспомнилось детство: покорчевал я их, такие пни, вдосталь помаялся. Бывало, сперва обрубаешь корни вокруг него, топор быстро тупится о землю и о корни, крепкие, точно кость. Рубишь, рубишь — сил нет! Подпалишь его вместе с кучей хвороста. Хворост сгорел, а пень остался, словно чугунная болванка. Беремся за дело вместе с отцом. Лошаденок впрягаем. Постромки рвутся, ноги дрожат у потных лошадей. Вороны, каркая, кружатся над нами. Мы чуть не плачем с отцом — пашня нужна, а пень мешаает. Выволочем окаянное чудовище, но плуг не проходит в почве, переплетенной корнями. Отец гонит меня от плуга — отдохни, мол, немного, а я кнутом по лошадям, наваливаюсь на плуг,

топор хватаю — и по корням, по корням, а потом снова за кнут. Э, кони, кони, друзья мои милые, страшен был человек, хозяин, до крови арапником обдиравший костлявые ваши хребты, чтобы вспахать в лесу какую-то осьмину неплодородной земли!

...Вхожу в светлый дом на горе. Парень в боксерских перчатках дубасит по мешку с опилками, подвешенному к потолку. Полный мешок опилок, а из устья сено торчит. Азарт у парня такой, что мешок летает на привязи.

— А на канале что делаешь?

— Электрик — силу там не истратишь. Окончил Московский железнодорожный техникум имени Дзержинского. Москвич.

На столе книжки Алексея Толстого, Овечкина, М. Кольцова, трубка, рассыпанный табак, стихи на листках из тетради. Читаю:

#### Земснаряд

Ревет, гудит, визжит мотор,  
Вращая вал огромный.  
Где мы пройдем — вода, простор,  
Бегут, резвятся волны.  
Пройдем по торфу, по песку,  
По глинам и суглинкам.  
Пророем мы канал-реку  
В нелегком поединке...

— Вы поэтов больших знаете? — спрашивает он. — Возьмите мои стихи, дайте им почитать. Тут у нас медвежье царство. Шумел я — организовали кружки: струнный, драматический. Кино два раза в неделю... На весь поселок одна девушка, да и той года двадцать четыре. А мне — девятнадцать. Мог бы в Москве остаться. Жениться надо. Кроме смеха! — Он толкнул опять мешок с опилками. — Ружье вот купил. Если бы Петр Первый канал не строил, я бы не жил тут...

Недалеко от поселка, в котором живет этот парень, на широком постаменте стоит обелиск с надписью: «Зиждитель пользы и славы народа своего Великий Петр здесь помышлял о судоходстве. — Отдыхал на сем месте в 1711 году. Благоговейте, сыны России! — Петрову мысль Мария совершила. Начат сей канал 1799 года по повелению супруга Ея, Императора Павла!..»

С высокого берега долго добирался я до единственной девушки поселка. Двое влюбленных в нее недавно уехали; третий, по рассказам прораба, настрадавшийся, тоже просит расчет. «Выходила бы скорее замуж — нам бы спокойнее». Какова же она? Искал к ней тропу с откоса, заросшего редким сосняком, осинками. Густой, мягкий мох, цветом похожий на белую степную полынь, пружинил под ногами. Вместо тропы попалась рыжая труба диаметром немного поменьше паровой, влево она уходила в лес, вправо спускалась к болоту. Пошел по трубе, приподнятой над кочками. Через трубу лилась от земснаряда жидкая земля — пульпа. Миллионы кубометров земли, вытянутые из-под срубленных лесов, уйдут жидкой кашей через эти трубы, чтобы освободить место для канала. Казалось, легче фокуснику в цирке скользить по гнущейся стальной ленте, чем балансировать по этой мокрой трубе, рискуя свалиться в болото. Ни клюква, ни осока, ни пушица с белыми волокнами цветков, напоминающих малюсенькие флажки, ни ядовитые хвощи, ни плаун, из которого народ добывает желтую краску, — ничто не привлекало моего внимания, сосредоточенного на трубе.

У нивелира с треногой стояла девушка в резиновых сапогах, до половины голенищ погруженных в болото. Широко расставив локти, черноокая украинка глядела в окуляры на женщину с рейкой, находившуюся метров за полтора от нас, и заносила цифры в тетрадь.

— Слежу за трассой, — деловито объяснила она.

— Это, должно быть, очень ответственно?

— Не очень.— При улыбке круглые щеки ее стали еще круглее, веселые темные глаза еще веселее.— Я только слежу за правильностью выполнения гидропроекта. Зовут — Ольга. Ольга Петровна.

Нет, на Волго-Доне она не работала — еще не старуха, но в Казани была с таким же вот нивелиром, так же размахивала руками, очеркивая берега будущего моря.

Ветер прошел над хмурым лесом. Ольга, склонившись к трубке нивелира, начала махать своей тетрадкой женщине с полосатой рейкой.

— Люди жили, а поэт наш говорит — невозможно жить. Пробирайтесь к земснаряду по кочкам, вон к тем сухим березкам — повыше место.

Черпая башмаками воду, я добрался до крутого обрыва и далеко внизу под собой увидел земснаряд. К нему примыкала уже известная мне рыжая труба, тянувшая в себя жидкую землю. Людей на снаряде не видно. Да и много ли там людей! Два матроса, электромоторист, механик в машинном отделении, начальник смены и человек у гидромонитора. Я уж наслышался об этом самом гидромониторе, исключительно важной принадлежностью снаряда, и рисовался он в моем воображении сложным чудовищем, а между тем с виду он очень прост — похож на брандспойт, из которого московский дворник в жаркий день поливает улицу. Только струя из монитора несравнимо более мощная — мельчит она двухметровую залежь известняка, прослойку глины и пласт торфа, нависающий над земснарядом. Она, эта струя, и делает жидкую кашу из земных пород, отправляемых затем по трубе километра за два в Маткозеро.

— Неужели весь канал пробивают этим способом? — спросил я начальника земснаряда Файзулова.

Файзулов, черный, с роскошными бровями, в брезентовой спецовке и резиновых сапогах, показал на пласт чистейшего торфа.

— Болото! Здесь нельзя поставить экскаватор.

— Жаль торф.

— А что сделаешь? — Файзулов развел руками.— Он кое-где идет стеной метра в три, когда отклоняемся от русла старого канала. Топливо? Тут дрова некуда девать!

— А удобрение колхозам?

— Вот на удобрение-то можно бы, да их сюда не заманишь, колхозников... Вот и размываешь его в порошок...

— Ну, а если бы здесь поставить заводик по переработке торфа?

— И так — беда, а заводик поставят — десять бед! Скажут: постой, погоди, мы сперва торф уберем...

Неотрывно смотрел я на злую белую струю воды, хлеставшую по торфу. Тяжко здесь прокладывать канал, ведь заодно с торфом, с землей к снаряду обрушиваются многометровые корни, камни.

— Главное не тут, — сказал Файзулов, — главное — шлюзы, бетон и железо! Каналы копать при нашей технике — не задача: не возьмем водой, возьмем взрывчаткой...

Я выплеснул воду из башмаков, досуха выжал носки, обулся и берегом канала, перескакивая через трещины, образовавшиеся как бы после землетрясения, пошел к рыжей трубе, чтобы по ней вернуться обратно.

Все-таки я увидел здесь и экскаватор. Щелкая железными челюстями, он глубоко зарывался в землю стальной мордой. Поворчит, поищет что-то зубами — поднимает старые бревна, чурки, доски шлюза, сохранившиеся под корнями деревьев.

— Вот сколько годов минуло, а брусья из-под земли от старого шлюза целехоньки — лучина отдирается на растопку, — рассказывала мне в своем домике хозяйка моя, Александра Агафоновна. — Папа Агафон Гаврилович Гаврилов, царство ему небесное, двадцать три года царю отслужил, с турками воевал, а потом поваром был у офицеров, когда тут шлюзы строили, а потом с конем зачаливался под баржи...

Незабываемы беседы со стариками.

По берегам больших рек в старину тянулись бечевники — широкие полосы земли для нужд судоходства; на такой полосе, выбитой лошадьми и бурлаками, дед с бородой, яркой, как солнце, похожий на проповедника, говорил мне:

— Ленин первый услышал от земли нашей: «Освободи ты меня, батюшка, дай мне вздохнуть, несметная сила во мне придавлена». И он призадумался, припечалился вместе с честными людьми, а потом и освободил ее, землю, и народ лямку сбросил. Против Ленина любой маленьким кажется.

Парень, глаз не сводивший с рассказчика, спросил:

— Кем ты был?

— Я? Шкипер. Двадцать пять лет ходил на белозерках да на коломенках при старом режиме да тридцать лет — при новом. Еще походил бы, но слушать не стали охальники вроде тебя. И взял я пенсию от Хрущева за старый режим и за новый.

Другой, восьмидесятишестилетний старик, Матвей Егорович Новиков, тут же, на берегу, вспоминал:

— С двенадцати годочков я на баржах. Шкипер кричит бурлакам: «Пряжка! Матвейко, вари обед!» Ершики сушеные, каша пшенная с постным маслом. Наелись — в новую пряжку. Часа два прошло — шумят тяглецы: «Шкипер, вынеси хлеба скибку!» Дашь по ломтику, пожуют — опять пошли. Умер детина в хомуте. Выпотрошила его комиссия — семь фунтов каши съел, дорвался голодный, а она разопрела в желудке. Я мальчиком был при бурлаках. Вечером не с одного судна соберутся у костра. Сказки, песни про Волгу и Каму. И отец всю жизнь на судах. Вино пил отец, а я вино не пил. Наша первая изба стояла у озера. Два дома сломало волной, волна железо ломает. Избы нет. Задумал я разбогатеть и уехал на Обь-реку. Год прожил в Сибири, сам себя потешил и вернулся. Ходил на парусах, мачта в десять сажен. Ветер пошел — поскорее бы пробежать озером. Ветер пал — якорье положили, стоим. При этой власти на озере фонари, путь и ночью обозначен, а при той не было. На эту я не обижаюсь. Девоч при этой выучил — все в Питере, и все, ведьмы, не помогают отцу. Я каждое судно для Советской власти берег — на зимовку снасти смеряю, проверю, воду откачаю. Шесть девочек выучил. Скажи ты, пожалуйста, откуда такие ведьмы берутся? Спрятались девки в Питере, копейки не дают.

Не терпелось на бурлацком взгорье третьему старичку — скороговоркой спешил вмешаться в беседу:

— Тоже, батюшки, и купеческая жизнь была нелегкой. В привычку вошло оглядываться да в купца плевать, а маялся и он, грешный. Плывут баржи Охлобыстина, Жеребцова, Милютина — все ворота открыты, а тащится мелкий купчишка — у каждого шлюза рогатки: и подходящих лошадемок в тягу не зачаливают, и лоцман где-то загулял, и солдату из полицейского надзора полтинник дай. Шлюзовые куда-то ушли. Не поспит купчик — шлюзовые придут. Лавочник тоже страшный вредитель, он спит и во сне видит: сломайся шлюз, остановятся баржи, погуляют денька два в моем кабачке матросы. Судоходный надзор останавливал, когда ему вздумается и где вздумается. Мала взятка унтеру — слышишь крик: «Подбирай бечеву! Кони вычаливаются!» А купец мечется: «Милые, ребяташки, время-то дорого мне, ждут меня с товаром!» Общипанным доберется до Питера барышник, хоть сам потом запрягайся в лямку...

— Ой, да кого ты жалеешь! — перебила рассказчика Александра Агафоновна, прибежавшая на набережную позвать меня к обеду. — Меня слушайте. В девятьсот пятнадцатом за сутки по шестьдесят судов пропускали через шлюз, а теперь двадцать пропустят — и на Красную доску записываются, а тогда ее не было, Красной доски, и рукавиц не давали — голыми руками хватались за мокрую чалку. Не попадало что-то

мне взятки от купцов. Сутки маешься да сутки отдыхаешь, а ноне три смены, да начальник шлюза — ему совсем нечего делать, только два раза в месяц за полчаса ведомость составляет на зарплату. Баринэм прилип к делу. Тошно смотреть — обленились у казенного каравая! Про нас бы вспомнил, а то купчишка на уме...

### 7. Спуск с высокой горы

Долго еще с парохода виднелась косяя черная избушка Агафоновны на зеленом остром бугре, около зубчатой кромки темного леса.

Через семь километров начнем круто спускаться вниз к уровню Балтики, но эти семь отличаются от всего пройденного и будущего пути. Шестьдесят пять лет тому назад кайлом и ломом пробили здесь канал в сплошном камне между Ковжей и Вытегрой. Встречаются по отвесным берегам подмости, с которых камень грузят в баржи. Трехтонка, прочно зацепившаяся колесами за обнаженные корни сосны, повисла над водой, как игрушка. Кудрявый молодец в рваной тельняшке понуро стоял у машины, чуть ли не всем кузовом повисшей с каменного обрыва.

Ехавший на пароходе подросток — толстогубый, курносый, в измятом картузе, — плюнув за борт, сказал о шофере в тельняшке:

— Ванька Соколов. Тормоза давно не дюжили у Ваньки Соколова. А спидометры он сразу сорвал — надо шельме калымить направо и налево.

Старый цыган, сидевший в проходе на четырех хомутах, как владыка на троне, сказал про Ваньку Соколова:

— Испортился народ.

Я спросил цыгана, откуда он везет хомуты. Цыган, сохраняя достоинство, с пренебрежением покосился на мою шляпу.

— Не ворует, батюшка. Это вам, извиняюсь, летят в рот жареные куропатки, а нам не счастливится. Три колхозу связал за сто пятьдесят целковых, а четыре везу на базар.— И долго смотрел на осенний лес под солнцем, на пестрый кустарник, а затем неожиданно воскликнул: — Жар горит, братцы! Осина-то, осина разыгралась!

Миновали яркий осинник, темный бор; по низинке — сплошное поле серо-зеленой осоки, кривые березки, еще в детстве погибшие, ветвистый, похожий на ленты, ежеголовник, очеретник белый, любитель торфяных болот, какие-то широкие листья, точно красные языкастые флажки, почерневший стожок сена с нахохлившейся птицей на острой макушке, и прямо по болоту — валуны лысоголовые, обточенные еще Скандинавским ледником. Вот остатки сгнившего мостика, по которому шел бечевник.

На Девятинском перевале пароход начинает круто спускаться со ступеньки на ступеньку — из шлюза в шлюз. В широкой раме синеющих гор, покрытых лесом, с палубы далеко заметны водные площадки одна за другой, как ступени громадной лестницы. Вспоминается Южный Урал где-то у Златоуста, но только без труб и дыма.

Пароход сел в полный шлюз, выпустили воду из шлюза древним способом в другое хранилище, пониже, продвинулся метров на двести и снова начал садиться до уровня следующего шлюза. И опять наваливаются женщины на рычаги скрипучего ворота, чтобы открывать и закрывать заслонки в деревянном дне. Тесно судну в бревенчатых ложах, до того тесно, что на пузатых боках его понавешены предохранительные бревна, порядочно изношенные от частых соприкосновений со стенками шлюзов.

У Девятин капитан, перешагнув с борта на шлюз, ушел в село, а мы поплыли без капитана. Протащились еще через два корыта, капитан вернулся к нам с берега, бросил на палубу попку — кирзовые сапоги, связанные за уши веревочкой, и снова отправился в село. Вскоре капитан шел берегом вслед за своим пароходом, по древнему бечевнику, под руку

с женщиной. Чудеса! Плывет судно по реке, а капитан по берегу прогуливается, появляясь то впереди него, то за кормой. Официантку из нашего ресторана увидел я далеко на берегу — лузгала семечки на скамейке. Даже в старину пассажиры, потеряв терпение, расставались здесь с пароходом, пешком уходили в Вытегру или уезжали на почтовых лошадях. Опустела и наша палуба — народ перебрался в автобусы, в попутные грузовики. Остался цыган с хомутами, женщины с бочками огурцов и я. Цыгану хомуты мешали перебраться в автобус, торговкам — бочки, а мне — обязанности журналиста.

В одном из шлюзов женщины увидели за бортом на площадке своих белозерских землячек, возвращавшихся из Вытегры с пустыми бочками. С палубы губастая тетка в полосатой шали, похожей на одеяло, закричала своим приятельницам:

— Огурцы-то просят?

— Просят! — ответили ей.

— А почему берут?

— А по четырнадцать за кило...

— Да но-о? — Тетка сдвинула шаль со лба. — В магазине-то нет, что ли?

— В магазине мясо есть! Не забудьте взять — тоже по четырнадцать за кило...

Старуха, на палубе стоявшая рядом со мной, вопрошала визгливо:

— А морковка пойдет?

— Морковка не пойдет!

— Не просят, что ли?

— Привезли морковку в магазины!

— А лук?

— Белый просят — подавай только, а красный не просят.

— Да с морковкой как же? Мешок ее везу.

— А не продашь. Мы два дня промаялись с морковкой.

Цыган, подмигнув мне, сказал:

— Идолы.

— Кто?

— Начальство в Вытегре. Сельпо не берется торговать огурцами и луком, а белозерская баба смело едет с огурцами. Баба оборотиста, а чиновник на жалованье — в рот жареные куропатки! — Цыган оглянулся на свои хомуты, вздохнул.

По прибытии в Вытегру зашел я к работникам райпотребсоюза: возмутительно ведь — огурцы в одной цене с мясом! Липы дородные шумят листвою по улицам Вытегры. Почему же огурцам не расти? Службист с карандашом за ухом, играя костяшками счетов, лениво указал головой в окно на райисполкомовский дом.

— От них зависит.

— Почему от них?

— Потому что на месте не решали проблему огурца. А нам несподручно ехать за сотни километров сватать эту овощ, как невесту.

## 8. Шоферы

До революции Вытегра — столица Мариинской системы, дворянско-купеческое гнездо. Герб города — судно с распущенными парусами. Здесь жил начальник правления округа путей сообщения; чуть не под окна его кабинета спускались баржи с Деятинского перевала.

В Вытегре, как и в Череповце, Белозерске, — старинные каменные дома на непоколебимых фундаментах, с толстыми стенами, сработанными навечно. В домах по набережной — контора стройки Волго-Балтийского пути, здание райкома, почта, магазины, большой клуб речников.



Ранним утром со всех улиц на разводной мост собираются коровы с колокольчиками на шеях. Город — в звоне колокольчиков.

Ушли коровы с улиц на пастбище, появляются «МАЗы» — большие, угрожающе гудящие грузовики; земля под ними дрожит, оконные стекла в домах позванивают. К одному шлюзу, что строится рядом с городом, «МАЗы» везут песок, к другому — в Белоусово — возвращаются с глиной. Порожняком пробега нет.

Я ехал в просторной кабине грузовика. Дорога трудная. Чтобы в кабине головой не стукаться о потолок, я крепко, обеими руками, держался за скобу впереди себя. Спичку зажечь хотел — подбросило меня с подушки к потолку. Шофер, парень с румяными щеками, остановил своего великана, сказал:

— Дороги надо сперва проложить, а потом браться за стройку. На собраниях поют: приканальная дорога будет, бетонная, шестиметровое полотно от Вытегры до Деятин — сорок четыре километра. Когда же она будет? С будущего лета начнут ее строить. А почему с будущего? С нее бы и начинать года три назад, и шлюзы нам обошлись бы раз в десять дешевле! Прошел дождик — неделю стоим! Ее, окаянную, каждый месяц улучшают — камень кладут. Но я спрашиваю, зачем настилать камень, когда прочной подошвы нет? Камень на глине пружинит под моим грузовиком, он же тяжелый, как паровоз. Ее улучшают, а она все ухабистее и ухабистее. Вы не из главного управления?

— Нет.

— Не ревизор?

— Нет.

Шофер помолчал.

— Если бы знаменитый наш Главморречстрой из собственного кармана тратил денежки, он бы дело с хорошей дороги начал, но денежки — из народного кармана, и ему все равно, с чего начинать, лишь бы топтаться на месте.. Я не злой. Я за правду стою. Третий год работаю здесь, и если я не скажу правду, кто ее скажет?

На горке, слева от нас, появилась бревенчатая хилая часовенка. Тут будто бы встречался Петр Первый с местными жителями. Петербург начали закладывать на болотах в 1703 году, а в 1710-м по приказанию царя к вытегорцам приехал англичанин Перри, искавший водный путь от Волги к будущей столице. Через год сам царь появился на вытегорском погосте.

— Был он мужик с головой,— сказал шофер о царе,— города еще нет, а ему дорога нужна к городу от самой середины государства. На том вон бугре, где часовенка, рассказывают — Беседная гора: вышел он к народу. Бородатые старики исподлобья зверями смотрят на бритого царя. А он с характером, он первый говорит им: «Вы тигры!» Она и получилась Вытегра с тех пор.

Поблизости от строящегося канала мы проезжали мимо двадцатиглавной церкви на вытегорском погосте, построенной примерно двести сорок лет назад. Деревянная, сработанная без единого гвоздика, она не покосилась, не приуныла еще. Двадцать маленьких куполов, очертаниями похожих на луковицы, расположенных на разной высоте, ступенчато группируются поверх крыши и стен; ниже куполов — шейки их, затем двух- и четырехскатные, словно игрушечные, крыши, незаметно переходящие в стены, а уж по стенам легко угадывается крепкий сруб самой обыкновенной северной избы. Изящная, легкая, веселая, из колыбели самобытной русской архитектуры, созданная только топором мужика, церковь эта в стране имеет единственную сестру свою — в Кижях на Карельской земле.

— Музей? — спросил я.

— Ага, ключ у председателя сельсовета. Дает. Внутри ничего выдающегося: плоский потолок, как в доме. Ангелы с крыльями нарисованы, иконостас. И вот, понимаешь, диковина какая — каменный фундамент

крошится, а бревна не трухлявятся. Ее убрать от дороги бы, а то растрясем грузовиками... Ну, побывал он — царь, значит, — за Девятинами, за Рубежами и этим же путем торопился обратно. Ямщики лошадей не подают, а у него со шведами неполадки — минута в цене, а горяч был. Тут, в общем, по деревням рассказывают... Может быть, неправда... Старик заспорил, царь выхватил саблю, а из-за спины старика вывернулся парень — сын его... Отсек парню голову. Ну, что делать? Приказ: ставьте церковь на этом месте! Сколько парню годов было? Двадцать? Делайте у церкви двадцать глав! Она, значит, на крови на крестьянской цвела, не старилась...

Слустились в лошину, затем натужно поднялись в гору и по свежей насыпи стали съезжать к Белоусовскому шлюзу будущего Волго-Балтийского пути. Шлюз в глубокой яме поражал размерами — был он похож на очень длинный, примерно семиэтажный, еще недостроенный дом без перегородок внутри. Трехэтажная высота железобетонного гиганта будет зарыта в землю, подвозимую сюда, этажа три скроются под водой, и один только останется на поверхности, да еще возникнут будки, в которых спрячутся механизмы.

Шофер, ссыпав глину из самосвала к голове шлюза, указал на фундамент.

— Под нами два этажа, считайте. Поработано, слава тебе, господи. Канал рыть — пустяк в сравнении с постройкой шлюзов. Одной глины знаешь сколько свалим к нему со всех четырех сторон? Подушка называется! Гора кавказская, а не подушка!

Тон задают на стройке, сказал мой спутник, шоферы, экскаваторщики, трактористы, бетонщики. Он гордился своей профессией — недавний солдат, очень молодежавый, лицом похожий на девушку; его большие светлые глаза с мягким блеском любовно оглядывали высокие стены шлюза.

Он поехал за песком для второго шлюза, а я поднялся в диспетчерскую будку автобазы и спросил у диспетчера, как работает Владимир Лущик.

Человек семь испытующе, с любопытством, дерзко даже смотрели на меня — зачем это понадобился мне Владимир Лущик, для чего я допытываюсь, кто он, где работает. Один из них, с лицом желтым, изъеденным оспой, спросил:

— Предполагается написать о Лушике очерк в газету. Верно?

— Допустим...

— Не «допустим», а верно. Наговорил вам о Володьке парторг, да вы посмотрели еще на Доску почета. Секретарь комсомольской организации, принят в кандидаты партии, проценты самые высокие — как приедут к нам из газеты, так первым долгом торопятся к Лушику.

Коренастый парень обхватил в поясе вместе с руками разговорчивого молодца с желтым лицом и понес из диспетчерской, а тот, сдавленный, болтая ногами, старался высвободиться из его объятий.

— Дайте высказаться! Ну дайте же высказаться!

— Ну, так и быть, — мирно ответил силач, — махни речугу.

— Итак, товарищи, — полушутливо сказал шофер с желтым лицом, изображая оратора. — Мы тоже демобилизованные из армии, как и Лущик, приучены к дисциплине... Да заведись хоть бы один среди нас лодырь, жизни ему не стало бы — гнали бы его, как паршивую овцу. Вот перед нами Ян, граждане судьбы. Он второй год без ремонта работает на своем бульдозере, и проценты заскакивают за проценты... Но и Лушику никто не похает — язык не повернется назвать Володю плохим работником, только Володе третий раз за год дают новую машину, а Ян еще два года проработает на старой. Привозят из Минска партию машин — пожалуйста, Володе, и он не оглянется на ту, с которой ушел. Он опять, как

говорится, ездит без сучка и задоринки. Стройке герой нужен. Вот и вы приехали к герою.

Коренастый спросил:

— Кончил? Можно выбрасывать тебя за дверь?

Смех смехом, а шофер правду сказал. С десяток водителей за год с небольшим по третьему разу сели на новые «МАЗы», зато приехавшему новичку дают всегда старую машину, будь он прекрасным водителем, и забывают о нем, если он еще два года без ремонта ездит на древнем грузовичке.

Часом позже, у церкви, ждал я Лущика на дороге — сесть к нему в кабину. Шоферы стройки охотно берут попутчика — пятерка не помещает. Увидев уже известный мне номер на борту грузовика, я поднял руку, но Владимир не остановился.

Взял меня грузовик, идущий за ним.

— Лущик проехал? — спросил я шофера.

— Лущик. Одиннадцатым рейсом идет.

— А вы?

— Десятым. Ездит не быстро, а никто его, черта, догнать не может. Не в том дело, что новая машина. У многих новые — плакаться нельзя, моя тоже...

На следующий день я обедал в семье шофера, с которым сделал первую поездку. Живет он на горе в новом доме — три комнаты, кухня, кладовка, чуланчик. За столом разгорелся спор между супругами: здесь жить им, когда канал построят, или уехать. Он: ко мне, в Смоленск! Она: нет мест лучше наших! Он стал северян хаять, она — смоленских. Он возмутился, сказал, что после сентябрьского Пленума в смоленских деревнях жизнь стала много лучше.

— Ты же сама там была!

— Не отказываюсь, была... В последние два года денег получают по многу тысяч. Дома ставят, не охают и не стонут. С Пленума они пошли и пошли... — Но свела разговор мало-помалу к тому, что близ Вытегры жить все-таки веселее. — Глянешь с бугра — Никольская гора, да Барская гора, да гора Алексеевская. Садись в беседку отдыхать да поглядывай на холмы, деревеньки, на канал. Сам говорил: история, царь Петр на Беседной горушке отдыхал. Никуда мы не поедем! — Она улыбнулась, кивнула на детей, запрягавших kota в тележку.

— А в Смоленске мало истории?

Спор закончился мирно — теперь всюду неплохо живется.

Во многих семьях вытегорских строителей, женившихся на северянках, затеваются подобные споры — скоро проложат глубокий корабельный ход нового пути, и шоферы задумываются: в Смоленск ли уехать, в Курск ли, остаться ли в северных лесах?

## 9. У первого шлюза

Прошу прощения у читателей — небольшой рассказ об охоте на медведей вынуждает меня на минуту вернуться к деревне Крохино, расположенной у истока Шексны из Белого озера.

В Крохине, где, по преданию, был древнейший Белозерск и правил в нем будто бы Синеус, Рюриков брат, проснулся я утром в большой избе, глянул на корзину со свежей рыбой, на косматое пламя в печи, на половики в пестрых полосках и почувствовал себя дома, в детстве.

Простоволосая хозяйка, в сапогах, чистила живую рыбу. Зажмет крепко в кулак щуку, стукнет ее головой раза три о край стола, потрошить станет, а щука опять бьется, рулит хвостом, вырывается из рук.

Девочка на лавке заплакала.

— Мама, не колоти рыбку!

Пололам разрезаны рыбы, а подскакивали и бились еще в чугушке, когда хозяйка на ухвате несла его к печи.

— Отскакались,— сказала она сердито в печь,— там не разгуляться.— И обратилась к хозяину, лежавшему на печи:— Народ ныне совсем разбаловался. Какой ты мужик, если медведя испугался? Легче стало жить, нищего не увидишь, вот и медведей забоялись. Да в ём центнер, а медвежатину в Белозерске на базаре продают по двенадцати рублей за килограмм!

— Не грызи ты меня,— ответил хозяин с печи,— глупая. Их трое было, а я один.

— И стрелял бы в троих!

— Иди сама стреляй...

Овес у белозерцев созревает под самую осень, даже в сентябре он впрозелень. Медведи ходят на сладкий овес у кромки леса — загребают лапами, сосут колосья; изомнут, истопчут, убирать нечего. Хозяин с вечера забрался на суковатую сосну среди овса и терпеливо ждал медведя. Где-то около полуночи зашумел зверь, завозился. Хозяин выстрелил. Но медведей оказалось трое, и они шарахнулись к сосне; перепуганный охотник свалился с дерева и побежал домой без оглядки, а медведи — в лес. За это хозяйка и ругала мужа, лежавшего на печи.

Хозяин ответил:

— Ты хоть бы человека постыдилась... Со стороны подумать — голодная из голодных. Рядом рыба, покос, грибы, ягоды, работа на шлюзу, а тебе еще медведи нужны...

В Белозерском и Вытегорском районах вдоволь наслушался я разговоров о медведях. «Овес истоптали, мох изрыли — тащат в берлогу». «Вышел я на опушку, а он по бечевнику тяжело ступает, как бурлак. Стреляю — заревел, слышь, как будто лямку на его накинули». «Уселся между камнями да с высоты и поглядывает на земснаряд, на трубы — тоже интересно.— Мишка! Это что за смелость? — А он шарахнулся в кусты, след свой устрепал».

— Она за дело упилила его,— сказал мне потом один вытегорский охотник.— Срамота: упал с дерева. Другие с ружьем садятся прямо в овес. У меня так заведено: я на дерево, а по-нашему, на лабаз, на сучья залезу, а ты с песнями уходи от меня, чтобы слышал он — убрался человек. А то подъезжаем двое к дереву верхом на лошадях, я прямо с коня — на лабаз, на скамеечку, а ты с лошадьми — долой, чтобы кони были да уши, а человеческого следа нет. Мой внучек четырнадцать лет с лабазы ухлопал медведя на девять пудов. Рябины не было — страсть как пошли на овсы. А я летось час ходил с медведицей в обнимку.

— В обнимку? — удивился я.

— В обнимку. Прихватил ее за шею, и похаживаем двое в густом овсе.

— Да ис-о?

— Что но-то? Из-за елки встретились нос в нос и не оробели. Обнял за шею, она туда-сюда, а я — не балуйся, милая! — Старик показал сухие, жилистые кулаки.— Ты не слышал обо мне? С утра до полдня одной рукой точило кручу, а с полдня до вечера — другой. Двадцать зазубренных топоров на точиле поправят, а у меня в руках устали еще нет. По снегу босиком в баню, босиком из бани... Так она и кружилась в обнимку со мной, да уж больно пошатывать стала. Спотыкался о комья, когда колхозники с ружьями поспели. Не страсть матерая, но и не мелкотье.

Начал я об этом рассказывать охотникам Вытегры, и они хором ответили мне:

— Было, было, не врет, но медведица помяла его — ребра треснули, на печке зиму отлеживался.

Вытегорский охотовед Владимир Григорьевич Июдин долгое время служил в лесной авиации, любит север — с неба нагляделся на родные дебри, озера, реки, побродил по лесам, болотам.

— Утка перекочевала на Рыбинское море, — жаловался он. — Ждем ее обратно, когда новый канал поднимет большие водоемы. Рябчик, глухарь, тетерев, куропатка — этих много. Двадцать егерских участков на вологодской земле. Заказник пятнадцать тысяч гектаров. Лось, медведь, волк, лиса, выдра, ондатра, енотовая собака. Ондатры охотник один за сезон пятьсот шкурок сдал.

— А медвежьих много сдают?

— Медведь не ондатра, не заяц. Илья Мелдов из Ежозера за год три шкуры сдал, да ушло от него три медведя. Мелдова удачником называем. Еще петли ставят на медведя — трос цинковый обжигают, чтобы помягче был... Петли не охота...

Среди рабочих на канале Волгобалта и на подсобных предприятиях, готовящих плиты для облицовки стен шлюзов, занятых ремонтом механизмов, много встречал я охотников, рыбаков — знакомых и друзей Владимира Григорьевича. Они рыбачат на озерах Великом, Онежском, на реке Вытегре, с увлечением рассказывают о повадках щук, ершей, судаков, помнят, кому и когда из онежских глубин удалось достать большого сига, кто шутя взял его, когда вошел он в реку Вытегру для метания икры. Газосварщик и слесарь говорили мне: «Природа у нас увлекательная. После работы на лодочке в любую сторону мчись». Токарь Володя Юрченков, улыбаясь, сказал: «На работе, бывает, разгневаешься, не смотрел бы на белый свет, а на озеро выскочишь — злость с твоего сердца смое, как волной...»

Замечтался я, с Вить-Горы любясь окрестностями, лесной далью, накрытой светлой грядой ступенчатых облаков; ушел за реку, за город — к баракам строителей первого шлюза, которого еще не видел.

На зеленой болотной траве женщина в черном, размахивая смуглой рукой, рассказывала мне:

— В том бараке — женатые, а в том — холостые, а дальше — шоферы, а левее — белые окна — комсомол, а в крайнем — женщины...

Пошел я к шоферам.

У плиты двое парней, в пестрых рубашках варили кашу. Каша серdito пофыркивала, пучилась, двое ложками утихомиривали ее, постукивая о борта кастрюли. Двое других, сидя на кроватях, читали книги, один писал в школьной тетради, один за столом подчищал что-то в чертеже. Оказалось, шоферы жили в соседнем бараке, а это были практиканты с четвертого курса строительного техникума, из Гомеля.

— А столовой разве нет? — спросил я.

— Есть. Но мы переходим на кашу — выдохлись перед получкой, — ответил занятый чертежом Андрей Москалевич.

На своем веку вместе с белорусами впрягался я в тачки, пилил бревна, работал на подъеме целины. Всюду они были друзьями мне, и я люблю их за хорошую, простую душу, за трудовую отвагу, за чуткость к товарищу в тяжкую минуту.

— Были денежки, — сказал Москалевич, отрываясь от чертежа, — но желудок не мешок: в запас не поешь.

— Может, водочкой зашибаетесь?

— Что вы! И курящих-то почти нет...

Иван Шелюта, подняв гитару, ответил на другой вопрос:

— Шлюз бетонируем. Андрей, — указал на Москалевича, — в должности мастера, остальные — арматура, бетон. А подготовкой рабочих чертежей много занимаемся — опыт!

У плиты постучали ложкой.

— Заработок маловат на бетоне. Сколько ни бьемся, а ликвидировать простои не удастся.

За кашей разговор сосредоточился на преддипломной практике студентов — четвертый месяц работают на стройке, а преподаватели гидротехнических дисциплин еще не приезжали к ним. Ни директор техникума, ни завуч не интересуются своими питомцами.

— Бухгалтер вышлет стипендии — и точка.

Леонид Воробьев, откинув со лба длинные волосы, сказал:

— Беда еще не в этом, беда в том, что нам не дают тем дипломных работ. Делай, что хочешь, спасайся, как можешь. К чему готовиться, что достанется на твою долю? Да и когда готовиться?..

Но тут, как в сказке, в комнату вошла девушка с пузатой сумкой почтальона. Поднялся шум:

— Темы прислали!

— Да не может быть?

— Честное пионерское, темы! — Парень, доселе тихо сидевший у кастрюли с кашей, запрыгал вокруг почтальона, закружил девушку. — Темы! Мне — водосброс!

Студенты сбегались в комнату, стало тесно и весело. Кувыркались, бросали друг друга на кровати, схватывались бороться, нашли в радиоприемнике вальс и пустились танцевать. Ведь им всего было по девятнадцати-двадцати лет.

Москалевич скомандовал:

— А ну, давайте притихнем, друзья-запорожцы! Володя, что у тебя?

— У меня мол из ряжей для защиты выхода Волго-Балтийского водного пути в Онежское озеро.

— Ну что ты знаешь об этом? Ты же все лето на бетоне. В какой стороне, по-твоему, Онежское озеро?

Притихли — каждый обдумывал свою тему.

— Мне — строительство плотины. Так и начну: прошло много времени с того дня, когда большой ум Петра Первого...

Костлявый студент в углу говорил себе негромко, загибая пальцы:

— Сначала чертежей настропаю, потом что-нибудь с пояснительной записки сдую, потом посоветуюсь с Пироговским...

— Хлопцы, надо генплан стянуть.

— Не дадут.

— Но я же и говорю — стянуть.

Сугулый парень с высоким лбом беспрерывно ходил по комнате, повторяя глухо:

— Разработка нижней головы шлюза. Трудно, братцы. Сережа, у тебя применение сборного железобетона на строительстве гидроузла? Но ты же этим и занимался! В точку попал.

«В точку попал» один из восемнадцати, у остальных темы дипломных работ не совпадали с тем, что делали они все лето.

— Вот заковыка, — вслух размышлял Андрей Москалевич, — я знаю хорошо организацию строительства на Вытегорском гидроузле, а писать придется о Белоусовском...

— А разве она не одинаковая? — спросил я.

— В том-то и заковыка! На Белоусовском — начальник, заместитель, главный инженер, а у нас тянет один Пироговский. Он техник, но талант, замечательный мужик!

— Брось тему о Белоусовском, — сказали Москалевичу — пиши о своем узле, о методах Пироговского.

От студентов по деревянным мосткам пошел я в поселок, в котором небольшие высокие дома с крутыми скатами крыш сделаны по заграничному образцу. Здесь где-то жил Пироговский.

Петр Леонтьевич встретил меня на пороге большой квартиры. Тонкий, гибкий, в куртке лыжника, в хромовых сапогах с тесными голенища-

ми. По первому впечатлению он напоминал щеголеватого парня из рабочей семьи. Но ему под сорок, из них двадцать лет строит. Строил поселки, типовые усадьбы МТС, «тянул линию» от Свирь-3 до Белоусовской подстанции.

— Линия высоковольтная, километров сто шестьдесят,— рассказывал он,— ставили поселочки через каждые пятнадцать километров... Не наврять бы, раз пятьдесят я прошел по этой линии... Ничего. Ходить человеку не вредно. Шлюз? В прошлом году бетона уложили три тысячи семьсот кубометров, а нынче — тринадцать тысяч. К шестидесятому, не наврять бы, управимся — пароходы пустим через шлюзы Вытегры и Белоусова, а движение по всему каналу откроем с навигации шестьдесят третьего.

Утром в конторке близ шлюза я вновь встретился с Пироговским. Петр Леонтьевич сдавал блок шлюза, подготовленный для бетонирования, а инженеры гидропроекта и дирекции будущего канала Баронин и Сапегин принимали его. Блок! Что такое блок? Я поскорее хотел увидеть неизвестное мне сооружение.

Вот он.

В глубоком котловане у основания шлюза, похожего на гигантское бетонное корыто, в голове его, стояла короткая стена, сплетенная из прутьев, сквозь нее можно пролезть. Мы карабкались кверху по этой стене, хватаясь за прутья, словно за поперечины пожарной лестницы. Упасть не упадешь между решетками, но повиснешь на них, как на сучьях дерева. Инженеры пошли по стене, ступая на толстые прутья, под ними зияла пропасть, переплетенная сеткой арматуры. Они пошли, как цирковые мастера, а я пополз, да и то проваливался и застревал между решетками. Много потребуется бетона, чтобы заполнить такую стену, затем поставят на бетон, как на гранит, страшной тяжести железные ворота. Будут эти ворота бесшумно, с важной медлительностью открываться для пропуска судов из Черного моря в Балтику, из Балтики — в Черное.

На другой конец стены с горы по сходням явились главный инженер всего строительства Михаил Захарович Гусинский, ранее строивший шлюзы на Волго-Донском канале, и строгий начальник, только что приехавший из Москвы, Дмитрий Иванович Суоров. Михаил Захарович, небольшого роста, круглый, с плавными жестами, черный весь от шляпы до ботинок, непрерывно улыбался, а строгий начальник становился все взыскательнее. Железа много израсходовано! Густо положены стальные жерди, не в стык сварены. Почему не практикуется стыковая сварка? Машины нет? А почему ее нет? Вот как! Даже не имеется гибочного станка? Ну, товарищи дорогие, так работать нельзя!

Я думал: «В Москве с этим строительством связана сотня инженеров, в Ленинграде — сотня, да и по каналу сотня наберется, а нет гибочного станка, простого, как древняя крестьянская телега».

Суоров долго распекал инженеров. Они, намолчавшись, сказали ему, что все будет исполнено.

В этот же день поехал я с Дмитрием Ивановичем по трассе строящегося канала.

На холмах, по загорьям, Суоров останавливал «газик», выходил из него и, широким жестом обводя низины, с удовольствием предсказывал: «Это все будет затоплено». Человеку явно нравилось, что на месте деревень, лугов, леса появится вода. Желание разлить воду как можно шире заметил я не только у начальника из Москвы, но и у многих строителей, собравшихся на Волгобалт с мест, где они создавали моря. Масштабы, размах! Но, к сожалению, редко приходилось услышать разговор о бережливости, об экономии народной копейки. Начальники, инженеры Волгобалта как будто даже недовольны тем, что водохранилища Вытег-

ры, Белоусова, Новинки, Пахомова и Шумкина, вместе взятые, будут в десятки раз меньше даже Череповецкого, а с Рыбинским их и сравнивать не приходится. Редко упоминают и о том, что строительство ведется при небольших объемах земляных работ, которые намечено закончить к 1960 году. На пути в 361 километр будет вынут 41 миллион кубических метров земли, а при строительстве Волго-Донского канала на трассе только в 101 километр земли было вынута 74 миллиона кубических метров.

— Там вот дела были! — нет-нет да и воскликнет кто-нибудь из волгодонцев и даже заскучает, когда услышит, что нужно считать дела удачными, когда затрат поменьше, а пользы побольше, когда моря получают покороче и поуже.

В лесу, в маленькой конторе, Суоров сел в жесткое кресло руководителя участка и стал задавать вопросы прорабу Старикову, только что приехавшему с трассы. Один, седой, тучноватый, сидел за столом, а другой, вдвое моложе, небритый, в мокром дождевике, в сапогах, облепленных грязью, стоял у чертежа, висевшего на бревенчатой стене кабинета. Стариков сказал, что в этом году на его участке земли вынута чуть не втрое больше, чем в прошлом, при том же количестве людей и техники.

— Я не об этом спрашиваю.— Суоров откинулся на спинку кресла.— Я спрашиваю, где обещанные полтора миллиона кубов?

— Миллион триста сделано.

— Мной получена справка — миллион.

— Справка неточная, да и после той справки прошло две недели.

— Все равно мало. Нормы, установленные государством, должны выполняться. В пятьдесят девятом спросим с вашего участка два с половиной миллиона кубов,— сухим строгим тоном говорил Суоров.— Спросим, потребуем.

— На бумаге все можно,— сказал Стариков.

— Что значит — «на бумаге»?

Молчание. Инженеры переглянулись.

— Надо все-таки учитывать условия,— сказал Стариков.— Здесь проходил Скандинавский ледник. Грунты тяжелые, глина как чугунок. У Цимлянкой, у Куйбышева, у Каховки экскаваторами брали грунт — сухим способом, а тут на километры воду тащим за собой к снаряду для гидромонитора.

— Но чем же объяснить: чуть не втрое повысили выработку при той же технике, при тех же людях? Дайте анализ.

Стариков сел к столу.

— Машины те же, но люди не те же. Грязь, дождь — смотреть жутко, а люди работают, обязательство взяли высокое перед съездом. Вы сперва с людьми поговорили бы. Послушайте их. О двух с половиной миллионах мы думали. Много это. Миллион восемьсот — гарантию дадим.

Под Суоровым закрипело кресло. Он уже не был сердит, следа не осталось от напускной важности. И говорил он уже по-другому:

— Михаил Протасович, пойми ты: надо в три года сорвать основную массу земли. Где же возьмем двадцать миллионов кубов, если на каждом участке начнут выставлять свои «гарантии»? Добавим людей, техники...

— Вы с этого бы и начинали разговор!

— Ну ладно, вези на трассу к мастерам твоим.

\* \* \*

Вытегра — начало Балтийского бассейна. От Волги до Балтики — это значит от Череповца до Вытегры, или, точнее, от северной части Рыбинского водохранилища до глубоководного канала, который по руслу реки соединяет город Вытегра с Онежским озером.



Из города вышли на большом теплоходе линии Петрозаводск—Ленинград, какие плавают по Волге. Узкий канал с обеих сторон буквально облепили домишки, древние амбары, завозни купцов, уткнувшиеся в светлую воду распахнутыми воротами, точно губастыми ртами. За бечевником — новые дома с большими окнами. Потянулись низкие болотистые берега с кочками, худосочными деревцами. На голом чистом песке по берегу Онежского озера одиноко стоят коренастые сосны. Широкие вершины их, как бы срезанные ветром, плоски, точно посадочные площадки. Ледниковая вода озера большой глубины кажется черной, как вороненая сталь, и оттого гребешки на волнах особенно снежно-белы. Впереди Свирь, Ладога, Нева — готовый путь для больших судов.

Капитан сказал мне:

— Штурману трудно в рейсе Москва—Ленинград, потому что плавание смешанное: река, озеро, канал, то глубоко, то мелко, то узко, то ширь... По каналу ползешь на старом пароходишке, а по Ладоге, по Онеге — качка морская. Ждем одинаковую дорогу на Волгу.

У старых шлюзов, близ цветочных клумб, скамеек под березами или у избушки диспетчера не однажды видел я большие щиты со схемой будущего канала. Привожу здесь отрывок из записи, сделанной со щита у шлюза на водоразделе: «Направление пути, как и прежде было, — из реки Шексны по Белому озеру и реке Ковже до Волго-Балтийского раздела, затем суда должны проходить по реке Вытегре, впадающей в Онежское озеро, по Свири, Ладожскому озеру и Неве до Ленинграда. Путь строится в трудных условиях: много болот, пlyingунов, часты оползни, просадки, встречаются закрестованные известняки, образуются пещеры, воронки, подземные галереи. Вместо тридцати восьми девять шлюзов образуют судоходную лестницу, из них восемь будут отпускать или поднимать суда примерно на тринадцать с половиной метров каждый. Плотинами шести гидроузлов будут созданы водохранилища: на крутом северном склоне по реке Вытегре — четыре, на южном, более пологом, — два. По водораздельным участкам пройдут каналы, в ряде мест выпрямятся русла рек. Общее протяжение Волго-Балтийского водного пути 361 километр...»

В предстоящем семилетии небывалой программы коммунистического строительства канал будет полностью проложен. И в тезисах доклада Н. С. Хрущева XXI съезду КПСС и в Контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы сказано: «Будет введен в действие Волго-Балтийский водный путь». Строители обещают сдать его водникам к весне 1963 года. Морские суда поплывут рядом с бывшей Мариинкой, там, где сейчас в лесах и болотах люди готовят водный путь,



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЧЕХОВА

1

**В** Ясной Поляне у могилы Толстого невольно задумываешься над гордостью и смирением. Лев Николаевич завещал не ставить на его могиле ни памятника, ни плиты с именем. Это было продиктовано верой в необходимость духовного смирения, которую он исповедовал. Место для могилы он выбрал, однако, патетичное: Толстой и природа.

Чехов был скромнен не потому, что философски пришел к идее смирения: скромность была в нем заложена; он никогда не чувствовал себя ни пророком, ни учителем, ни даже крупным мастером; ему было незнакомо ощущение собственного превосходства. Его некоторая сдержанность объяснялась скорее мягкостью, душевной стыдливостью, нежели желанием отдалить от себя окружающих. Долго, упорно боролся он с тем, что считал своими недостатками или пороками, но с гордостью ему не пришлось бороться — он ее не знал. Славы он сторонился. В 1889 году (Антону Павловичу тогда было двадцать девять лет), побывав в Петербурге, он неожиданно для себя столкнулся с той суетой, которая окружает любую знаменитость — приезжего актера, адвоката, произнесшего хлесткую речь, или чемпиона спорта; Чехов отнесся к успеху с усмешкой. «Купался там в славе и нюхал фимиамы», — писал он. Слава не ослепила его, напротив — она усилила его сомнения в ценности своей работы.

Он был к себе не только взыскателен, но несправедливо жесток. После «Степи», «Именин» он писал посредственному беллетристу Тихонову: «...мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Шеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восемьдесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом артель». Можно подумать, что такая оценка была неискренней, что Чехов попросту хотел приободрить Тихонова. Однако Антон Павлович повторял подобные суждения перед самыми различными собеседниками. В письме к Чайковскому — год спустя — он говорит, что первое место среди современников принадлежит Толстому, а Чехов отводит девяносто восьмое. В 1886 году, шутивно распределяя чины литераторам, Чехов высоко ставит авторов, имена которых теперь известны разве что сотне специалистов: Аверкиева, Муравлина, Василевского. В декабре 1889 года Чехов пишет Суворину: «Когда я на днях прочел «Семейную трагедию» Бежецкого, то этот рассказ вызвал во мне что-то вроде чувства сострадания к автору; точно такое же чувство испытываю я, когда вижу свои книжки».

«Я не уважаю того, что пишу», — говорил он; называл свои рассказы или повести «пустяками»; добавлял: «Меня будут читать лет семь, ну, семь с половиной, а потом забудут». Со времени, когда начали появляться в печати его рассказы, прошло не семь лет, а семьдесят семь, и любовь читателей к нему не ослабевает.

Чехова много читали при его жизни, это относится, разумеется, к тому узкому слою людей, который в дореволюционное время знал художественную литературу. Революция удесятерила число читателей Чехова; по данным статистики, в Советском Союзе издано около пятидесяти миллионов экземпляров его произведений. Дело не только в цифрах; я часто слышал признания: «Чехов помог мне многое понять и в себе, и в жизни». Я живу неподалеку от Истры, где молодой Чехов лечил больных в Чикинской земской больнице и писал первые рассказы. Дом Антона Павловича фашисты сожгли в декабре 1941 года. Пять лет тому назад рядом с развалинами дома поставили памятник, в отличие от многих скромный, милый в своей чеховской скромности. Я был на открытии этого памятника; собрались жители Истры, колхозники, пионеры, дачники, и в каждом слове, в глазах каждого была та подлинная любовь читателя к писателю, которую не спутаешь ни с благоговением перед реликвиями прошлого, ни с холодным признанием длинного списка отечественных и мировых знаменитостей.

Видел я, как плакали отнюдь не плаксивые и достаточно энергичные советские женщины, разделяя печали «Трех сестер» (это пьесе Антон Павлович называл «веселой комедией»), плакали инженеры и врачи, седые домашние хозяйки и молоденькие смешливые студентки.

Читая многие книги иностранных авторов, понимаешь, сколь глубоко влияние Чехова; говоря это, я думаю и об английской литературе начала нашего века, и о произведениях Према Чанда, и о французах, и о Лу Сине (Го Мо-жо писал о влиянии Чехова на китайских писателей). Мне трудно представить себе новеллы Хемингуэя, Пиранделло, Моравиа без Чехова.

Пьесы Чехова никак не соответствуют условному понятию театрального зрелища, «постановочными» их не назовешь, но вот уже четверть века, как их ставят во всех театрах мира — в Москве и в Лондоне, в Токио и в Париже, в Стокгольме и в Нью-Йорке. Где мне только не говорили о «Чайке» — она и впрямь пересекла моря.

Скромный Антон Павлович, уверявший, что он работает над «пустяками», потряс мир. Я слышал от рядовых французов, от английских студентов, от тех американцев, которых пугает пошлость жизни, знакомые нам признания: «Чехов помог... Чехов раскрыл глаза... Чехов согрел сердце...»

В чем же разгадка жизненности Чехова, его глубокой современности, близости людям, живущим в одну и ту же эпоху, но разделенным и в мыслях, и в чувствах разными верованиями, разной моралью, разным бытом?

Я думаю сейчас не только о саратовской комсомолке, которая на память повторяла длинные цитаты из рассказов Чехова, или о враче в Бостоне, который мне объяснял, как, прочитав «Скучную историю», он понял, что такое второе рождение; я думаю и о своей жизни. Мне было тринадцать лет, когда Чехов умер; я хорошо помню, как мне об этом сказала мать и как меня потрясло, что нет больше человека, написавшего «Каштанку». Потом длинные десятилетия я жил то «Ариадной», то «Рассказом неизвестного человека», то «Домом с мезонином», то «Скучной историей». Я переступил из одного мира в другой; все изменилось, изменился и я, изменился настолько, что часто думаю о своем прошлом как о странной истории, неумело кем-то описанной, давно прочитанной и полузабытой. А вот любовь к Чехову я пронес через всю мою жизнь...

Я заглядываю в статьи, в книги, написанные полвека назад. Боборыкин называл Чехова «поэтом безвременья». Критики, будь то Львов-Рогачевский или Неведомский, Фриче или Оболенский, повторяли одни и те же формулы: «лучший выразитель восьмидесятых годов», «летописец хмурых лет», «писатель заката», «поэт сумерек».

Я раскрываю том «Энциклопедического словаря». Он выпущен в свет недавно, всего четыре года назад. Чехов в нем назван «великим русским писателем»; следует характеристика, которая сводится к тем самым формулам, которые я видел в давних статьях; только яснее и точнее определен характер общества, в котором жил Чехов: «В произведениях, написанных в конце 80-х и в 90-х годах, Чехов рисует идейные искания русской интеллигенции, разоблачает мешанскую психологию, либерально-народнические иллюзии, толстовство, буржуазный либерализм... Чехов достиг больших социальных обобщений, создав типические образы, воплощавшие самодержавно-полицейский режим... Он реалистически показал рост буржуазных отношений в городе и деревне, обнищание крестьянства, разложение дворянско-помещичьего строя».

Я читаю в том же словаре о Глебе Успенском: «Писатель с большим реалистическим мастерством изобразил нужду и угнетение городской бедноты, влияние буржуазных отношений на жизнь русской провинции. В произведениях 70-х—80-х годов... Успенский, вопреки собственным народническим иллюзиям, правдиво показал развитие капиталистических отношений в деревне...» Я продолжаю — и смотрю о Салтыкове-Щедрине: «...раскрывает реакционную сущность русского и международного либерализма... Рисует рост капитализма, его проникновение в деревню...»

Все это, разумеется, верно. Верно и сказанное о Чехове; но приведенная характеристика никак не может объяснить любви современных читателей к его произведениям. Действительно ли их увлекает только история давно исчезнувшего общества? Правда ли, что сорок лет спустя после уничтожения капитализма в России их особенно интересует «рост буржуазных отношений в городе и деревне»? Если образы, созданные Чеховым, «типические» и «воплощавшие самодержавно-полицейский режим», почему они должны волновать читателей наших дней, знающих только понаслышке и о царе и об исправнике? Конец восьмидесятых и девяностые годы, давно окрещенные «безвременьем», являются тусклыми страницами русской истории, и летопись этих лет, растянутая на двенадцать томов, вряд ли способна зажечь сердца читателей, которые живут в достаточно яркое и громкое время. Могут ли современников, начавших освоение космоса, строящих новое, невиданное в истории общество, помнящих, что такое Освенцим и Хиросима, гордых и настоятельных, вдохновить давние споры между либералом Николаем Николаевичем, который отстаивал Высшие женские курсы, и консерваторм Петром Дмитричем, противником подобных новшеств?

Множество конфликтов, показанных Чеховым, для советского читателя внешне устарело. Вот рассказ «Случай из практики». Молоденькая владелица большой фабрики Лиза Ляликова терзается. Антон Павлович, а в данном случае доктор Королев, говорит ей: «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно». Ляликовская фабрика национализирована сорок лет назад, и внучка Лизы стоит у станка, или учится, или служит в учреждении. Вот рассказ «Припадок». Студент Васильев попал в публичный дом и мучительно переживает обыденность, будничность проституции. Может ли нечто подобное случиться с внуком Васильева, который смертельно боится своего прямого начальника — внучку брюнетки из Черниговской губернии? Вот ряд несчастных браков, продиктованных деньгами, задолженностью, мнениями, домами; то богатый старый муж обижает жену, то жена сорит деньгами мужа. В нашем обществе немало разочарованных мужей и душевно обиженных жен, но это не связано с десятинами земли или с приданым. Чехов изумительно точно изобразил тот мир, в котором жил. Этот мир сам по себе нам не кажется ни ярким, ни героич-

ным, ни увлекательным, но люди, показанные Чеховым, нам понятны и близки.

Повторю: в чем разгадка? Скажут, в таланте. Меня это объяснение не удовлетворяет. Чехов писал, что он не любит Гончарова, но что Гончаров выше его «талантом на 10 голов». Я оставляю в стороне сравнение, подсказанное все той же чрезвычайной скромностью; но бесспорно у Гончарова был большой писательский дар, это крупный художник. «Обломов» вызвал немало споров, родилось определение «обломовщина». Но Гончарова мы ценим, уважаем и смотрим на него как на памятник прошлого. Чехов писал о Писемском: «Это большой, большой талант!» Одновременно он рассказывал: «Наши читают Писемского, взятого у вас, и находят, что его тяжело читать, что он устарел». Если родные Чехова находили книги Писемского устаревшими еще в 1893 году, то никого не удивит, что теперь их очень мало читают. Талант, однако, у него был большой.

Дело не только в таланте, да и трудно установить размеры способностей, отпущенных человеку. Различные энциклопедии пытаются это делать, деля авторов на категории: «великий», «выдающийся», «крупный» и просто «писатель»; но звания не бесспорны, да и не долговечны; посмотришь, и в новом издании «писатель» стал «выдающимся», а «выдающийся» разжалован в «крупного».

Любовь к писателям прошлого зависит прежде всего от их близости к душевному миру читателя. Когда художественное произведение воспринимается только как картина далекой эпохи, любовь уступает место холодному признанию наблюдательности, общественных заслуг, таланта, мастерства.

Какое нам дело до интриг двора, где терзался Гамлет? Неужели сотни миллионов читают «Красное и черное» для того, чтобы узнать, как выглядело французское общество конца двадцатых годов XIX века? Кто посмеет утверждать, что «Дон-Кихот» много веков волнует человечество, потому что представляет собой сатиру на рыцарские романы, которыми увлекались испанцы в XVI веке? Мне скажут, что я ломлюсь в открытую дверь, что сила великих произведений искусства в том, что они правдиво показывают прошлое и вместе с тем радуют людей любой эпохи красотой описаний, мастерским построением, гармонией. А на мой взгляд, все это не объяснение, но произвольная выдача лестных эпитетов. Если произведение искусства, каким бы гениальным оно ни было, по своей идее, по раскрытию характеров, по вложенной в него страсти расходится с идеями, с природой, с чувствами последующих поколений, то оно теряет притягательную силу. Корнель и Расин потрясали людей добрых двести лет, но для романтиков XIX столетия стали непонятными, напыщенными, лживыми. Готическая архитектура четырехста лет поносилась всеми просвещенными умами. Болонская школа живописи представлялась людям XVII века вершиной искусства, а людям XX века кажется ремесленничеством и эклектизмом.

Писатель живет интересами народа, его терзаниями и надеждами. Стремление уйти от современности, отвернуться от живых людей, сосредоточиться на «вечных темах», очистив их от злобы дня, не раз приводило автора к художественным поражениям. В те годы, когда Чехов писал повести о «маленьких людях», писатель Мережковский (Чехов как-то обозвал его «сытейшим») пытался решить «вечные вопросы». Кого сейчас может взволновать его ходульная трилогия «Христос и Антихрист»? Чехов сказал про талантливого писателя Леонида Андреева: «... нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья». Вскоре после смерти Чехова Андреев написал пьесу «Жизнь человека», которую поставил Художественный театр. Андреев хотел изобразить жизнь некоего синтетического человека, но вышел у него заводной манекен, и никому теперь не придет в голову поставить

«Жизнь человека» — ни у нас, ни в Париже, ни в Австралии. Современники Чехова, гнавшиеся за «вечным», рождали однодневок. Тысячами нитей Чехов был связан со своей эпохой. Он не любил фантазировать и, даже мечтая, оставался на родной земле. Но, изображая своих современников, он раскрыл в них то, что понятно и нам. Разговоры о пользе земства, о роли благотворительности, о крахе толстовства устарели, но персонажи, которые вели эти разговоры, живы — это не только выразители различных общественных настроений, это также люди, с добродетелями и пороками, с надеждами, с заблуждениями, с тоской. В 1939 году французский писатель Жан-Ришар Блок был потрясен, увидев на парижской сцене «Чайку»: «Как похожи эти дореволюционные русские, показанные Чеховым в рассказах и пьесах, на многих героев Гийу, Мальро, Мориака, Бернаноса, Низана, Арагона...» Ему тогда казалось, что эта близость, современность Чехова объясняются родством двух обществ, обреченных историей. В годы войны он был в Советском Союзе, видел на московской сцене пьесы Чехова и задумался над тем, почему они понятны советским юношам: Чехов в его оценках еще более вырос.

Стендаль писал: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». Мне кажется, что эти слова точнее всего объясняют жизненность произведений Чехова. История давно вынесла свой приговор и доктору Львову, и «Княгине», и сестре бедной Мисюсь, и презрительному сыну сановника Орлова, и прочим героям Чехова. Нас интересует теперь не то, о чем эти люди спорили, прочитав газету, а то, чем они жили: их любовь, страдания, радости помогают нам понять себя, наших современников.

Записная книжка героя «Чайки» Тригорина весьма напоминает записную книжку Антона Павловича; недавно были изданы полностью записные книжки советского писателя Ильфа, — они сродни записным книжкам Тригорина-Чехова. Я встречал молодых советских актрис; они живут и работают в других условиях, нежели Нина Заречная; им, например, не приходится иметь дело с пьяными купцами; но за свою страсть к искусству они тоже заплатили дорогой ценой. Разве трудно молоденькой комсомолке понять порывы Ани или Нади? Разве уж так далеки предсмертные стихи Заболоцкого от заключительных слов рассказа «Дама с собачкой»? Разве не встречал каждый из нас докучливого фразера, подобного герою «Соседей» Власичу, который по существу ничего не делает, читает с пафосом понравившуюся ему статью и пишет письмо в редакцию для передачи автору? Разве не приходится нам бороться с «человеком в футляре», хотя, конечно, переменились и школа, и футляры, и многое другое? Конечно, нет у нас больше, к счастью, заложенных имений и тех материальных условий, в которых жил дядя Ваня; но я знаю и родных братьев профессора Серебрякова, к которым вполне применимы чеховские слова «старый сухарь, ученая вобла», и людей, порой идущих на тягчайшие жертвы для того, чтобы поставить на ноги бездушных, бездарных честолюбцев.

Чехов не писал статей об искусстве и редко, неохотно говорил о своей работе. Он знал, как он должен писать, но теорий не строил: «Когда мне говорят о художественном и антихудожественном, о том, что сценично или не сценично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся. Другого критерия у меня нет, а если вы спросите, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею ответить. Быть может, сс

временем, когда поумнею, я приобрету критерий, но пока все разговоры о «художественности» меня только утомляют и кажутся мне продолжением все тех же схоластических бесед, которыми люди утомляли себя в средние века». Наставления Чехова не в наставлениях, а в его искусстве. Над этими уроками стоит призадуматься и писателю и читателю, который сетует, а порой сердится: «Почему теперь нет Чеховых?..»

О Чехове написано много примечательного; писали о нем и трудолюбивые литературоведы и крупнейшие писатели начала XX века — Горький, Томас Манн, Лу Синь, Бернард Шоу, Голсуорси, Мориак. Решаясь поделиться с читателями некоторыми мыслями о жизни и книгах Чехова, я, конечно, не помышляю открыть то, что давно открыто, освоено, обжито; я хочу только как литератор новой, не похожей на прежнюю, эпохи попытаться понять, почему Чехов перерос свое время и, породив «чеховщину», оказался куда долговечнее ее. Это старый вопрос — о долге писателя, о связи литературы с жизнью, о законах искусства, старый и, может быть, наиболее злободневный: большая эпоха требует большого искусства. В эпоху спутников Земли следует поговорить о спутниках человеческого сердца.

## 2

Чехов однажды сказал Горькому: «Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю. Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит... Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...»

В своей «Истории новейшей русской литературы», изданной уже после того, как были опубликованы «Скучная история», «Попрыгунья», «Палата № 6», Скабичевский, считавшийся почтеннейшим критиком, так определял творчество Чехова: «Это не цельные произведения, а ряд бессвязных очерков, нанизанных на живую нитку фабулы рассказа... Мы встречаем у него ряд анекдотов водевильного характера, написанных для того лишь, чтобы посмешишь читателей газеты».

Один из идеологов народничества, Михайловский, к голосу которого прислушивалась русская интеллигенция, писал: «Не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант... Г-н Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает...»

Слепни разного калибра и различных толков жужжали наперебой. Передовой критик Богданович писал: «Чехов напоминает близорукого художника, который не может охватить всей картины, и потому центра в ней нет, перспектива не верна, и в общем его большие произведения страдают однообразием». Реакционер Качерец с ним соглашался и уверял, что Чехов пишет «ни о чем». Литератор Ясинский так отозвался о «Чайке»: «Это не чайка — просто дичь». «Петербургский листок» негодовал: «Зачем это декадентство?» В либеральной газете «Новости» некто Селиванов глубокомысленно замечал: «Я не знаю, не помню, когда г. Чехов стал большим талантом, но для меня несомненно, что произведен он в этот литературный чин заведомо фальшиво». А черносотенец Берг уже после кончины Чехова писал в «Родной речи»: «Автор самых средних писательских способностей возвеличен, как гений, прославлен на всю Россию и только потому, что он свой, что он из круга «буревестников»! Размеры способностей покойного Чехова были довольно скромны... Яростные взвизги газетного еврейства и «крайних» элементов, преувеличенные раздувания и превозношения автора,— все это

оттого, что он был ихний. Все, что отрицает русскую жизнь, Россию,— все это ими превозносится и раздувается».

Чехов умел переживать обиды молча или отшучиваясь. Только однажды он вышел из себя. Он писал тысячи писем различным адресатам, письма шуточные или печальные, и среди всех его писем есть одно, которое выдает гнев Антона Павловича. Когда либеральный журнал «Русская мысль» причислил его к «жрецам беспринципного писания», Чехов возмутился и написал редактору журнала Лаврову: «На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете... Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был. Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно... Обвинение ваше — клевета».

Все слова эластичны. Порой называют безнравственным человека, потому что у него другие моральные нормы, нежели у его обличителей. Порой произведение, идея которого не совпадает с идеологией критиков, клеймят как безыдейное. Либералы из «Русской мысли» называли Чехова беспринципным потому, что его принципы не совпадали с принципами, которые они проповедовали.

Мнение Лаврова разделяли многие — и при жизни Чехова, и после его смерти. Народники и либералы, мистики и декаденты сходились на том, что Чехов, поглощенный то мелочами тусклого быта, то тайнами человеческого сердца, равнодушен к общественным проблемам; одни негодуяще, другие восторженно называли его «жрецом объективности», «свободным художником, равнодушным к злобе дня», «писателем, который узрел звезды», или «литератором, способным увидеть только мелких букашек».

Каждому понятно, что 1889 год не 1959 и что нельзя, говоря об общественных воззрениях Чехова, подходить к ним с опытом и познаниями нашей эпохи или хотя бы эпохи, наступившей после 1905 года. Чехов как писатель сформировался в те глухие годы, когда держиморды, грузные и тупые, как их самодержец Александр III, преспокойно здоровствовали, когда представители либеральной интеллигенции фрондировали за стаканом чаю или за рюмкой водки и когда народ еще безмолвствовал. Цензура была и свирепой и нелепой; трудно порой догадаться, что узрел недозволенного цензор в том или ином рассказе Чехова. Даже в письмах приходилось соблюдать осторожность; Антон Павлович в декабре 1901 года писал Миролюбову: «Мне хотелось бы написать много, много, но лучше воздержаться, тем более, что письма теперь читаются главным образом не теми, кому они адресуются».

Произведения Чехова никогда не расходились с тем, что он писал и говорил своим друзьям. Он ненавидел произвол и деспотизм царской России. Когда в 1890 году он отправился на остров каторги, это не было ни поездкой любознательного туриста, ни экспедицией ученого,— его отправила на Сахалин совесть: «Из книг, которые прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы». Когда в 1899 году начались волнения в студенческой среде, Чехов писал своему давнишнему другу, издателю реакционной газеты «Новое время» Суворину: «Государство запретило Вам писать, оно запрещает говорить



правду, это произвол, а Вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства — и это как-то не укладывается в сознании». Оказавшись впервые за границей, Чехов писал сестре: «Странно, что здесь можно все читать и говорить, о чем хочешь». Герой рассказа «Крыжовник», Иван Иванович, говорит: «Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, темнота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился... Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать?.. Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!» В рассказе «Именины» показан один из самодуров империи, Петр Дмитрич: «На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся. Величественные жесты, громовый голос, «что-с», «н-да-с», небрежный тон... Сознание, что он — власть, мешало ему спокойно сидеть на месте, и он искал случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть...» Где-то внизу бедный унтер Пришибеев повторял величественного Петра Дмитрича: «Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтобы народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет?» Все помнят «человека в футляре», который спешил «докладывать» начальству о недозволенных разговорах.

В отличие от либералов из «Русской мысли», Антон Павлович ненавидел не только малограмотных исправников, но и просвещенных капиталистов; хотел не только свободы, но и справедливости. 19 февраля 1897 года он записал в дневнике: «Обедал в «Континентале» в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обежать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу». В повести «Моя жизнь», написанной в 1896 году, герой повествования говорит: «Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же как во времена Батыея, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным».

Чехов понимал, что общество, построенное на произволе и несправедливости, нельзя спасти мелкими реформами или благотворительностью. Художник, от имени которого ведется рассказ в «Доме с мезонином», возражает либеральной активистке Лиде: «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам мое убеждение... Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх».

В Чехове жила неприязнь к духовной сытости, к паразитарному существованию, к жадности и бесчеловечности того мира, который он называл «буржуазным». Он писал о романе Сенкевича: «Цель романа: ублажать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней

по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том, и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым». Говоря об одном русском беллетристе, Чехов пояснял: «Он фальшив («хорошие книжки»), потому что буржуазные писатели не могут быть не фальшивы. Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней вместе и льстят ее узенькой добродетели».

В глазах Чехова совесть была высшим арбитром; легко поэтому понять страстный интерес, проявленный им к «делу Дрейфуса». В 1894 году во Франции был осужден за шпионаж офицер Альфред Дрейфус. Вскоре началось движение, разделившее Францию: передовые круги утверждали, что Дрейфус невиновен и осужден военными судьями только потому, что он еврей. В защиту Дрейфуса выступил Эмиль Золя. М. Ковалевский рассказывал, что в зиму 1897/98 года, находясь в Ницце, Чехов с утра поспешно прочитывал все газеты: что пишут о деле Дрейфуса? Антона Павловича связывала давняя дружба с Сувориным, и вот из-за дела Дрейфуса дружба оборвалась. Чехов пытался переубедить Суворина: «Замечено было, что во время экзекуции Дрейфус вел себя, как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, присутствовавшие же на экзекуции, например, журналисты, кричали ему: «Замолчи, Иуда!», т. е. вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции неудовлетворенные, со смущенной совестью... Как нарочно, обнаружился целый ряд грубых судебных ошибок... Такие глупо неуважаемые люди, как Дрюмон, высоко подняли голову; заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жида, это Вильгельм...» Да, Золя не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги». Вскоре после этого письма Антон Павлович сообщил брату: «В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем...» 18 сентября 1902 года Антон Павлович написал своей жене: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто нехстати. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко».

В 1900 году при Академии наук образовали «раздел изящной словесности»; среди пяти избранных академиков был Чехов. Два года спустя членом академии был избран Горький. Правительство разгневалось, выборы были признаны недействительными: «Горький находится под следствием по политическому обвинению». Тогда Чехов, как и Короленко, заявил, что они «складывают с себя звание почетного академика».

Конечно, шли годы, менялась Россия, менялись и многие оценки Чехова. В 1888 году в письме к Плещееву он сопоставил ложь мракобесов и ложь либералов, ложь в среде молодежи и ложь кутузок. В 1899 году он был весь на стороне бунтовавших студентов и возмущался защитниками полицейских расправ; мне не думается, однако, что это уточнение оценок обозначило перелом в творчестве Чехова: ведь в рассказах, написанных в 1888 году, да и до того, Антон Павлович неизменно был на стороне правды, на стороне человека и народа. Ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не обладал четкими политическими идеями, и я менее всего склонен посмертно вооружать его

марксистским мировоззрением. Но столь же нелепо видеть в нем консерватора, находившегося под влиянием Суворина и постепенно превратившегося в либерала, как то делали и делают некоторые исследователи.

Относительно недавно — в 1934 году — писатель, любивший Чехова и много поработавший над его наследием, Ю. Соболев писал: «Его переход в либеральный лагерь, конечно, выражал новый этап в развитии его политического роста... Он избавился, наконец, от своей «нейтральности»... Усердный читатель зарубежного «Освобождения», издававшегося ренегатом от социализма Струве, Чехов не шел в своих идеалах дальше конституции... Чехов выступает, как выразитель идеологии радикальной буржуазии». Если это относится к общественной деятельности Антона Павловича, то это неверно: он не выступал ни как представитель радикальной буржуазии, ни как представитель крестьянства или интеллигенции — он вообще не выступал (вряд ли можно рассматривать как политические выступления письмо в Академию наук или беседы с друзьями). Если же говорить о произведениях Чехова, то в них поднимаются вопросы, которые и не снились представителям даже самой наирадикальнейшей буржуазии.

В 1888 году поэт Плещеев писал Чехову: «Но сколько мне случалось слышать от разных лиц, то вас обвиняют в том, что в ваших произведениях не видно ваших симпатий и антипатий... Иные, впрочем, приписывают это желанию быть объективным, намеренной сдержанности, другие же индифферентизму, безучастию». Чехов отвечал: «Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий. Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» Антон Павлович говорил о своем рассказе «Именины». Плещеев, однако, не нашел в присланном рассказе «направления». В двух других письмах Чехов пытается ответить на упреки в равнодушии: «Я не либерал, не консерватор, не постепенец, не монах, не индифферентист... Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консистории, так и Нотович с Градовским... Фирму и ярлык я считаю предрассудком...» «Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравниванию плюсов и минусов. Но ведь я уравниваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой». Либерал Нотович издавал газету «Новости»; конечно, политически она была пристойнее «Нового времени»; но Чехов говорил Плещееву совсем о другом — о своем отращении ко лжи, к тем либеральным буржуа, которые пьют шампанское, праздную «освобождение» крестьян от крепостного права. Есть ли здесь «безучастие» писателя к своим героям, к судьбе народа?

Можно понять несправедливые упреки бывшего петрашевца Плещеева или его друзей: они были продиктованы гражданской страстью. Но толкование Чехова как писателя нейтрального, даже равнодушного, существует и поныне. Передо мной книга Софи Лаффит, озаглавленная «Чехов, рассказанный самим собой»; она издана в Париже в 1955 году. В книге действительно много цитат из писем и произведений Чехова; но Софи Лаффит тоже высказывается; вот некоторые ее суждения: «Любил ли он человека? Кажется, что все другие, незнакомые были для него прежде всего объектами эстетического восприятия. Если люди красивы или входят в красивый пейзаж, он к ним расположен. В противном случае его поспешное суждение остро и в общем неблагоприятно... Всюду морды, рыла, хари, рожи... Тот же холод в отношениях Чехова к знакомым. Если он всегда окружен роем поклонников, если в его доме неизменно гости, если столько людей называют себя его приятелем, то по существу у него нет друзей... Тот же холод, та же усталость и в его отношении к больным. Величайшая скука, граничащая с отвращением... Все, в том числе он сам, сходятся на признании этого холода,

этой затаенной враждебности к людям... Все в нем показывает страстную волю к доброте, но также равнодушие и не меньшее презрение к людям, к жалким погремущкам, которые их забавляют... В общем, Чехов, может быть, ненавидел женщин еще больше, чем мужчин. В галерее созданных им женских образов мы находим хищниц, гадюк и несколько нежных, но безвольных жертв... Бесконечно свободный художник, Чехов решительно отверг иго идеологии, которое значительно понизило ценность произведений Короленко или Салтыкова-Щедрина... Он отличается от своих предшественников пронизательностью, особенно беспристрастием...» Я остановился на суждениях Софи Лаффит потому, что они показывают, какую путаницу вносят некоторые сторонники «духовного нейтралитета» в вопрос о взаимоотношении между общественным долгом писателя и природой искусства.

В 1888 году Чехов писал Суворину: «Не дело художника решать узко специальные вопросы. Дурно, если художник берется за то, чего не понимает... Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компокует — уж одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать... Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника». В другом письме Чехов говорил (может быть, именно это сбилось с толку иных его исследователей?): «Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем они говорят, а только беспристрастным свидетелем». Год спустя он отвечал на упреки Суворина: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть... Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он надбавит сам».

Положение комическое, подходящее для ранних рассказов Антоши Чехонте: Суворин, человек воистину беспринципный — в самом прямом смысле этого слова, упрекает, может быть, самого совестливого из русских писателей в равнодушии к идеалам, к добру и злу. Но дело не в Суворине. Писатель может выступать и как проповедник, и как полемист, и как прокурор — Софи Лаффит ошибается, считая, что гражданские страсти принизили художественную ценность произведений Салтыкова-Щедрина; напротив, они способствовали расцвету его таланта, без них он не нашел бы своего языка, не создал бы ни «Истории одного города», ни «Головлевых», без них не было бы Салтыкова-Щедрина. Бывают, однако, писатели другого склада: они могут быть не менее страстными в своем отношении к жизни, у них тоже могут быть идеи и идеалы, но они выражают эти идеи не в памфлете, не в проповеди, а в раскрытии душевного мира изображаемых ими людей. Такие писатели не выбегают на сцену и не прерывают диалога своими рассуждениями; за автора говорят и драматическая ситуация и тот или иной герой. Разве сама постановка вопроса не предполагает определенной позиции того, кто его ставит?

Чехов говорил, что на суде писатель не судья, но беспристрастный свидетель. Роль судьи (думаю, на этом сойдутся все) принадлежит народу, то есть сегодняшним и завтрашним читателям. Чехов считал своих читателей взрослыми и предоставлял им возможность самим сделать соответствующие выводы из тех драм и конфликтов, которые показывал. (Читатели, кстати, понимали его куда лучше, чем некоторые критики-догматики.) Может быть, определение «беспристрастный свидетель» означает безразличие, равнодушие, нейтралитет? Беру совет-

ский толковый словарь: «Беспристрастный. Способный к справедливой оценке, суждению, не предубежденный, чуждый пристрастия». На суде свидетели бывают свидетелями обвинения или защиты, но все они обязаны говорить правду, то есть не исказить того, что видели и знают. Писателя можно назвать свидетелем защиты или обвинения не потому, что, повинаясь своим идеям, он искажает мысли, чувства, поступки героев, а потому, что, как и свидетель на суде, он увидел нечто неизвестное другим. Чехов никогда не давал ложных показаний, не расходился с реальностью, с правдой жизни; но, показывая живых людей, он не скрывал своего отношения к добру и злу, к идеям и идеалам; он выступал то как свидетель обвинения, то как свидетель защиты, но говорил правду, только правду, всю правду, не стремясь еще более очернить виноватого или сделать из пострадавшего святого.

Всем известен рассказ «Попрыгунья», и ни для кого не тайна, что Чехов на стороне скромного, трудолюбивого и доброго доктора Дымова. Однако, показывая «попрыгунью» Ольгу Ивановну, автор не преувеличивает ее пороков — она любит знаменитых людей, страдает от грубости любовника и, когда Дымов, заразившись дифтеритом, заболевает, испытывает раскаяние: «...она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни...» Чехов рассказывает, что, когда Дымов умер, Ольга Ивановна поняла, что он был «необыкновенным, редким... великим человеком». Лев Николаевич Толстой, который любил «Попрыгунью», говорил: «И как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же». Чехов именно это хотел показать, но рассказ он закончил днем смерти Дымова, когда на одну минуту Ольга Ивановна не выглядела попрыгуньей.

Никогда Чехов не выступал как равнодушный зевака, случайно увидевший ссору с поножовщиной, никогда он не выступал как эстет, кого-то интересует, входит ли лужа крови в сельский пейзаж.

Шутя Антон Павлович как-то сказал, что он пробовал себя в различных литературных жанрах, не писал только стихов, романов и доносков. Он не писал также притчей: в его рассказах и пьесах нет той заключительной морали, которая должна разъяснить читателю замысел автора. Всю жизнь он преклонялся перед художественным гением Льва Толстого, часто перечитывал «Войну и мир», «Анну Каренину». Когда вышел в свет роман «Воскресение», Чехов писал: «Это замечательное художественное произведение». Но конец романа ему показался мало убедительным: «Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из евангелия,— это уж очень по-богословски. Решать все текстом из евангелия — это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из евангелия, а не из корана? Надо сначала заставить уверовать в евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстом». Чехов очень многому научил миллионы людей, но никогда он не поучал.

Люди, которые говорят о равнодушии Чехова, не понимают, очевидно, некоторых черт, присущих его гению. Эти черты, разумеется, индивидуальны, связаны с характером Антона Павловича; вместе с тем они неотделимы от природы искусства. Попытаться определить эти черты — значит понять силу воздействия Чехова и на его современников, и на людей нашей эпохи, будь то русские, японцы или англичане.

## 3

Перечитывая произведения Чехова, я невольно возвращаюсь к его письмам, смотрю на фотографии — думаю об Антоне Павловиче. Часто, говоря о таланте, о гении, отделяют их от природы, от внутреннего склада художника. Между тем в искусстве большую роль играют не

только талант и мастерство, не только мировоззрение и среда, но также свойства, качества, характер самого художника. Я осмелюсь сказать, что бывали талантливые, но недобрые писатели; бывали гении, лишённые скромности. Любой школьник знает, что Бальзак — великий писатель, и я не собираюсь это оспаривать. Но, по-моему, Бальзаку не хватало любви к людям, снисхождения, ласки. Конечно, он с необычайным увлечением, даже со страстью относился к судьбе своих героев, но они были для него актерами сочиненной им пьесы, фигурами трагического паноптикума, коллекцией необычайных птиц или насекомых, всем, чем угодно, только не близкими, способными породить участие, сострадание, нежность. Его преклонение перед социальной иерархией связано с его биографией, а последняя была продиктована его характером. Бальзак писал своей больной матери: «Помни, что ты должна жить, пока я не вылезу из долгов»; именно поэтому он сумел с таким проникновением описать Растиньяка, Гобсека, Монтриво или Биротто. А разве не поражают нас сухостью сердца, подчас жестокостью некоторые рассказы Бунина? Нельзя отнести все к особенностям эпохи или к природе показываемого: Стендаль был современником Бальзака, и персонажи «Красного и черного» вращались в том же обществе, которое описал Бальзак; герои чеховских «Мужиков» или «В овраге» жили неподалеку от «Деревни» Бунина.

Что касается отсутствия скромности, то примеров хоть отбавляй. Не стану говорить о гениях — мне смогут возразить, что для них скромность не обязательна. Но вот был шведский писатель Стриндберг, бесспорно весьма талантливый; его книгами зачитывались; он оказал известное влияние на своих современников. Стриндберг был человеком неистовым; много раз в жизни он менял свои идеалы и всякий раз требовал от читателей, чтобы они считали избранный им путь единственно правильным, — и когда он склонялся к социализму, и когда увлекся мистикой католицизма, и когда все зло мира приписывал природе женщин.

Я не стал бы говорить о доброте Антона Павловича, если бы некоторые авторы, вроде упомянутой мною Софи Лаффит, не пытались доказать, что Чехов был человеком глубоко равнодушным и только в порядке самопринуждения совершал различные добрые поступки. Говоря это, Софи Лаффит ссылается главным образом на письма самого Чехова, в которых он говорил, что ему опротивели и писатели, и читатели, и пациенты, что он из породы злых. Но ведь он уверял столь же упорно, что он ленив и бездеятелен, что он бездарен, что все написанное им не представляет никакой ценности, что он похож на утопленника, что его шутки никого не веселят, что его печальные истории никого не трогают и что вообще он человек совершенно никчемный. Казалось бы, не только литературовед, но и ребенок должен понять, что подобное самоуничижение было продиктовано удивительной скромностью.

О необычайной доброте Антона Павловича писали все люди, знавшие его. Елпатьевский: «Все близко соприкасавшиеся с Чеховым знают, как много доброты и жалости лежало в нем и сколько добра — стыдливого, хоронящегося добра — делал он в жизни». Сергеенко: «Его скромность, сердечная доброта и превосходный житейский такт привлекали к Чехову симпатии людей всевозможных возрастов и профессий». Федоров: «Бесконечно добрый». Лазарев-Грузинский: «Чехов был одним из самых отзывчивых людей, которых я встречал в своей жизни. Для него не существовало мудрого присловия «моя хата с краю, я ничего не знаю», которым практические люди освобождаются от излишних хлопот. Услышав о чем-либо горе, о чьей-либо неудаче, Чехов первым делом считал нужным спросить: «А нельзя ли помочь чем-нибудь?» То же самое рассказывали десятки начинавших в те годы беллетристов, жители Лопасни, которых лечил Антон Павлович, врачи, актеры, про-

сители, друзья. Без этой органической, редкой доброты никогда Чехов не смог бы написать того, что он написал.

Скромность его общезвестна и никем не оспаривается. Эта скромность определила характер его творчества; в своих произведениях он пуще всего боялся пафоса, несдержанности, преувеличений; писал он только о том, что было ему хорошо известно: есть чеховские темы и чеховские герои.

Прочитав «Крейцерову сонату», он, как всегда, восхитился художественной силой Толстого, но в письме к Плещееву добавил: «...есть еще одно, чего не хочется простить ее автору, а именно — смелость, с какою Толстой трактует о том, чего не знает и чего из упрямства не хочет понять». О романах Достоевского в одном из писем Чехов говорил: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий». Сразу оценив Горького, он писал ему: «...у Вас, по моему мнению, нет сдержанности». В этом отгалкивании от поучительства, от утверждения себя, от приподнятости, неестественности — вся природа Чехова и как человека, и как художника.

Некоторые произведения зрелого Чехова мне кажутся менее значительными, чем другие, но и среди них нет ни одного случайного, холодного, неправдивого. В молодости он как-то заметил, что искусство писателя не только в умении писать, но и в умении зачеркивать написанное: это относится к мастерству Чехова. Но он не только зачеркивал фразы или главы, он умел отказываться от изображения того, чего не знал или не чувствовал, и это относится к совести Чехова. В начале творческого пути он мечтал остаться «свободным художником»; вскоре он понял, что, кроме глупой царской цензуры, существует цензура самого художника, его совести. Он оставил нам пример не только изумительной духовной широты, но и столь же изумительного самоограничения.

Софи Лаффит, отрицая человечность Чехова, считает его большим художником, показавшим страну и эпоху: «Россия Чехова более реальна, более конкретна, да и более широка, чем в произведениях Грибоедова, Гоголя, Тургенева или Толстого. Его сочинения позволяют восстановить до мельчайших подробностей панораму русской жизни 1880—1900 годов». Я представляю себе, как усмехнулся бы Антон Павлович, прочитав подобные восхваления. Его произведения менее всего напоминают широкую панораму. Если он многое показал, то, не будучи ни летописцем, ни графоманом, он умел и воздержаться от показа многого. Разве не было в России конца XIX века энергичных, умных и беззащитных капиталистов, преуспевающих дельцов, революционеров, фанатически преданных идее, ученых, отвергавших «общую идею» и вместе с тем успешно работавших в своей области? Это была эпоха, которую Ленин обрисовал в своей книге «Развитие капитализма в России», эпоха Рябушинских и Сытиных, крупных забастовок, студенческих волнений, погромов, эпоха роста рабочего движения, эпоха Павлова и Мечникова. Чехов очень многого не показал, и, может быть, правильнее отнести к «панорамам» романы Боборыкина или другого плодовитого беллетриста конца XIX века, оставившего нам пухлые альбомы с тусклыми и выцветшими фотографиями. Конечно, Чехов написал много маленьких рассказов, несколько повестей, несколько пьес; если составить перечень его героев, то список получится длинный; однако все его произведения мне кажутся одним романом, персонажи которого меняют профессии, внешние приметы, фамилии, но остаются самими собой.

Чехов говорил: «Искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать... Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого господ бога — были и такие случаи, — но в искусстве обмануть нельзя...»

Есть критики, которые корят писателя: почему вы не описали этого и не показали того-то?... Чехов рассказывал: «Вот меня упрекают, даже

Толстой упрекал, что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или, хотя бы как у Лескова, просто честных исправников...» Чехов описывал только то, что хорошо знал и что мог понять, осветить по-своему. Несколько раз он ездил за границу; долго жил в Ницце. Легко себе представить, сколько рассказов из зарубежной жизни написал бы разбитной беллетрист, побывав в Париже, в Риме, в Венеции, в Ницце, даже на Цейлоне. А Чехов в нескольких строках показывает, как терзались русские герои «Рассказа неизвестного человека» в Венеции и герой «Ариадны» в Аббации. Батюшков, редактор журнала «Космополис», попросил Чехова, когда писатель зимовал в Ницце, написать рассказ из заграничной жизни. Антон Павлович отказался и написал для «Космополиса» «У знакомых», где действие происходит не в Ницце, а в Кузьминках и где показаны знакомые ему люди, знакомая жизнь.

Он совершил труднейшее путешествие на Сахалин, многое увидел, многое пережил. Вернувшись, он написал в непривычной для себя манере документальную книгу о Сахалине; это не беллетристика, а труд медика и общественного деятеля. Только в двух рассказах можно найти следы его поездки на Сахалин. Это, конечно, не означает, что ужасы каторги, которые он увидел, не отразились на всем его творчестве.

Знакомый ему мир он показывал с точностью, не допускающей возражений. Куприн писал: «Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Мне думается, что Куприн прав только отчасти: Чехов изумительно показывал мельчайшие детали. Вполне возможно, что он не помнил, какие волосы были у молодого драматурга, всучившего ему вчера рукопись, или как была одета дама, которая на прошлой неделе попросила у него лекарство от бессонницы; но и драматург и дама могли стать его героями; а своих героев он знал во всех их подробностях. Он, например, огорчился, что Станиславский не сразу понял внешность Тригорина: «У него же клетчатые панталоны и дырявые ботинки... Клетчатые же панталоны, и сигару курит вот так...» Он твердо знал, что дядя Ваня умеет подбирать галстуки к костюмам. Галстуки или брюки были для Чехова связаны с обликом героев, с их душевным миром.

Он боялся приблизительного не меньше, чем неправдивого. Поучительна судьба его последнего рассказа «Невеста». В 1903 году в России ощущалось приближение очистительной грозы: восьмидесятые и девяностые годы были позади. Чехов, тяжело больной, жил в Ялте, в городе, который его угнетал своей курортной нереальностью. Он написал рассказ «Невеста», показал хорошую, сильную духом девушку, которая вырывается из мещанской среды и уходит в революционное подполье. Образ Нади он, видимо, не считал для себя новым, исключительным: «Такие рассказы я уже писал, писал много раз, так что нового ничего не вычитаешь». Писатель Вересаев, связанный с революционными кругами, прочитав корректуру «Невесты», сказал Чехову: «Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут». Месяц спустя Чехов сообщил Вересаеву: «Рассказ «Невеста» искромсал и переделал в корректуре». Чехов хорошо знал свою героиню и, пуще всего боясь в искусстве лжи, не стал менять ее характер — он создавал своих героев не по плану, не подчиняясь сюжету, а вкладывая в них и частицу себя, и весь свой жизненный опыт. Рассказ он действительно «искромсал». В первых вариантах молодой человек, по имени Саша, увидав, что Надя тоскует по другой жизни, предлагал ей уехать в Петербург; встретившись полгода спустя



в Москве и выслушав рассказ девушки о ее новой жизни, Саша говорит: «Отлично, превосходно... я очень рад. Вы не пожалеете и не раскаетесь, клянусь я вам. Ну, пусть вы будете жертвой, но ведь так надо, без жертвы нельзя, без нижней ступени лестница не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо». В окончательном варианте Саша при встрече в Москве не говорит ничего значительного, а, уговаривая Надю ехать в Петербург, восклицает: «Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь... Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно». Чехов, не зная в точности, что станет с Надей, отбросил чересчур обязывающие слова о «жертве» и предоставил ей самой выбрать свой путь. В работе над «Невестой» сказались его художественная честность. (Что касается утверждения, будто в рассказе нет ничего нового, его следует отнести к скромности, постоянной неудовлетворенности своей работой. Конечно, Надя еще не делает ничего для того, чтобы «перевернуть жизнь» других, но это первая чеховская героиня, которая находит в себе силы для того, чтобы перевернуть свою собственную жизнь.)

Что сделала героиня рассказа «Невеста»? Отказалась выйти замуж за сына протоиерея, которого не любила; против воли матери и бабушки уехала в Петербург, поступила на Высшие курсы; вот и все. Конечно, вокруг Нади были тысячи девушек с судьбой куда более яркой, героической. Почему же «Невеста» продолжает нас волновать? Почему мы не можем оторваться от книг Чехова, в которых собраны «скучные истории» эпохи, давно окрещенной «серой»?

Художник может раскрыть в малом, будничном, непримечательном большое, и он может превратить большое в нечто мелкое, лживое, случайное. Дело даже не в размерах дарования, а в соблюдении законов искусства — в художественной правдивости. Рембрандт писал портреты ничтожных негоциантов; моделями Гойи были ублюдки испанской знати. В то время, когда Иван Иванович ссорился с Иваном Никифоровичем, в России жили Пушкин, Белинский, да и сам Николай Васильевич Гоголь. Конец XVIII века во Франции был наполнен событиями, которые потрясли мир, по сравнению с ним и предшествующие десятилетия, и последующая эпоха — двадцатые, тридцатые годы XIX столетия — могут быть названы будничными. Однако ни холсты Давида, ни тем паче холодные оды Мария-Жозефа Шенье (брата Андре Шенье) нельзя сравнить с живописью Шардена, с комедиями Бомарше, с «Племянником Рамо» или с Делакура, с «Красным и черным», с поэтами-романтиками. Было бы нелепым заключать, что эпохи, богатые событиями, неблагоприятны для искусства: эпоха Возрождения изобиловала революциями, войнами, научными открытиями, и она оставила нам замечательные произведения искусства. А многие весьма серые эпохи не создали в искусстве ничего примечательного. Для того, чтобы избежать кривотолков, повторяю: художник может придать капле росы глубину моря, из этого не следует, что росинка глубже моря, из этого не следует также, что величие жизни противопоставлено искусству. Жорж Санд воодушевляла прекрасные идеи, и никто не назовет ее бездарной, но ее романы состарились быстрее, чем она сама. Наверно, были писатели крупнее Чехова, но, кажется, не было в мировой литературе ни одного честнее, совестливее, правдивее его, и в этом объяснение неослабевающей любви к нему читателей.

*(Окончание следует)*



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

А. КОПЦЕВА

★

## ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КНИГИ „МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ“

**В** мае нынешнего года исполняется пятьдесят лет со дня выхода в свет замечательного труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», ознаменовавшего собой целую эпоху в развитии марксистской философии.

Книга эта, написанная в 1908 году в Женеве, была впервые издана в России в 1909 году в количестве двух тысяч экземпляров.

Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции это гениальное произведение В. И. Ленина получило массовое распространение. Оно издавалось в СССР сто три раза, общим тиражом свыше пяти миллионов экземпляров, на двадцати трех языках. В 1930 году книга «Материализм и эмпириокритицизм» была переведена на китайский язык; издавалась также на английском, болгарском, румынском, чешском, немецком, французском, японском и других языках.

В задачу этих заметок не входит подробное изложение содержания книги. Нам хотелось бы поделиться с читателями лишь некоторыми материалами, рассказывающими о том, как работал Владимир Ильич над своим произведением.

Обстановка, сложившаяся в России после поражения революции 1905 года, породила упадочничество и идейный разброд среди попутчиков революции, особенно среди интеллигенции. Одни из них перешли в лагерь открытых врагов революции; другие, обосновавшись в уцелевших легальных рабочих организациях, старались приспособиться к новой обстановке и развернули борьбу за ликвидацию революционной деятельности пролетариата и революционной программы его партии.

В наступление на рабочее движение перешла и буржуазия, которая задалась целью не только разгромить революционные организации и физически истребить передовых борцов революции, но и обезоружить пролетариат идейно. Ревизионисты и оппортунисты всех мастей ополчились на марксизм, на его философскую основу — диалектический и исторический материализм, противопоставляя ему реакционную идеалистическую философию.

В России наряду с идеологами либеральной буржуазии (Струве и другие) в поход против марксизма включились враждебные элементы внутри социал-демократического движения: бывшие попутчики марксизма — меньшевики (Валентинов, Юшкевич), некоторые из партийных интеллигентов (Богданов, Базаров, Луначарский), которые примыкали в 1905 году к большевикам, но не стояли твердо на позициях марксизма. Подобного рода ревизионисты были особенно опасны, так как они выступали замаскированно, под флагом «защиты» марксизма.

Перед революционными марксистами встала неотложная задача — отстоять теоретические основы марксистской партии, разоблачить и разгромить до конца ревизионистов в области теории марксизма. Эту задачу, имеющую международное историческое значение, выполнил В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая стала программным документом революционной марксистской партии.

В этом произведении Ленин подверг уничтожающей критике вздорные утверждения философских ревизионистов, развил марксистскую философию применительно к новым историческим условиям — эпохе империализма и пролетарских революций. Ленин дал философское обобщение важнейших достижений естествознания, которые имели место после К. Маркса и Ф. Энгельса, раскрыл смысл кризиса современной науки, в частности физики, указав, что единственно правильный путь для преодоления этого кризиса заключается в овладении учеными методом диалектического материализма.

Книга «Материализм и эмпириокритицизм» — результат огромной научно-исследовательской работы, проделанной ее автором за сравнительно короткий срок, с февраля по сентябрь 1908 года.

К сожалению, мы не располагаем ни рукописью этого произведения, ни какими-либо заметками и материалами, которые в полной мере раскрывали бы приемы и методы работы Ленина над книгой. Однако достаточно яркой иллюстрацией колоссальной работы Владимира Ильича, его подхода к источникам, исключительной научной добросовестности и необычайной тщательности при написании книги является прежде всего сама книга, ленинские пометки на книге I. Dietzgen. «Kleinere philosophischen Schriften» (И. Дицген. «Мелкие философские работы»), немногие сведения из переписки Ленина с родными за 1908—1909 годы, сохранившейся до наших дней, а также отдельные воспоминания.

Как известно, одной из форм реакционной буржуазной философии в начале XX века, выступившей против марксистской теории, был эмпириокритицизм (философия «критического опыта»).

Родоначальниками этого направления были австрийский и немецкий философы, сторонники субъективного идеализма Эрнст Мах и Рихард Авенариус. Они предприняли ряд «открытий», посредством которых якобы преодолевали «ограниченность» материализма и идеализма, объявляли свою философию стоящей над основными философскими направлениями. Наряду с махизмом возникли также попытки вообще ликвидировать философию, «растворить» ее в естественных науках, объявив, что «естествознание — само себе философия».

Русские махисты в 1908 году опубликовали четыре книги махистского направления. Такими книгами были: «Материализм и критический реализм» Юшкевича, «Диалектика в свете современной теории познания» Бермана, «Философские построения марксизма» Валентинова, а также сборник статей «Очерки по философии марксизма» Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова. Этот сборник, как указывал Ленин, правильнее было бы назвать «Очерки против философии марксизма». В своих сочинениях махисты, ссылаясь на «новейшую философию», на «философию естествознания XX века», нападали на диалектический и исторический материализм, объявляли устаревшими взгляды Маркса и Энгельса, называли диалектику мистикой и договаривались до прямой поповщины.

Критическому разбору философских взглядов махистов В. И. Ленин и посвятил свою книгу «Материализм и эмпириокритицизм».

Названный выше сборник Ленин читал в Женеве. В письме к Горькому от 25 февраля 1908 года он писал: «Теперь вышли «Очерки философии марксизма». Я прочел все статьи кроме суворовской (ее читаю), и с каждой статьей прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм! И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты и эмпириосимволисты в болото».

Вскоре Владимир Ильич, как это отмечает в своих воспоминаниях Н. К. Крупская, взялся за обдумывание и написание книги «Материализм и эмпириокритицизм». Взялся не потому, конечно, что у него оказалось много свободного времени, а потому, что он считал борьбу с ревизионизмом на философском фронте особенно важной в данный момент. В письме Владимира Ильича своей сестре в Россию, датированном 8 апреля 1909 года, говорится по поводу этой книги: «У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства».

1908 год был особенно напряженным для Ленина в отношении работы. Это видно, в частности, из письма Марии Александровны Ульяновой к Владимиру Ильичу от 27 сентября 1908 года. «Дорогой мой,— писала она,— не слишком ли много сидишь ты за работой, это вредно для тебя, надо больше отдыхать, гулять, не забывай этого, прошу

тебя»<sup>1</sup>. Различные ленинские статьи того же периода, не считая труда над философской книгой, превышают 250 печатных страниц.

Сравнительно большая работа по философии Лениным была написана еще в середине 1906 года, когда он ознакомился с III томом «Эмпириомонизма» А. Богданова. «За сочинениями Богданова по философии,— писал Владимир Ильич 25 февраля 1908 года Максиму Горькому,— я следил с его энергетической книги об «Историческом взгляде на природу», каковую книгу штудировал в бытность мою в Сибири. Для Богданова эта позиция была лишь переходом к другим философским взглядам. Лично познакомился я с ним в 1904 году... В тюрьме в начале 1906 г. Богданов написал еще одну вещь,— кажется, III вып. «Эмпириомонизма». Летом 1906 г. он мне презентовал ее и я засел внимательно за нее. Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневверным путем, не марксистским. Я написал ему тогда «объяснение в любви», письмецо по философии в размере трех тетрадок... Сии тетрадки показал я некоторым друзьям (Луначарскому в том числе) и подумывал было напечатать под заглавием: «Заметки рядового марксиста о философии», но не собрался. Теперь жалею о том, что тогда тотчас не напечатал».

В феврале 1908 года Ленин написал письмо в Петербург с просьбой разыскать эти «тетрадки по философии», однако были ли они им получены или нет, неизвестно. Рукопись эта до сих пор не разыскана. Можно, однако, предположить, что она в какой-то степени составила основу книги «Материализм и эмпириокритицизм», что следует из того же письма Владимира Ильича к Горькому: «Меня опять потянуло к «Заметкам рядового марксиста о философии» и я их начал писать».

Усиленно занявшись философией, Ленин «по целым дням» читал «распроклятых махистов», о чем он писал Горькому в первой половине апреля. Считая, что «время тетрадок прошло», Владимир Ильич предполагал, в отличие от Плеханова, «по-своему» сказать об эмпириокритиках.

Работа над книгой «Материализм и эмпириокритицизм» шла быстро, несмотря даже на болезнь Владимира Ильича. Уже 13 июля 1908 года он сообщал сестре: «Поработал я много над махистами и думаю, что все их (и «эмпириомонизма» тоже) невыразимые пошлости разобрал».

В конце сентября в черновике рукопись была готова. В письме к Марии Александровне от 30 сентября 1908 года Владимир Ильич сообщал, что после окончания работы (которая уже подходит к концу) он думает с недельку отдохнуть. Через месяц, 27 октября, Ленин уже писал, что рукопись его книги готова, и просил Анну Ильиничну прислать адрес для ее пересылки.

«Добавление к § 1 главы IV. С какой стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике кантианства?» и ссылка на книгу Эриха Бехера о «философских предпосылках точного естествознания», с которой Ленин ознакомился после окончания работы над книгой, были внесены им в корректуру.

Книга «Материализм и эмпириокритицизм», написанная всего за восемь месяцев (ее объем 24 печатных листа, около 400 страниц), свидетельствует об огромном труде, затраченном автором за это время.

Характеризуя метод писания В. И. Ленина, Н. К. Крупская отмечала: «За какую бы работу ни брался Владимир Ильич, он делал ее необычайно тщательно. Он проделывал сам массу черновой работы. И чем больше придавал он значения той или другой работе, тем больше вникал он во все мелочи... Он просматривал горы материала (читал, как и писал, чрезвычайно быстро), но то, что хотел запомнить, выписывал себе в тетрадки» («Правда», 21 января 1928 года). Ленин тщательно изучал произведения Маркса и Энгельса, вновь и вновь перечитывал их. Это полностью относится и к его книге. Чтобы написать свой философский труд «Материализм и эмпириокритицизм», Владимир Ильич изучил более двухсот книг на русском, английском, немецком и французском языках. Заново прочитал философские труды Маркса и Энгельса, особенно «Анти-Дюринг», работы Плеханова и многих других философов.

Ленинские произведения убедительно свидетельствуют о том, что Владимир Ильич всегда интересовался философией, а не только в связи с работой над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Он глубоко изучил и хорошо знал уже в восьмидесятых—

<sup>1</sup> ЦПАИМЛ. Ф. 11, оп. 2, ед. хр. 4, л. 3.

девяностых годах все основные произведения Маркса и Энгельса и постоянно с ними «советовался», по выражению Н. К. Крупской.

«Капитал» К. Маркса Ленин видел еще у своего старшего брата. Но детальное ознакомление с ним началось после прочтения книги Плеханова «Наши разногласия». Тогда же Владимир Ильич доставал и читал другие произведения Маркса и Энгельса, не переведенные на русский язык. В подлиннике он читал «Манифест коммунистической партии», перевод которого сделал в конце 1889 — начале 1890 года. Этот перевод, к сожалению, не сохранился. Ленин хорошо знал все основные высказывания Маркса и Энгельса в области философии. По приблизительным подсчетам, в ленинских работах имеется более 250 ссылок на «Капитал» Маркса; они относятся главным образом к первым четырем томам его Сочинений.

Много занимался Ленин философией в ссылке, где читал Спинозу, отдельные произведения французских материалистов XVIII века, Юма, представителей немецкой классической философии: Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. «Еще в ссылке,— пишет Н. К. Крупская в «Воспоминаниях о Ленине»,— он яро спорил с товарищами, склонявшимися к Канту, следил за тем, что писалось по этому вопросу в «Neue Zeit», и вообще по части философии был довольно серьезно подкован».

В 1907 году, работая над «Предисловием к русскому переводу писем К. Маркса к Л. Кугельману», «Предисловием к русскому переводу книги: «Письма И. Ф. Беккера, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.», Ленин снова возвращается к изучению произведений Маркса и Энгельса, что в значительной степени ему помогло в работе над «Материализмом и эмпириокритицизмом».

Особенно интересовали Владимира Ильича письма Маркса к Кугельману, на которые он неоднократно ссылается в своей книге. Имеется непосредственная связь также между статьей «Марксизм и ревизионизм», написанной Лениным в начале 1908 года, и книгой «Материализм и эмпириокритицизм», над которой он в то время работал. Уже в этой статье Ленин показал истинное лицо ревизионизма, его классовую сущность и объявил решительную борьбу ревизионизму как международному оппортунистическому течению. Ссылаясь в статье «Марксизм и ревизионизм» на «Очерки по философии марксизма» Богданова, Базарова и других, Владимир Ильич прямо указывал, что в ближайшем будущем он предполагает показать в ряде статей или в особой брошюре, что в с е, сказанное в «Марксизме и ревизионизме» про неокантианских ревизионистов, относится к этим «новым» неокюмистским и необерклианским ревизионистам.

Из-за отсутствия рукописи книги «Материализм и эмпириокритицизм» не представляется возможным проследить творческий процесс создания этого классического произведения ленинского гения. Большой интерес в этой связи представляют не опубликованные до сих пор замечания Владимира Ильича на книге И. Дицгена «Мелкие философские работы», которая была одной из многих книг, прочитанных им в тот период. Даже этот небольшой кусочек из подготовительных материалов к книге «Материализм и эмпириокритицизм» дает представление о той колоссальной работе, которую проделал Ленин при изучении каждого источника. Ленинские пометки и замечания характеризуют умение концентрировать внимание на главном, исключительную тщательность в работе над текстом.

Немецкий рабочий-кожевник, социал-демократ Иосиф Дицген, исходя из Фейербаха, как известно, самостоятельно пришел к диалектическому материализму. «Он на 9/10 материалист, никогда не претендовавший ни на оригинальность, ни на особую философию, отличную от материализма»,— писал о Дицгене В. И. Ленин.

В «Материализме и эмпириокритицизме» содержатся ссылки на три работы Дицгена: «Сущность головной работы человека», «Познание и истина» и «Мелкие философские работы», причем только на последнюю работу, которую Ленин читал на немецком языке в издании 1903 года, он ссылается сорок раз. На самой книге Дицгена, объемом 272 страницы, имеются многочисленные ленинские пометки и подчеркивания на 213 страницах, что говорит о глубоком знакомстве Ленина с ее содержанием. Замечания Владимира Ильича показывают, что он во многом соглашается с автором, отмечает наиболее удачные места, часто пишет на полях «sehr gut!», «очень хорошо!», «NB», сравнивает с Кантом и так далее. В то же время Ленин отмечает неточные положения и частные ошибки автора.

Всесторонний анализ ленинских замечаний на книге И. Дицгена «Мелкие философские работы» позволяет глубже вникнуть и познать метод работы Ленина над книгой «Материализм и эмпириокритицизм».

Над своим философским произведением В. И. Ленин работал в основном в Женевской библиотеке, а также в Британском музее в Лондоне.

По приезде в Женеву в 1908 году Владимир Ильич вступил в члены «Общества чтения» («Société de lecture»), которое имело громадную библиотеку и получало массу газет и журналов на французском и немецком языках.

«В этой библиотеке было очень удобно заниматься,— писала Н. К. Крупская в «Воспоминаниях родных о В. И. Ленине».— Члены общества — по большей части старики-профессора — редко посещали эту библиотеку; в распоряжении Ильича был целый кабинет, где он мог писать, ходить из угла в угол, обдумывать статьи, брать с полок любую книгу».

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС имеется копия членской карточки Ленина из Женевской библиотеки, а также другие материалы, подтверждающие слова Н. К. Крупской. Так, автор присланного на имя Н. К. Крупской в январе 1932 года письма, в свое время посетивший Женеву, сообщает, что в книге «Общества чтения» в числе других членов общества записано: «Ульянов, Владимир, декабрь 1904». Указаны также имена поручителей: П. И. Бирюков, известный автор книги о Л. Н. Толстом, и Арманд Дюссо, профессор физики в Женеве. Под этой записью в книге следует вторая, с иной датой: «23 февраля 1908 г.». Поручителями во второй раз были Эдгард Мило, известный французский экономист и социалист, и Поль Муаро, профессор права в Женевском университете. Мило познакомился с Владимиром Ильичем в читальном зале общества.

«За Ленина нужно было поручиться в библиотеке, и я поручился,— сообщил Мило автору письма.— А так как нужно было двух поручителей, то я пригласил моего друга Поля Муаро, профессора права в Женевском университете, сказав ему, что я знаю Ленина». Мило рассказывал также, что Ленин сидел целыми днями в читальном зале, прочитывая книги и газеты, делая непрерывные выписки из них, исписывая целые листы мелким ровным почерком.

«Я обошел залы Общества, пустынные в утренний час,— продолжает автор письма.— В них мало мебели и пахнет так, как пахнет вообще в швейцарских провинциальных музеях: запах плесени и воска. Одна из зал называется «залой Сферы». В глубине ее стоит зачем-то несколько больших глобусов, откуда и ее название. Здесь на стенах груды газет. Именно здесь-то больше и сидел Ленин»<sup>1</sup>.

Пользовался Владимир Ильич также большой русской библиотекой имени Куклина, которой заведовал тогда В. А. Карпинский. Позднее, живя в других городах, Ленин выписывал из этой библиотеки книги для своих последующих работ. Нуждаясь для написания книги «Материализм и эмпириокритицизм» в некоторых произведениях английских физиков и философов XIX века, которые отсутствовали в женевских библиотеках, он специально выезжал в Лондон, где работал в течение месяца в Британском музее.

Владимир Ильич всегда очень лестно отзывался об этой богатейшей в мире библиотеке с прекрасно налаженной техникой обслуживания и постоянно посещал ее, когда бывал в Лондоне. Об этом так рассказывает Н. С. Каржанский в своих воспоминаниях о Владимире Ильиче.

«Мы заговорили о библиотеке Британского музея и о библиотечном деле вообще. Ленин сказал:

— Когда я бываю в Лондоне, я всегда здесь работаю в библиотеке. Замечательное учреждение: многому у них можно поучиться. Особенно этот необыкновенный отдел справок. В самое короткое время по любому вопросу вам дадут справку, в каких книгах вы найдете материалы по интересующему вас вопросу. И как хорошо и удобно работать в Лондонской библиотеке!..

— Здесь только книги на английском языке, может быть, еще по-французски и по-немецки, но не на русском же языке?— сказал я вопросительно.

<sup>1</sup> ЦПАИМЛ. Ф. 12, оп. 1, ед. хр. 510, л. 16.

— В том-то и дело, что здесь имеется богатейший русский отдел. Есть специальные работники, которые следят за вновь выходящей русской литературой и подбирают ее. Стоит вам сделать заявку на книгу, книга у вас будет. Особенно полон экономический отдел. Они ведь купцы: им надо торговать с Россией и надо ее знать... Вчера мне подали книги на русском языке, которых нет ни в Питере, ни в Москве.

— Как же это могло случиться?

— Они вышли в свет в России, а потом были конфискованы — значит, в наших библиотеках вы их не найдете. И по обмену ни одна библиотека их не получит. А англичан не интересует вопрос о том, как столыпинские молодцы из главного управления по делам печати относятся к той или иной книге. Прямо скажу: по тем источникам на всех языках, которые мне в ближайшее время нужны, лучшего места для работы, как библиотека Британского музея, и не придумать. Здесь пробелы будут меньше, чем в другом любом месте.

Именно в этой библиотеке В. И. Ленин работал над книгой «Материализм и эмпириокритицизм», когда в мае 1908 года выехал в Лондон, так как был уверен, что в Британском музее ему потребуется значительно меньше времени для этой работы, чем где-либо в другом месте.

Второй этап работы В. И. Ленина над книгой «Материализм и эмпириокритицизм» — работа над корректурой, которой он придавал большое значение и уделял много внимания, — проводился им уже в Париже. Сюда Владимир Ильич переехал в декабре 1908 года в связи с перенесением издания газеты «Пролетарий».

Как видно из переписки Владимира Ильича и Анны Ильиничны за 1908 год, перспективы насчет издания книги «Материализм и эмпириокритицизм» были тогда очень плохи. Многие издательства в России после революции 1905 года были репрессированы, другие закрылись сами. Особенно настороженно относились издатели к предложениям авторов, которые были настроены революционно. Имя Ленина пользовалось в то время широкой известностью, поэтому даже для его философской книги было довольно трудно найти издателя.

«Насчет издателя дело, видимо, плохо: получил сегодня известие, что Гранат купил «историю» меньшевиков, сиречь меньшевики там взяли верх, — писал сестре Владимир Ильич 27 октября. — Ясно, что он теперь откажется от издания моей книги. Имей в виду, что я теперь не гоноюсь за гонораром, т. е. согласен пойти и на уступки (какие угодно) и на отсрочку платежа до получения дохода от книги, — одним словом, издателю никаких рисков не будет. Насчет цензуры тоже пойду на все уступки, ибо в общем у меня безусловно все легально, и разве отдельные выражения неудобны».

В приписке к письму содержалась просьба к Анне Ильиничне заключить договор при любых условиях, если будет малейшая возможность.

Многочисленные поиски Анны Ильиничны были закончены издательством «Звено», которым ведал эсер Крумбюгель. Владимир Ильич, мало надевшийся при сложившихся условиях устроить скоро издание своей книги, согласился с предложением сестры и в последующих письмах к ней просил посылать ему корректурные листы, чтобы вносить исправления, дополнения, предупредить пропуски и ошибки. В то же время он горячо убеждал Анну Ильиничну ничего не смягчать в рукописи относительно махистов, этих «истребителей» марксизма, и с трудом соглашался лишь на некоторое сглаживание выражений из-за цензуры.

Вот характер его уступок. В письме от 8 ноября 1908 года говорится: «Между прочим, если бы цензурные соображения оказались очень строги, можно было бы заменить везде слово «поповщина» словом «фидеизм» с пояснением в примечании («фидеизм есть учение, ставящее веру на место знания или вообще отводящее известное значение вере»). Это на случай — для пояснения характера уступок, на которые я пойду». В другом письме, от 19 декабря, Ленин подчеркивал: «На смягчения по отношению к Базарову и Богданову согласен; по отношению к Юшкевичу и Валентинову — не стоит смягчать. Насчет «фидеизма» и проч. соглашаюсь лишь по вынуждению, т. е. при ультимативном требовании издателя».

В письме от 9 марта 1909 года Ленин просит не смягчать мест против Богданова и поповщины Луначарского, так как отношения с ними порваны совсем и не к чему смягчать. В письме от 12 марта он настаивает на том, чтобы ничего не смягчать

из мест против Богданова, Луначарского и их единомышленников. «Невозможно смягчать. Ты выкинула, что Чернов «более честный» противник, чем они, и это очень жаль,— писал Владимир Ильич.— Оттенки вышли не те. Соответствия во всем характере моих обвинений нет. Весь гвоздь в том, что наши махисты нечестные, подло-трусливые враги марксизма в философии».

В письме от 21 марта Ленин просит: «Особливо не выкидывай «Пуришкевича» и проч. в § о критике кантианства!» С Пуришкевичем Владимир Ильич сравнивал махистов. Пуришкевич, как известно, критиковал кадетов за то, что «они — чересчур демократы, а мы их — за то, что они недостаточно демократы,— подчеркивал Ленин в своей книге.— Махисты критикуют Канта за то, что он чересчур материалист, а мы его критикуем за то, что он — недостаточно материалист. Махисты критикуют Канта справа, а мы — слева».

Исключительно внимательно Ленин прочитывал присылаемые ему корректурные листы. Он проверял каждую мелочь, каждое высказывание, о чем убедительно свидетельствуют прилагаемые к письмам списки опечаток и исправлений. Так, в одном из писем к брату Анна Ильинична предлагала перевести фамилию Couwelaert — Ковеларт, а не Каувеларт, как было в рукописи, ибо такового во французском языке нет. Владимир Ильич в ответном письме сообщал: «Каувеларт надо действительно исправить на Ковеларт, хотя это, пожалуй, фламандец...» Ленин очень прислушивался к замечаниям Анны Ильиничны, которая вела корректуру. По ее предложению, например, выражение «Луначарский даже боженьку себе примыслил» было заменено: «Луначарский даже «примыслил» себе... ну, скажем мягко, религиозные понятия»; оставлен термин «реализм», внесены другие исправления.

Работа В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» вышла в свет в мае 1909 года. Ее изданием автор остался очень доволен.

Выход книги скоро нашел отклик в печати. В том же году были опубликованы рецензии в журналах и газетах различного направления: «Возрождение», «Критическое обозрение», «Русские ведомости», «Современный мир». На нее отвечали также А. Богданов, В. Базаров, П. Юшкевич.

17 мая 1909 года Ленин послал свою книгу Розе Люксембург, которую просил отметить выход книги «Материализм и эмпириокритицизм» в журнале «Die Neue Zeit», что и было ею сделано.

Идеи, высказанные Лениным в этом гениальном произведении пятьдесят лет назад, имеют исключительно важное значение в наши дни в борьбе против буржуазной идеологии, против современного ревизионизма — главной опасности международного рабочего движения.

На книге «Материализм и эмпириокритицизм» учатся марксизму многочисленные кадры коммунистических и рабочих партий всех стран, все прогрессивные люди, овладевая подлинно научным мировоззрением.





---

---

Я. ТАВРОВ

★

## ДОРОГОЙ СОЗИДАНИЯ

**И**дет первая весна семилетки. Текут своей чередой обычные дела. У людей как будто те же заботы, те же волнения, радости,— все осталось тем же. И все изменилось. Начат новый период советской истории. Широкая и прежде жизнь как бы раздвинулась, вплотную сомкнулась с будущим. В завтра всматривается юное поколение, для которого в 1959 году семилеткой начинается первый для него перспективный план. В будущее глядят и люди, поднимавшие своими руками первую пятилетку.

С пятилеток пошла наша сила. Мы глядим вперед, а видим все прожитое, оно было отдано той цели, которая сейчас так близка.

Весна 1927 года. Мне было шестнадцать лет, когда в наш маленький, ничем не примечательный городок, затерянный в степях Таврии, докатилась взбудоражившая многих весть: на Днестре, пониже порогов, будет строиться плотина, а при ней гидроэлектростанция. Набирают рабочих. Может, поехать?..

Толки об этой плотине шли давно. Красные кавалеристы еще выкуривали из окрестных балок последние ошметки махновских банд, а в городе приезжий лектор показывал через волшебный фонарь электрическое чудо на Днестре.

Новость привез из уездного центра Александровска (ныне Запорожье) Генка Левашов, местный комсомольский трибун, известный пылкими речами, в которых несовершенство дикции и стиля возмещалось темпераментом и доказанной в хлебозаготовительных отрядах верностью пролетарскому делу. Каждая речь Левашова завершалась призывом громить гидру контрреволюции.

У трибуна было нежное, не гтаящее ни одного движения лицо, оно сохранило в своих очертаниях еще что-то полудетское, зато в ореховых зрачках чувствовались твердость и сила. Все мы, подростки, стремились перенять Генкину походку: чуть-чуть склонившись влево, держа сжатую в кулак правую руку наготове, он шел как бы атакуя, словно намеревался в любую минуту обрушить ее на упомянутую выше гидру.

В тот же день состоялся примечательный разговор комсомольского вожака с инженером Лавром Георгиевичем Дубницким, выучеником Санкт-Петербургского технологического института.

Не помню, каким образом ветры революции занесли Дубницкого в нашу глушь. Знаю одно, что сложилась его жизнь путано и несчастливо. Был этот человек всегда независим и бескорыстен — качества, мало благоприятные для благополучия в старое время. Он нисколько не печалился о рухнувших порядках и желчно высмеивал жадность и копейный размах прежних вершителей судеб русской промышленности. Лавр Георгиевич служил на паровой мельнице, арендованной каким-то эппманом, презирал нового хозяина не меньше, чем прежних, и с удовлетворением наблюдал, как уходит в историю отслужившая свое новая экономическая политика.

Как ни странно, Дубницкий избегал говорить о технике, о своей профессии. Он был душой всех любительских спектаклей и первый ввел в нашем городишке художественные чтения. Читал он очень просто, выразительно, и когда в рассказе Горького «Пожар» произносил слова печника Чмырева: «Кто строит, тот дорого стоит», — зал разражался аплодисментами. Искусство очень сблизало Дубницкого с молодежью, а вот жизнь, та зачастую разводила.

Так вышло и в этот раз.

— Усмирение Днепра! — сказал задумчиво Лавр Георгиевич. — Доводилось мне как-то сталкиваться с этой задачей. Первый замысел шлюзования реки дал француз Деволлит. Было это еще при Екатерине. Потом наступила пауза чуть ли не в полвека. А далее хлынул ливень проектов. Техника шла вперед, и проблема судоходства стала частью другой, более важной проблемы — энергетической. Так и решил ее теперь автор проекта Днепрогэса Александров. Решил технически безукоризненно. Уязвимо другое — сама идея этого строительства. Да, да, уязвимо в силу ряда очень веских причин.

— Каких, разрешите узнать? — воинственно спросил Геннадий.

— Охотно, мой друг. Я верю в человека. Человек может все. Пирамиды соорудились еще во времена Хеопса. Но мы живем в двадцатом веке. При сооружении одной из крупных американских плотин — Кеокук — главным действующим лицом был экскаватор. А у нас на что можно рассчитывать? На грабара, на козозоса!

— Нет, на последствия революции, — гордо произнес Левашов.

— Молодой человек, современные плотины должны возводиться по одним и тем же законам при любых общественных системах. Конечно, можно соорудить днепровский гидроузел древнеегипетскими методами. Постройка затянется на много лет, поглотит уйму средств. Кстати, где они? Я слышал, ваша ячейка собрала девятнадцать рублей, это отродно. Но плотина не эскадрилья «Ответ Чемберлену». Тут добровольными взносами не обойдешься. Надо раскошелиться государству. А чем?

— Средства будут, — неожиданно тихо произнес Левашов, и, видно, сама мысль об этой, возможно, непредвиденной им угрозе взволновала его. — Вы поймите, — продолжал он, — если человек очень хочет чего-то большого, настоящего и ничуть себя не шадит, он может и надломиться. Народ — никогда!

Против ожидания Дубницкий очень легко согласился с Геннадием. Страна, вся страна, конечно, добьется своего — с берегов Днепра пойдет электроэнергия... Но куда? Кому она сейчас нужна? Заводам, которых нет в помине?

Удар был совершенно неожиданный.

Той самой весной, когда Лавр Георгиевич и Геннадий, да, наверное, не они одни, спорили о том, быть или не быть Днепрогэсу, в Москве, в Госплане, были составлены «Перспективы развития народного хозяйства», рассчитанные на пятилетие. «Перспективы» не утверждались правительством, они были одним из предварительных вариантов решения тогдашней задачи, сформулированной еще в плане ГОЭЛРО в следующих, набранных курсивом, словах: «Выравнить фронт нашей экономики в уровень с достижениями нашего политического уклада». Сделать это — значило соорудить каркас производственно-материальной базы социализма.

Такой базой может стать только крупное машинное, электрифицированное производство. А как к нему прийти? На словах все за индустриализацию. Даже те, кто хотел бы сделать план невинной игрой в предвидение и выдать народное хозяйство на волю рыночной стихии: она, дескать, уж приведет куда надо. Это статьями и речами продолжалась борьба, которая недавно велась пулями. Нельзя, говорили эти «теоретики», торопить историю, а она выработала классическую схему индустриализации — через подъем легкой промышленности. Сырье для «ситцевой индустриализации», как известно, дает сельское хозяйство. Выходит, надо держать равнение на деревню, а в ней — на мощный, преуспевающий двор, последний бастион капитализма в Советской России. Он огорожен всего-навсего ивовым плетнем, но таких бастионов у нас было в ту пору еще множество, и оттуда хлестала частнособственническая стихия, готовая загопить всю страну.

Эту опасность предвидел Ленин. «Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная экономическая база, чем для коммунизма», — говорил Владимир Ильич на VIII съезде Советов и тут же указывал единственный путь к спасению. Для победы надо перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу, базу современного крупного производства. Такой базой является только электричество.

В этих указаниях сердцевина будущих пятилеток, сквозь которые и протянется стержень ленинской идеи коммунистического пересоздания России на основе соединения двух могучих сил — Советской власти и электричества.

Партия верна этому плану, верна навсегда. И тщетно пытаются запугать ее капитулянты всех мастей непроходимыми Гималаями экономических трудностей.

Трудностей действительно хоть отбавляй. Период восстановления уже позади, но в 1928 году еще производится гораздо меньше чугуна, чем до революции, и проката тоже. Государство настолько бедно техникой, что «Правда» считает нужным оповестить всю страну о том, что в Москве железнодорожниками собраны два экскаватора.

В этот год еще выстраиваются по утрам очереди у бирж труда. Частник еще держит в своих руках едва ли не пятую долю производства. Промышленность живет без годового плана, а распыленное сельское хозяйство и вообще не знает, что такое планирование.

Пролетарская революция, в отличие от всех других, не получает готового экономического уклада. Она его создает. Одним из первых символов социалистической экономики в мир вошел Днепрострой.

Теперь, когда новостройки расселились на всех широтах и меридианах нашей страны и даже крупнейшим из них счет идет на десятки, если не на сотни, теперь трудно представить себе, как много значил в свое время для советских людей Днепрострой. За него боролись, в него верили, им жили. Он был и вызовом и утверждением. Вызовом самонадеянному Западу; утверждением едва зарождающихся советских возможностей.

Незабываемая стройка на Днепре началась в апреле 1927 года. В тот год я уехал учиться в большой приморский город и оттуда вместе с товарищами жадно следил за тем, что происходило у ставшего известным всему миру маленького поселка Кичкас.

По путевке комсомола на Кичкас прибыл Левашов. Вскоре он дал мне знать о себе, завязалась переписка, а потом уже, года два спустя, довелось и мне побывать на Днепрострое.

Как лучшее в жизни помню майский вечер, когда из окна вагона моим глазам открылись несметные огни там, где прежде лишь низкие южные звезды гляделись в воды Днепра.

На вокзале я впервые услышал гордое слово: «соцгород». Он был представлен всего лишь несколькими зданиями, но уже существовал.

Левашов жил в одном из барачных поселков. Деревянные строения были на украинский лад оштукатурены и выбелены известью. В палисадниках уже пошла в рост первая зелень. От всего этого вокруг было дивно молодо и хорошо.

Геннадий сидел за некрашеным столом и уминал круто посоленный ломоть хлеба. В комнате стояли две койки.

— Здравствуй,— сказал Геннадий, словно мы расстались вчера. Мой друг внешне не изменился, но какая-то перемена, более важная, в нем все же произошла.

Через пять минут мы шли по поселку, и вдруг я заметил — Генка больше не размахивает сжатой в кулак правой рукой, время отбросило все нарочитое из походки, которой мы подражали. Это кончилась юность.

— Смотри,— сказал Левашов, подводя меня к фанерному щиту для объявлений, установленному у входа в длинное деревянное здание. На ватманском листе красными буквами было выведено: «Сегодня здесь проводится лекция: «Будущее Днепростроя». Читает инженер Дубницкий».

— Лавр Георгиевич тоже здесь? — воскликнул я.

— Вторая койка в нашей комнате это ж его! — ответил Генка.

Дубницкий вышел на импровизированную трибуну в сильно потертом черном костюме, длинный, сухой, старомодный и ужасно милый. Казалось, давно ли слушал я впервые фантастическую повесть о том, как будет взнуздан Днепр, и вот уже пришла пора свершения. И разве только здесь, у Запорожья? На далекой Каме рождается город химии Березники, на Волге, у Сталинграда, строится первый тракторный, на Дону, в Ростове,— Сельмаш.

А Лавр Георгиевич говорит сейчас уже об изысканиях на Нижнем Днепре, близ Каховки. У устья той самой Конки, по которой пускали мы щепочные кораблики, со временем построят еще одну плотину.

Найдется ли спрос на такую уйму электроэнергии? Лектор усмехается наивности собственного вопроса. Ну, конечно, это не вопрос, а риторическая фигура. За потребле-

нием энергии дело не станет. Ее поглотят алюминий, ферросплавы, электрометаллургия. Комплекс таких заводов уже запроектирован. И потом, разве электроток привязан к месту? Его ждут в Донбассе, на рудниках Криворожья. Электричество поможет извлекать из земли уголь, железо. Несметные, глубоко захороненные богатства добудет наш народ. Избяная, холщовая Россия потянется к металлу, к машинам.

...Мы идем по поселковой улице, едва намеченной поставленными вразброс домами. Лавр Георгиевич шагает между мной и Геннадием, высокий, худой, чем-то похожий на Дон-Кихота. Левашов молчит, но по его лицу я вижу — ему не терпится что-то выложить. Так и есть. Он останавливается и воинственно заявляет:

— Мне не понравился ваш доклад, Лавр Георгиевич.

— Чем, разрешите узнать?

— А тем, что выставили вы из него одну малость — политику. Что? Не ваша тема? Нет, ваша! Вы прочли лекцию — это уже политика. Два года назад это было для нас невозможно. Верно?

— Верно.

— То-то же! Вас уже прибило к нашему берегу. Вы наш. А что внушал слушателям уважаемый лектор? О, высокие истины! Электричество — благо. У нас будет ДнепрогЭС. А в Америке уже есть гидроэлектростанция Кикук.

— Кеокук, — поправляет Дубницкий.

— Хорошо, Кеокук. В чем же прикажете видеть различие? Или, быть может, его вовсе нет? Есть! Мы не плотину возводим. Здесь идет сотворение целого мира. И вы это чувствуете, да, да, чувствуете!

— Да будет так: чувствую, — произнес Лавр Георгиевич и положил одну руку на мое плечо, а другую на плечо Геннадия. — Но будьте терпеливы, пылающая душа. Свет истины распространяется с разной быстротой в разных головах... А теперь проводите меня к котловану. Днем очень пошаливал один водоотливной насос.

Путь к котловану лежал через поселок одноэтажных веселых коттеджей, где жили американские специалисты.

На увитой диким виноградом веранде, залитой ярким электрическим светом, стоял выхоленный мужчина в легких кремовых брюках и отливающей голубизной шелковой рубашке. Мистер скучал, зевота сводила ему скулы. На мгновение его взгляд задержался на нас. Он скользнул по запыленным, стоптанным башмакам, остановился на моей застиранной гимнастерке и равнодушно, если не презрительно, уплыл куда-то поверх наших голов.

Геннадий вдруг энергично сплюнул.

— Научиться бы строить поскорее самим! — процедил он сквозь зубы.

— Научимся, — легко и твердо сказал Дубницкий.

Котлован возвещает о себе лошадиным ржанием, скрипом телег. Сотни подвод отвозят грунт. Слышится постук перфораторов, чавканье насосов. Механизмов еще мало, и, когда на днях прибыл первый экскаватор «Марин», строители ходили за пять километров смотреть на него.

В ожидании Дубницкого мы с Геннадием растягиваемся на траве, лицом к густо-черному звездному небу. Хорошо лежать так на теплой земле и под разноголосый шум котлована делиться самым заветным. Я узнаю — Геннадий будет металлостроителем, точнее — станкостроителем. Это решено. Сейчас отсюда никуда не уедешь, а позже... Есть у Геннадия в Москве, на бывшем бромлеевском заводе, дядька — великий искусник лещального дела. Он зовет к себе племянника. На заводе можно учиться, стать техником...

Лежат два паренька на крутом днепровском берегу. На днепровском ли? На каких только реках и морях не побывали они в эту ночь, каких только дел не свершили!

А рядом денно и ночью строится ДнепрогЭС — великая реальность. От нее, от того, что происходит здесь и далеко отсюда, в лесу под Свердловском, где расчищается стройплощадка для Уралмаша, от того, что делается еще дальше, в маленьком сибирском городке Кузнецке, — от всего этого зависит исполнение самых смелых желаний.

Уже бледнеют звезды, когда Дубницкий, очень усталый, но довольный, находит нас.

— Мы научимся всему, — говорит он, точно продолжая начатый разговор. — Я сейчас в этом убедился. Какие люди появляются на земле! Русская смекалка, а к ней еще что-то добавилось, чего раньше не водилось.

Трогаемся в обратный путь. На краю поселка длинная очередь. Стоят женщины, дети.

— За хлебом,— угрюмо замечает Геннадий.

На стройке из рук вон плохо с продуктами. Государству не хватает зерна.

«Как же наступать, как двигаться вперед?» — мелькает у меня тревожная мысль.

Наутро я просыпаюсь с той же мыслью.

— Вставай! — кричит Левашов, врываясь в комнату.— Принят пятилетний план! Сам слышал по радио...

В прошлом государства боролись за земли, богатства, власть и никогда — за время. Ведь им никто не умел управлять. Это стало возможным лишь в Стране Советов. Короткое слово «темп» становится здесь родным, прочно входит в народ, оно вмещает в себя одну из самых жизненных идей современности. Советские люди идут на любые лишения ради тяжелой промышленности, потому что это рычаг, поворачивающий время, переводящий на новую, заранее заданную скорость всю махину общественного развития.

В начале первой пятилетки советская промышленность по объему продукции находилась на уровне, достигнутом США в 1867—1869 годах. Такова начальная дистанция. С какой же скоростью надо двигаться, чтобы сокращать ее все быстрее и быстрее?

В XX веке Англии понадобится около пятидесяти лет, чтобы увеличить вдвое объем производства. Большевики задались целью сделать это в пять лет. В такой срок предстало более чем удвоить все созданное в русской промышленности с тех пор, когда Демидовы, еще в XVIII веке, впервые подобрались к уральской руде и повели дело так, что из русского металла отливались английские пушки.

Вокруг нужда. Но вместе с паразитарными классами исчезло паразитарное потребление. Это уже многое. Не меньше значит другое: вместе с экономической анархией исчезает варварское расточительство талантов и физических сил, духовных и материальных ценностей, бросаемых на цели, глубоко безразличные для общества. Иметь после революции столько же топлива, металла, хлеба, сколько до нее, уже значило иметь гораздо больше. Экономисты подсчитали, что тонна стали в советском хозяйстве приносит тот же эффект, что полторы тонны стали в США. Из сознания, что труд идет на себя, на народ, родилось всенародное стремление достигнуть наибольших результатов с наименьшими средствами. Законом жизни становится режим экономии. Это он позволил Советскому государству приобрести за границей станков и машин на полтора миллиарда золотых рублей.

Партия блистательно осуществляет стратегию, названную позже в народном Китае стратегией презрения к трудностям.

Первая пятилетка осуществлена с большим опережением — на три квартала. Это, бесспорно, важное обстоятельство, однако не менее важно и другое: коренным образом изменилась отраслевая структура промышленности. Основные фонды всей индустрии удвоились, тяжелой — утроились. Командное положение в промышленности переходит к энергетике, металлу, машинам, химии.

Фундамент материально-технической базы социализма заложен.

Геннадий Левашов стал станкостроителем весной 1931 года. Днепровский гидроузел был уже вчера закончен, начались монтажные работы на самой гидроэлектростанции. Геннадий перебрался в Москву, устроился на «Красном пролетарий». Он снял комнату на Шаболовке, и я проводил в ней больше времени, чем в своей.

Известковая пыль стояла тогда столбом над Шаболовкой. В битый кирпич превращались приземистые, душегубные здания с подслеповатыми окнами, за которыми таился мрак прошлого столетия. Взамен отжившего старья строились железобетонные исполины — новые цехи, полные воздуха и света. Это на месте бромлеевского, гожего на любой заказ предприятия возводился специализированный завод «Красный пролетарий».

Иногда Геннадий водит меня по заводу. Так я впервые узнаю о «ДИПе». ДИП — значит «Догнать и перегнать». Это девиз, он относится к новому универсальному токарно-винторезному станку. Вот уже год бьются над ним краснопролетарцы. Геннадий

работает в отделении, где изготавливают заднюю бабку для опытного станка. «ДИП» все больше занимает мысли Левога товарища.

Как-то вечером мы с Левашовым пришли на диспут о «ДИПе». Теперь, когда детство индустриализации Советского Союза далеко позади и лишь в одном 1958 году сконструировано более тысячи шестисог новых механизмов и приборов, теперь трудно понять, как могло так много значить для страны рождение одного станка.

В большом зале негде упасть яблоку. Страсти бурлят так, словно оценка дается не станку, а делу, от которого зависит судьба всей промышленности.

У «ДИПа» много противников. Они утверждают: новый станок не нов — скопирован готовый заграничный эталон; пока «ДИП» выйдет в свет, он станет вчерашним днем капиталистической техники.

Слово берут сторонники «ДИПа». Они заявляют: да, мы идем от немецкого станка «Фаудээф», эта модель отобрана как самая пригодная среди многих других. Ничего тут зазорного нет, преступно одно — медлить! Нельзя дальше держать металлообработку на черепахе «ТН-20» с ее трехкиловаттной мощностью и с тремястами оборотами шпинделя в минуту. Взамен этого анахронизма у нас будет добротный станок с двойной мощностью и скоростью, и его капиталистическое происхождение не помешает нам вдвое быстрее сбачивать валы.

Родословная «ДИПа» начиналась в Германии. Очень близким прототипом нашего станка «МТ-20» был шестирезцовый станок «Сандстрем». По итальянскому проекту строился первый Московский шарикоподшипниковый завод, по американскому — Горьковский автомобильный. Партия планомерно и целеустремленно переносила на советскую почву то, что Г. М. Кржижановский назвал «элементарным зенитом общественной техники». Этот зенит впервые достигнут на Западе. Что ж, возьмем его оттуда, как он есть, сперва на два-три предприятия, с тем чтобы на них же и на сотнях других заводов развивать самостоятельно заимствованный опыт.

Трудно обзавестись новой техникой, еще труднее быстро ею овладеть. Вооружив рабочих машинами, государство одновременно вооружает их и знаниями. Вся страна покрывается сетью курсов, создаются заводы-втузы. Возникают сложные массовые профессии. О них еще никто не слышал вчера, а теперь их приобретают миллионы людей. Десятки тысяч рабочих становятся инженерами, техниками, и этого раньше тоже никогда не было. Технический и духовный переворот идут рука об руку. Впервые в истории материальная и духовная культура существуют в неразрывном единстве, развиваются в одном ритме, служат одной цели. Здесь одна из надежнейших предпосылок наших успехов в самом главном — в борьбе за высшую производительность труда.

Перед Великой Отечественной войной Советское государство готовит больше специалистов, чем Англия, Франция, Италия и Германия, вместе взятые.

К этому времени бывший токарь Геннадий Левашов уже несколько лет работает инженером. Он мог поехать в родное Запорожье, но его, как всегда, манило неизвестное. Он отправился куда-то на Восток, на новые дела.

В Большое Запорожье мне удалось попасть весной 1941 года. Поезд пришел на Южный вокзал. Опять теплая ночь, низкое звездное небо. Только пролеток больше не было.

— В соцгород, — сказал я водителю такси, и теперь это слово звучало так же обычно, как и сотни других слов, рожденных новыми временами.

Машина шла через старый город. Едва он кончился, как справа от шоссе встало полыхающее багровое зарево. Это плавилась сталь в домнах Запорожстали. Горбатую левобережную степь заселила могучая индустрия.

Я остановился у Лавра Георгиевича. Он жил теперь в большом бело-розовом доме. Квартира выходила окнами на очень широкий проспект, его делила надвое продольная полоса деревьев, но он все равно оставался удивительно просторным — ни цветники, ни широкие проезды, ничто не могло его заполнить, и от него не хотелось отвести глаз.

Днепр, по-видимому, был совсем близко, потому что в комнате чувствовалась речная свежесть.

— До чего же хорошо! — восхитился я.

— Об этом потом, а сейчас отдыхать! — последовала команда.

— Лягу, только скажите, что это? — указал я на большой, приколотый к столу чертеж.

— А это, милый, значит то, что ваш покорный слуга увлекается автоматизацией. Есть кое-какие мысли. Да, да, пришло время для таких дел. Ясно? Остальное потом.

— А это что?

Мой вопрос относился к большому фотоснимку. Группа юношей и девушек окружала Лавра Георгиевича.

— Драматический кружок.

Все было в порядке. Я лег в кровать и в полусне слышал, как ходил на цыпочках Лавр Георгиевич. Потом было пробуждение, завтрак, затем прогулка.

Иные поселки разрослись, других раньше и вовсе не было, все они подтягивались друг к другу выброшенными вперед скверами. Изменилось все. Люди по-другому одевались, по-другому выглядели их жилища. Там, где когда-то у ларька тянулся длинный хвост хлебной очереди, теперь раскинул крылья зеркальных витрин большой магазин. Чего только не было в нем!

— Раздавались за ружбемом такие голоса: большевики-де держатся голодом, сытость их погубит, — сказал Дубницкий. — Коварный расчет. Сытость ведь и верно не шла впрок человеческой натуре. Чего только она не породила! Но сейчас, по правде, я не вижу, чтобы наши люди хуже стали. Честное слово, они лучше! Они ведь сыты не за счет других. И каменные дома им не вредят и большие клубы взамен хибар.

А вот знакомый барак. Он выглядел еще совсем бодро, и когда-то хилые малолетки-акации теперь подняли развесистые кроны над толевой крышей, завесили ее.

— Сие место знаменательно для меня многим, — заметил Лавр Георгиевич, — и, в частности, тем, что здесь однажды немолодой инженер раскрыл «Правду» и ринулся в просторы первой пятилетки. Он очень хотел верить, этот инженер, боялся верить и, скажем честно, еще не верил. А рядом с ним жил простой паренек, и для него все, что мучило инженера, было ясно, как простая гамма. Паренька ничто не смущало. Ему говоришь: «Я был на Западе, между нами и Англией — целое столетие». А он: «Что ж, придется прибавить шагу». — «Но если прибавят и они?» — «Не смогут, разве лишь установят Советскую власть...» Вот это вера! А теперь где Англия? О ней не вспоминают, она осталась позади еще в 1936 году, а сейчас сорок первый, наша третья пятилетка, и мы строим в год тысячу предприятий. За всю первую пятилетку предполагалось построить полторы тысячи заводов, и это мне казалось чистой фантазией. «Вы юны, — говорил я пареньку, — а молодость всегда верит». Но вот теперь я сам на склоне лет, однако вера моя растет. Как это понять?..

Мы заговорили о Геннадии. Он вел большую инженерную работу в Сибири и звал туда Лавра Георгиевича на конструкторские дела.

— Ну, как мне уехать отсюда?! — сказал Дубницкий.

Мы шли по плотине. Сквозь чуть приподнятые щиты, шумя и пенясь, падала вода. Вокруг кипела жизнь. Проносились грузовики, автобусы, сновали пешеходы. Работяга бужир, приволокший с низовьев целый выводок барж, ждал очереди на подъем и горько жаловался гудками на какую-то задержку. А внизу, миновав шлюзы, шел бело-голубой пароход. Точно радуясь обретенной свободе, он набирал ход, и с его борта неслась приглушенная расстоянием музыка.

— Слышите? — спросил Дубницкий. — Кажется, Чайковский.

Лавр Георгиевич оглянулся вокруг, обвел взором небо, реку, плотину, пароход и еще что-то, чего я не видел, и глаза его увлажнились.

— Ничего, — сказал он, — это от радости. Я радуюсь тому, что все стало нераздельным: мир, люди, красота. Мне грустно, что я старею. Но это ничего.

И лишь тут я заметил, что Лавр Георгиевич сильно сдал.

— Нет, я не уеду отсюда, — сказал он после долгой паузы. — Поздно мне уезжать. Не протестуйте, в моем возрасте нельзя не думать о смерти, и это не значит бояться ее. Один умный писатель заметил: сделать свое — значит стать бессмертным.

Через месяц началась война. Лавра Георгиевича убило бомбой, сброшенной на эшелон с оборудованием, вывозимым на Восток. Вскоре я надолго потерял из виду Геннадия.

Война нарушила не знавший перебоев ритм великого созидания. Но оно зашло так далеко, что нас уже ничто не могло сломить. Случилось неслыханное: отражая и

громя грозного врага, мы продолжали строить. Пятая и шестая домны в Магнитогорске, крупнейшие в Европе, были построены и задуты во время войны. В 1942 году на Урале было введено в строй энергомощности всемерно больше, чем в последнем предвоенном году. А что делалось в Сибири!.. За четыре с половиной военных года в народное хозяйство было вложено средств почти столько же, сколько за всю вторую пятилетку.

Но разрушено было так много, что объем производства не только не возрос, а значительно снизился. Это породило большие надежды на Западе. В четверть века определяли экономисты гитлеровской Германии срок, необходимый России для того, чтобы отстроить все разрушенное.

«Раненый — не болен», — говорил Горький. Через три года после окончания войны, в 1948 году, восстановление было для нас пройденным этапом. Мы начали движение вперед. Уже дала ток взорванная Днепровская ГЭС.

В этом же году вышел на предвоенный уровень и завод «Красный пролетарий».

Я попал на «Красный пролетарий» в начале пятидесятых годов. На Шаболовку меня привел интерес к ценным трудовым починам, о которых в свое время немало писалось.

«Неужели прошло двадцать лет?» — говорил я сам себе, входя в цех, где еще на моей памяти кончалась эпоха трансмиссий и лишь единичные станки работали на индивидуальном приводе. Было бы нелепо удивляться тому, что за столь долгий срок очень многое изменилось. Мое внимание тянулось к приметам нового в новом.

Точно так же, как в свое время в лавине угля, вырубленной за смену вопреки всем нормам шахтером Алексеем Стахановым, воплотилась целая полоса в развитии общего труда, так теперь выражением нового этапа стали выдающиеся успехи первых скоростников — москвича Павла Быкова, ленинградца Генриха Борткевича и других. Краснопролетарцы не только перенимали их опыт, но шли и своими путями.

Как известно, обработка детали на станке складывается из двух движений: кругового вращения самой детали и поступательного хода резца, так называемой подачи. Все ломали голову над тем, как добиться большей скорости вращения детали, а токаря Сельцова мучило другое: нельзя ли сделать так, чтобы резец брал поглубже? Взять-то не штука, только поверхность детали становится неровной, гребешковой. Чтобы устранить гребешковость, новатор после долгих поисков создал резец с широкой кромкой — и еще одна дорога для увеличения производительности была открыта. Не успел появиться новый резец, как комсомолец Шумилов обогатил его керамической пластиной. На заводе появились участки скоростного резания.

Наступление на резервы велось по очень широкому фронту. На «Красном пролетарии» была создана первая в стране станкостроительная поточная линия.

Странно, чем больше я вживался во все происходящее на заводе, тем все упорнее какое-то подспудное течение мыслей относило меня к прошлому, к старой Шаболовке тридцатых годов. И вдруг я понял, почему на моих глазах раскрылась неустанная диалектика производства. Давно ли переход к новой технике вызвал громадные перемены в людях, теперь эти же люди готовили новый скачок в технике. Он был еще впереди, и он уже возникал. Об этом говорило многое — первые созданные на заводе автоматические линии для сборного железобетона, специальные мощные многолезцовые станки с совершенным для того времени управлением. Между ними и «ДИПом» лежала целая эпоха. А самый «ДИП»? После того как он двадцать лет проработал на социализм, ему на смену пришел новый массовый токарно-винторезный станок «1-А62», он приносил новое удвоение мощности и скорости оборотов. Это был очень добротный станок. Был, потому что и он уже стал прошлым для завода. Для этого не понадобилось двадцати лет. Новая модель только родилась, а завод уже ушел от нее вперед, вынашивая новую конструкцию.

Кто-то из конструкторов рассказывал мне о новой идее, когда я заметил невдалеке человека; он стремительно шел в глубь цеха, его левое плечо было чуть припущено.

— Геннадий! — крикнул я.

Человек обернулся, Мы бросились друг к другу.



Вечером Левашов рассказывал о себе, а передо мной вырисовывалась широкая панорама нашего строительства. Сперва Геннадий работал инженером на Верхней Каме. Когда первая линия индустрии Востока переместилась на Обь, Геннадий оказался в Новосибирске. Линия передвигалась к Енисею, Ангаре, и для Левашова нашлась работа под Красноярском. В Москве он пробудет недолго. Я слушал друга и чувствовал зависть к этой простой и верной себе во всем «пылающей душе», как называл Геннадия Лавр Георгиевич Дубницкий.

Минувшей зимой, в конце января, я получил письмо из Сибири от Геннадия. Мой друг просил меня подобрать ему литературу по теме — обработка металла ультразвуком. Специальные библиотеки вооружили меня библиографическими справками. Я не очень удивился, когда в перечне очень немногочисленных работ нашел статьи кандидата технических наук Г. Н. Левашова.

Рабочий, в юности обтачивавший металл на допотопном станке «ТН-20», пролагал теперь новую тропу на одном из самых сложных и любопытных направлений современного станкостроения. Об ультразвуковом станке в эти же дни упоминалось на XXI съезде партии. Такой станок давал беспрецедентную производительность. Вместе с ним и другими новшествами утверждалась высшая техника, возвещавшая коммунизм.

Мы знаем, не будет минуты, когда объявят: «Наступил коммунизм», не будет по той причине, что он вызревает, вызреет одновременно на разных направлениях. Точно так же нет и стены между техникой нашего нынешнего и нашего завтрашнего дня. Однако есть пора, когда очаги нового лишь возникают, и есть другая пора, когда их слишком много, чтобы они оставались только очагами. Тогда-то и начинается новый этап.

Велико искусство «засечь» этот исторический час, не отстать, не забежать вперед. В этом искусстве, основанном на знании законов общественного развития, — одна из причин силы нашей партии.

В начале 1959 года, на XXI партийном съезде, партия сделала такую «засечку». Это началось не новая глава, а новый том советской истории. На нем впоследствии будут начертаны слова: от социализма к коммунизму.

Главная цель нового периода — сделать «решающий шаг в создании материально-технической базы коммунизма». О чем же конкретно идет речь? Ученые отвечают:

сделать такой шаг — значит многократно умножить производственные силы страны;

изменить так отраслевую структуру всего народного хозяйства, чтобы советский человек мог гораздо больше производить, гораздо больше потреблять;

идти во все концы страны по следу ее несметных природных сокровищ, наивыгоднейшим образом расселяя промышленность на огромном пространстве нашей Родины; искать и находить новые трассы в «неизвестное» в науке и в технике, прочно удерживая первенство в научно-техническом перевороте;

накапливать величайшее богатство народа — его просвещенность, его производственное мастерство;

взять наибольшую отдачу от развивающихся на вольном социалистическом просторе высших форм организации и разделения общественного труда, то есть специализации и кооперирования производства.

Но что же здесь нового? Разве прежде мы шли иными путями? Конечно, нет. И поэтому-то за двадцать пять мирных лет (исключая годы войн и восстановления) производительная сила советского рабочего удесятерилась. Это произошло оттого, что не заставалась на месте, а росла вширь и вглубь, непрерывно отпочковывая новые ветви, наша индустрия. Единое некогда машиностроение расчленилось на десятки отраслей. Отдаленнейшие районы между Уралом и Сихотэ-Алинем приобщены нами к промышленной жизни. Три миллиона специалистов с высшим образованием движут вперед нашу промышленность, сельское хозяйство, культуру. Мы держались неделимого комплекса, и потому далеко от Земли, за созвездием Девы, куда первой ушла советская космическая ракета, продолжаем мы состязание со старым миром. Продолжаем и выигрываем.

Вот оно, новое! Нова та привычная сегодня и фантастическая, **если** смотреть из близкого прошлого, высота, откуда берет начало новый разбег. Он предугадывался,

измерялся и прежде, но лишь в съездовские дни стало физически ощутимо, в какую даль уведет нас новый подъем.

У Контрольных цифр семилетки есть одна важная черта; ее подчеркивал Н. С. Хрущев в своем докладе на XXI съезде. Программа, поражающая громадностью задач и масштабов, составлена так, что она может быть выполнена без перенапряжения. Это значит, что потребности и ресурсы всех отраслей народного хозяйства увязаны, сбалансированы с известным «допуском» на случай каких-либо хозяйственных осложнений.

Вот этого прежде мы не могли себе позволить, оттого возникали отдельные срывы. При общем успехе первой пятилетки задание по металлу было сильно недотянуто. Так было не раз позже с топливом, строительными материалами и тем же металлом.

Разумеется, немалую роль играет развитие советской экономики, но свое слово сказал тут и более совершенный учет резервов.

Сто двадцать пять миллиардов рублей экономии принесет за семилетие изменение структуры топливного баланса, упор на нефть и газ. Эта экономия с лихвой перекрывает стомиллиардную программу строительства большой химии, в первую очередь колоссальное сбережение общественного труда, а значит, и средств. Куда ни глянь — всюду истоки грядущего изобилия. Оно еще впереди, но уже за эту семилетку Советское государство выстроит пятнадцать миллионов квартир, в них с избытком можно разместить все население Франции.

Масштабы нашего созидания так велики, что каждый промах и каждая находка, расширяющие или суживающие наши возможности хотя бы всего лишь на одну сотую долю, приобретают исключительное значение. Если за семилетие будет израсходован нерационально только один процент капиталовложений, ущерб составит двадцать миллиардов рублей. Если советские люди превысят Контрольные цифры семилетки всего на два процента, то государство получит довесок промышленной продукции в девятьсот миллиардов рублей.

Очень важно сейчас уметь правильно и творчески вести любое дело. Когда ростовчане, используя преимущества совнархозного порядка, специализировали свои заводы сельскохозяйственного машиностроения, то оказалось, что они одни могут снабдить комбайнами весь Союз. Всего один факт, а в нем целый океан больших возможностей.

Новая обстановка не может не обострить и другое советское чувство — нетерпимость к равнодушию, этой психологической опоре косности, тихой, «укрытой» и потому особенно опасной форме враждебности к новому. Диву даешься, до чего ж иной раз с трудом прокладывает себе дорогу какое-либо неоспоримое открытие. К примеру, еще в 1940 году была найдена очень несложная технически идея внепечной очистки жидкого металла от вредных газовых примесей путем вакуума, а ведь пока что лишь единицами насчитываются подобные установки. Разве не равнодушие и не местничество привели во многом к тому, что в незавершенное строительство сейчас вложено около 180 миллиардов рублей? Нет, не может мириться с любителями спокойной жизни чувство нового, чувство Советской Родины!

Среди коллективов, проявивших чувство нового и отличившихся в борьбе за выигрыш времени, на партийном съезде был добрым словом помянут и завод «Красный пролетарий».

Николай Степанович Воронцов, старый краснопролетарец, секретарь партбюро первого механического цеха, не помнит Геннадия Левашова. Но так как не кто иной, как Воронцов, собирал первые опытные «ДИПы», то мой друг, несомненно, работал под его началом. Немало воды утекло с тех пор.

Мы идем по хорошо знакомому мне многопролетному цеху. Он все тот же и совершенно другой. Сколько раз он менялся на моих глазах! Не будем вспоминать о трансмиссиях. Уже после них станки выстраивались здесь по принципу близкого родства. Токарные жались к токарным, фрезерные к фрезерным. Так образовывались однородные участки, потом верх взяло более прогрессивное начало — последовательность операций. Теперь группа разных станков целиком обрабатывала деталь. Появились участки шестерен, втулок.

Там, где стоял, если не изменяет мне память, станок Геннадия — тихоход «ТН-20», сейчас высится черный, могучий, вытянутый в высоту стальной исполин. Это на его

гигантский поворотный круг перенесен целый участок. Здесь металл подвергается циклу операций. Стоит протянуть через несколько таких агрегатных станков-комбайнов самодвижущееся транспортное устройство, оснастить его механическими руками и пультом управления, и мы получим автоматическую линию. К ней мы и направляемся.

Линия обрабатывает шестерню. Это одна из самых сложных по своей конфигурации деталей, и никогда прежде таким путем она не производилась. Проходит всего полторы минуты от мгновения, когда механическая рука кладет на транспортную ленту срезанный на конус металлический диск, до другого мгновения, когда сверкающая шлифовальная шестерня, уже закаленная токами высокой частоты, «разлучается» с автоматической линией. За это время металл без малейшего прикосновения рабочего подвергается черновой и чистовой токарной обработке, на шестерне протягиваются канавки, нарезаются и шлифуются зубья.

А что же делает рабочий? Он напоминает часового на очень ответственном посту. Само внимание здесь стало работой. Надо быть готовым в любую минуту прийти на выручку машине, потому что самая умная машина равно беспомощна и в большой и в малой беде. Автоматическая линия — это десятки электромоторов, сотни режущих орудий, передаточных механизмов. Вся эта упрямая система взаимных зависимостей должна быть открытой книгой для наладчика. Когда пускалась линия, одного наладчика закрепили за группой токарных станков, другого поставили наблюдать за зуборезными. А в бригаде порешили: каждый наладчик должен управляться с обеими группами.

Сколько написано на Западе книг, статей о том, как современная техника убивает живую душу рабочего, превращает его в придаток механизма! Что ж, когда работаешь на хозяина, видно так и есть. «Машинные рабочие не имеют права быть людьми... Мозг с таким же успехом можно было бы вешать на крючке в раздевалке», — пишет в своей книге шведский рабочий Фридель. Философы старого мира поступают иначе — они взваливают на машину пороки буржуазного общества: в ней истоки всех бед, она демон нынешней цивилизации, враг разума.

У советской автоматической линии я нашел людей, для которых способность творчески мыслить стала главным в их профессии. Но мыслить в данных обстоятельствах можно, только обладая немалыми знаниями. Лет шесть назад я наблюдал на «Красном пролетарии», как люди, выросшие на освоении техники, предъявляли новые требования к станкам, готовили новый технический рывок. Он совершился, и теперь уже техника требовала новых качеств от людей. Чего стоит хотя бы такой факт. Первый мастер автоматической линии инженер В. Романов, связавший с «Красным пролетарием» всю жизнь, ушел на должность заместителя главного инженера завода. Его сменил рабочий Николай Минаев. Почему ему доверили самый сложный участок новой техники?

Николай Минаев принадлежит к тем советским рабочим, в которых все звонче и полновеснее дает о себе знать реальнейшая из примет коммунизма — сближение двух извечно разделенных видов единой в своей основе человеческой деятельности: труда физического и труда умственного.

Шесть лет подряд учился рабочий Николай Минаев, закончил вечернюю десятилетку, теперь на последнем курсе техникума. Если теория соединится с опытом, она обогащает вдвойне. Минаев уже знал автоматическую линию, и, хотя в цехе были и другие дельные производственники, без пяти минут техники и даже инженеры, выбор пал на Николая.

Рабочие довольны новым мастером. Вдумчивый, ровный в обращении и твердый, если надо, Минаев умел быть командиром, оставаясь другом. Люди чувствовали в нем внутреннюю силу, а он ощущал ее в товарищах. Она была и в замечательном искуснике своего дела — в Алексее Харланове, бывалом, несмотря на молодость, человеке, вернувшемся недавно из Вьетнама, где он делился своим опытом с наладчиками одного из ханойских заводов. Эта сила, правда по-другому, ощущалась в Юрии Поерове, обладателе очень приятного тенора, певческой гордости завода, и опять-таки по-иному — в кончающем вечернюю десятилетку, лучшем хоккеисте завода Владимире Никулине.

Кого ни возьми, в каждом звенела своя струна, свой талант. И оттого, что все были очень близки друг другу, искусство и комсомольские дела, раздумья о жизни, о спорте, письма из Ханоя, приходившие к Харланову, и курсовая работа Минаева, и другое, что приносила жизнь, — все это касалось всех. Недостатки каждого тоже

касались всех. Недостатков было немало, и весьма существенных. В бригаде собрались обыкновенные рабочие, собрались для того, чтобы стать лучше. А линия, линия была необыкновенной. Она протянулась по цеху узкой полоской новой техники. Не отставать же от нее людям! Линию пустили в ход в мае прошлого года. Все лето и осень в людях бродило какое-то смутное чувство, какое-то недовольство собой: это вынашивалась новая мера требовательности.

Но быть на высоте в труде оказалось уже недостаточным.

Однажды кто-то по привычке, не задумываясь, пустил многоэтажное ругательство. Сколько раз это делалось! Но тут всех покорило.

— Линия бы постеснялась, — сказал Минаев. — А ты... Эх!

Не тогда, а позже, в дни всенародного веча, которое обсуждало новый перспективный план, родилось движение коммунистических бригад. Присоединившись к новому почину, Минаев и его друзья не забыли включить в свои обязательства короткий пункт: «Не сквернословить». Деталь, но, если вдуматься, это стремление к моральной строгости говорит не меньше о новом облике рабочего, чем такой генеральный пункт обязательств: «Получить всем среднее техническое образование».

Правда, понятие нравственной чистоты не включается в самое исчерпывающее определение материально-технической базы коммунизма, но попробуй-ка построить эту базу, не облагораживая человека!

— Что ж, никто не ругается? — спрашиваю я Минаева.

Он отрицательно качает головой и, чуть поколебавшись, говорит:

— Хуже было. Выпил один товарищ, пришел на работу пьян не пьян, а водкой пахнет. Был у нас с ним коллективный разговор. Про Кремль вспомнили, там ведь слово давали, на месте коммунистического субботника свое обязательство подписали. Проняло. Пока ни-ни. Думаю, так и останется.

В Кремле же после долгих предварительных советов было решено дать к XXI съезду двадцать рационализаторских предложений. Автоматическую линию проектировал большой научно-исследовательский коллектив при участии крупных ученых. Что же тут могут улучшить рабочие? Оказалось, кое-что могут. Уже дано не двадцать, а тридцать творческих поправок к технологическому режиму.

«Действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений». Такова одна из истин марксизма.

Подлинное внутреннее богатство — в широте связей с миром, обществом. Молодые краснопролетарцы, работающие на автоматической линии шестерен, лишь начинают путь к образованности, и в этом смысле им, возможно, далеко до какого-нибудь обучившегося в Оксфорде или Сорбонне равнодушного, всеядного собирателя истин. Но подлинная широта — здесь, на советских заводах, ибо только здесь она растет из самой жизни, ради жизни.

Далеко идут планы коммунистической бригады. А планы завода?. О них я узнаю в клубе, где главный инженер «Красного пролетария» Анатолий Георгиевич Филатов докладывает комсомольскому активу о задачах предприятия в семилетке.

Очень плотный, среднего роста человек стоит у большого листа ватмана и запросто, точно беседуя с друзьями, ведет их в будущее завода. Анатолий Георгиевич не дает никакого фона для своего сообщения. Он строго держится темы, берет ее без всяких подступов. Но происходит оптическое чудо — за планами завода встают планы всей страны.

В предстоящем семилетии государство рассчитывает получить громадную экономию в результате такой меры: в обжитых, освоенных районах будет широко применяться омоложение и расширение старых предприятий вместо строительства новых. Очень большой выигрыш даст также модернизация действующего оборудования, вторая жизнь станка ознаменовывается в ряде случаев двойной производительностью.

«Красный пролетарий» тоже будет реконструирован. Каждый рубль капиталовложений обернется двумя рублями продукции вместо обычной отдачи в один рубль.

В промышленности взят твердый курс на специализированное, а значит, и кооперированное крупное производство.

Завод на Шаболовке даст промышленности гамму станков для обработки трудоемких стандартных деталей — коленчатых валов, распределительных валиков.

За 1959—1965 годы в стране предполагается изготовить один миллион сто тридцать четыре тысячи металлорежущих станков.

В семилетии техническая революция захватит самую консервативную зону производительных сил — материалы труда. Этот постоянный ограничитель цивилизации снят появлением неведомых природе синтетических материалов, созданных человеком, диктующим полимерным продуктам заранее заданные свойства.

«Красный пролетарий» внедрил в прошлом году четырнадцать деталей из пластмасс, и это дало экономию в триста тысяч рублей. В семилетке из пластмасс будут изготавливаться сотни деталей. Значит, снизится вес станков, увеличится их долговечность, что принесет огромную выгоду.

И, наконец, главное. Близящаяся эра коммунизма будет эрой автоматизированного производства. Уже в текущем семилетии в стране исчезнет тяжелый ручной труд. «Переход к комплексной механизации и автоматически управляемому производству с применением средств электронной техники составляет наиболее характерную черту современного технического прогресса и должен быть основным направлением в создании конструкций новых машин», — так постановил XXI партийный съезд.

«Красный пролетарий» в ближайшие годы построит десятки новых автоматических и поточных линий. Уже в 1961 году комплексная механизация всех процессов положит конец тяжелой физической работе на заводе.

Это будет сделано для самих себя, для краснопролетарцев. А что даст завод всей промышленности? Оказывается, специальные вертикальные станки, выпускаемые «Красным пролетарием», будут сконструированы с расчетом на встраивание в автоматические линии. Увидят свет также станки-автоматы с программным управлением. Это очень хитрая штука, основанная на своего рода электронной памяти. При программном управлении «план действий» станка меняется вместе с перфорированной картой. Система отверстий на этой карте определяет систему электроконтактов, импульсов, движущих в конечном счете механизм. Но запись на перфокарте можно заменить программой, зафиксированной магнитофоном. Тогда станком можно будет управлять на расстоянии.

— Если мы осуществим все задуманное, — заканчивает главный инженер свой доклад комсомольцам, — то мы преуспеем в главном — в росте выработки!

«Коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих».

Сколько раз приводились эти ленинские слова. Но время непрестанно наполняет их новым, конкретным содержанием. Слова эти идут по эпохе вместе с нами, и в то же время они всегда впереди.

Производительнее работать — значит экономить время, эту основу любой экономии. Отсюда при социализме начинается прямой путь к изобилию, всеобщему благосостоянию, духовной всесторонности.

Русский рабочий перед революцией создавал вдесятеро меньше материальных ценностей, нежели американский. За годы Советской власти выработка рабочего удешевилась. США смогли увеличить ее лишь в два с небольшим раза. Таким образом, на стороне Америки еще остается примерно двойной перевес. На «Красном пролетарии» он несколько меньше, чем в целом по стране. Здесь каждый рабочий примерно вырабатывает столько, сколько до революции производили пятнадцать.

Но эра научно-технического переворота в нашей стране лишь началась, и на службе коммунизму новая техника обернется невиданной экономией общественного времени. За семичасовым рабочим днем отойдут в прошлое шести- и пятичасовой. Однако труд, общий труд, станет непередаваемо дорог человеку. С него началось, им и продолжится преобразование жизни.

В этой жизни сбудется все решенное, записанное, и оттого, что осуществится задуманное, придет и другое, нежданное. Не угадать сегодня, чем обернется оно: новой ли красотой, великой ли душевной силой или высшей властью над природой. А почему бы не случиться и тому, и другому, и многому, о чем сегодня и не помышляешь? Так оно и будет.

Следя за работой XXI съезда партии, советские люди очень пристально гляделись в контуры грандиозных новостроек на востоке страны, в частности в Сибири. У меня к этому были особые причины: на Енисее работает Геннадий.

Года два назад я гостил у Левашова. С утра он уходил на завод, а я гулял, читал собранные в доме книги и статьи о Сибири и Дальнем Востоке. До чего же мы мало знаем эти края! Если реки — то Обь, Енисей, Лена, Ангара, Амур, в последнее время заговорили о Чулыме. А сколько таких Чулымов еще ждут своего настоящего дня! Иные из них по величине не уступят Оке и Дону. А горы, а леса, а степи? Их с лихвой хватило бы на две Европы... Мало здесь только людей.

Еще в середине XVII века напали сибирские рудознатцы на след железа у реки Тунгуски, совсем недавно обнаружилось алюминиевое сырье на Чулыме. Но жизнь для всего этого начинается только теперь.

На книгах были пометки. Одна из них мне запомнилась: «Сибирь — великий резерв коммунизма». Левашов часто возвращался к этой мысли, и я тогда узнавал о Сибири то, чего еще нигде было прочесть. Это были последние сводки с фронта освоения Сибирской страны, где все было под стать ее просторам. Если здесь находят уголь, то в одном Канско-Ачинском бассейне его лежит триллион тонн, а таких угольных бассейнов в одном Красноярском крае несколько. Ангара-питской железной руде, чулымским нефелинам и даже алмазам — всему шел здесь свой исполинский счет. На шестьсот сорок первом метре остановили бурение на Коршуновском железорудном месторождении, а рудный пласт так и не пробурили, он шел дальше.

Куда девались беспокоившие меня озабоченность и усталость Геннадия? Нет, не отпылала еще его бурная душа! Он горячился: надо быстрее поднимать индустриальную целину, двигать сюда большую металлургию, большую химию. Тут все окупится сторицей.

— Пойми,— говорил он, меряя быстрыми шагами комнату,— у нас, в Восточной Сибири, природа зажала в один гигантский кулак редчайшее сочетание энергетических и сырьевых богатств. И все лежит почти наверху! Потому у нас самая дешевая электроэнергия, самый дешевый уголь — значит, будут дешевыми и наша сибирская сталь, наши машины. Красноярский цемент на нефелиновой основе обойдется вдвое-втрое дешевле, чем в других местах Сибири...

Геннадий может быть теперь вполне доволен: все то, что его волновало, осуществится в ближайшие годы. Братско-Тайшетский и Красноярско-Ачинский промышленные комплексы вписаны в семилетку. Львиную долю всех капиталовложений в народное хозяйство государство отдаст Востоку.

...Однажды в воскресенье мы поехали на Шумиху. Низкотрубный красавец теплоход, только в эту навигацию попавший на Енисей через Ледовитый океан, качнул наплавленную пристань и начал сперва медленно, а затем все быстрее и быстрее уходить от города, раскинувшегося с сибирским размахом на обоих берегах.

На левом берегу к реке сбегали старинные бревенчатые улочки; на правом стоял лес кранов и сплошной линией шли заводы, построенные, строящиеся, целая шеренга гигантов.

Мы сошли на пристань в распадке, неподалеку от створа плотины будущей Красноярской ГЭС. Река широко и стремительно текла меж крутых, сплошь покрытых лесами зубчатых, причудливых скал. Цепляясь за скрюченные ветром деревья, мы поднялись на самый верх отвесного утеса. Отсюда хорошо виден суженный проток, место, где встанет плотина. Левашов лег по-мальчишески ничком на самом краю обрыва, а последовал его примеру. Говорить не хотелось...

Невольно вспомнился берег другой, далекой реки, шум котлована, ржание лошадей, двое юношей, еще заставших век тачки и лопаты, но твердо веривших, что уже начались другие времена.

Из задумчивости меня вывел нарастающий резкий звук. Это вертолет доставлял груз на стройку. Советский человек приходит на Енисей во всеоружии могучей техники.

Сбылось все, о чем нам мечталось в юности, а мы снова живем тем, что еще впереди. И снова, как в те далекие дни, в жизнь входит боевое партийное слово — «фундамент». Но теперь речь идет не о фундаменте социализма — социализм уже построен. Двадцать первый съезд партии выдвинул задачу «создания материально-технической базы коммунистического общества и планомерного перехода к коммунизму».



# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

*По страницам иностранных литературных журналов*

## ЛЖИВАЯ СТЯПНЯ О БЕРЛИНЕ

**ФРГ**

«Ревю» — типичный западный иллюстрированный журнал, рассчитанный на широкого читателя. У «Ревю» вероятно пестрая обложка, из номера в номер он печатает любовно-детективные романы, как, например, «Фата-моргана любви» или «Светловолосая ведьма Барбара и железные легкие». Есть в нем и специальная страничка под названием «Интимное ревью», посвященная личной жизни кинозвезд: здесь идет речь о том, кто с кем разошелся и кто с кем сошелся. В конце журнала печатаются «гороскопы» — некий дипломированный звездочет предсказывает читателям «Ревю» их судьбу на следующую неделю в зависимости от того, кто в каком месяце родился. В прошлом году «Ревю» провел дискуссию: «Надо ли женщине носить длинные брюки?» В этом году редакция усиленно занялась вновь вошедшими в моду таксами.

«Ревю» («Обозрение»), иллюстрированный еженедельник. №№ 4—15. 1959. Год издания одиннадцатый. Мюнхен. Издательство «Киндлер унд Ширмайер ферлаг». Издатель Вилли Род. Главный редактор Бениш.

★

Но, несмотря на то, что и «интимная страничка», и «гороскопы», и дискуссия о брюках, и таксы занимают в журнале немало места, это всего-навсего «гарнир». В качестве основного блюда «Ревю» потчует читателя либо реваншистским романом, либо антисоветской повестью. И здесь журнал всегда проявляет наряду с полным отсутствием элементарного вкуса редкую политическую ловкость и оперативность. Можно без преувеличения сказать, что все крупные акции, которые предпринимало правительство ФРГ, — курс на милитаризацию Западной Германии и на «холодную войну», создание бундесвера и активное участие в НАТО — неизменно вызвали соответствующие литературные отклики на страницах «Ревю»...

Мы никак не претендуем на ясновидение. Куда уж нам состязаться с западногерманскими астрологами, составляющими свои прогнозы для «Ревю». И все-таки, если бы нас спросили, какой литературной новинкой порадует журнал своих читателей в начале 1959 года, мы бы, ни на минуту не задумываясь, ответили: «Ну, конечно же, клеветническим, подстрекательским сочинением о Берлине».

Общезвестно, что советская инициатива, направленная на нормализацию положения в Берлине путем отмены оккупационного режима в Западном Берлине и превращения его в демилитаризованный вольный город, поставила берлинский вопрос в центр внимания мировой общественности. Естественно поэтому было ожидать, что пропагандисты «холодной войны» поспешат внести свой «вклад», чтобы помешать урегулированию этого назревшего вопроса.

И действительно, уже в первых номерах «Ревю» в 1959 году начало рекламироваться произведение некоего Томаса Треффа «Берлин остается Берлином» с чувствительным подзаголовком: «Роман, который доходит до самого сердца».

Итак, «Берлин остается Берлином»... В произведении Треффа масса действующих лиц. Тут и крупный промышленный воротила доктор Эллерт, председатель берлинского филиала западногерманского концерна, тут и его разведенная супруга, про которую автор все время твердит, что она «дама первый сорт», тут и начальник Эллерта из Дюссельдорфа — «тигр в делах».

Один из главных персонажей романа — американский разведчик в Западном Берлине, майор Джильберт. Уже в рекламном объявлении, анонсирующем роман, сказано, что «он любит Берлин, как свою родину». Сам же Трефф называет своего героя «ключевой фигурой в холодной войне», а вслед за этим — «форпостом западного мира». Неплохо: американский шпик — «форпост западного мира»!

Но, кроме богатых и высокопоставленных героев, в романе выведены еще представители «простых смертных» — стюардесса, которая не прочь выйти замуж за промышленника Эллерта, шофер такси Фриц Шульце, говорящий исключительно на берлинском диалекте и попивающий пиво в старой пивной, его возлюбленная Кэте, «типичная дочь Берлина», и ее дочка — обе «жертвы красной опасности» (их напугал приход Советской Армии в 1945 году, освободившей немецкий народ от фашистской тирании).

Чтобы связать банкира со стюардессой, разведчика — с шофером, а «даму первого сорта» — с «типичной берлинкой», в романе выведен специальный персонаж — венский журналист, в прошлом офицер гитлеровского вермахта, который после долгого перерыва приезжает в Берлин, чтобы написать здесь по заказу редакции, как он выражается, «стори», то есть рассказ, повесть.

Все эти действующие лица встречаются, беседуют, произносят монологи о своей любви к Берлину — тем не менее они так же не похожи на истинных берлинцев, как манекены в витринах модных лавок на Курфюрстендам — самой богатой улице Западного Берлина — на живых людей. И вообще, несмотря на подлинные названия берлинских улиц, несмотря на «приметы времени» (пресловутая «световая газета» в Западном Берлине, передающая самую «свежую» антисоветскую клевету), роман поражает своей чудовищной неправдоподобностью.

Объясняется это не только отсутствием художественных способностей у Треффа и не только спешкой, в какой писался «стори» о Берлине, а прежде всего тем, что и автора и редакцию интересовала не литература, а пропаганда определенной политики. За каждой безвкусно сделанной лирической сценкой в романе следует весьма четко и ясно составленная политическая вставка, целиком выдержанная в духе «холодной войны», каждый сюжетный ход неизбежно выводит на дорогу яростной полемики со сторонниками нормализации жизни в Западном Берлине. Видно, что хозяева «Ревю» не на шутку встревожены и им не до литературных красот. Да это и не мудрено!

Предложения Советского Союза о ликвидации в Западном Берлине остатков оккупационного режима и о превращении его в вольный город соответствуют интересам всего немецкого населения. Искусственно поддерживаемая в Западном Берлине нездоровая, лихорадящая людей обстановка, самым губительным образом влияет и на Берлин и на всю Германию. Поэтому каждый немец по обе стороны Эльбы заинтересован в правильном разрешении давно назревшего берлинского вопроса. Предложения СССР исходят из уже сложившегося за эти четырнадцать лет в Западном Берлине положения, они призваны только к тому, чтобы нормализовать жизнь, разрядить обстановку в Берлине, да и не только в Берлине, а во всей Германии. И вот это-то особенно бесит тех реакционных политиканов, которые давно привыкли рассматривать Западный Берлин как козырь в своей нечистой игре, как плацдарм для устройства всяческих темных делишек — провокаций и диверсий. Понятно, что теперь, когда предложения Советского Союза получили такой широкий отклик, они вне себя. Как ответить на конструктивные предложения об упорядочении жизни в Западном Берлине? Чем парировать аргументы о необходимости уничтожения очага беспокойства и войны в центре Европы?

Честных аргументов, фактов и доказательств у западногерманских политиков нет и быть не может. Вот они и пытаются заменить их разного рода увертками и лживой клеветой на социалистические страны, на Германскую Демократическую Республику, на Советский Союз. Именно для того, чтобы повторить все старые небылицы, заимствованные из арсеналов Геббельса, Трефф и состряпал для журнала «Ревю» свой роман «Берлин остается Берлином».

Основные пропагандистские тезисы, при помощи которых организаторы «холодной войны» пытаются воздействовать на западноберлинское население и немецкую общественность, весьма нехитры: во-первых, Западный Берлин рисуется ими как некая «земля обетованная», как некий образчик пресловутого «западного образа жизни». Во-вторых, всячески превозносится роль Западного Берлина как «бастиона демократии», что на языке западногерманских реваншистов означает очаг агрессии против ГДР и стран социалистического лагеря. В-третьих, Западный Берлин изображается как оплот «свободы слова», что на деле означает свободу для оголтелой реваншистской пропаганды и призывов к крестовому походу против стран демократии и социализма.

Вот эти-то затасканные пропагандистские тезисы и служат истинным костяком романа Треффа.



Прежде всего немало места уделяет автор так называемому экономическому процветанию Западного Берлина. Иногда он даже забывает, что выступает как литератор, а не как гид, сопровождающий богатых американцев и подобострастно выклянчивающий немного долларов на «холодную войну». Тонем гида Трефф описывает световую рекламу на Курфюрстендам и ночные кафешантаны, тоном гида восхваляет вновь построенный отель «Хильтон» — четырнадцать этажей, триста пятьдесят номеров, цена от двадцати трех до ста пяти марок, четыре ресторана, пятьсот служащих на сто гостей, стоимость строительства двадцать семь миллионов марок — «символ оптимизма берлинцев».

Но давно известно, что западноберлинские кафешантаны, роскошные магазины и отели-люкс — это только фасад города, своего рода «сеттльмент», где проживают жизнь богатые иностранцы и спекулянты из Западной Германии. Правда, в романе Треффа в «Хильтон-отель» попадает простой шофер Шульце, но объясняется это тем, что он... получил главный выигрыш в лотерее и удостоился чести три дня питаться в одном из четырех ресторанов отеля. Нечего сказать, типичный случай!

Коренное население Берлина не имеет никакого отношения к западноберлинской роскоши. В Веддинге, Моабите, Шёнеберге и других рабочих кварталах до сих пор еще на каждом шагу встречаются развалины. По вечерам здесь темно и мрачно. Даже буржуазные наблюдатели вынуждены признать, что в экономическом отношении Западный Берлин — мертвый город. В ряде решающих отраслей производства, таких, как машиностроение, оптика, промышленность строительных материалов, в Западном Берлине далеко еще не достигнут довоенный уровень. (Напомним, что нынешний объем промышленного производства в Германской Демократической Республике, да и в Западной Германии в два раза превзошел довоенный.)

В статье «Часы Берлина отстают» известный польский журналист Мариан Подковинский, хорошо знающий Берлин, пишет: «Западный Берлин выглядит, как бедный родственник Гамбурга и Дюссельдорфа... Здесь у каждого много времени и мало денег... В Западном Берлине много нищеты». В двухмиллионном городе около ста тысяч безработных. И это несмотря на колоссальные долларовые вложения, чтобы сделать Берлин, как выражается «Ревю», «символом оптимизма»!

Особое внимание Трефф уделяет восхвалению «прелестей» Западного Берлина как «фронтального города». Он использует все дешевые литературные приемы — от мелодрамы и ложного пафоса до детектива. Если верить Треффу, все берлинское население, от младенцев до стариков и от рабочих до капиталистов, думает лишь об одном — как превратить Западный Берлин в «оплот демократии», иными словами, сохранить его как центр реваншизма, реакции и подрывных действий, направленных в первую очередь против ГДР. Если верить Треффу, берлинцы будто бы одобряют агрессивные планы оголтелой реакции, несмотря на то, что однажды подобные планы уже окончились невиданной катастрофой для германского народа... Он уверяет, что во время «воздушного моста» берлинцы приносили жертвы «обдуманно и оптимистически». Стюардесса из его романа заявляет, что Западный Берлин нравится ей больше всех других городов, а промышленник Эллерт требует новых вложений в берлинские предприятия концерна, хотя его коллеги и начальники считают это экономически невыгодным. Эллерт умоляет «не нападать с тыла на город, который так храбро борется за свое существование». Но дальше их всех заходит любимый персонаж Треффа — журналист. Тот, и глазом не моргнув, заявляет, что в «Западном Берлине воздух мягче, а солнце светит ярче», чем в двух шагах оттуда — за Бранденбургскими воротами, где продолжается все тот же Берлин, но уже Берлин демократический, столица Германской Демократической Республики.

Однако, восхваляя «спокойную жизнь» и «политический климат» в Западном Берлине, Трефф, вопреки своей воле, рисует картину отнюдь не безмятежную. Временами роман Треффа производит впечатление «романа ужасов». И гут, надо сказать, автор не погрешил против истины. Усилиями реакции Берлин действительно превращен в «раковую опухоль» на теле Германии. Даже западноберлинский «Тэгесшпигель» вынужден признать, что в Западном Берлине создана «наилучшая почва для разведчиков, шпионов, агентов и валютчиков», что здесь рай для неконтролируемых спекуляций всех родов, которыми дирижируют таинственные люди в разведках соперничающих держав». Как видим, реакционная газета «Тэгесшпигель» весьма трезво оценивает «политический климат» Западного Берлина. И действительно, здесь размещаются ни больше и ни меньше, как восемьдесят три шпионские и милитаристские организации. Среди них

такие мощные, как разветвленная организация Гелена, находившаяся раньше в ведении американцев, а ныне переданная Аденауэру, как «Свободные юристы» и «Борцы против бесчеловечности», как информационное «Бюро «Вест» и многие другие. Тридцать два процента всех служащих западноберлинской полиции в прошлом либо активные нацисты, либо гестаповцы. Можно без преувеличения сказать, что реакция отдала Западный Берлин на откуп всяческим темным элементам, ни мало не считаясь с интересами берлинского населения.

Но Западный Берлин служит сейчас не только плацдармом агрессии против Германской Демократической Республики. В планах реакции он должен стать своего рода рассадником подстрекательской антидемократической и антисоветской пропаганды. Именно так правители Западного Берлина и их покровители понимают пресловутую «свободу слова», которой хвастают пропагандисты «западной демократии». Не мудрено, что в романе о Берлине, напечатанном в журнале «Ревю», приводится полный набор клеветнических измышлений по адресу ГДР. Здесь и старая ложь о том, что люди, строящие коммунизм,— «фанатики». Здесь и яростные нападки на народную полицию, которая борется со шпионами и диверсантами, забрасываемыми с Запада.

В романе немало и антисоветских выпадов. При этом автор и журнал пользуются известным трюком фашистских провокаторов — приписывают злодеяния, совершенные гитлеровцами, советским войскам, освободившим Европу от нацистских оккупантов. Страницы романа, посвященные Берлину 1945 года, просто невозможно читать, настолько они омерзительны! Здесь автор и его издатели полностью разоблачают себя как беспардонные клеветники и лжецы. Когда Трефф говорит о разгроме фашистов, он вообще теряет всякое самообладание. Он даже забывает свой обычный угоднический тон по отношению к англичанам и американцам. Мимоходом заявив, что, придя в Берлин, они вели себя, «как люди», он спешит добавить, что с англосаксами произошло то же, что и с другими завоевателями, то есть «их постепенно покорили побежденные». Здесь Трефф ставит точку, но нетрудно догадаться, что он хочет сказать: «цивилизованные» фашисты обратили на путь истинный варваров и недочеловеков! Но об англоамериканцах в этом плане говорится, разумеется, вскользь. Западногерманские реваншисты до поры до времени скрывают свою тотальную ненависть ко всем народам. Пока что, выслуживаясь перед мировой реакцией, они изображают себя рыцарями борьбы за Запад, против пресловутой «большевистской опасности».

«Берлин остается Берлином» — таково не только заглавие романа, помещенного в «Ревю», но и пароль всех «положительных» действующих лиц произведения. Дабы не было никаких разнотолков, автор сообщает, откуда взяты эти слова. Оказывается, из популярной песенки, которую распевали в гитлеровские времена.

Но как понимать эти слова? Каким должен остаться Берлин?

Трефф довольно бессвязно бормочет о «светлом пиве», «веселом смехе» и «красивых девушках» как о «приметах» старого, доброго Берлина. Однако легко понять, что ни светлое пиво, ни веселый смех, ни красивые девушки не являются политическим кредо реакции. Ради светлого пива милитаристы не стали бы превращать Западный Берлин в гигантскую машину «холодной войны». Так что вся эта сентиментальная болтовня — всего лишь камуфляж.

Известно, о каком «старом, добром» Берлине мечтают немецкие реваншисты. В этом недоброй памяти Берлине находилась резиденция воинственных императоров и бесноватого «фиурера». Этот Берлин был центром, средоточием казарм и вотчины генштаба, где готовились планы военных походов против всех стран Европы. В этом Берлине бросали в тюрьмы передовых рабочих, здесь властвовали солдафоны и помещики, капиталисты и штурмовики. Именно этот Берлин стремятся возродить сейчас реакционеры всех мастей. Но поступательный ход истории не повернуть вспять никакими реакционными паролями, никакой политикой шантажа и интриг. К старому Берлину — пугалу всей Европы, поставщику человеконенавистнической философии и ландскнехтов — пути обратно нет. На наших глазах мужает и крепнет новый, демократический Берлин — столица Германской Демократической Республики. У этого Берлина есть свои славные традиции: здесь произносил босвые речи на рабочих митингах любимец германских трудящихся «Тедди» — Эрнст Тельман; здесь создавал свой новый театр Брехт; здесь творили Тухольский и Осецкий, Томас и Генрих Манны; здесь выросла целая плеяда пролетарских писателей, музыкантов, актеров, поэтов и здесь, наконец,

заседает сейчас первое в истории Германии рабоче-крестьянское правительство, борющееся за мир и подлинную демократию, за счастье и свободу трудящихся. Демократическому Берлину принадлежит будущее. И это ясно всем.

Вот почему так злобствуют западногерманские реакционеры, вот почему их литературные слуги с невиданной оперативностью и усердием пытаются навести тень на ясный день — помешать западногерманскому населению разобраться в советских предложениях по берлинскому вопросу. Ведь только этим и можно объяснить появление насквозь лживой стряпни Треффа.

Л. ЧЕРНАЯ.

## ЛИТЕРАТУРА — БИЗНЕС!

США

«Райтер» — один из старейших писательских журналов в Соединенных Штатах Америки. Два года назад весьма пышно было отпраздновано его семидесятилетие. Но не рассчитывайте найти на его страницах анализ писательского мастерства, обсуждение творческих проблем, разбор новых произведений. Не ищите статей о новых тенденциях в американской литературе. В США немало крупных и интересных писателей — Хемингуэй, Стейнбек, Колдуэлл, Фолкнер, Сароян, А. Миллер и другие, чьи произведения знакомы советскому читателю. Однако их имен не встретишь в «Райтере» — у этого писательского журнала совершенно иной круг авторов и иные задачи. «Тот факт, что вы читаете «Райтер», — говорится в одном из рекламных объявлений, — показывает, что у вас есть стремление преуспеть — развить ваши способности писать с профессиональным умением, за полновесные деньги.

«Райтер» («Писатель»), ежемесеичный журнал. №№ 10, 12. 1958. Год издания 72-й. Бостон. Издатель Райтер Инкорпорейтед энд Арлингтон.

★

Научить писателя делать деньги — вот, оказывается, главная задача «Райтера». И он действительно скорее смахивает на пособие для коммерсантов, на биржевой бюллетень, чем на журнал писателей и для писателей. Слова «рынок сбыта» для литературного товара, «бизнес», «спрос» мелькают в каждой его статье. Литература — это прежде всего бизнес, и преуспевает не тот, кто одареннее, а кто лучше умеет делать дела. Существует даже специальный профессиональный термин — «sellable» — так говорят о рассказах, поэмах, романах, которые легко находят сбыт и приносят доход издателю. Журнал дает советы, как повыгоднее сбыть рукопись: в каждом номере есть рубрика «Где продать рукопись» с подзаголовком «Новости рынка». Там поучают молодых писателей те, кто уже завоевал себе место под долларovým солнцем.

Несколько лет назад Джин Оуэн, вполне преуспевающая писательница, советовала на страницах «Райтера» молодым писателям следовать примеру... портных. «Портняжные приемы помогают писать гладко, — наставляла она. — У портного много общего с писателем; чтобы создать настоящую вещь, и тому и другому требуется добротный материал (во втором случае убедительные персонажи и хорошо закрученный сюжет); обоим должны быть присущи чувство формы и способности к композиции (творческое начало); и тот и другой должны уметь так «пригнать» свои изделия, чтобы они приходились потребителю впору (профессиональное мастерство)».

Но даже этот сугубо ремесленнический подход к литературе бледнеет по сравнению с рассуждениями Лартона Блассингэйма. Джин Оуэн хотя бы прибегала к таким терминам, как «профессиональное мастерство». Что же предлагает Блассингэйм? Однако следует, пожалуй, прежде представить его читателю!

Лартон Блассингэйм, как сообщает «Райтер», — один из самых известных в США литературных агентов. Это вполне распространенная и признанная профессия: литературный агент, точнее маклер, занимается «устройством», то есть продажей, писательских рукописей. Без агента ни один писатель, кроме очень известных, не может пристроить своих произведений; с ним попросту не станет разговаривать ни один солидный издатель.

«Лартон Блассингэйм, — поясняет журнал, — агент, чье понимание писательских проблем основано на опыте работы со многими профессиональными писателями и на

его собственном опыте писателя. Получив степень магистра журналистики, м-р Блассингэйн писал рассказы и статьи для многих журналов до того, как стал литературным агентом. Он работает только с профессиональными писателями».

Что же подсказывает Блассингэйму его опыт? Обратимся к его статье «Деловая сторона писательского дела», открывающей последний номер журнала за прошлый год. Она дает ясное представление о том, как в действительности выглядит то, что буржуазные апологеты любят называть «свободой творчества» в «западном мире». Статья откровенно раскрывает поистине рабскую зависимость писателя от требований издателя и литературного агента. Литературный труд для Блассингэйма нечто вроде игры на бирже. Надо писать о том, на что есть спрос и за что сегодня лучше платяг. Талант, склонности, творческие замыслы — да, что там! Все для рынка...

Блассингэйн уверяет, что литературой заниматься выгоднее, чем журналистикой. «Чтобы с успехом писать статьи,— серьезно поясняет он,— вы должны кое-что знать, а беллетристические произведения можно писать, не зная ровным счетом ничего».

В самом деле, чтобы написать статью, основанную на фактических данных, надо собрать материал, позаботиться о достоверности. Рассказ же, считает Блассингэйн, можно сочинить за несколько часов, описывая жизнь у реки Амазонки, никогда не побывав там. Важно только найти достаточно сенсационную завязку...

Писательская удача — чистый случай! Каждый может стать миллионером, если повезет в выборе... литературного агента, уверяет Блассингэйн в духе сентиментальных американских легенд о бедняках, ставших богачами. «Писатель — искатель приключений, исследователь,— пишет он.— Если ему повезет, он может напасть на золотую жилу... Но может случиться, что золотая жила найдена, а через год интерес к ней исчез». Как сделать, чтобы золотая жила не иссякала? В оба следить за потребностями рынка, чутко прислушиваться к советам агентов и уж, конечно, в случае удачи отдавать им немалую долю своих гонораров. Без этого не проживешь!

Вот образец работы писателя, достойный подражания (по Блассингэйму). Профессиональная писательница, пользующаяся его услугами, решила написать рассказ, который был затем куплен журналом «Мак Коллз». Она взялась за дело без всякого творческого вдохновения, совершенно хладнокровно, но помня лишь, что журналы, рассчитанные на женщин, охотно печатают сентиментально-любовные истории. Так родился сюжет, свидетельствующий о том, сколь низок уровень спроса на американском литературном рынке. Молодая учительница, одинокая девушка, мечтающая о любви, приехала в незнакомый город. В соседнем доме поселилась молодая пара. Соседка, ожидавшая ребенка, однажды столь неожиданно и быстро начала рожать, что учительнице вместе с красивым молодым человеком, которого она считала мужем соседки, пришлось оказать ей первую помощь. И именно в эту критическую минуту она ощутила влечение к соседу. Во имя «счастливого конца» молодой человек, конечно, оказался не мужем, а братом соседки. Впереди — роман с молодым человеком.

«Писательница рассказала мне,— пишет по этому поводу Блассингэйн,— что когда она кончила писать, то поняла, что в рассказе есть все необходимые ингредиенты и его можно будет продать...»

Вот такого рода литературная макулатура насаждается и рекомендуется писательским журналом для сбыта на женском читательском рынке.

«Райтер» заботится и о том, чтобы вторая половина рода человеческого не осталась обойденной. Ведь на мужскую аудиторию рассчитан совсем другой вид развлекательного чтения. В США издаются «специально мужские» журналы — «Тру» («Верный»), «Аргози» («Корабль»), «Плэйбой» («Весельчак») и другие. «Как поймать читателя-мужчину» — этой важной проблеме «Райтер» посвящает статью Боба Бристу, «одного из опытейших знатоков этого дела». Бристу рекомендует начинающим писателям обратить свое внимание на журнал «Стэг» («Холостяк»), как видно менее притязательный, чем названные выше. Если читатели более аристократических изданий привыкли пить коньяк «Мартини», то читатели «Стэг» довольствуются пивом — это, по мнению Бристу, определяет их литературные вкусы. Издатель «Стэг» платит авторам меньше, но зато он менее разборчив.

Как же выглядит «Стэг» и что нужно знать тем, кто рассчитывает продать рассказ этому журналу? На одной из первых страниц журнала рекламная фигура обнаженного атлета. Текст гласит: «Будь настоящим мужчиной» — этой идеей должно

быть пронизано все содержание журнала. Недаром на рисунках и фотографиях, украшающих его страницы, показаны только красавцы силачи. На них с восторгом и обожанием смотрят обворожительные женщины с кокетливо выставленными напоказ ножками: только такие парни пользуются успехом! В каждом без исключения рассказе герой подвергается смертельной опасности: в схватке с гангстерами, со стихией, с дикими зверями. Боб Бристоу дает авторам готовую формулу «изготовления» таких рассказов: «Выберите героя и быстро определите его характер. В то же время еще на первой странице, пожалуйста, поставьте его жизнь под угрозу... Введите все прочие важные элементы и усильте борьбу. Заведите вашего героя на край гибели и, если он хороший парень, спасите его. Если он дрянной человек, то поступайте с ним, как вам заблагорассудится. Он может исправиться и обрести спасение, или же вы можете убить его. На ваше усмотрение».

Такие советы дает писательский журнал «Райтер» прозаикам. А как быть поэтам? Но и они не забыты. Вот статья под весьма выразительным заголовком «Легкие стихи и тяжелый кошелек». «Не в пример серьезной поэзии, легкие стихи не требуют ни высоких мыслей, ни сильных эмоций, ни красивых образов...» Чем легче стихи, тем больше возможности заработать в США, утверждает журнал. Рецепты их изготовления так же нехитры и циничны. Тем, кто умеет слагать рифмы, «Райтер» советует обратить свое внимание на издательства, выпускающие поздравительные открытки в стихах. Это — обширное поле деятельности, где, как пишет журнал, подвизаются и талантливые поэты, не находящие иного спроса для своей музыки. А подлинная поэзия? О ней вы не найдете в «Райтер» ни слова.

«Развлекать, но не воспитывать» — так формулирует журнал цели, которые ставят перед собой издатели американских журналов. Так ли это? Если присмотреться внимательнее к литературной продукции, которая появляется на страницах таких журналов, как «Ридерс дайджест», «Сатэрдей ивнинг пост», «Этлэнттик», авторские кадры для которых готовит «Райтер», то легко убедиться, что дело не только в развлечении читателя. Печатаемая развлекательные приключенческие рассказы, издатели преследуют определенную пропагандистскую цель, проводят определенную политику. Это политика оглушения читателя, отвлечения его от трудностей повседневной жизни. Шпионские истории о «красных агентах», о похищении военных секретов призваны оправдать «холодную войну» и гонку вооружений. А ведь именно таков наиболее распространенный сюжет американского «развлекательного рассказа»; такие рассказы появляются из номера в номер в журналах с миллионными тиражами. Таков, например, печатаемый в этом году в «Сатэрдей ивнинг пост» рассказ «Бегство в опасность» Ненси Рагледж.

Но что думают по этому поводу читатели? Безропотно глотают безвкусную литературную стряпню? Очевидно, нет. Бодрый, стяжательский дух, характерный для «Райтер», порой бывает проникнут пессимистическими нотками. Несмотря на все усилия литературных агентов и преуспевающих писателей, которые научились быстро строчить рассказы такого рода, рынок сбыта литературной макулатуры, по признанию журнала, суживается с каждым годом. Тот же Блассингэм сетует, что журналы отводят беллетристике все меньше и меньше места. Совсем короткие рассказы, как видно, легче перевариваются, и их еще принимают в таких периодических изданиях, как «Космополитэн», «Торонто стар», «Харперс», «Этлэнттик», «Нью-Йоркер». А вот «Коронет», «Пэджент», «Беттер хоумс энд гарденс», отмечает Блассингэм, вовсе перестали печатать такого рода «произведения».

Не потому ли сокращается спрос издателей на рассказы такого типа, что читателю надоело читать литературные поделки; не потому ли, что им осточертела «холодная война» в любых ее проявлениях и формах — то ли в виде газетных статей, то ли рассказов типа «Бегство в опасность»?

Литературный бизнес, торговля сомнительным товаром становится все более трудным делом. Акции явно падают. Потому-то так изощряются наставники из «Райтер».

**А. БЕЛЬСКАЯ,  
О. ПРУДКОВ.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ДМ. НАГИШКИН

★

## СВЕТ ПОБЕЖДАЕТ ТЬМУ

*Слегкое зло падет бессильно,  
Добро — не может умереть!..*

(Из революционной песни).

**Н**едавно я прочитал роман «Повитель» молодого писателя Анатолия Иванова из Новосибирска. По прошествии нескольких дней я убедился, что содержание и образы романа все более волнуют меня, что я вынужден думать над прочитанным, что мысли автора, образы, созданные им, философия книги не могут оставить меня равнодушным, что они заслуживают серьезного разговора. Разговора не только о прочитанном, но о таких вещах, которые выходят за рамки одного произведения.

Есть — увы! — книги, прочитав которые читатель, со спокойным сердцем и ровным дыханием, не ощутив никакого волнения, ставит на полку, чтобы забыть навсегда, не сохранив даже смутного воспоминания о них.

К сожалению, таких книг немало. Мы, не считая их «вредными» в политическом смысле, печатаем их — тоже со спокойной совестью и ровным дыханием, не осознавая того, что, не принося эстетического эффекта и не пробуждая эмоций у читателя, они объективно вредны именно потому, что бесполезны! «Серая книжка», — говорим мы в таких случаях и огорченно вздыхаем: уж слишком часто они попадают на глаза. И мало при этом задумываемся над причинами «серости» литературного произведения. Если же случится по этому поводу поговорить с критиком, он заметит авторитетно, объяснив все разом: «Незнание жизни!»

А что, собственно, такое — «незнание жизни»? Мне приходилось не раз встречать людей, «не умеющих жить», и это явление я могу понять, постичь, оно симпатично мне, особенно если эта оценка дается с позиций мешанского «устройства» в жизни.

Но за всю свою жизнь я не видел разумного человека, который совсем не знал бы жизни, как бы — вольно или неволью — ни был ограничен круг его представлений и интересов. Даже если этот круг и не был очень широким, это нисколько не умаляло ни силы переживаний человека, ни верности его суждений относительно мира, в котором он жил. Не раз мне приходилось встречаться и с авторами «серых» книг — теми самыми, которым критика предъявляла обвинение в «незнании жизни», и, поверьте мне, среди них было много людей, которые на своем веку многое повидали и многое испытали и, коснись дело жизненной практики, могли бы многому поучить своих критиков: и мужеству, и честности, и самоотверженности, и практичности, и выносливости, и даже — партийности. А книги их — «серые». И не потому, что люди бесталанны (о бесталанных я не говорю!). А почему же?

...В доверительной беседе Анатолий Иванов сказал как-то, что толчком к созданию романа ему послужил один вроде бы пустяковый случай, не вышедший из рамок «обыкновенного» происшествия, которому никто не придавал значения.

Уже после войны, совсем в наши дни, в 1955 году, на задах одной сибирской деревушки нашли выброшенный кем-то обрез. Кулацкий обрез — укороченную винтовку со срезанной ложей, чтобы можно было стрелять одной рукой (и прятать под одеждой!). Это не был насквозь проржавевший обрез, захороненный еще в те годы, когда кулаки поняли, что из обреза колхоз не убьешь. Это было оружие, которое кто-то долгие годы хранил в боевой готовности, хранил четверть века (!), хранил даже тог-

да, когда наша страна, обливаясь кровью и потом, один на один в схватке с гитлеризмом, вела Великую Отечественную войну с заклятым врагом коммунизма.

Можно по-разному подойти к этому казусу, например так, как обстояло дело в данном случае. «Кто-то» хранил-хранил обрез, да и выбросил его, очевидно решив, что воспользоваться им не придется. Но этот «кто-то» не оставил своей подписи на обрезе, и факт замкнулся в самом себе: хранил — выбросил. Составили акт, обрез передали в милицию. Тем дело и кончилось. Установить, кто хранил обрез, не было возможности, да и нужды особой в этом не было: этот «кто-то» сам признал свою игру проигранной и разоружился. И многие события: ожесточенная классовая борьба в годы коллективизации; мирное строительство пятилеток, сопровождавшееся вредительством замаскировавшихся врагов; Великая Отечественная война, выявившая все подлинные качества людей; послевоенное строительство, сопровождавшееся переоценкой многих ценностей; чья-то злоба на Советы, чье-то моральное разоружение, чье-то признание Советов незыблемой основой нашей жизни — на пятом десятке лет существования нашего государства, — эти события в сознании иных людей остались изолированными друг от друга, отдельными явлениями нашей жизни, как изолированным фактом остался выброшенный обрез, в свое время кем-то заботливо смазанный для длительного хранения! Может быть, только районный милиционер платонически и ненадолго задумался: «Кто же его, паря, содержал столько годов в тайности?»

На самом же деле события соединены в цепь причин и следствий. И для думающего человека за изолированным фактом: «А у нас, паря, на задах деревни обрез нашли. Кто-то выбросил!» — встает чья-то судьба, может быть, жалкая, может быть, страшная, но обязательно сотнями нитей связанная с сотнями людей, фактов, случаев, событий, переживаний, мыслей, мук и радостей, тяжелых раздумий и каких-то свершений — высоких или позорных!

Если философски, диалектически осмыслить все это, то в найденном случайно обрезе увидишь не искаленное изделие оружейного завода, приспособленное для бандитских целей, а куда больше. Увидишь не руки, державшие обрез, а голову, управлявшую этими руками, сознание, направленное против народа, мировоззрение, враждебное нашему классу, психологию и

отношения, возвращающие нас к 1917 году, когда народ сдал в архив истории отношения, основанные на принципе «человек человеку — волк». А за всем этим предстает перед нами долгая и жестокая борьба нашего общества за коммунистическое мировоззрение, с пережитками не социалистического сознания, тяжкая и трудная борьба человека с самим собой, со взглядами, с привычками, унаследованными от длинной цепи поколений, борьба, в которой человек не сразу и не безболезненно приходит к социалистическому сознанию.

Если так подходить к явлениям жизни, за мелочами видя большое, доискиваясь до корней фактов, вскрывая причины и проликая в следствия их, что и делает Анатолий Иванов, то перед литератором неизменно возникает жизнь во всех ее проявлениях, диалектически развивающаяся, сотканная из противоречий, являющая собой постоянное столкновение идей, страстей, характеров, личностей и эмоций. Все это, данное в движении, в развитии, в борьбе, несовместимо с «серостью», как несовместима с «серостью» сама жизнь — яркая, полнокровная, горячая, беспрестанно качественно изменяющаяся, движущаяся вперед!

В писательском деле очень важен этот, иногда неуловимый, первый толчок творческой мысли, влекущий за собой рождение образов, положений, выражение идеи, столкновения характеров. Но одного толчка недостаточно, и если писатель не перекинет мостика от прошлого к настоящему, если не увидит их связей, часто очень далеко ведущих, произведение не получит достаточной глубины, объемности. Молодой писатель Ан. Иванов не удовольствовался этим первым толчком. Он поставил перед собой вопрос: если человек хранил столько лет кулацкое оружие — каким было его сознание, каково было его влияние на окружающих? Ведь пережитки прошлого в сознании людей существуют не сами по себе, они передаются, формируются, укрепляются, исчезают или возникают в результате взаимного воздействия людей. Так обрез обратился в символ пережитков не социалистического сознания и привлек внимание писателя к главной теме советской литературы — перестройке сознания человека.

Посмотрев на вещи так, Анатолий Иванов смог постичь корень отрицательных явлений нашей жизни, являющихся тенью прошлого, отголосками того, что обречено историей на смерть, осуждено всем ходом развития человечества, что цепляется за но-

ги идущего ныне, тщетно пытаюсь остановить это извечное движение к свету из мрака времен. По-новому взглянул он после этого на факты нашей действительности, мешающие нашему стремительному продвижению к коммунизму. Он для себя открыл природу этих отрицательных явлений и понял необходимость свою и право свое бороться с ними художественными образами, горячим, убежденным словом. По-новому окрасились для него факты, вызывающие возмущение гражданина,— пьянство, хулиганство, поножовщина, шкурничество, трусость, леность, спекуляция, подлость,—увы, иной раз марающие нашу действительность, для которой так характерны высокие взлеты, гражданское мужество и сознательность, живое и активное участие человека в общественной жизни страны. Анатолий Иванов ощутил личную заинтересованность в этой борьбе, и тогда художественные образы стали для него живыми, настоящими, требующими не суррогатов чувств, а чувств подлинных — бурных, кипящих, рождающихся и изменяющихся от часа к часу. Он ощутил в скрывающихся тенях прошлого личную угрозу; и изолированные, отдельные явления, против которых восстает все существо советского человека, теперь обрели для него вполне определенные очертания, вполне конкретное выражение — идеологическое, моральное. Весь роман «Повитель» обращен к нашей молодежи, ибо она — залог будущего, ибо от ее моральных качеств, ее духовной чистоты и ее творческой силы зависит осуществление вековой мечты человечества о совершенном обществе.

При таком горячем, личном отношении автора к сюжету, образам романа, к их мыслям и поступкам могло ли на страницах романа возникнуть бледное отражение жизни, та «серость» сумерек мышления, в которой так трудно распознать истинного друга, в которой неразличим и облик врага? Нет и нет! Если автор видит героев своего произведения живыми — чувствует, ощущает их, видит во плоти, в реальной конкретности,— откуда взяты «серости»?

Пусть простит мне читатель горячность, с которой я отвожу столько времени, чувств и места казалось бы «академическому» разговору о том, каковы условия возникновения «яркого» и «серого»: литературе. Он не так уж «академичен», как это может показаться! В конце концов он сводится к тому лишь, насколько автор сможет слиться с жизнью своих героев, насколько он сумеет

вжиться в описываемое, насколько хватит у него сил жизненно правдиво воплотить свой замысел в свое творение, насколько автор понимает жизнь, насколько он может осмыслить ее философски. Этот «академический» вопрос сводится к тому, что «серое» — просто не правдиво, не жизненно, а «жизненное» — правдиво исторически и художественно, выражено чувственно реально, слито с подлинностью почти до потери границ между вымышленным и действительным. И если подлинно художественное можно назвать идущим «через сердце», то «серое» в этом случае будет лишь «головным», «рассудочным» отражением жизни, не трогающим читателя даже при наличии знакомых реалий.

Мы обычно очень мало говорим о возникновении авторского замысла и почти никогда — об условиях его возникновения и процессе мышления автора в момент, когда факты жизни вступают во взаимодействие с творческой фантазией писателя, с его «вымыслом». Но, повторяю, книга Ан. Иванова возбуждает такое желание.

Не могу не привести высказывание Ан. Иванова на обсуждении романа «Повитель». «У нас в последнее время появилось довольно много произведений, объясняющих факты существования в нашей действительности... отрицательных типов. Это или молодой человек, исковерканный заботами родителей, или, если это руководящий человек, то — избалованный властью и людьми... Крамов в романе Каверина — человек с трудно-распознаваемой болезнью и загадочными симптомами... Образ Вальгана («Битва в пути» Николаевой) писательница объясняет каким-то упырем, который сидит в нем и сосет... По-моему, противоречия нашего общества гораздо глубже и серьезнее, гораздо сложнее, чем мы порой объясняем в своих книгах, и причины существования многих и многих отрицательных типов надо искать в этих противоречиях в социальном плане». И дальше — «все отрицательные явления, казалось бы разные, питает один и тот же источник, это — жажда собственности, которая досталась нам в наследство от старого строя!»

Жажда собственности! Она будет существовать до тех пор, пока в обществе сохранится имущественное неравенство, а может быть, даже и переживет его... И Анатолий Иванов берет три поколения одной семьи, чтобы проследить градации, изменения этого властного инстинкта на протяжении десятков лет, на различных ступенях изменения



общественного строя: в «классических» условиях, когда жажда собственности есть главенствующий мотив всего общества, основной устой его, и в новых, изменившихся условиях, когда новая идеология уничтожает этот мотив и новый строй борется против него и его пережитков.

В течение сотен лет жажда собственности была движущей силой общества, основанного на принципе частной собственности. В течение многих поколений она созревала, воспитывалась, завладевала сознанием людей, отравляла их мозг и сердце, калечила отношения и уродовала мораль, становясь неотъемлемой частью души человека, диктуя ему поступки и мысли. Отказаться от этого чувства не легко, не просто, даже если учесть суровость и прямоту революционных методов при установлении нового общественного строя, непримиримо враждебного принципам частной собственности.

Ан. Иванов не облегчает своей задачи, понимая тяжесть задуманного. Он проследживает развитие этого чувства от деда к отцу и от отца к сыну, относясь с крайней взыскательностью к своим героям, беспощадно разоблачая их перед читателем, не оставляя ничего тайного ни в их мыслях, ни в их действиях. Но, хотя перед нами предстают представители одной фамилии Бородиных, за их спиной, за их фигурами мы видим многих, в ком застарелой занозой сидит жажда собственности, и понимаем общественное значение этого чувства, его реакционное, опасное для общества значение.

Начало романа захватывает первые десятилетия этого века. Мы видим затерянную в таежной глуши сибирскую деревушку. Разные люди живут в ней. Тут есть и своя «аристократия» — из тех, кто сумел теми или иными средствами урвать от общественного пирога, и свои «низы» — из тех, кому не досталось ничего, кроме жадности и горького сожаления, что «не планида — быть богатым!» К числу последних относится Петр Бородин — беднейший из бедняков деревни Локти, живущий с женой и сыном на отшибе от всех. «Их низенькая избенка с двумя тусклыми оконцами стояла на самом краю Локтей, упираясь огородом в стену леса. Была похожа она чем-то на подгулявшую старушонку, которая, вывалившись в грязь, теперь сидела, согнутая, на земле, непонимающе поглядывая на мир выцветшими глазами».

Жажда «выбиться в люди» преследует Бородину, не давая ему покоя ни днем ни

ночью. Ему «охота пожить», так как трудно назвать жизнью то прозябание, какое досталось ему на долю. Но «выбиться» нечем — слишком уж ограничены пути уроженца Локтей. И исподволь, при невозможности легального присвоения чужой собственности, как это делает поп, или лавочник, или староста, у Петра Бородина созревает мысль о преступлении во имя этого «пожить!» Преступление его не пугает — на глазах у него примеры живые и убедительные: ни к попу, ни к лавочнику, ни к старосте недостаток не пришел сам, как воздаяние за честный труд, от их денег папахивает. А чем хуже их Бородин? Преступление его не пугает. Пугает возможность попасться. А если не попался, так какой же преступник? Неотвзное желание разбогатеть, «стать человеком» заставляет его гнать самогон, тайком приторговывать им, заставляет присматриваться — у кого бы можно было «взять», не «украсть», а именно «взять»? И невольные мысли его начинают фиксироваться на фигуре приезжего цыгана-коновала. И деньги у него бывают, и чужой человек здесь — кому до него есть дело? — и следы скрыть нетрудно: кругом болота, только брось, никто никогда не найдет... Медленно, но неуклонно созревают все подробности этого плана, в котором находят свое место и бутылка самогона, и пузырек с ядом, и таежная дорога, и топор — орудие крестьянского труда, и зловонное болото. Невольно соучастницей этих мыслей становится и жена Бородина — Арина, которую точит чахотка и на лечение которой нет денег. Арина восстает против этих мыслей. Но она не в силах остановить мужа — слишком сильно в нем жажда «иметь». Он сделал свой выбор!

На глухой лесной дороге цыган делает попытку спасти жизнь, отдав заветный мешочек нажитого (тоже не честными и не чистыми путями!). Но жажда «иметь» так велика в Бородине, что он не хочет рисковать, оставив свидетеля, и он, «неторопливо размахнувшись, ударил коновала топором по голове. А удар пришелся будто по его собственной. Петр Бородин даже ощутил, как лезвие топора — не то горячее, не то холодное — прошло сквозь череп и застряло там. В ушах зазвенело, а перед глазами, в темноте, как и полчаса назад, когда он бежал за телегой, поплыли оранжево-зеленоватые круги...»

И вот, кажется, фортуна начинает поворачиваться к Бородину лицом: исподволь он приучает к себе старосту, давая ему кое-

что из «того» мешочка. Он не торопится, так же как не торопился опустить топор на голову цыгана, выжидает, делает все осторожно, чтобы не привлечь внимания к себе, но уже есть у него кони, строится дом, шевелится мысль завести лавочку, уже покупает он в далеком городе «товар». Банальное начало будущего деревенского миреда!..

Но, хотя Бородин и однозная фигура, его поведение нельзя назвать исключительным — он «в грехе капитализма зачат», и в его развитии нет ничего противоестественного для того строя, того общества, которое его породило. Пусть не случилось ему убивать раньше, но он это сделал не потому, что он рожден преступником или предельно растлен, а потому, что его мучит жажда стяжания, жажда «выбиться в люди». Никто не вложил в его душу никакой другой идеи. Он не кровожаден, он убил, чтобы завладеть «имуществом». Идея стяжания была единственной идеей, которая руководила всей его жизнью и привела в конце концов к целой цепи преступлений — таких, как убийство коновала, фактическое убийство жены, которой вовремя не помог Петр, считая «лишней тратой денег» расход на больницу, и даже неоднократное покушение на убийство своего семени — сына Григория, когда интересы отца и сына расходятся.

Петр Бородин изуродован своим обществом. У него есть мечты — сыну Григорию создать такую жизнь, которой сам Петр не имел, создать уважение (пусть вынужденное), семью (породнившись с богатым), богатство (кто будет потом смотреть на происхождение его, если человек вошел в силу!). Он сам себе рисует не последним человеком в деревне Локти, а родоначальником богатой фамилии, влияние которой распространяется далеко за пределы Локтей, патриархом рода, всеми уважаемым, слово которого — «золото»! Но для этого Григорий должен быть сотворен «по образу и подобию» отца своего, должен разделять и устремления и мысли его — повторить облик отца, но в новом, желанном качестве!.. Так побуждения Петра Бородина, целиком вытекающие из морали и практики буржуазного общества — его колыбели, — отягощают собой второе поколение Бородиных. То, что мы называем сейчас пережитками капитализма в сознании людей, для Петра и Григория Бородиных — естественное состояние, они выросли в кругу этих представлений, созрели на них, как

законченные типы своего времени, своей эпохи. Ан. Иванов не пугает нас, не устраивает «гиньоль»; рисуя Бородиных, он не ахает и не ужасается — ах, какие моральные уроды воспитаны царизмом! С честной беспристрастностью он показывает то, что есть, и ненависть читателя направляет не столько на жертвы чистогана, сколько на самые условия, при которых возможно возникновение того, что происходит в «Повители».

Название романа — не случайно. Оно несет в себе такую же философскую нагрузку, как и действие романа. Есть невидное и неслышное с первого взгляда растение — вьющееся, расцветающее скромными мелкими цветами. Это повитель. Ему не дано силы расти в земле, отбиваясь от конкурентов, которым тоже нужна земля и солнце. Но оно наделено страшной способностью — питаться соками других растений. Нежно обвиваясь вокруг больших, сильных деревьев, которым его цветы сообщают невинную прелесть, оно высасывает их соки и безжалостно губит. Автор уподобляет людей этим сильным деревьям, а жажду собственности — повители, приносящей гибель деревьям. Жажда собственности уничтожает все человеческое в человеке, — вот почему человечество должно уничтожить ее!

И человечество уничтожает эту «повитель», расстреляв корни ее в 1917 году и тщательно выпальывая ее побеги, кое-где коренящиеся и до сих пор в закоулках человеческого сознания.

И Григорию Бородину приходится столкнуться с этим. С колыбели несущий на себе проклятие стяжательства, с детства отравленный мечтами о богатстве, невольно втянутый в преступление отца, едва начавший «входить в силу», во вкус жизни, — он лишается всего потому, что народ всерьез принялся выжигать в стране губительную «повитель», начав с Романовых в Октябрьскую революцию. Революция ставит перед Григорием альтернативу: с Веселовыми, которые безоговорочно приняли сторону восставшего народа, или против них, в бесплодных попытках задержать ускользающее из его зацепистых, «клешнястых» рук «счастье», «фарт». Петр Бородин — весь на стороне контрреволюции. Он шел на убийство ради того, чтобы вырваться из костлявых лап нищеты, а тут революция отнимает у него все, заграбастанное такой страшной ценой. Он на стороне белых, на стороне любых бандитов, лишь бы не расставаться со своим золотом. Он и Григория Бородина

толкает в банду. Но Григорий моложе и сложнее отца. На себе и своем отце он познал уже, как силен народ. По собственному опыту он знает, как горька ненависть народа к богатеям. Он знает меру этой ненависти и вовсе не испытывает слепой уверенности отца в том, что контрреволюция победит. Трудно сказать, умен ли Григорий, но он обладает звериным чутьем, которое никогда не позволит ему кинуться в безнадежно проигрышное дело. Он видит, и это страшит его, что даже соединенная ненависть и сила деревенских богатеев — Лопатиных и Зеркаловых, — помноженная на силу беспощадной и кровавой белогвардейщины и интервентов, не может справиться с великолепным порывом деревенской бедноты, людей, подобных Пьянковым и Веселовым, которым нечего терять в этой схватке. Он осторожен, осторожен, как волк, делающий круги возле овчарни! Даже когда он предаст партизан, он останется в стороне: он дальновиден все из-за того же звериного чутья. Он не хочет быть уничтоженным вместе с Зеркаловыми и Лопатиными, он хочет выжить, в надежде на то, что когда-нибудь «его возьмет», хотя очень ясно понимает, что надеяться на дружеские чувства односельчан, на их помощь ему нечего: за недолгие годы, пока Петр Бородин был на подъеме, и отец и сын успели снискать откровенную ненависть Локтей. Им двигают и иные чувства — он любит Дуняшу, невесту Андрея Веселова, он видит, что, кроме Андрея, для Дуняши нет никого на свете, видит, как наконец соединяются желанными узами Андрей и Дуняша, и все-таки лелеет надежду увидеть Дуняшу своей. Он примитивен в своих посулах Дуняше. «Разодену, как картинку, на руках носить!» — это все, что он может ей обещать. Но так велик груз его представлений о чистогане как основной ценности в мире, что он уже не может видеть — меняются представления людей, на смену чистогану революция несет с собой что-то совсем иное, от чего у бедняков распрямляются плечи и они готовы смерть принять, как праздник, во имя этого «что-то», смысл и значение которого ускользают от Григория.

Он не сразу стал человеком, которого ненавидит вся деревня. Может статься, случись уйти Григорию на фронт, как пошел не в очередь бедняк Андрей Веселов — сверстник и соперник его! — пройди он тяжкую окопную школу, и иные чувства вошли бы в его душу, иные мысли осенили бы его. Золото, окропленное кровью коновала,

спасло Григория от солдатчины. Петр боялся потерять своего «наследника» и через Зеркалова получил на сына фальшивые документы. Золото спасло его от фронта, но Григорий оплатил это большой ценой — за годы, в течение которых Андрей учился рабочей правде и стал солдатом революции, золото выело душу Григория, лишив его остатков чести и совести. За эти годы он принял от своего отца проклятый груз жажды собственности. Это не пришло само собой, сразу, как желанная ноша. Нет! Автор показывает нам, как страдал Григорий, как мучился, какой жестокой ломке подвергался он со стороны отца, как пугала его ненависть людей... Анатолий Иванов ярко показал сложность формирования отрицательного типа, показал и трагические крупные ошибки, приводящие к неверным оценкам и ложным выводам, и тот поток мелочей, которые в сумме своей иногда дают больший отрицательный эффект, чем крупная ошибка. И когда уже нет Петра Бородина, давшего роковое направление всей натуре Григория, когда ясным становится, что Советская власть установилась не на две недели, — все выжжено в душе Григория, и на этой испепеленной почве не может прivityться ни один росток нового, он сам себя «уволит с должности человека»!

Он ждет, ждет, сжигаемый ненавистью и неутоленными чувствами! Чего? На что он может надеяться? На что? Пожалуй, можно ответить на этот вопрос так: бушеваемый своими желаниями, он верит в то, что и другие должны, непременно должны мыслить так же, как он, что его мысли и чувства, которые поставили его среди людей в особую, будут владеть и другими, что они не могут мыслить иначе, чем мыслил Петр и мыслит сам Григорий. Злобную радость доставляет ему возможность кое-где и кое у кого видеть проявление знакомых инстинктов и побуждений. Но он не отваживается на открытое сопротивление новому, чувствуя его покоряющую силу; он смог преодолеть, когда понадеялся таким образом устранить со своего пути Андрея и — рано или поздно — взять Дуняшу, но он не боец и в этой борьбе не хочет быть ни рядовым, ни тем, кто посылает на смерть. Он верит в страшную силу «повителя». Сам обвитый ею, он надеется на то, что со временем, исподволь, постепенно, она обовьет и других, и тогда он «возьмет свое»... Он выжидает и безжалостно рвет старые связи, не желая быть чьим-то ору-

дием, и Зеркаловых и Лопатиных ненавидя так же, как Веселовых и Пьянковых...

У Григория Бородина есть, мне кажется, в галерее литературных образов нашего времени кровный родственник — ему сродни Петр Сторожев Н. Вирты, Петр Сторожев, не мысливший себе примирения с теми очистительными силами, которые навсегда вырвали страну из костлявых лап романовского орла и из-под власти чистогана, пропадает, как волк, отбившийся от стаи, ненавидящий людям нового мира и уже бесполезный, ненужный тем, кто вложил в его руки оружие.

Какими-то своими чертами Григорий Бородин напоминает мне и главного героя «Тихого Дона», особенно тогда, когда шатания приводили того в стан врагов или в банду Фомина. Григорий Мелехов после годов мучительных блужданий пришел к новому берегу — опустошенный, опаленный пережитым, готовый и к смерти и к жизни в этом новом мире, приведшем его к поражению, но ставшем колыбелью его сыну, его семени, Мишатке, которому не знать бы никогда мук своего отца! «Тихий Дон» и «Одиночество» рисовали нам события первых лет революции, гражданской войны и начала становления Советской власти. «Повитель» продолжает эту линию в последующие годы, подводя к нашим дням.

Как бы жил Сторожев дальше в новом мире — «врос бы в социализм»? Или, может быть, только временно отказался бы от борьбы, тая надежду взять реванш, ушел бы в глубокое подполье, надев на себя личину безобидного обывателя, а может быть, и сочувствующего? Так возникает современная модификация уже известных нам образов, прорастающих из далекого прошлого в наши дни, как в наши дни из глубины времен тянутся старые, как мир, чувства, мешающие нашему движению вперед, накладывающие на сознание нашего человека «родимые пятна» частнособственного мировоззрения. Есть эти люди и есть эти чувства! — говорит Ан. Иванов своей книгой. Есть, ибо что-то питает те отрицательные явления нашей жизни, с которыми мы, увь, нередко сталкиваемся.

Идут годы, крепнет советское общество. Прошлое все время тянется к Григорию Бородину. То станет на его пути Лопатин, то Зеркалов, требуя от него помощи и содействия в качестве платы за молчание о его предательстве. Жажда жизни и реванша сочетается теперь в душе Григория Бородин со страхом разоблачения, и

этот страх настолько силен, что он идет на двойное преступление — убивает обоих своих покровителей и сообщников. Ему и в голову не приходит прибегнуть к помощи советских людей в этой его справедливой борьбе против бандитов и насильников, пытающихся использовать его для прямого вреда советскому обществу, — так он одинок среди людей! Конечно, и Зеркалов и Лопатин стоят вне закона и, по сути дела, Бородин лишь приводит в исполнение приговор, висящий дамковым мечом над головами осужденных. Григорий, уничтожая их, не дает им возможности причинять в дальнейшем вред советским людям. Но делает это он не в осуществление справедливости, а в корыстных целях, во имя самосохранения, чтобы навсегда утвердить молчание мертвых. Так, переступая через трупы, идет по жизни Григорий Бородин. С какой целью? Жалкая мечта движет им, сознание его проходит мимо того, что бурно расцветает вокруг.

Григорий не может похоронить в себе то, что было вложено в его душу отцом. Он передает эту эстафету мертвых чувств своему сыну Петру, названному так в честь деда, убийцы коновала... Ан. Иванов понимает, что мысль о прекращении существования извечно страшна людям, извечно они стремились продолжить свою жизнь в потмах и, считая свое самым ценным в жизни именно потому, что это «их», передавали следующему поколению и свой опыт и свои заблуждения, часто цена их больше, чем подлинный опыт. И Григорий Бородин поступает так же. Если источником ушибленного сознания в семье Бородиных был дед, убивший цыгана, то следующим, кто возродил неуемную жажду обогащения, был Григорий. И Григорий пытается в сознании следующего поколения, через сына, утвердить еще раз свои чувства в нашем обществе. Он так «ломает» сына, как «ломал» когда-то его волю и чувства старик Бородин. Анатолий Иванов погрешил бы против правды жизни, если бы иначе показал этот процесс, возбуждающий у читателя тревогу за судьбу этого третьего поколения Бородиных, не страх — хотя в судьбах и в характерах деда и Григория Бородина немало по-настоящему страшного! — а именно высокую гражданскую тревогу, так как и побег повителя — угроза живому!

Но жизнь идет вперед! И, как ни старается Григорий, сын медленно, но неуклонно уходит из-под его влияния. На его со-

знание действуют те сверстники отца, которые пришли к истинной дружбе и человеческим отношениям, недоступным Григорию. Их пример действует неотразимо. К этому прибавляется и новый фактор — влияние третьего поколения Веселовых. Может быть, самое сильное воздействие оно оказывает на Петра Бородина именно тем, что в его сознании нет темных пятен, — своей чистотой, своей свежестью. Поленька, дочь Дуняши и Андрея, погибшего на фронте, властно входит в сердце Петра. И притягательная сила ее образа заставляет светлеть мысли Петра, в мозгу его зреет настоятельное желание «стать человеком», но не так, как его дед мечтал «выбиться в люди», не преступая через чью-то судьбу, а вместе с людьми, с высоко поднятой головой, глядя людям в глаза открытым взором, не пряча его и не отводя в сторону, как делает это Григорий!

Привлекает честность художника в книге Ан. Иванова — у него нет страха перед теневыми сторонами жизни, он ясно видит их и мобилизует внимание читателей на борьбу с ними, но он ясно видит также, что у них нет прочной опоры, что победа над ними близка, если быть бдительным. Конечно, он сознательно группирует их, создавая образы, сознательно усиливает, подает таким образом, чтобы читатель ощутил тревогу, ощутил желание быть беспощадным к Григорию, но вместе с тем — интерес к его сыну, стремление спасти его и вывести из-под влияния отца, вырвать его из темной власти пережиточных чувств. Мне кажется, это и есть работа писателя по коммунистическому воспитанию. Книга заставляет воевать против самоуспокоенности, либерального благодушия: раз революция произошла и победоносно завершилась — все у нас хорошо и мы идем к коммунизму под развернутыми знаменами, под звуки оркестров! Но она направлена и против ложной подозрительности — могут найтись в нашем обществе люди, которые, зная, насколько одиозна фигура Григория, перенесли бы на Петра весь груз вины его отца.

Свет побеждает тьму — с таким чувством читатель расстается с книгой Ан. Иванова. Но это не авторская декларация, выдавание желаемого за сущее, а убедительный, образный показ могучей силы советского общества.

Может возникнуть вопрос: типичен ли Бородин? Я думаю, что Анатолий Иванов создал образ исключительный. Но все в мире относительно: если Бородин сам по

себе — личность исключительная (в романе мы видим это по ряду каких-то таких обстоятельств и сюжетных ходов, которые нельзя назвать ординарными), то, если иметь в виду не советское общество и его типы, а мир, противостоящий советскому обществу, Григорий Бородин представляет собой типическое явление. Он типизирует собой определенную классовую прослойку, выражает частнособственническую идеологию. И с этой точки зрения, Бородин — типический образ своей эпохи, своего класса, класса собственников, так как Бородины преступным путем «вырвались» из класса неимущих, более того, сознание их было развращено чуждой идеологией даже тогда, когда они были неимущими!

Есть ли Бородины в наше время? Не знаю. Гораздо более важно то, какой-то отпечаток психологии отца и деда Бородиных мог остаться и в Петре, мог где-то притаиться, чтобы в какой-то момент проявиться с неожиданной силой, удивляя окружающих, да и самого Петра... Может быть, проявится это и не так, как показал нам в своем романе Ан. Иванов, дав волю Григорию Бородину развалить колхоз, а в иной форме, но — как бы это ни проявилось! — тем легче будет справиться с любыми пережитками чуждого сознания, чем скорее общество распознает его корни.

«Повитель» не из «приятных» книг, закрывая которые чувствуешь «благоприятствие» воздушных и обилие плодов земных». Это книга жестокая, но эта книга — серьезное оружие советского писателя в борьбе против буржуазного сознания. И я думаю, что она привлечет внимание и нашего читателя и читателя стран народной демократии.

Мне не очень хочется говорить о том, что в книге Анатолия Иванова меня не устроило. Может быть, это чисто вкусовые замечания. Но, сравнивая добротность, убедительность, зримость материала первых трех частей романа с беглостью изложения событий в последней части, я ощущаю, что автор как-то неожиданно заторопился, почему-то сменив артиллерийский обстрел явления, против которого нацелена вся его книга, на ружейную перестрелку. Не очень убедительно сделано в романе последнее перевоплощение Бородина на пути осуществления его попыток «вжиться» в советский организм, когда он становится председателем колхоза. Может быть, третье поколение бойцов за коммунизм — Поленька Веселова — дано в слишком акварельных тонах,

тогда как весь роман — это сильная, темпераментная, пастозная живопись. Может быть, не очень оправдана и позиция Пьянкова, который, зная о трусости Григория на фронте в дни Великой Отечественной войны, молчаливо соглашается с избранием Григория председателем колхоза. Может быть! Но все эти спорные или несильные места книги не могут заслонить главного: «Повитель» — произведение значительное и, хотя большая часть его действия относится к 1917—1929 годам, современное, находящее глубокий отклик в сердце читателя. Яркая в целом и в характеристических деталях — материале, образах, сюжетных ходах, — книга всем своим художественным методом, всем философским осмыслением те-

мы и материала направлена против «серости», которая так мешает нам.

Роман Ан. Иванова носит на себе следы высокой требовательности автора к самому себе, к литературе и к материалу. Пусть где-то дрогнула его рука, где-то он изменил своей точной и ясной манере, но это отдельные ошибки, и, хочется добавить, ошибки роста: ведь это первая книга писателя. Не эти ошибки определяют истинную ценность романа, а его философская направленность и литературная добротность.

Мне кажется, что от Ан. Иванова можно многого ожидать. А его роман хотелось бы видеть изданным в Москве, и получше, чем его издали в Новосибирске, и тиражом побольше. Книга стоит этого!



И. АНДРЕЕВА

★

## МОЛОДОЙ ЖУРНАЛ

(«Юность» за 1958 год)

I

**У** каждого журнала есть своя биография. У одних она длинная, у других покороче, а у молодежного журнала «Юность» совсем еще небольшая.

Прошедший 1958 год — дата для журнала не юбилейная, вероятно, она не будет отмечена будущими его биографами. Так, никто не отмечает год, когда формируется характер подростка. А нам кажется, что именно такое значение имел этот год в жизни «Юности». Он поставил перед журналом множество новых вопросов, определил и сформировал его характер, закрепил традиции и даже недостатки сделал более явственными. А они не могли не быть хотя бы потому, что «Юность» сама прокладывала себе дорогу, у нее почти не было предшественников.

Впрочем, предшественники все-таки были. Нам даже показалось, что мы разыскали «бабушку» «Юности». В 1907 году, немногим больше полувека тому назад, подписчики журнала «Былое—Грядущее» получили новогодний сюрприз — журнал для «подрастающего поколения» «Юность».

Но, приглядевшись к нему поближе, убеждаешься, что это всего лишь однофамильцы. Журналы и внешне разительно не похожи. Благостная и умирительная обложка дореволюционной «Юности» вполне отвечает желанию редактора дать «литературу, безвредную для ума и души»: хоровод кудрявых берез и стайка девчушек в легких раздувающихся сарафанах. Даже буквы художник заставил улыбаться. Оглавление торопливо сообщит читателю, что он попал в сказочную беспечальную страну: «Ангелы», «Детство», «Колыбельная», сказки...

Но и лубочной обложке журнала не хватает здоровья лубка, ярких, смеющихся его красок, не хватает жизни. Ощущение это крепнет, когда начинаешь вчитываться в «безвредную» литературу для юношества.

Спи, если можешь. Темно неизбежное.  
Ночь холодна и пуста.  
В даях забвенья безбрежное, снежное,  
В сердце погасла мечта,—

мрачно вещает автор «Колыбельной».

Чувствуется, что для создателей журнала юность — это попытка убежать от жизни, укрыться от нее в тихой гавани воспоминаний.

Во тьме осенней, во тьме полночной,  
Когда ненастье стучится в окно,  
Мне снится детство и луг цветочный —  
Все то, что было давным-давно...

И в том, как заполняются сказками страницы журнала, в полном небрежении к темам современности — безнадежная мольба: не торопитесь расставаться с детством, растягивайте его, сколько можете, ибо за ним — ничто, мрак, пустота, «неизбежное».

В этой исходной позиции — основное различие журналов, два мира, которым невозможно понять друг друга: то, что авторами «Юности» 1907—1908 годов воспринималось как конец, наша «Юность» чувствует как начало.

Не страх перед жизнью, трудностью и сложностью ее,— желание поскорее выйти в большой мир, взяться за настоящее дело, желание нетерпеливое, страстное нахлынет на вас, как только вы приоткроете обложку «Юности» сегодняшней.

Как правильно выбрать себе дорогу, где ты больше всего нужен — вот та мысль, та основная идея журнала, которая объеди-

няет разные рассказы, стихи и очерки, в нем напечатанные.

Герой «Юности» — это человек, который не хочет изучать жизнь по «пособиям из картона», он хочет делать ее, хочет рвануться в жизнь, как в подвиг. Это неудержимое желание молодости можно слышать во всех произведениях, публикуемых в журнале.

Слышать мне о Каспии случалось  
Речи тех, кто там не ко двору.  
— Жить бы можно, если б сбавить малость  
Силу ветра, адскую жару.

Нет уж, пусть грохочущим и будет  
Знойный край, где лотосы цветут.  
Шторму не сдающиеся люди  
Не в стоячих заводах растут.

Конечно, стихотворение Бориса Шаховского небезупречно, да и построено на мысли не совсем верной: нет нужды искусственно сохранять трудности, тем более культивировать их как некую школу опыта мужественных. Но есть ошибки, которые только подчеркивают достоинства. Юность как Атлант: всю тяжесть мира хочет взвалить на свои плечи. И сколько раз уже доказывала она, что самый непосильный груз ей под силу. Каждый день истории комсомола — убедительнейшее тому доказательство.

Можно только порадоваться, что в этом году раздел «Из истории комсомола» стал в журнале обязательным и публикуется из номера в номер. Причем всякий раз редакция находит новую форму подачи материала: очерк, рассказы очевидцев и участников событий, письма, фоторепортаж, иногда просто несколько фотографий, воссоздающих неповторимый облик эпохи, детали быта и то настроение массового героизма, которое породила революция. Вот наскоро, от руки, набросанное объявление: «ЗАПИС (мягкий знак не дописан — художник торопился, а может быть, и не знал, что таковой полагается.— И. А.) в Красную Армию» и длинная очередь ребят под ним, старшему из которых, может быть, двадцать. В этом же номере приводится письмо подростков в ЦК РКП(б) с просьбой организовать добровольческий отряд: «У нас загорелось пламя борьбы против белых паразитов,— пишут они,— и готовы хоть сейчас отправиться в бой. И мы умоляем дать нам возможность идти вместе с нашими отцами защищать пролетарскую родину, которая на краю гибели».

Читая это письмо, понимаешь, что продиктовано оно не только захватывающей

романтикой революции, мальчишеским желанием взять в руки винтовку, но и ответственностью за судьбу родины, ответственностью взрослых людей.

Не удивительно, что именно эпоха революции, события гражданской и Отечественной войн прежде всего захватывают воображение молодых авторов. С этими периодами в истории родины связаны первые, детские еще, мечты о подвиге и желание поскорей занять свое место в рабочем строю.

Поэтому воссоздание событий и людей тех лет выходит далеко за пределы рубрики «Из истории комсомола». Документальная повесть В. Китина и В. Осипова «Солнце поднимается на Востоке», новеллы «Мальчик» В. Петльованного и «Тишка» В. Серикова, стихи и очерки продолжают рассказ о тех, чей пример, несомненно, помогает строить жизнь «юноше, обдумывающему житье». И хотя писатели черпают материал из недавнего прошлого страны, произведения эти нельзя назвать историческими: в них легко угадывается сегодняшняя готовность молодежи к подвигу.

История в журнале дышит современностью, и современность на наших глазах становится страницами истории. В разделе «Дела молодежные» вы читаете о подвигах сегодняшнего комсомола, видите простые лица тех, кто, рискуя собственной жизнью, выносит детей из огня, спасает колхозное имущество, обезвреживает мины. Еще раз встречаетесь вы с этими юношами и девушками на страницах художественных произведений. Рядом, на тесной площадке журнала, живут литературные герои и их прототипы. И в этом одна из самых характерных особенностей «Юности», использующей лучшие газетные традиции: связь между жизнью и литературой в журнале мало сказать тесная — она зримая. Можно наблюдать интересный процесс, как из фотографий современников в произведениях художественных вырастает портрет современника.

Вот он — некрасивый, маленькие глаза за очками в металлической оправе,— Левка Меньшиков, герой рассказа А. Гладиллина «Идущий впереди» («Юность», № 8). В трудном походе без такого просто не обойтись. Подойдет, скажет: «Топай, топай» — и все почему-то идут дальше, хотя минуту назад казалось, что шагу больше сделать невозможно. А Левка уже где-то далеко впереди, и его насмешливое: «Что-то холодно, ки-



ты!» — обогреет и придаст мужество даже самым неопытным и слабым. Он бросился спасать товарища, отлично понимая, что ничем не сможет ему помочь, но все-таки не мог не попытаться и погиб.

Ну, а если человеку не довелось совершить подвиг, разве тогда жизнь его бесцельна, похожа на вереницы серых будней, не отмеченных ни одним красным числом?

Так иногда думают мальчишки, торопливо листаящие дни в ожидании чего-то необыкновенного, героического. Но в последние годы племя этих иступленных мечтателей понесло значительные потери. Мы стали свидетелями того, как, далеко отодвигая неопределенную романтику юношеских желаний «грустить о неведомых странах, мечтать, удивляться и ждать» (В. Казанцев), рядом с героической романтикой подвига на первый план выходит романтика трудовых будней, поэзия обыкновенной жизни, простого, обыкновенного труда. Ярче всего это новое направление в юношеской литературе отразилось в повести А. Кузнецова «Продолжение легенды», напечатанной еще в 1957 году. И поток писем в редакцию, который вызвала повесть, показал, насколько нужным и своевременным было это выступление журнала, как прямо и непосредственно отозвалась «Юность» на раздумья молодежи.

Но, судя по письмам, многие увидели в произведении А. Кузнецова не радость труда, радость узнавания жизни, а лишь романтику дороги, более понятную и привычную. Слишком часто в письмах к писателю возникает вопрос «куда?»: ехать ли на Север или оставаться в Ленинграде? Стоит ли ехать на Восток? Е. Зыкова из Хабаровска прямо так и пишет, что, не поступив в институт, не знала, что делать, но тут почтальон принес «Юность», и, «прочтя только вступительное — «В дороге», — я уже облегченно вздыхаю. Вот оно. Это то, что надо».

Никто не спорит, хорошо поехать туда, где ты нужен, овладеть профессией, начать жизнь совершенно самостоятельно, как герои произведений А. Кузнецова или М. Златогорова («Вышли в жизнь романтики», повесть, «Юность», №№ 5, 6). Но ведь это путь не единственный и даже не всегда самый верный. Бывают ситуации, когда уехать — значит бежать от трудностей, подменить трудности подлинные мнимыми.

Писатель С. Бабаевский в повести «Сухая Буйвола» («Юность», №№ 3, 4) убедительно

доказывает, что героям его никуда ехать не надо: их место в колхозе. Мы бы еще охотней согласились с этим, если бы автор не толкал нас так настойчиво к этому выводу. Повесть написана, как теорема, в которой все, начиная от героев и кончая автором, призваны доказать основной тезис: колхозу нужны молодые знающие животноводы. При этом писатель не поверил до конца, что читателям интересно будет следить за тем, как Ленка и Олег постигают чабанскую науку, и разрисовал произведение приключениями традиционными, не всегда оправданными. Надуманность ряда ситуаций усугубляется речью мальчиков. В этой речи лексикон рассудительной пионервожатой мирно уживается с выражениями, которые больше пристали бы Эллочке-людоезде: «невозможный сонуля», «такой усатый мужчина» и т. д.

Но жизнь в повести одерживает победу над традицией. Как только Олег и Ленка попадают в степь, становятся подручными чабанов, автор и герои преобразуются. Писатель увлеченно рассказывает о том, как сложно, казалось бы, простое искусство пасти овец, каких знаний оно требует, как интересно и поэтично.

В сущности говоря, «уезжать — не уезжать» — такой проблемы не существует, за этим всегда стоит вопрос более широкий: как жить, какое направление в жизни для себя выбрать.

Очерк И. Зверева так и называется «Направление жизни» («Юность», № 12). Автор рассказывает в нем о своих встречах с шахтерами Подмосковского бассейна, о разговоре со слесарем Мишей Станкевичем, который с четвертого класса школы по четвертый курс Горного института учился без отрыва от производства. Мише трудно ответить на вопрос, почему учился, ведь приходилось очень трудно: «В кино пошел — событие; с девчонкой встретиться — прямо вычисление надо делать: с которого и до которого часа. Может, зря все это?» Но что бы там он ни думал, а бросить занятия все-таки не смог. И когда очеркист называет жизнь его самоотверженной, юноша обижается: «— То есть вы хотите сказать, что мы себя отвергаем ради чего-то? Вычеркните, это неправильно». И гордость, с которой это сказано, объясняет все: он не мог бросить учебу, потому что чувствовал, что живет полной, насыщенной жизнью, в полную меру сил. А только так он и хотел жить.

Конечно, о таких людях, как Миша Станкевич, писали и раньше. И сам И. Зверев десять лет назад был послан в тот же район с заданием написать о шахтере с аттестатом — рассказом об этом и начинается очерк. Но тогда писателю далеко не сразу удалось найти своего героя. Сейчас же на этой шахте около пятидесяти человек со средним образованием, и некоторые из них продолжают заочно учиться в институте. То, что еще несколько лет назад было явлением единичным, стало направлением жизни.

Та же проблема по-своему решается в очерках «Гая, Леша и таблица логарифмов» И. Головань, «Я с вами, ребята!» А. Левинной и целом ряде других.

Проблемный очерк в журнале занял очень большое место, как никогда раньше. Очеркистам «Юности» пришлось задуматься над тем, какая же форма общения с читателем наиболее действенна и выразительна. И тут наметились две линии. Некоторые очерки, как, скажем, «Я с вами, ребята!», очень близки к рассказу: мысль дана через образы, характеры. Как правило, в них есть сюжет, занимательный и тщательно продуманный, интонация рассказчика — повествовательная.

Очерки И. Зверева и И. Головань не скреплены сюжетом. И. Зверев даже скромно называет свой очерк «заметками о молодых шахтерах». Зачастую это именно заметки, наблюдения. Автор в таких очерках не некое условное «я», а живой человек, который хочет поделиться с читателем своими раздумьями и впечатлениями. Они написаны в свободной манере разговора, лишены назидания и суровой категоричности, которой грешат подчас некоторые рассказы и повести для юношества. Думается, что такой непосредственный разговор по душам больше может помочь семнадцатилетним разрешить сомнения и разобраться в том, какую дорогу следует выбрать. Речь идет не о предпочтении какой-то формы очерка вообще, а о том, какая форма может быть наиболее действенной сейчас, сегодня. Завтрашний день может выдвинуть на первый план какую-то другую форму. А сейчас, вероятно, не случайно именно повесть А. Кузнецова, написанная от первого лица, обращенная как бы прямо к читателю, вызвала такой живой отклик у молодежи.

Интерес к труду, к человеку труда, поворот юношеской литературы к жизни очень заметен на страницах «Юности». В прозе,

правда, поворот этот произошел несколько раньше, еще в предыдущие годы. Прошлый год интересен, пожалуй, тем, что тема труда захватила поэзию молодых. Пусть не поймут нас прямолинейно. Поэзия давно открыла для себя эту тему, но как трудно было залучить ее в стихи начинающих! Их больше привлекала героика в ее прямом, самоочевидном выражении: боец, геолог, путешественник, человек-искатель — излюбленные герои молодых поэтов.

В стихи прошлого года тема простого, будничного труда вошла не со стороны, как гостя, а как непосредственное ощущение пишущих, как нечто желанное и радостное. И это понятно. Молодой человек прежде должен был встать из-за парты и сам почувствовать, что зерно не цвета расплавленного золота, как твердили поэты, а цвета мозолей натруженных человеческих рук, от них получило оно свою крепость и теплоту. Только внеся эти жизненные коррективы в школьную программу, поэт мог дать клятву «встать по зову гудка к станку — резать простые болты...»

Количество таких стихов в журнале не только возросло, скажем, по сравнению с предыдущими годами, они и написаны несколько по-другому: более лично, непосредственно.

«Работа» — называется стихотворение Ан. Поперечного («Юность», № 7). Автору удалось передать ощущение радости, рожденной физическим трудом: загорелый паренек с облупленным носом и корзиной на плечах вырастает в этом стихотворении в богатыря, поддерживающего небосвод. Стихотворение построено на постепенном развертывании этого образа.

Пахнет тело грузчика потом,  
Пахнет морем соленным, рыбой.  
По душе мне такая работа:  
На плечах не корзины — глыбы.  
Восником да по сходням склизко.  
Наклоняется небо низко.  
Небо давит на спины крутые...

Одним движением поэтического карандаша — от плеч до босых ног — сделан набросок, и перед вами фигура человека, низко опустившего голову под тяжестью корзины. Он видит только сходни в рыбьей чешуе и морских брызгах да полосу неба на горизонте. Кажется, что это небо легло на плечи всей своей тяжестью. Образ подготовлен, теперь и читатель увидит и почувствует вместе с поэтом:

Небо — это большая корзина.  
Мы несем его, молодые...

Последняя строчка несколько неожиданна, но тем ярче этот взрыв молодых сил, взрыв радости от ощущения в себе этой незнакомой раньше, немереной силы молодости. (К сожалению, «последняя строчка» не последняя у автора. За ней следует девятистишие, вяло-описательное и заканчивающееся пресным выводом: «Восемнадцатилетним впервые понял я, что такое работа».)

Совсем по-другому написано стихотворение Виктора Виноградова «Работяги» («Юность», № 6). Без ярких образов, внешне очень спокойно, написанное как будто всем знакомыми словами (есть в нем и «зданья — созданья» и «исторических строк пожар»), оно привлекает насыщенностью чувства. Поэт нигде прямо не говорит о том отношении к труду, которое родило это чуть пренебрежительное слово «работяга» — слово, стоящее в одном ряду с «бедняга», «бедолага», когда само сочувствие, выраженное в них, немного унизительно. Но в стихотворении незаметно для читателя происходит переосмысление понятия. Рассказывая о простых ребятах, сумевших взметнуть в ночи «исторических строек пожар», поэт «вытряхивает» старый смысл из слова «работяги», наполняет его любовью и уважением к людям труда, вкладывает в него душу. И когда читаешь заключительное:

Будет снова работа,  
большие дороги и стройки —  
Мы идем по земле.

Работяги идут по земле, —  
ловишь себя на том, что замечаешь в этом слове совершенно другой оттенок, что-то веселое и размашистое. Видишь армию упрямых и верных людей — «работяги идут по земле».

Стихи Ан. Поперечного и Виктора Виноградова еще несколько общи: это пока только пересмотр старых представлений и понятий, но ведь это лишь первые шаги в мир, по-новому открывшийся молодым глазам.

## 2

Радость подвига, радость поиска, радость труда. Но ведь жизнь человеческая не складывается из одних только радостей. А как бы ни были велики трудности, встречающиеся на этом пути, их помогает преодолевать сознание, что все, что ты делаешь, нужно стране, народу. К сожалению, бывают еще трудности другого порядка, трудности, как говорится, бы-

товые, житейские, личные. Обычно к ним меньше всего подготовлена молодежь, потому что по самому настрою души не приемлет их, противится им. Кроме того, некоторые наши писатели приложили немало стараний для того, чтобы отгородить книги для юношества от всего, с их точки зрения, «неромантического», от всех трудностей такого характера.

Следуя лучшим традициям советских детских писателей, «Юность» не боится говорить со своим читателем обо всем, как с человеком взрослым.

Ничего запретного для детской литературы нет, ее объект — жизнь, такая, как она есть: романтическая и суровая, красивая и «некрасивая», — по этому принципу работал Гайдар. Один из самых романтических писателей, он не боялся раскрывать перед своими читателями и суровую, «некрасивую» сторону жизни. В «Судьбе барабанщика» хороший, в сущности, человек, отличный командир гражданской войны оказывается слабым, поддается влиянию любимой женщины, тратит государственные деньги.

Гайдара очень последовательно подправляли. В фильме по «Судьбе барабанщика», вышедшем несколько лет назад, герой уже, по сути, ни в чем не виноват, вина перекладывается на его жену, на обстоятельства.

В радиопостановке по «Голубой чашке» заботливая педагогическая рука до сих пор стыдливо выбрасывает замечательный эпизод о том, как глупый Санька, который, рассердившись на девчонку, крикнул ей: «Дура, жидовка!», был посрамлен своими товарищами.

Гайдар понимал, что подобные истории ребята слышат во дворах и на улицах, что в жизни им будут встречаться и плохие люди, очень похожие на хороших, и хорошие, всячески доказывающие, что они плохие, — значит, надо не уходить от таких тем, не избегать их, а, наоборот, обо всем говорить прямо и честно, чтобы ребята все сумели понять правильно.

И нужно быть только благодарными редколлегии «Юности», которая не боится сталкивать юность, рвущуюся в подвиг, с трудностями бытовыми и личными. Речь идет в первую очередь о повести В. Московкина «Как жизнь, Семен?» («Юность», № 7), автор которой тоже руководствовался принципом: «Хорошего много. Но что делаешь, если до сих пор плохое встречалось часто, не бегать же от него?»

К сожалению, бывает и так: умирает мать, жить становится очень трудно, семнадцатилетней девушке, чтобы сохранить семью и воспитать двух младших, приходится бросить техникум и идти на фабрику. Брату ее это совсем не нравится: он мужчина, он должен работать, но его даже никто не слушает — мал еще. Жизнь поворачивается какой-то совершенно незнакомой и неожиданной стороной: сестра устает с непривычки, раздражается, становится несправедливой, потом влюбляется почему-то в плохого человека. А тут еще у самого Семена начинаются неприятности: вор Пашка-Мухоед пытается запутать его в какие-то темные свои дела. В общем, что и говорить, не очень-то хорошо начинается у него жизнь...

Но, наверное, нет нужды пересказывать содержание повести. О ней уже писали, писали много и по-разному. Наиболее категорично о повести В. Московкина высказался Литератор («Литературная газета» от 23 сентября 1958 года). Но можно ли серьезно относиться к рецензии, автор которой с первых же строк обнаруживает полное незнание произведения, о котором пишет? «Обе повести рассказывают о судьбе юношей-десятиклассников, — сравнивает Литератор произведения А. Кузнецова и В. Московкина, — об их работе на стройке, на заводе». Между тем, если б довелось ему прочитать хотя бы первую главу повести Московкина, он узнал бы, что герою ее всего тринадцать лет и, как всякий тринадцатилетний мальчик, он не работает ни на стройке, ни на заводе, а просто учится в школе. Но стоит ли обращать внимание на мелочи? Зато утверждение это дало возможность Литератору обрушиться на повесть с гневной филиппикой: «Как жизнь, Семен?» — пессимистическое повествование о тоскующем в одиночестве подростке, который погряз в тине обывательщины, в атмосфере мелкого быта, изолирован от большой жизни страны». Бедный маленький Семен, погрязший «в тине обывательщины»!..

Судя по многочисленным цитатам, которыми изобилует рецензия Литератора, его вдохновила на выступление не столько повесть, сколько статья Н. Макаровой о ней, напечатанная в «Знамени» (№ 9, 1958). Что ж, обратимся к первоисточнику.

Надо сразу сказать, что за ошибки Литератора Н. Макарова не отвечает: она внимательно прочитала повесть. Но прочитала довольно своеобразно. Задачу В. Московкина критик увидел в том, чтобы ра-

зоблачить равнодушие во всех его формах, заговор равнодушных вокруг осиротевшей семьи Коротковых. Именно это всеобщее равнодушие якобы и подталкивает Семена к бандиту Пашке-Мухоеду. В повести В. Московкина критик видит чуть ли не сатиру, и это не может не удивить всякого, кто читал «Как жизнь, Семен?».

В. Московкин ни в какой мере не пытался «разоблачать, бичевать, концентрировать внимание читателя только на недостатках жизни», не ставил перед собой задачи изобразить сборище равнодушных. Все окружающие Семена люди — простые, хорошие, искренне заинтересованные семьей Коротковых, судьбой мальчика, каждый по-своему пытается помочь ему. Бабушка Анна по-стариковски ворчит, но возится с маленькой Таней, зовет к себе Семена делать уроки. Вспыльчивый и неуравновешенный мастер Алексей Иванович, изругав Семена «сопляком», тут же, как будто нехотя, говорит, чтобы сестра зашла к нему: он ее на работу устроит. А разве не разговоры с дядей Ваней, вызвавшие у Семена желание стать рабочим, чувство рабочей гордости, мешают ему примкнуть к шайке Пашки-Мухоеда? Разве не самоотверженное решение Веры бросить техникум и самой воспитывать детей вспоминается мальчику, когда на предложение Пашки-Мухоеда взять у сестры денег, он решительно отвечает: «Не будет этого!» Именно отношении окружающих к жизни и к нему, Семену, отталкивает его от Пашки-Мухоеда, помогает остаться на правильной дороге.

Что же помешало Н. Макаровой разглядеть героев произведения, увидеть, как заботятся и беспокоятся они о Семене? Думается, что критику не доставало в повести не «гуманизма действия и высокой цели», как она пишет, а красивых слов, эффектных жестов. А герои В. Московкина не любят высоких слов. И то, что делают, делают незаметно и просто, застенчиво пряча под грубостью и воркотней душевные порывы: это простые люди — иногда вспыльчивые или по-стариковски ворчливые, веселые и грустящие, счастливые и неустроенные, иногда немного смешные, иногда трогательные, но всегда совершенно естественные в каждом своем слове и поступке.

«Как жизнь, Семен?» — произведение, конечно, не совершенное и не лишенное недостатков. Автор нарушил естественную композицию повести, введя в нее письмо

Валерия Иванова — юноши, испугавшегося трудностей первых шагов самостоятельной жизни. По замыслу автора, обсуждение этого письма и помогает Семену найти свое призвание. Но по существу письмо это ничего не определило в развитии произведения. Не письмо Валерия привело Семена к правильному решению. Весь ход событий, сама атмосфера, уклад жизни рабочего поселка формируют сознание мальчика. Руки бабушки Анны, потрескавшиеся от причурки нитей, халат, оставшийся Вере еще от матери, разговоры дяди Вани о рабочей гордости, с его абсолютной уверенностью, что рабочий — главный в мире человек, — все это естественно толкает Семена к решению стать рабочим, «придумывать как рационализатор». Из-за искусственности приема с найденным письмом и конец повести получился торопливо скончанным.

Но действительные недостатки повести в статье Н. Макаровой задвинуты куда-то в угол, загромождены и заставлены мнимыми.

Не стоило бы так долго останавливаться на этой статье, если бы она была просто ошибочной. Но за упреками в следовании «разоблачительным тенденциям», в пессимизме, упреками несостоятельными, нетрудно разглядеть знакомый нам страх за свято оберегаемый светлый мир «для юношества», на который якобы посягнул В. Московкин, тенденцию к однокрасочному, однолинейному изображению жизненных явлений.

На мой взгляд, нет принципиально различного отношения к миру в повестях А. Кузнецова и В. Московкина. Произведения их, конечно, отличаются друг от друга, но это различие манеры. Сравнить их — это все равно, что сравнивать, скажем, «Молодую гвардию» А. Фадеева и «Спутников» В. Пановой, авторы которых утверждали идею о высоком патриотизме и мужестве советских людей совершенно разными путями.

Думается, что напрасно Литератор, противопоставляя повести А. Кузнецова и В. Московкина, упрекал редколлегию «Юности» в непоследовательности, шаткости позиций. Журнал с самого начала проводит очень последовательную линию: раскрывать перед человеком, которому предстоит выйти в большой мир, всю полноту жизни, самые разные стороны ее, не отрывая искусственно радостные ее страницы от трудных и печальных.

Характерно, что многие произведения, напечатанные в «Юности», сразу же вызвали отклик в критике. Они могли нравиться или не нравиться, но они задевали, не давали обойти поднятые в них вопросы общей фразой, заставляли высказаться определенно, и это само по себе хороший показатель.

Так, критика сразу же заметила на страницах журнала повесть А. Шарова «Ручей старого бобра». В рецензии А. Берзер на эту повесть («Новый мир», № 12) уже говорилось о поэтическом ее характере, об интересном образе главного героя, о художественной манере писателя. Собственно, к повести можно было бы не возвращаться. Но во всяком хорошем журнале есть своя система идей, система взглядов. Каждое произведение занимает в нем свое особое место, и мозаика произведений складывается в нечто целое. Повесть А. Шарова важна в этом отношении, поэтому хочется немного добавить к тому, что уже о ней писалось.

Бывают писатели одной темы. Пользуясь этой терминологией, можно сказать об А. Шарове: писатель «одного характера». Произведения его населены обычно самыми разными людьми: беспечными и веселыми, слабыми и сдержанно-замкнутыми, но авторская симпатия неизменно выхватывает среди них одного — человека настоящего, увлеченного какой-то идеей, характер глубокий и сильный. Чаще всего это мальчик, подросток тринадцати-четырнадцати лет. Есть такой герой и в повести «Ручей старого бобра», это тринадцатилетний мальчик Николай. Его пытливые, пристальное отношение к миру, желание самому разобраться в непонятных явлениях природы даже у взрослого человека, художника, вызывает недовольство собой, мысли о том, что «самое большое счастье на земле — это, может быть, иметь право сказать про себя, как автор «Скифов»: «Мне внятно все», — и самое большое несчастье — воспринимать окружающее «в общем и целом».

Автор чувствует ответственность за то, чтобы мальчик вырос, ничего не растеряв по дороге, чтобы ничто не помешало выкристаллизоваться этому своеобразному характеру. Как помочь вырасти человеку, какая атмосфера наиболее благоприятна для него — вот вопрос, который возникает перед А. Шаровым.

«Ручей старого бобра» — произведение полемичное. Писатель стремится со всей ясностью и точностью высказать свою точку зрения, дать ее крупным планом. Уже отменялось, что мысли о воспитании чересчур «торчат» в произведении, так как не облечены в плоть художественных образов: они живут в повести не самостоятельно, но все же особо. Конечно, это справедливо может вызвать нарекания, но, во всяком случае, мысли эти сами по себе интересны и принципиально важны.

По вопросу о воспитании мальчика в произведении сталкиваются не два человека, два педагога — Зайцев и Шиленкин, а две педагогические системы. Мы не видим Зайцева, не можем припомнить ни одной конкретной детали, помогающей воссоздать его облик, только слышим его голос. И это голос самого автора. «В детстве портят человека по преимуществу не атмосферой «вольницы», а насилием над нормальным развитием,— говорит Зайцев.— Надо дать человеку «выколоситься»; лишних зерен не бывает. И в будущем, когда детство кончится, не злоупотребляйте давлением. Не надо. Вот Антон Павлович Чехов говорил однажды: «Выпусти двух человек на сцену и наблюдай за ними — получится пьеса»,— что-то в таком роде. А выпусти их и повесь везде плакаты: «Того не делай», «На траве не валяйся», «Не рассуждай», «Соблюдай заповеди», грози им из-за каждого куста пальцем. Что получится?.. Я так думаю: два испуганных человека...»

Шиленкин в повести показан больше, и даже по беглому очерку в этом человеке легко узнать тип, шиленкиных. Система воспитания Шиленкина — это система воспитания окриком, система «не рассуждай». В своих подопечных он все время подозревает какие-то отклонения от идеала, вредные загибы и одержим страстью «выкорчевывать» их. На этот случай в его памяти услужливо приготовлена целая серия ярлычков и формулировок, должествующих заклеить «явление». Такой Шиленкин совершенно не переносит людей ищущих, воспринимающих мир не как свод кем-то раз и навсегда установленных положений и правил, потому что боится и не умеет понять таких людей.

Только в атмосфере добра, сердечности и разумной требовательности могут раскрыться лучшие черты в характере человека — утверждает А. Шаров своей повестью. Эта мысль писателя очень близка и дорога журналу, в любом номере за год

вы найдете несколько произведений, отстаивающих ее. Рассказ Л. Исаровой «Дневник», очерк А. Марголина «Поручение», «Самое дорогое на земле — человек» Н. Долининой, повесть А. Кузнецовой «Честное комсомольское» — целый ряд произведений, напечатанных в прошлом году в «Юности», последовательно проводит в жизнь эту мысль о воспитании доверием, дружеской верой в силу и чистоту помыслов молодежи.

Страстность А. Шарова и та определенная позиция, которую заняла «Юность» в разрешении проблем воспитания, имеют одни истоки: чувство ответственности за советского человека подрастающего поколения. Каким он должен быть, этот человек, каков его моральный облик? Авторы «Юности», молодые и взрослые, опытные и неопытные, в самой разной форме и по-разному стремились ответить на этот вопрос. Честным, естественным в своих словах и поступках, говорит В. Амлинский, автор рассказа «Станция первой любви», быть собой, а не казаться. И. Крупник в рассказе «Сержант» добавляет: внимательно к людям — жизнь сложна, люди сложны, не торопись с суждениями, присмотри к ним. Будь верен в дружбе и любви — в один голос требуют читатели, отвечая на письмо читателя Саши Александрова, отказавшегося от дружбы с девочкой из-за боязни насмешек.

Но лучше всего, пожалуй, этой юношеской жажде глубины чувств, серьезного отношения к жизни отвечает замечательная публикация писем А. Фадеева к другу своей юности А. Ф. Колесниковой («Юность», № 12).

Публикация открывается рисунком художника Ю. Цишевского, под рисунком строчка из письма: «Мы нашли какое-то местечко под скалами, укрытое от ветра». А ветер хозяйничает на рисунке: он рвет волосы юношей, относит и крутит подола девичьих платьев. И в этом отступлении от прямого значения слов несравненно больше правды, чем если бы художник попытался педантично следовать букве текста. Образ ветра, грозы проходит через все письма писателя. Первое письмо к А. Ф. Колесниковой начинается: «Бушует гроза, окна открыты, уже очень поздний вечер, и мне очень хорошо, как бывало хорошо в детстве и в юности, когда за окном так же ввалась в темноте молния и шел шумный весенний дождь». «...Сама история, революция с ее бушующим ветром и ревущими волна-

ми...» — читаем мы дальше. И в другом письме: «Чуть потеплело после северного циклона, моросит мелкий, мелкий весенний дождь, и чертовски пахнет тополями, черемухой...»

Ветер здесь — сама юность, бурная и тревожная, революция, определившая жизнь поколения, жизнь юноши. Весенние благодатные дожди — щедрость, неиссякаемость чувств настоящего человека. Больше всего трогает в письмах А. Фадеева эта юношеская верность сердца. Через всю жизнь пронесит он верную и беспокойную любовь к родным местам, благодарность и нежность к первой своей любви, от которой больше тридцати лет отделяют писателя, верность и силу дружбы. Уходя из юности, он ничего не оставляет в ней: трудности, радости, боль и расстояния, даже несостоявшаяся любовь — все оборачивается в этой душе богатством. Читая эти письма, понимаешь, что такое красивый человек и как это нелегко — быть настоящим человеком.

К сожалению, не всегда это понятие «красивый человек» раскрывается в журнале изнутри и с такой талантливой простотой. Авторы некоторых произведений, которые печатались в «Юности», порой подменяли подлинную душевную красоту чисто внешней красотью, от которой до пошлости один шаг. Рассказ С. Косарева «Белая ночь» («Юность», № 11) повествует о наших современниках, их любви. Но, странное дело, с первыми же строчками этого рассказа зазвучат в памяти забытые мотивы «жестоких» мещанских романсов.

И дело тут не в сюжете и даже не в героях, а в том, как автор пишет о них, какими словами рисует их читателю.

Любимая Сергея — Катя — выступает в художественной самодеятельности. Герою приходится подолгу ждать ее у подъездов, он сердится и ревнует. «Какое-то смутное, злое чувство росло у него в груди». Влюбленные ссорятся. Но случайно Сергей слышит выступление Кати на импровизированном студенческом концерте. «Никогда еще этот голос не звучал так легко и проникновенно, как сейчас», — восклицает автор. «Голос ее звучал задумчиво и нежно, увлекал в прекрасные, необозримые, только ей одной видимые дали. Потом поднялся, зазвенел, задержался где-то в необъятной высоте и тихо опустился, дрожа от недавнего напряжения». Катя запела вальс, «один из тех, что кружат людям голову». Потом героями овладевает

«хмельное очарование короткой летней ночи», и, примиренные, они идут навстречу восходящему солнцу.

Банальность рассказа особенно видна рядом с линогравюрами О. Кудряшова, своеобразными, передающими настроение ленинградских белых ночей, простыми и строгими. Художник не захотел разделить стремления молодого писателя во что бы то ни стало написать красиво. Он, должно быть, почувствовал, что красивость в рассказе — чужая, заемная, красивость бумажных роз и пустых коробок из-под духов.

Мещанский вкус живуч и хитер, иногда он оборачивается умиленным отношением к жизни, героям, как, например, в рассказе Майи Черкашиной «У зажженной елки» («Юность», № 1).

С первых же строк читатель окунется в атмосферу восхищения и еле сдерживаемых вздохов: Рите сшили первое шелковое платье! «Клеш поднимался вишневым венчиком вокруг тонкой фигурки, и темные глаза девушки сияли от удовольствия». Автор, не скрывая, любит и тонкой фигуркой своей героини и тем, как пробежала она через зал, не заметив «несомненных признаков успеха своего наряда: усиленно зашептались девочки, а мальчики слишком равнодушно отвернулись», впрочем, они тут же стали записываться в очередь на танцы с Ритой. Но Черкашиной этого успеха героини кажется мало: Рита совершает подвиг — ударяет по лицу подвыпившего хулигана. И тут уж на ее долю восторг выпадает полной мерой, Ритой любят все, взахлеб и громко: и Люся, и Лидочка, и герой со звучной фамилией Палев, и автор, конечно же, автор. Впрочем, Лидочкой автор тоже любит. Посмотрите только, как «возбужденная Лидочка тряхнула светлыми кудряшками».

В вихре вальса происходит встреча героини с героем, бросившимся на помощь девушке в трудную минуту:

«— Разрешите..»

Кто это? Кажется, она с ним уже танцевала, но как-то и не заметила ни подчеркнута подтянутости спортсмена, ни волнистых русых волос. Но почему он так смущен? Противные девочки, вечно уставятся.. И вдруг Рита поняла:

— Палев? — спросила она, когда они закружились у елки.

Он кивнул.

В это время зажглась елка и погас свет.

— Больше всего я люблю такой вальс! — воскликнула Рита.

Откуда это пришепывающее задушевное слово в современном молодежном журнале?

Как правило, об руку с банальностью идет примитивное, прямолинейное изображение людей и жизненных явлений. Эту тенденцию к прямолинейному, упрощенному подходу к героям легко проследить и в произведениях С. Косарева и М. Черкашиной, но еще более отчетливо она проявилась в рассказе В. Дягилева «Таня номер два» («Юность», № 6). Здесь прямолинейно все: способ изображения героев, противопоставление их, даже сама мысль назойливо прямолинейна. Две девочки, обе Тани, сидят на одной парте: высокая и красивая Таня Ракова и маленькая Таня, которую в классе зовут «Таней номер два». Девочку мучит ее рост. Правда, говорят: «Лучше быть маленьким, но умным, чем большим, да глупым». И Таня пытается защитить себя перед подругой: «И ничего я не маленькая, а такая же, как ты.— Таня Ракова подскочила к ней, встала рядом, примерилась: — Ну, видишь? — Ну и что? — сказала Таня.— Вот моя мама говорит, что о людях судят не по росту, а по делам да по уму». И автор тут же доказывает этот тезис, подкрепляя теоретическую посылку фактами: в соседней комнате начинается пожар, и в то время, как Таня большая убегает, маленькая Таня выносит из огня детей соседки. Кажется, авторский замысел предельно ясен, основной тезис развернут по всем правилам логики, подкреплен фактами и народной мудростью, но Дягилеву все кажется мало, и он еще раз, уже глазами класса, разоблачает большую и красивую Таню Ракову: в то время, как все кидаются к маленькой Тане, она стоит в стороне и кажется вдруг «такой маленькой, тусклой, некрасивой».

Писатель в этом рассказе поработал за двоих: за себя и читателя. Мысль в нем заколочена наглухо, как гвоздь, она пригвоздила образ, лишив его свободы и самостоятельности. Здесь нечего делать ни читательскому уму, ни читательскому воображению. Излишне рационалистический метод построения рассказа душит всякие чувства, даже чувство симпатии к героине, которое несомненно бы вызвала простая газетная заметка о подобном факте.

## 4

Чем же объяснить появление такого рода произведений на страницах «Юности»?

Самое простое объяснение: журнал взял курс на начинающих, поэтому-де и увели-

чилось количество несовершенных произведений. Действительно, в прошедшем году журнал по составу авторов стал активно молодежным. Почти в каждом номере печатались произведения под рубрикой «Стихи молодых», «Рассказы молодых». Но, думается, нет смысла ставить под сомнение одну из самых живых и оправданных традиций «Юности». Разные бывают начинающие. И. Крупник только недавно начал публиковаться в журналах, «Как жизнь, Семен?» — первое крупное произведение В. Московкина, а В. Ерашов, автор хорошего рассказа «Витка + Света = любовь», в «Юности» напечатался впервые. Наконец, седьмой номер журнала, целиком сделанный молодыми поэтами, художниками, прозаиками, — один из наиболее интересных в комплекте за год.

У журнала стал слишком добрый характер, ему часто не хватает требовательности. И опасность здесь даже не в откровенно банальных рассказах — число их не так уж велико, — а в том, что в журнале стало появляться довольно много стандартных произведений, написанных на «среднелитературном» уровне. Когда читаешь иные вещи, напечатанные в «Юности» за год, вспоминается случай, приведенный как-то В. Шкловским: к отцу Есенина приехала делегация и попросила рассказать о сыне. Старик в больших валенках прошелся по избе, сел и начал: «Была темная ночь. Дождь лил, как из ведра. Точно так же авторы некоторых рассказов стараются спрятать свой голос за книжной фразой, отказываются от собственных наблюдений ради подражания литературным образцам.

Вот рассказ С. Наумова «На гриве» («Юность», № 1). В степь к трактористам по комсомольской путевке приезжает девушка. Всеобщее удивление быстро сменяется всеобщим оживлением. Девушка заставляет трактористов мыться, чистить зубы и вообще ведет себя, как храбрая Мальвина с грязным деревянным человечком. Затем начинается веселье. И лишь один бригадир остается непреклонным: он не хочет мириться с появлением девушки. У бригадира сердитые глаза и резкое имя Дрон. Он-то и обижает Фросю, но он же оказывается и самым чутким, и девушка чувствует, что готова влюбиться в него. Судя по тому, что на предложение Фроси зашить рубашку Дрон отвечает неохотным «мужественным» согласием, читатель может быть спокоен за благополучную развязку.



Все здесь, вплоть до просьбы зашить рубашку, как увертюры к любви, взято напрокат из других произведений.

В рассказе множество имен: Дрон, Фрося, Жора, Илья, Иван, Василий — и ни одного лица, ни одной характерной, выразительной детали. А как общо и знакомо описана здесь работа: «Перекликаясь, дружно заработали моторы трактора и комбайна. Закрутилось мотовило, застрекотал нож, повалилась подрезанная пшеница».

В каждом радиокомитете есть пленка, именуемая «шумы». Нужен морской прибор, шумы заводские, работа в поле — пожалуйста, даже ездить куда не надо. Передачи меняются, а все тот же шум только накладывается на них. Описанная С. Наумовым работа и есть такой «литературный шум», который легко «накладывается» на любой текст для колорита.

И все-таки рассказ может обмануть некоторых читателей: здесь все неправда, и все очень похоже на правду. Ситуацию, подобную описанной в рассказе, мы находим, например, в документальных записках Ю. Буданцева, напечатанных в № 3 «Юности». Буданцев и еще несколько студентов филологического факультета в первый же год освоения целины уехали в Казахстан и окончили курсы механизаторов. И вот однажды в их уютное мужское жилье явилась с комсомольской путевкой девушка с филфака. «Это был удар. Самый трагический за все время,— пишет Ю. Буданцев.— Мы привыкли к трогательной заботе друг о друге, но все же чисто мужской, а рядом была девушка! Мы иногда не мылись и не чистили зубы, а теперь нас принялись допекать скрупулезной чистотой».

Но, рожденный жизнью, сюжет этот пошел кочевать из произведения в произведение, породил своих героев, даже интонацию рассказчика, заштамповался. И, взяв такой «ходячий» сюжет, С. Наумов ни в чем не сумел подновить его, не заселил эту обжитую другими квартиру новыми, им увиденными людьми.

Стоит только сравнить этот рассказ с произведением, автор которого умеет передать все увиденное им по-своему, как сразу же отчетливо проступает различие между ними.

Различие начинается хотя бы с того, что вы чувствуете: трудно пересказать сюжет, если даже он прост и незамысловат, как в рассказе Ильи Крупника «Сержант» («Юность», № 7). Трудно пересказать его потому, что он не исчерпывается внешним

ходом событий, «не вмещается» в ситуацию: в глубине его живут люди, характеры, в простоте происходящего чувствуют сложность жизни. Рассказ трудно расчленишь на «образы» и «линии», не поранишь общего.

По размеру он совсем небольшой, но автору все же удалось нарисовать портрет героини, некрасивой, лишенной обаяния женщины. На сером фоне морящегося дождя отчетливо вырисовывается ее сухая «фигура в лыжных штанах, заправленных в сапоги, и жесткие волосы, завитые мелким баранчиком». «Волосы ее были похожи на проволоку»,— еще раз подчеркивает автор. За эту сухую подтянутую фигуру, за резкость и неутомимость рабочие прозвали Татьяну «сержантом». Она и говорит скупко, коротко, никогда не улыбаясь, точно отдает приказания: «Чахов, давайте шурф», «Вы получите расчет, Чахов». А между тем погода отвратительная, работа тяжела и однообразна, и рабочий Федька, нагловатый, красивый парень, отказывается работать. Татьяна решает рассчитать его. Когда они по реке возвращаются в партию, Федька чуть было не погибает в водовороте, и Татьяна спасает его.

Вот, собственно, и все. Но там, где автор «стандартных построений» ставит точку, писатель только приступает к главному, ради чего написан рассказ.

И. Крупник умеет заглянуть в души своих героев, передать их чувства, тонкие и даже не всегда уловимые для самого человека оттенки настроения. Вот Федька, который час назад демонстративно раздевался при Татьяне, цедя сквозь зубы: «Такая интересная женщина...», после своего спасения неловко стянул мокрую куртку, зачем-то натянул ее опять, словно стыдясь. Нагловатый парень выходит из этого происшествия тихим и пристыженным: впервые увидел он в Татьяне не просто некрасивую бабу, а человека, может быть впервые так по-человечески пристыженно посмотрел на женщину. Но и для Татьяны событие это не проходит даром. Пережитый за Федьку страх, по-детски испуганные глаза этого бузотера открывают в ней неожиданно мягкие, женственные черты: «Пристанем к берегу,— тихо сказала Татьяна.— Надо бы всем обсохнуть. Да и, пожалуй... Пожалуй, мы отдохнем...— И, осторожно взмахнув шестом, она повернула плот». Движения ее стали спокойней, голос тише и мягче, в нем появилась добрая, задумчивая интонация: «тихо сказала», «осторожно

взмахнув...» — это та самая Татьяна, которая «вламывалась» в щазу.

Все рассказы И. Крупника коротки, немногословны, картинам он предпочитает эскиз, набросок. Выхватывая какую-то одну деталь, выразительную и неожиданную, писатель ярко освещает ее, и по ней заставляет читателя дорисовывать происходящее. Вот у спасенного Федьки на кончике уха висит клочок пены — и в этом клочке пены видишь всю бьющуюся, бунтующую реку, понимаешь, какой опасности избегает Федька. Этой конкретности, умения зримо показать читателям людей и события не хватает нам в рассказе С. Наумова.

Когда обращаешься к отделу поэзии, тоже приходится столкнуться с тем, что редакция зачастую руководствуется при отборе произведений видимостью литературного умения. Этот принцип открывает дорогу в журнал стихам несамостоятельным и неинтересным. В критике уже отмечалось, что, публикуя стихи М. Кузьминой («Юность», № 7), редакция могла бы проявить больше вкуса и требовательности и не печатать рядом со своеобразным стихотворением «Весна» несамостоятельное «Мальчишка некрасивый и упрямый...» Интересную подборку стихов в этом же номере открывает стихотворение Г. Саркисяна «Юные», в котором вяло и холодно зарифмованы самые общие понятия.

Входит навечно в сказанья и песни  
Мой друг и товарищ, мой юный ровесник,  
Быллинного века быллинный строитель,  
Целинных земель молодой покоритель,  
Школьник Москвы из десятого класса,  
Он ныне известный шахтер Донбасса...

Речь идет не о том, что печатать надо только абсолютно безгрешные и законченные произведения. Дело в другом — в том, что редакция не должна обманываться гладкостью, видимостью мастерства, которые никогда не заменяют своеобразия видения мира, поисков своего пути.

Вот, скажем, стихи В. Кострова. Они очень неровны. От наивного подражания Есенину («язычками зелеными разговаривают желуди с синей озимью деревень») поэт бросается в другую крайность: старается «придумать» образ, тогда получается вычурно, манерно («и снова вставали столбы на дыбы, вращая белками фарфоровых чашек», «березки — фасонницы»). Но в его стихах есть подлинно свое умение передать такую жадную радость бытия, когда хочется прожить сто жизней сразу, по-

чувствовать себя деревом, камнем, травой — принять в себя целый мир. «Вы подвиньтесь, березки, я с вами до утра по-расту...» — просит поэт. Он может увидеть и почувствовать, «как влюбляются сливы по самые завязи в этот мир, молодой и счастливый». И из этой сумятицы поисков, как первый результат их, родилось тихое стихотворение «Первый снег». Оно написано в задумчивой, спокойной интонации, радуется свежестью найденного слова.

Над землей кружится первый снег,  
На землю ложится первый снег.  
Пишут все, печатают не всех,  
Иногда печатают не тех.  
Пишут про зеленые глаза  
Или про дорожные волнения,  
Образы стоят, как образа,  
По углам в таких стихотвореньях.  
Только есть стихи, как первый снег,  
Чистые,  
Как белый первый снег,  
Есть они у этих и у тех,  
Ненаписанные есть у всех!

Желание редакции познакомить читателей со стихами В. Кострова вполне понятно. При всей их неровности, даже в самой этой неровности чувствуются поиски, желание автора найти свою точку видения, выработать свой почерк. Хотелось бы почаще встречаться на страницах журнала с ищущими поэтами и писателями.

Когда пишут рецензии на произведения начинающих, всегда вольно или невольно кончают советом учиться у мастеров литературы. Так и тянет скользнуть на эту протоптанную критикой тропинку, да «Юность», к сожалению, не всегда дает для этого материал.

В журнале публиковались поэмы, стихи литераторов старшего и среднего поколения: А. Безыменского, Я. Смелякова, Л. Мартынова, Н. Рыленкова. Да и проза в «Юности» не была представлена одними начинающими. Но, к сожалению, далеко не все произведения опытных писателей, напечатанные здесь, могут служить истинной школой вкуса.

Агния Кузнецова — автор уже нескольких книг. Все они написаны о ребятах и для ребят. Повесть ее «Честное комсомольское», напечатанная в «Юности» (№ 10), поднимает важные вопросы воспитания, взаимоотношения между учениками и учителями, согрета гуманным чувством. Но интересный и значительный замысел повести очень пострадал от безвкусицы, штампов, прямолинейного решения ряда вопросов.

Многие герои — главным образом второстепенные — раскрыты только внешне, че-

рез систему «особых примет». Так, про Ваню Каменщикова вы узнаете, что он во время автомобильной катастрофы «при падении встал на голову и остался цел и невредим». Митя Звонков запомнится читателю тем, что, «когда Митяю исполнился год, он вдруг стал расти не по дням, а по часам. В 16 лет рост его доходил до одного метра 98 см, а вес — 90 кг. Здоровья он был необыкновенного, силы невероятной. Врачи из города приезжали смотреть на него». Причем эти абсолютно случайные сведения просто «приложены» к тому или иному лицу, они ничего не определяют ни в развитии сюжета, ни по существу в характере героев: силе Митяя в повести так и не дано проявиться.

Исключение составляют бабка Саламатиха и ее внук Миша; неистощимые на выдумки, по-детски озорные, трогательно понимающие друг друга, это самые интересные, самые живые герои произведения.

Если при описании второстепенных героев А. Кузнецова пользовалась необычными приметам, то характеры главных персонажей, наоборот, чрезвычайно общи, заранее знакомы нам по целому ряду других книг. Во многом это впечатление объясняется тем, что писательница часто пользуется приемами, ситуациями, давно уже ставшими стандартными. Кто не знает киноштампа, который, правда, в последние годы все реже появляется в кинокартинах: герой задумался, и текут главы — воспоминания его жизни. А. Кузнецова и этот прием использует в своем произведении, перенося в него даже заученную фальшь актерских жестов. «Александр Александрович опустил на руки голову со светлыми седеющими волосами и задумался...» — так кончается первая глава повести. Вторая глава рассказывает о юношеской любви старого учителя и завершается словами: «Он по-прежнему сидел за столом, уронив на руки седеющую голову».

Стиль повести все время возвращает нас к мысли о вкусе: «чарующие места», «ее властные маленькие руки, покоряющие... большой инструмент», «по пригости своей из всей школы только Саша Листкова была под стать красавцу Саше» — подобные выражения не редкость в произведении А. Кузнецовой.

Трудно удержаться от разговора о вкусе, когда открываешь отдел сатиры и юмора.

Острое перо сатирика С. Васильева хорошо известно. Очевидно, только этим «ореолом известности» и можно объяснить,

что в журнале напечатали такое его стихотворение, как «Чадо во хмелю». Нельзя не привести его полностью.

Он под крылом у папы с мамой  
подрос, как суций свин в хлеву.  
Он очень юн и, скажем прямо,  
еще сопляк по существу.  
Но он уже не пьет, а хлещет  
и спирт,

и водку,

и коньяк.

И прет родительские вещи  
на барахолку, как маньяк.  
Ему бы только «полтораста»,  
а лучше «двести» с холодцом.  
Уж тут он может постараться,  
чтоб оказаться «молодцом».  
Так велика к спиртному жажда,  
так его чадо заражен,  
что он «на промысел» однажды  
во тьме отправится с ножом.  
Зараза, он и есть зараза:  
из-за угла пырнет молчком.

Смотри,

товарищ,

в оба глаза

за этим пьяным сопляком.

От винных «действий» сопляка  
до преступления — два шага!

Поэт настолько «вжился» в образ, что стал мыслить категориями своего персонажа, изъясняться его языком. Иначе трудно объяснить появление в стихотворении колоритнейшего оборота: «зараза, он и есть зараза» или полублатного лексикона, которым то и дело шеголяет поэт: «пырнет» и т. д. Сочное слово «сопляк» особенно полюбили С. Васильеву: он употребляет его трижды и в самых различных сочетаниях. Сама критика здесь ведется с позиций героя.

Отдел сатиры и юмора вообще нельзя отнести пока к большим удачам журнала. Если рисунки в нем иногда и радуют выдумкой, то подписи к ним, стихотворные фельетоны и басни не отличаются свежестью, пресны и прямолинейны. Авторы всегда считают своим долгом разъяснить, что же они хотели выразить, — так сказать, курсивом набрать идею стихотворения:

За что же, в общем, ратует  
Мой скромный фельетон?  
За уваженье к гражданам  
И за хороший тон.

(В. Лифшиц)

В общем, как в известной студенческой песенке:

Тростей, зонтов и чемоданов  
Ты на ступеньки не клади,  
Не облокачивайся на перила,  
Стои справа, слева проходи.

К сожалению, большинство юмористических произведений представляет собой не что иное, как зарифмованный свод правил поведения в школе, институте, на улице.

Можно назвать еще несколько неудачных произведений, можно перечислить еще ряд погрешностей и недостатков в работе «Юности», но это не объяснит нам главного: почему же «Юность» стала любимым журналом не только молодых, но и взрослых читателей, почему на него почти невозможно подписаться?

Задайте этот вопрос читателю, он ответит просто: «Да потому, что его читать интересно». Из чего же складывается это понятие «интересно»?

Современность. «Юность» — журнал современный в лучшем смысле этого слова. Время не только оставляет на его страницах конкретные приметы и даты. Журнал отвечает своим читателям на те вопросы, которые ставит перед ними жизнь. Характерно, что так заметно вырос в «Юности» отдел очерка — жанра, ближе и непосредственнее всего отражающего сегодняшний день. Очерк представлен здесь в таком многообразии, что ему нужно посвящать отдельную статью: очерк характеров («Золото» Л. Кабо), путевые заметки («Пески и люди» И. Бару. «Рассказ о четырнадцати фотографиях» А. Аджубея), научно-популярный очерк («Каспий сегодня и завтра» Г. Блока, «Звездная спичка» Г. Анфилова), очерк проблемный, очерки о профессиях и т. д. А ведь еще год назад отдел очерка занимал в журнале самое скромное место.

«Юность» очень разносторонний и многоплановый журнал. Здесь вы найдете и приключенческую повесть и детективный роман, причем из лучших в этом жанре, как, скажем, произведения А. Адамова, сказки и стихи для младших братишек и сестренки и рассказы о новейших достижениях в науке и технике. Спорт, медицина, шахматы, филателия — кажется, нет такой области человеческих знаний, которая как-то не нашлась бы отражения в журнале.

И, наконец, главное, чем привлекает «Юность», что отличает ее от других журналов, что делает этот журнал молодежным

по духу, — выдумка, живая, остроумная выдумка. Она стала действительно хозяйкой журнала. Она глянет на вас с обложки, всякий раз интересно оформленной, обновляющейся каждый месяц, которая как бы задорно утверждает: «Юность — это поиски». Она пройдет с вами по всем отделам. Чувствуется, что для редакции не существует мелочей, не существует деления на главное и второстепенное. Часто говорят, что в таком-то журнале интересный критический отдел, в таком-то — публицистика. В «Юности» есть соразмерность, заставляющая воспринимать ее в целом. Редакция все время ищет новые формы подачи материала, стремится по-новому повернуть темы, о которых, кажется, столько уже написано. Письма отца К. Маркса, рисунки Н. Крупской как-то по-иному, очень близко рисуют нам портреты этих людей. Страничка из биографии А. Гайдара, письма А. Фадеева, ранние стихи И. Бунина — целый ряд интереснейших публикаций печатала «Юность» в прошедшем году.

Самое активное участие в ней принимает читатель. Журнал не хочет предлагать по всем вопросам готовые решения, он предоставляет возможность поспорить, обсудить наиболее важные проблемы. На страницах «Юности» проводятся целые письмодискуссии, устраиваются письмообсуждения.

«Письма, письма, письма... Ими завалено все вокруг меня, — начинает Н. Долинина статью «Самое дорогое на земле — человек». — Пишут старые и молодые, русские и узбеки, пожилой украинец и молодой грузин... Общими усилиями подсчитываем: сегодня здесь около трехсот писем, — а сколько их я уже прочла раньше!» Такого почтового ящика, как у «Юности», нет, пожалуй, ни у одного другого журнала. С чем только не обращаются к нему читатели: советуются, какую профессию выбрать, рассказывают о дружбе и любви, делятся впечатлениями об увиденном, — говорят о самом важном, о чем даже другу не всегда расскажешь. Доверие, которое сумела вызвать к себе «Юность» у огромной массы читателей, есть, наверное, самое большое признание и радость. И доверие это заставляет особенно требовательно относиться к журналу.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Г. Цурикова.** Пристрастная исповедь.— **В. Огнев.** В поисках красоты.— **А. Лацис.** Дело, которого нет.— **В. Воробьев.** Книга о мастерстве Г. Успенского.— **Л. Копелев.** Утопия долларопоклонников,

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Кузнецова.** Жить вместе с Россией.— **Н. Болотников.** Записки норвежского друга.— Кандидат исторических наук подполковник **А. Ефремов.** Кулак повисает в воздухе...

## Литература и искусство

### Пристрастная исповедь

**Д**евушке, особенно если она полюбила, естественно хотеть быть красивой. И радоваться своей красоте тоже естественно, было бы чувство меры, то знаменитое артистическое «чуть-чуть», отделяющее искусство от пошлости,— жесткая грань, существующая в жизни, как и на сцене.

«Я уже говорила вначале: рост сто шестьдесят четыре, вес шестьдесят два, блондинка. Но это шутя...

А на самом деле — уж не хотела об этом рассказывать — я очень похожа на маму. Всем... Глаза у меня тоже яркие и синие. Другим надо подкрашивать ресницы и брови, а у меня они сами темные, длинные, густые, почти совсем как у дорогих кукол. А брови какие-то необычные, честное слово. И... красивые. Они, знаете, прямые почти, но не горизонтально расположенные, а с боков — выше. Лоб у меня высокий, цилиндрический, мужской. И — волосы, говорят, мамины — мягкие, волнистые, пышные. Любую прическу делай — все равно хорошо получается! И нос — тоже мамин, чуточку с горбинкой... Вот рот у меня немного маловат и уж очень детский. Если говорить откровенно, даже немного бантиком... Но улыбается мой рот

хорошо, на щеках в это время образуются бугорки... Фигура у меня стройная, тоже как у мамы, но более ширококостная, что ли. Это у меня уже отцовское, он ведь огромный... Ноги тоже стройные. Я раньше думала, что мама нарочно так красиво ходит, и как-то заметила, что сама так же ставлю ноги при ходьбе, но не нарочно... Я всегда хорошо одевалась, что называется, следила за собой. Это у меня вошло уже в привычку».

Перед вами, так сказать, автопортрет вчерашней школьницы Инги Пироговой, немало странный и, как бы помягче сказать, не очень приятный. Откуда у семнадцатилетней девчонки эта обстоятельная самовлюбленность? Не погрешил ли автор против истины и чувства меры, приписав своей героине такое удручающее отсутствие элементарного чувства юмора, который один мог бы сгладить назойливое впечатление беззастенчивой саморекламы, оставляемое не только этой портретной зарисовкой во весь рост, но и некоторыми другими деталями повествования Инги о себе самой.

Автору повести «Иду в жизнь», молодому писателю Н. Дементьеву, хотелось изобразить человека трудной судьбы, с характером, сложившимся под воздействием различных, порою противоположных, влияний, показать путь моральных исканий, прой-

денный его героиней, изуродованной ложным воспитанием, но внутренне честной.

Такова была задача, таков замысел.

Но, как известно, никакой замысел не может предрешить успеха или неуспеха произведения. Посмотрим же, как воплотился этот замысел в художественную ткань вещи, послушаем, как сама Инга рассказывает о себе и о своей противоречивости, которую она отлично осознает: «За одну руку меня тянет хорошее, за другую — плохое,— говорит она.— И я качаюсь: то туда, то сюда. И сама то понимаю, что происходит, а то и нет...»

Хорошему учит девочку школа и домработница бабушка Агафья. Плохому — нездоровая, мешанская семья и в первую очередь мать. И все же, замечает Инга, «в душе я была, видимо, все-таки человек не плохой, только очень податливый, как глина, что хочешь, то из меня и лепи. И горячий — в отца. А в чрезвычайные моменты... до крайности прямой. Заведуся, и уж если рубану — так рубану!..»

Заведет мама, воспитывающая из дочки «особенную», «оригинальную» Иночку, которая одевается наряднее всех в классе, — и девочка на обидное прозвище «манекенша» кричит Вовке Исаеву:

— А тебе завидно!.. Ты — бедный!

Станет стыдно от собственной дурацкой выходки — «заведется» в другую сторону и уже дома кричит на свою же маму:

— Мне жаль, что у меня такая мать... Потому что ты совсем не умеешь себя вести. И вообще я хочу дружить с Вовкой Исаевым, с Леной Жуковой, со Светкой Синовой. А у меня с ними не получается из-за тебя: учишь меня не тому, чему надо!

Как видим, «критический» склад ума проявился у Инги буквально с детства. «Мне всегда была по-настоящему противна любая несправедливость, любой обман,— уверяет она.— Меня искренне любили в школе за эту прямоту». И правда, однажды она сломала в зале фикус и сама же в этом призналась, ее даже похвалили за это на комсомольском собрании. Но стоило как-то Вовке Исаеву заговорить о том, что у нас-де государство трудящихся и поэтому все должны честно трудиться и любить труд, как в сознании справедливой Инги завелась невидимая пружинка, связывающая ее с семейным воспитанием, и она опять «сорвалась», задохнулась от гнева.

— Нет, ты подожди!.. Ты на что намекаешь? Нет, ты скажи! Опять мамой мне глаза колешь? Да?

«И — я ударила его,— признается Инга.— Вот до какого состояния распушенности дошла тогда!»

Инга искренне убеждена, что во всех ее недобрых поступках виновата мама, ее неправильное воспитание. Она так и говорит о своих недостатках — «мамины пережитки» — и не стесняется их разоблачать. Иногда ее безжалостная самокритичность несколько напоминает «сознательного» короля из «Обыкновенного чуда» Е. Шварца. По натуре этот король добряк, умница и кошек любит, а вдруг такого натворит, что хоть плачь. И все из-за плохой наследственности. «Представляете удовольствие? Сделаешь гадость — все ворчат, и никто не хочет понять, что это тетья виновата».

Мама — «страшная женщина», воплощение злой воли, недобрый гений семьи — кулацкая дочка. Она погубила отца, принудив его злоупотреблять своим положением завмага, скажем попросту — воровать. Она разрушила счастье семьи.

Во время войны родители Инги спекулировали продуктами в блокадном Ленинграде, наживали «часики» и роэли.

Маленькая Инга могла не понимать и даже не видеть того, что происходит в семье; но ведь взрослая и неглупая Инга всерьез думает, что отец, добрый по натуре человек, стал расхитителем из любви к матери, чуть ли не по оплошке. Инга, ненавидящая ложь и несправедливость (если верить ее собственным словам), убедившись, что отец и сейчас устраивает грязные махинации у себя в магазине, вдруг наивно заявляет: «Я ведь ничего не знала определенно, наверняка, ведь все было замаскировано и от меня и от бабушки Агафьи».

Автору повести хочется убедить читателя, что Инга не такая, как ее мать, что в атмосфере насквозь прогнившей, отравленной ложью мешанской семьи она сохранила живую душу, осталась честным, прямым человеком и наконец восстала против несправедливой жизни в собственном доме. Но так ли это? Вытекает ли все это из поступков героини, о которых мы узнаем? Или только из ее автохарактеристик, в которых, как мы уже убедились, нет недостатка?

Возмущаясь барскими привычками родных, которые заставляют бабушку Агафью прислуживать им за обедом, Инга как будто забывает красноречивый эпизод, когда она сама в ответ на отказ тотчас же принести к ней в комнату бутылку вина кричала в лицо своей любимой нянюшке, не стесняясь друзей:

— Ну?! Слышала? Ты еще, кажется, домработница! Или надоело служить у нас?..

Инге и автору вместе с нею кажется, как видно, что и в этом диком поведении взрослой советской девушки виновата мама, ее неправильное воспитание, а по натуре Инга добрая, умная, только горячая не в меру. Но согласится ли с ними читатель? Будет ли он так же умиляться по поводу переживаний Инги в связи с ее же собственной выдумкой — пить по утрам какао в постели («шикарный обычай французских королей»)?

Бабушка Агафья приносила им с мамой специальные подносики с конфетами, печеньем, яблоками, а потом, не дождавись, пока они «соизволят подняться» — может быть, только к обеду, — начинала прибираться в комнате, вытирала пыль под кроватью.

Из-под кровати торчала худая бабушкина нога в стареньком простеньком чулке, в туфле с проносившейся подошвой (обратите внимание на эту чувствительную деталь!) — Инга в смущении приподнималась на локтях: ей казалось, что они с мамой обе лежат на бабушке Агафье, насмерть придавили ее. Вероятно, этим наивным движением она хотела помочь старушке, которая с детства была самым близким для нее человеком... Очень трогательно, не правда ли?

И после всего этого, нет, не по времени после — это случилось тогда же, — Инга делает суровое и принципиальное замечание родителям, для которых бабушка Агафья как прислуга. И тут же восхищается своей смелостью, видя во всем этом даже не очередную ссору, но бунт, расшатывание семейных устоев, подрыв родительского авторитета, начало «холодной войны» с матерью.

По замыслу автора, читатель должен сочувствовать Инге в этой «войне», которая обрекла ее на немалые жертвы: раздосадованная мать перестала выдавать взрослой дочери карманные деньги, рассчитывая таким образом поставить ее на место: дескать, зачем тебе деньги, кормим, кажется, одеваем! «А на чулки, на духи, на кино?» — поясняет читателю Инга. Ее потрясает ехидство матери она ненавидит ее «безжалостные глаза», ощущая с небывалой остротой «эту особую, самодурную косность, так и излучаемую всем ее существом». Мысль о том, что она могла бы сама зарабатывать деньги, Инге в голову не приходит. К семнадцати-восемнадцати годам она «привыкла» следить за собой, «привыкла» хорошо одеваться и причисляться в парикмахерской, но не привыкла задавать себе вопрос.

на чьи средства все это делается. Об этом никогда не задумывалась взрослая девушка с законченным средним образованием, презиращая своих родителей, нечестными средствами обеспечивающих себе красивую жизнь. И автор не видит ничего противоестественного в этом. Все ссылки своей героини на скверное мамино воспитание он охотно принимает за чистую монету.

А Инга даже впадает в отчаяние и готова выпрыгнуть в раскрытое окно. Ей становится совсем плохо жить, так плохо, что она решает наконец навестить Вовку Исаева, знающего секрет «правильной жизни».

Вовка Исаев делает для нее то, чего не могли сделать даже самые близкие люди, не исключая бабушки Агафьи: сначала он посылает ее на кухню чистить картошку, а потом приказывает прийти завтра на завод.

И тогда Инга прозрела.

«Мне вдруг захотелось встать и произнести клятву, — признается она, — именно клятву, в том, что теперь все у меня в жизни будет по-другому. Что я поняла сейчас самое необходимое мне в жизни. То есть, — рассудительно поясняет Инга, — теоретически все то, о чем я сейчас говорю, я знала и раньше, еще в школе. И понимала, что все это хорошо и очень правильно. Но когда почувствуешь на своей шкуре...»

А если проще сказать, Инга отлично знала, что хорошо и правильно для других: и про то, что настоящая честность — на каждый день, а не только для подвига, и про пользу трудового воспитания, и о многом другом, — но не для себя. Ей всегда казалось естественным, что люди встают в очередь за билетами в кино, однако, если ей приходилось самой становиться, это выглядело случайным и нелепым недоразумением, как будто ее заставили вдруг платить за такси из своего, даже не из мамино, кармана!

И вот Инга решила всем назло встать в «общую очередь» — поступила на завод. «Вам же будет стыдно, голубчики, — думала она при этом о своих глубоко неуважаемых родителях. — Буду ходить по улицам грязная. Даже рваная. И все будут говорить: «Неужели это дочь Пироговых? Ну и родители».

Надо ли напоминать, что Инге не пять и даже не десять лет, что она не глупа и считает себя — с благословения автора — в сущности неплохим человеком?

И вдруг — такое инфантильное барство!

Н. Дементьеву кажется, что труд и новые друзья преобразуют Ингу, пробуждают в

ней хорошие чувства, прививают ей новые качества, благодаря чему она становится достойным членом нашего общества. Но разве так просто происходит перерождение человека? Если верить автору, Инга буквально с первого дня работы на заводе (и даже раньше, когда она еще только едет туда впервые, в набитом до отказа трамвае) проникается чувством рабочей солидарности. Так могло случиться с другим человеком, но откуда взяться этому благородному чувству у капризной, избалованной белоручки, которая неспособна была доселе понять даже законов элементарного школьного товарищества? Вспомним хотя бы ее дикий каприз, когда она из-за нелепой обиды сорвала спектакль, ни капли не посчитавшись с друзьями. Ей, судя по описанному в повести поступку, еще не знакомо простое уважение к человеку, не говоря уж о чувствах более сложных, таких, как трудовое товарищество, рабочая гордость.

На заводе Инга испытывает главным образом умиление — ощущение примитивное и эгоистическое: умиление по поводу собственного «героического» поведения и оттого, что простые люди обращают на нее столько самого доброжелательного внимания и сочувствия, даже в связи с возникшей у нее внезапно любовью к бригадиру Григорию Иванову, который, по ее словам, «совсем обыкновенный рабочий. Ну каких тысячи... Знаете, эти простые рабочие русские лица...»

А поэзия труда? Увлечение работой? Рабочая гордость, наконец, которую приписывает Инге автор? Есть ли все это реально в повести?

Истории перевоспитания Инги Пироговой посвящена большая часть произведения, рассказывающая о жизни заводского коллектива, о тяжелой, главное — непривычной для Инги работе, которая кажется ей подчас просто непосильной, и, наконец, о новых ее друзьях, помогающих ей преодолеть эти трудности, найти себя в большом, настоящем деле.

К сожалению, именно эта часть повести наименее интересна. При всем обилии и многообразии приводимых автором эпизодов, она не оставляет сколько-нибудь цельного и законченного впечатления из-за художественной невыразительности и чрезвычайной беглости описаний, за которыми не возникает ни характеров людей, ни своеобразия обстоятельств.

Н. Дементьев многократно излагает различные трудовые операции, будто бы уви-

денные глазами девушки. Но приглядимся к ним:

«Есть такая операция: сборка муфты сцепления. Вместе с валом вращается диск. А когда нужно, к нему прижимается металлическая лента, охватывающая его. Изнутри к ней для увеличения коэффициента трения прикреплен ленте ферродо. А уже с этой металлической лентой соединен один из барабанов лебедки. Так и передается движение: от диска — ленте и затем барабану...»

Для чего понадобилось автору это подробное описание? Вероятно, чтобы показать то новое, что узнала Инга на заводе.

«Или другое. На заводе долгое время велась борьба за упорядочение планирования, организации работы. Необходимость этого я чувствовала: в начале месяца часто не было работы, в конце — спешка и аврал. И мы все облегченно вздохнули, когда и эта задача была заводом решена.»

Это все. В следующем абзаце речь пойдет уже о другом. К вопросам планирования и организации труда никто из героев повести больше не вернется. Автор просто-напросто рассказал о том, что «волновало» Ингу. Это ли стиль Инги Пироговой? Нет, когда речь заходит о близких и действительно волнующих ее вещах, Инга умеет быть проникновенной. Как-то один из членов бригады, эдакий разбитной парень, грубовато взял ее под руку и без церемоний спросил о ближайших планах на вечер — тут героиня в своей стихии: «Знаете, мужчины очень по-разному берут под руку. Но когда вашу руку так это намекающе и медленножимают у самого плеча...» Появляются тонкости и оттенки.

Косноязычие, суконная серость языка встречаются в повести сравнительно редко и почти исключительно в описании производственных процессов. Именно здесь возникает безликий и безобразный стиль, не Ингин — ничей. Стоит сравнить страницы из второй части повести с описанием аналогичных сборочных операций в предыдущей повести Н. Дементьева, «Мои дороги», чтобы заметить, что девочка, вчерашняя школьница, впервые попавшая на завод, и молодой инженер, герой первой повести, смотрят одними и теми же глазами и впечатления у них совершенно похожие. А ведь в целом повесть «Иду в жизнь» написана бойко, легко, в ней чувствуется умелая «простота», создающая ощущение интимности и непосредственности повествования. Доверив рассказ своей героине, Н. Дементьев довольно



верно передает манеру «откровенной» исповеди (правда, за легкостью и непосредственностью письма часто не чувствуется подлинной глубины). Героиня рассказывает о себе правдоподобно и увлеченно, но писатель не хочет взглянуть на нее со стороны и поэтому часто не замечает, что акценты расставляются неправильно, что возникают непредвиденные искажения не только в изображении характеров, но и в самом идейном замысле произведения. Их невозможно исправить с помощью одних только авторских деклараций.

Н. Дементьев хотел написать о том, как воспитывается в человеке труженик. О том, что мнимые «исключительность» и «оригинальность» семейства Пироговых столь же фальшивы, как и его воображаемая «интеллигентность», — иное дело простая рабочая семья Ивановых, образец моральной чистоты и интеллектуальной щедрости.

Но, прославив Григория Иванова как «совсем обыкновенного рабочего», писатель тут же уточняет, что он не такой уж обыкновенный: Иванов — без пяти минут инженер, парторг цеха и автор нескольких книжек о распространении передового опыта. В устроенном ему устном зачете Н. Дементьев демонстрирует чрезвычайные, энциклопедические знания своего героя. О товарищах Григория этого не скажешь.

И планы самой Инги: поработать немного — и в институт; глядишь, через несколько лет быть ей начальником цеха! Так обещают ей, с благословения автора, новые друзья на заводе. А почему? Есть ли у нее хоть какие-нибудь задатки будущего инженера? У Вовки Исаева, упорного, всегда погруженного в какие-то сложные технические расчеты, — сколько угодно! Из него, без сомнения, выйдет со временем хороший инженер. Но почему же для Инги завод — всего только временная, трудно преодолимая полоса препятствий на пути в жизнь? Если судить по повести, завод воспитывает в ней не столько любовь к производительному труду, сколько уверенность, что в жизнь идут разными путями: этим тоже можно пробиться. Возникает вопрос: куда?

Мы не будем утверждать, что в жизни, мол, так не бывает. Бывает и так, и таких, как Инга, нетрудно встретить в наше время. Только стоит ли восхищаться ими, как это делает Н. Дементьев, не замечающий подлинной сущности своей героини?

Не исключено, конечно, что Инга может еще измениться, найти свое истинное призвание в жизни. Но это уже за пределами

повести. Стремительный конец ее, когда героиня, восхитившись предварительно собственной смелостью (в девятнадцать лет ушла из родного дома! — не в заводское общежитие, тем более не куда-нибудь там на целину, — в дом к своему будущему супругу), отбрасывает чемодан с вещами и захватывает с собой бабушку Агафью, — этот конец рисует нам все ту же самоуверенную и несколько сумасбродную Ингу Пирогову...

Обратившись к другим персонажам повести, заметим, что наиболее удачной, хлесткой, хотя, может быть, и не слишком глубокой характеристикой наделена мать Инги. В ней точно и резко подмечены внешние, но весьма убедительные черты определенного женского типа. Однако самая история падения семьи Пироговых изрядно мелодраматична. Трудно не вспомнить при этом судьбу Борташевича из «Времен года» В. Пановой, где то же самое «падение» показано не только глубже, крупнее, но и с большей остротой социального обобщения. Пирогов и по характеру и в чисто художественном отношении гораздо незначительнее, мельче. Кроме того, в обрисовке его как типа заметно отсутствует объективность морального критерия. Не в том дело, что он должен быть только хорошим или только плохим, но в том, что отношение к нему со стороны автора и читателей не может и не должно полностью совпадать с очень субъективными, к тому же расплывчатыми ощущениями Инги. Тяготение Пирогова к честным людям психологически слабо мотивировано, а его болезненная любовь к жестокой и бездушной супруге написана и вовсе приблизительно. Право же, трудно поверить, что перед нами невольная, слабая жертва хищницы-жены: похоже на дешевую мелодраму, лишенную какой бы то ни было социально-психологической основы.

О многочисленных второстепенных героях повести не хочется говорить — они часто играют служебную роль, обрисованы бегло, поверхностно, без проникновения в психологическую сущность характера. Схематично намечены приятели Инги — Юрий Топин, Людочка Петина, Павлик Дробовицкий, просто названы по именам Светка Синова, Лена Жукова...

Итак, повесть во многом сырая, слабая, лишенная четкости идейно-композиционного построения. Остается поставить один, может быть главный, вопрос: почему произведение, столь явно несовершенное, вызвало безусловный и довольно широкий читательский

интерес? А повесть Н. Дементьева, несомненно, обратила на себя внимание и даже вызвала ряд положительных отзывов. Она заинтересовывает читателя, особенно в первой своей половине. И это не случайно.

Повесть актуальна, она затрагивает интересующие всех вопросы воспитания молодежи и перестройки школы. Основная проблема повести, ее центральный конфликт, касается сферы, долгое время бывшей в пренебрежении у нашей литературы, а именно — области так называемой «частной жизни» советского человека.

В повести Н. Дементьева личная судьба героини, противоречия и трудности ее индивидуального жизненного пути, взятого в социальном плане, поставлена в центре вни-

мания. Социальная повесть о личной судьбе человека — это очень важно сегодня. Это не может не привлекать советского читателя. Как это ни странно, о социалистическом поведении человека в быту мы знаем из литературы меньше, чем даже о проклятых пережитках капитализма...

У автора есть желание решать насущные и актуальные проблемы современности. Ему не хватает ясности позиции, глубины и точности в трактовке сложных жизненных явлений. Очень не хватает литературного опыта и мастерства. Это и привело к очевидному разладу между тем, что автор хотел сказать, и тем, что у него получилось.

Г. ЦУРИКОВА.

★

## В поисках красоты

Тому, кто еще не читал стихов из последней книги Евгения Виокурова, название ее — «Признанья» — может быть, покажется претенциозным и старомодным. Но, познакомившись с книгой, начинаешь понимать, почему название это как нельзя более точно подходит к ней.

Поэту надо было многое пережить и перечувствовать, чтобы от угловатой сдержанности первой своей книги — «Стихи о долге» (1951) — перейти к «Синева» (1956). В этом сборнике юноша-фронтовик словно медленно отходил от прямых, властных тем святой и тяжелой войны, которая, разумеется, навсегда и по-особому врезалась в душу самого поэта и его сверстников. Противоречие? Нет. Теперь, в отдалении, поэта поражало то, что зрелому уму и закаленному сердцу виделось еще в годы войны достаточно отчетливо. Ему открывался мир тонкой красоты и поэтичности окружающей жизни, особый смысл каких-то теплых малостей: того, как зеленый лист жизни трепещет под тихим ветром, как голубизна русского неба отражена в глазах русских девушек... Виокуров выразил это новое чувство в стихах, удивительно соответствующих ему:

Скупой и тонкий дух березы  
В те годы я не понимал.

Третья книга Виокурова вся — признания души человека, тянущегося к другому

человеку и порой удивленно всматривающегося в самого себя как бы со стороны.

Я дни листаю,  
Я ищу истоки  
Всех качеств,  
Проявившихся во мне.  
Хочу я все продумать,  
Оглядеться,  
Пройдя сквозь  
Зрелость,  
Молодость,  
Войну...

Жаль, что это пока лишь декларация, не отстоявшаяся в образе. Но мысль сама по себе примечательна. Это не эгоцентризм, а естественная потребность зрелости личной и зрелости общества, которое тоже вступило в новую фазу развития. Мы еще мало и робко осмысливаем то качественно новое, что пришло в нашу жизнь в последнее пятилетие. А ведь лучшие произведения нашей литературы, нашего театра, музыки в эти годы отмечены именно этим стремлением «оглядеться» и «все продумать». Мне кажется, что в этот новый период искусства аналитическое начало будет крепнуть, а историческое мышление художника — во многом определять масштабность и глубину произведения. А это само собой предполагает дальнейшее, еще более активное наступление на всякий примитивизм и пошлость.

Мир новой книги Евгения Виокурова — это мир добрых, прямодушных и смелых чувств. Герой Виокурова не колотит себя в грудь: я от земли, я народный, я «Дубинушку» уважаю! Народность, демократизм — в основе мироощущения, к которому

не приспособиться, потому что какова уж натура, таковы и стихи.

Наследственности сложного вопроса  
Не подыму,

а лишь коснусь слегка  
Моя родня отчаянно курноса  
И в скулах непомерно широка.

Я от земли ушел бесповоротно,  
Сапог не шить и не скорняжить мне.  
И все ж моя душа простонародна  
В своей основе, в самой глубине.

Это один из ответов на вопросы, поставленные перед собою поэтом, один из «источков» качеств его героя. Другие истоки прочности его «корня» поэт находит в высоких идеалах Революции, в просветленной стойкости ее сынов, которые шли на смерть,

стояли,  
В дуло револьвера  
Смотря глазами,  
Полными мечты.

Это время, время романтики и ежедневного ожидания «пожара мирового», запечатлено в таких отличных стихах, как «Вагон в 1918 г.», «Стихи о детстве» и особенно в небольшом стихотворении «Дядя». Облик крутого солдата и прямого большевика, который «единой мерой мерил поступки и слова», который «вечно жил, готовясь к тому, что впереди», того, что сидел на чае и на вобле, в груди которого жила «торжественная совесть», — «зло и прямо» смотрит на нас с портрета.

С большой уверенностью, и потому даже с юмором, развенчивает Е. Винокуров пророчества мешанской философии, по которой тяжелая жизнь уготована тому, кто легковерен, наивен и прост. Оказывается, вечные ценности — добро и открытость — в условиях товарищества побеждают:

И в грохоте, способном вытрясть  
Из тела душу,

на войне  
Была совсем ненужной хитрость,  
Была доверчивость в цене.

Я ел — и хлеб казался сладок,  
Был прост — и ротой был любим,  
И оказался недостаток  
Большим достоинством моим.

Товарищество — вот сила, связывающая людей чистой совестью. Это чувство связало и строки в образы, согретые добрым сердцем, образы живописно красочные, а главное — живые. Вот «Нары»:

Здесь ночью, завалившись скопом,  
Храпела с вывертом братва,  
Как подобает землекопам, —  
Не раскатавши рукава.

Здесь, бредя, издавали стоны,  
Болтали явственно вполне,  
Причмокивали, как сластены,  
И даже плакали во сне.

Юмор — признак душевного здоровья и силы. У Винокурова юмор удивительно «человечивает» стих, делает его гибким в оттенках. Мечтая о гордых космонавтах, которые ступят на Марс, он тут же скажет:

И, видя наши гордые осанки  
И головы в космических очках,  
В платок по-бабьи прыснут марсианки  
С грудными марсианами в руках.

Юмор Винокурова, однако, не тому «снижает», а скорее ноту, на которой ведется повествование. В манере поэта с самого начала заметна сложная структура стилей — соединение патетически-возвышенного (на нем тоже часто «строится» эффект юмористический: «О нары, царственное ложе!») и подчеркнуто прозаического.

В очень многих стихах Винокурова мы найдем это столкновение высокого и низкого как выражение противоречия между красотой, поэзией жизни и уродством, грубостью, пошлым бытом. Здесь, как в фокусе, сходятся сильные и слабые стороны творчества поэта.

Винокуров остается самим собой, угадывает наиболее прочное в своем даровании, когда под грубой формой, под непоэтичной оболочкой умеет находить поэзию. Вот пещерный человек учится рисовать:

Случайный шаг! Опасная стезя!..  
Он кончил, и впервые с сотворенья  
Из глаз звериных длинная слеза  
Устало потекла

от умиленья.

И, страшной тайной творчества влеком,  
Он чувствовал — назад уж нет возврата,  
Когда он первобытным кулаком  
Стирал слезу светло и виновато.

Вот поет акын:

И с алых губ, лоснящихся от сала,  
Под небо песнь печальная летит!..

Тут даже строка со строкой спорит. Но не образно, а, так сказать, в плане «высокого» и «низкого» «штилей». В том-то и дело, что нет в творчестве этого деления в чистом виде, как нет его в жизни, когда в стихах (как и опять-таки в жизни) есть поэзия!

Но иногда, столкнувшись с частной победой пошлости или пошлого быта, поэт либо становится в позицию «не ищи тут ничьей вины» («Хочет женщина быть красивой. »), либо относит поэзию к незнанию, а грубую «правду» — к трезвости взгляда

на жизнь («Два лица»). Обобщения неглубокие, да и противоречащие пафосу всего творчества Винокурова.

Мысль поэта иногда бывает незрелой, недодуманной, наивной. Сколько у него хороших, человеческих стихов о любви. Так нет, зачем-то пишется стихотворение-«теорема», где нужно доказать, что же такое есть любовь: «святое», «светлое» чувство или «похоти гримаса иль быта суетливая возня»? Ну, ясно, что поэт за любовь чистую и светлую. А для чего эти рыцарские стихи? Оказывается:

Что б ни было  
В грядущем  
Или в прошлом,  
Чтоб в жизни ни случилось,—  
Пусть всегда  
Над низменным,  
Над мелким  
И над пошлым  
Горит звезда,  
Горит моя звезда!

Думаю, что все здесь плохо. Стихи банальные. Мысль избитая, идущая от старого-престарого буржуазного понимания сущности человека. Где-то там звезды идеализма, вера, а здесь, внизу,— извечные пошлость, скотство, хамство. И перст благословляющий поэта: «Пусть всегда...» Да в том-то и дело, что не «пусть», что красота наша — на земле и к самим звездам стремимся мы для того, чтобы утвердить красоту на той же милой и грешной земле нашей! И мы должны говорить не «что б ни было», а «чтоб этого не было!» И не «святость» нужна нам, а человечность, та любовь, что и за таким «низменным» делом, как домашняя стирка, способна разглядеть любимую на фоне «древних красот» заката.

Иснала крохотный обмылок,  
А он был у нее в руках.  
Как жалок был ее затылок  
В смешных и нежных завитках!

Моя любимая стирала.  
Чтоб пеной лба не замарать,  
Неловко локтем убирала  
На лоб спустившуюся прядь.

После таких человеческих строк о любви, принадлежащих тому же Винокурову, ничего специально «доказывать» не нужно.

Не два разных «лица» у любви, не два разных «лица» у красоты, как иной раз получается у Винокурова. Красота одна, она в жизни, и надо смотреть ей прямо в лицо.

Когда поэт идет от опыта жизни, от раздумий, доставшихся нелегкой ценой, стих

его предметов, звучен и многокрасочен. Слабые же стихи его — почти всегда результат пренебрежения жизнью в угоду отвлеченной схеме, декларативному выражению абстрактной мысли («Лицо человеческое», «Можно жить безмятежно, условясь...», «Пишите кровью!», «Море», «Слеза», «Любовь», «Три стихотворения»). Тут Винокуров просто до чувства досады неоригинален. Напыщенные стихи эти никак не вяжутся с образной манерой поэта, естественной, богатой зрительными, интонационными красками.

Здесь флейта томно пела,  
Труба впадала в крик...  
(«Районная танцплощадка»)

Сколько тут добродушной иронии и наблюдательности! А вот та же флейта в стихотворении «Оркестр», исполненном напряженного ожидания музыкального чуда, ожидания красоты, от которого, казалось, пересохло в горле:

Флейтист был робок.  
Словно флягу,  
Поднявши флейту в вышину,  
Как в зной по капле цедеят влагу,  
Он ноту пробовал-одну.

Но мастерство поэта нуждается в шлифовке. Я уж не говорю об описках лексических и смысловых, которых немало в книге. У поэта с таким хорошим слухом неприятно находить звуковые стыки, подобные следующим: «...страданий и идеалов», «и информации», «с всеяввшей скуку», «а Аполлон».

Разбивка строк типа:

Любил я,  
невесомо  
Скользкий в полусне...—

это ведь разбивка для глаза, но не для слуха (любил я невесомо).

Нередко у Винокурова интонация не определяет нужный порядок слов в строке, а механически определяется им.

Смеялись мы, надменные, считая:  
Любовь еще бессмертная придет!

А по мысли стиха следовало бы:

Бессмертная любовь еще придет!

Или:

Печальных нищих родовитых  
Переминалася толпа.

Два определения разбиты определяемым словом (нищих) — прочтите вслух и послушайте разные интонационные варианты, вроде такого:

печальных, нищих, родовитых,

где пауза «гуляет», а должна строго подчеркивать именно родовитость нищих — это главное определяемое. Но, хотя и вынесенное в рифму, оно испытывает инерцию тяготения к следующей строке, а потому фраза получилась неотчетливой.

Следует избегать и таких стыков однородных элементов речи:

В тех девочках тогда не угадали  
Того, чего мы так и не нашли.

Поиски красоты неотделимы от работы над словом, строкой, строфой, целым стихотворением. Но, разумеется, начинаются они, эти поиски, с умения чувствовать красоту жизни и бороться за нее. У Винокурова есть стихотворение о том, как герой «в сапогах огромного размера» на цыпочках входит в музей и останавливается перед Венерой, которая кажется ему «выше» его «радостей и мук». Такая она, красота, и есть. Она всегда кажется выше наших радостей и мук, пока мы не научимся различать ее в самых радостях наших и муках.

Но это уж пора другая,  
А значит разговор другой!

В. ОГНЕВ.

★

## Дело, которого нет

Изложение «Дела о поросенке» начнем с конца. Оказывается, никто поросенка не похищал, он сам сбежал из сарайчика, забрал в чей-то погреб, испортил немало чужого добра. Поросенок был застигнут на месте преступления, приколот и зажарен.

Впрочем, дело не в поросенке. Автор потону заставил своего главного героя, Груздейкина, вместе с работниками милиции заниматься розыском, что был необходим какой-то сюжетный ход, повод для чередования самых разных мест и лиц.

Не все ли равно, что искать — мертвые души или эликсир бессмертия, дюжину ступель или одного поросенка? Важен результат, важно, что именно окажется найденным, художественно увиденным, открытым. Может, сатирический смысл повести в том, что будет найден другой поросенок, двуногий? Но Рафа Ниходимский, спекулянт грампластинками, переписанными им на рентгеновскую пленку, если и поросенок, то временно, по недоразумению. Рафа — друг Груздейкина (почему друг, за какие качества — понять невозможно). Груздейкин перевоспитывает Рафу.

Повесть написана от лица Груздейкина, как его непрерывный монолог. В кинофильмах все чаще встречается этот сквозной монолог, голос, остающийся за кадром.

Вот последние строки повести:

«Мы выходим на тракт и разом оборачиваемся. Шумит говорливый город... Там я смеялся и негодовал. Там мы стали немножко взрослее.

Анатолий Галиев. Дело о поросенке. Повесть-фельетон. Журнал «Советский Казахстан», 1958, № 7.

Но стоять на месте нельзя, и мы шагаем по дороге все дальше и дальше.

Я спокоен.

Рядом со мной идет Рафаэль».

Уже не сто и не двести кинокартин благополучно заканчивались тем, что вдали по дороге идут двое... Очевидно, перед нами сценарий, перелицованный в повесть.

Очевидно, поэтому мелькают «динамичные», «киногеничные» эпизоды, считавшиеся штампами чуть ли не во времена Ханжонкова и братьев Патэ.

«Не успел Сыздык и слова сказать, как пустое ведро вознеслось в воздух и с грохотом обрушилось на его голову. Юноша рухнул к ногам любимой. Девушка взвалила его на спину и отнесла в ближайшее отделение милиции».

Через пять страниц еще одна героиня проявляет неправильное отношение к мужчине.

«Увесистая оплеуха отбросила меня в сторону. В правом ухе запели трубы. Даша, не оглядываясь, уходила по улице».

В каком краю, в каком году происходят эти сильно комедийные события? Место действия обозначено. Город называется Новые Степняки. В городе имеется Силосная улица. Но читателя не покидает ощущение: происходит все это нигде, разве что на киностудии. Перед нами не настоящий базар, не вечер танцев, не отделение милиции. Все это типовые декорации, комплектные наборы для производства комических кинолент.

Когда имеется подзаголовок «повесть-фельетон», «кинокомедия» или «сатирическая повесть», естественно стремление рас-

цветить текст блестящими юмором. Однако иные литераторы «пережимают», стараются каждую фразу написать каким-то особым, витиеватым, «юмористическим» слогом.

Читаешь подобные юмористические произведения — и раздражает постоянное вращение слов, злоупотребление висящими в воздухе элементарными каламбурами, щеголяние не имеющими никакого отношения к теме изречениями и цитатами. Вместо юмора — что-то шумное, развязное и утомительное. Если бы счетная машина получила программное задание перевести произведение с обыкновенного русского языка на язык юмористический, фразу за фразой, от начала до конца, результат был бы ужасным. К сожалению, многие молодые и совсем не молодые литераторы пробуют свои силы в бесплодном деле механического «осмешнения текста».

Отдал дань шаблонно-витиеватому остроумию и А. Галиев.

«В таких домах удобнее всего совершать преступления и другие нехорошие поступки».

«Танцоры с каменными лицами хладнокровно пихали друг друга локтями, спинами и другими частями тела».

«Что требуется для рядового заключенного, я точно не знал, но прежде всего запаса сигаретами, потом купил полкило леденцов: пусть эти сладости смягчат горечь позднего раскаяния».

Орехи шаблонной юмористики, всевозможные литературные штампы расцветают тогда, когда в произведении нет жизненного содержания, большой мысли. Правда, в повести есть эпизоды, долженствующие, так сказать, «отработать галочки», а именно: не забыть упомянуть о вреде пьянства, о феодально-байских пережитках и еще о бюрократизме. Вот положительный герой Бадейкин (разумеется, журналист) вступает в прямую, принципиальную схватку с бюрократом П. П. Ниходимским (непрерменно один из руководителей горсовета). В результате полемической схватки бюрократ «...упал в обморок. Я побрызгал на него холодной водой. Очнувшись, он посмотрел на нас безумными глазами и диким голосом зашел: «Была б я только пташкой, умела бы летать...»

Потом он плакал и порывался к столу, чтобы написать заявление об уходе по собственному желанию».

Могут заметить: тут сатирическое преувеличение, есть такой прием. Что ж, преувеличивать, конечно, можно. Но что, соб-

ственно, здесь преувеличено? Глупость бюрократа, его податливость, неспособность защищаться. Разве это преувеличение? Преуменьшение, и отнюдь не сатирическое. Куда полезнее действительно преувеличить цепкость бюрократа, его способность к демагогии, интриге. Тогда сатирик поможет понять живучесть этого зла.

Когда вместо реальных противников выступают условные придурковатые фигуры, грозное оружие сатиры превращается в незлобивую бутафорию. Между тем подлинная сатира есть искусство помнить зло. Сатирик не может, увидев то или иное отрицательное явление, ограничиться правильным общим суждением насчет пережитков прошлого. Надо внимательно, подробно рассмотреть конкретные черты, исследовать внутреннюю механику, до конца обдумать корни, причины и следствия. Изучая свой «сатирический материал», необходимо сохранить чувство личной оскорбленности злом и передать это чувство читателю. Чтобы осмеяние было презрительным, чтобы обличение было страстным, надо оставаться «душевно оцарапанным» о зло, короче говоря, надо помнить зло.

Иной сатирик, будучи наслышан о том, что именно надлежит обличать, «обличает», не задевая противника, не беспокоя читателя. Скоропостижно пописывает на все темы, будучи озабочен не тем, чтобы ответить требованиям времени, а тем, чтобы использовать конъюнктуру. Механический юмор, самодовольное поверхностное остроумие непременно сочетаются со слабым знанием действительности, гражданским равнодушием, иначе говоря, с безыдейностью. К сожалению, примитивный, ремесленнический юмор в немалых дозах проникает на эстраду, на киноэкран, в литературу.

Было бы неправильно отнесть автора «Дела о поросенке» к числу закоренелых поставщиков псевдоюмора. А. Галиев, несомненно, любит сатирический жанр, его привлекает работа над фразой, работа над сюжетом, поиски смешного. Просто пока он неправильно искал это смешное. Его беда — восприимчивость, доверчивость, уважение к тому «среднему уровню», который еще бытует в нашей юмористике. Этот «средний уровень» давно отстал от уровня читателей, этот «средний уровень» везде — и в Москве и в Алма-Ате — заметно ниже общего уровня нашей литературы. Не следует учиться бесплодному искусству механического юмора, учиться делу, которого нет.

**А. ЛАЦИС.**

## Книга о мастерстве Г. Успенского

Главную цель своей работы о Глебе Успенском Н. Соколов определил так: «...дать идейно-художественный анализ ряда программных по своему значению произведений писателя и на материале этих произведений попытаться установить существенные черты творческого метода, художественных приемов одного из самобытнейших мастеров русского слова».

И очень хорошо, что автор избрал для своего исследования писателя, которого В. И. Ленин особенно горячо любил и высоко ценил за правдивость, идейность и замечательный артистический талант большого художника слова.

В противовес старым, эстетским взглядам на Успенского, как якобы проповедника «голых идей», «чистого публициста», а не писателя-художника, Короленко, Горький и многие другие выдающиеся русские писатели высоко ценили Глеба Успенского не только как первоклассного публициста, но и как талантливую, зоркую, бесстрашно правдивого художника-мыслителя, создателя целого ряда произведений, обладающих глубоким идейным содержанием и большой силой эстетического воздействия.

Горький был убежден в том, что правдивые, всегда волнующие читателя очерки и рассказы Успенского «не потеряли своего воспитательного значения» и что молодые советские литераторы могут и должны «хорошо поучиться у этого писателя уменью наблюдать и широте знания действительности».

Просто и убедительно, с хорошим знанием наследия Успенского, в том числе различных редакций его произведений и архивных материалов, Н. Соколов, по сути впервые, с такой полнотой и обстоятельностью показал творческую лабораторию Успенского, определил главные идейно-эстетические принципы его работы и раскрыл своеобразие и силу реалистического метода писателя, его исключительное умение активно, действительно наблюдать и изучать жизнь народа, его неутомимость и суровую взыскательность в трудном литературном деле.

Выбрав ряд важнейших произведений Глеба Успенского, относящихся к разным периодам его творческой деятельности, Н. Соколов проследил, как зарождалось,

росло и развивалось мастерство большого художника и как это сказывалось у него в выборе тем и сюжетов, в обрисовке характеров, в композиции.

Особенно приятно отметить, что автор книги умеет чувствовать и объяснять художественно-эстетическую специфику творчества Успенского, особенности его стиля и манеры, его разнообразные и всегда так удачно найденные средства образного познания жизни, его задушевный, щемящий сердце и будищий ум грустный юмор и поразительное богатство языка.

Исследователь убедительно показал, насколько гибким, содержательным, острым и подлинно художественным произведением большой литературы является очерк, когда создает его настоящий талант, крупный мастер-художник. Навсегда вошли в русскую и мировую литературу такие, казалось бы, «маленькие» и «простые» зарисовки, как «Будка», «Выпрямила», «Квитанция», «Четверть» лошади», «Ноль-целых!» и многие другие очерки и рассказы, столь же «бесхитростные», но так неотразимо действующие на читателя, «въедающиеся» в его душу и покоряющие своей суровой правдой, глубокой любовью к людям и страстной верой художника в возможность разумной и счастливой жизни в России, на всей земле.

В книге верно говорится о необходимости более вдумчивого отношения к лучшим традициям художественного очерка прошлого, тщательного изучения богатого опыта творческой работы писателей-классиков над малыми эпическими формами, опыта, который может и должен помочь нам в дальнейшем развитии и совершенствовании очерка как полноценного и боевого жанра в литературе социалистического реализма.

На материале произведений Успенского автор показывает «единство научного и художественного методов познания». Отмечая как важнейшую особенность таланта и стиля Успенского органическое слияние в его творчестве глубокой мысли и яркого образа, Н. Соколов подчеркивает, что Глеб Успенский «был тем писателем, у которого «мышление образами», единство мысли и образа выражено с неповторимой выразительностью и убедительностью».

Существенным достоинством разбираемой книги является умение ее автора найти тот идейно-эстетический «фокус», главный художественный «стержень» очерка, рассказа или цикла, который часто выра-

жается у Г. Успенского в метком, глубоком по смыслу и как бы ударном слове, изречении, образе, картине, заглавии (например, «Выпрямила», «Четверть» лошади», «Власть земли», «Господин Купон», «Тащить и не пущать» и т. д.). Отправляясь от этой опорной точки, Н. Соколов дает конкретную, содержательную характеристику истинно художественного и вместе с тем в высшей степени публицистически заостренного изображения Успенским существенных сторон и явлений жизни. Само понятие мастерства охватывает у исследователя не только форму произведений и «технический опыт» писателя, но и содержание, богатство жизненных впечатлений художника, общественную направленность его творчества, его эстетический идеал, и охватывает все это в единстве, в неразрывной связи.

Очень удачно раскрыта в книге, например, роль рассказчика в очерках и рассказах Успенского. Часто, пишет Н. Соколов, «повествователь со всеми его переживаниями становится... типическим лицом», то есть не просто рассказчиком, а тем ведущим характером, который определяет идейно-художественную направленность произведения и связывает его материал композиционно в единое целое.

Убедительно показывает автор книги всю несостоятельность ошибочных, тенденциозных утверждений старой, буржуазно-эстетической критики о якобы художественной «неполноте» и эстетической «слабости» произведений писателя-демократа. Лучшими сторонами своего творчества — последовательной правдивостью, глубочайшим знанием жизни, дум и чаяний простых людей, страстной любовью к народу, стремлением к свободе, счастью и разумной жизни, — всем этим Глеб Успенский дорог советским людям, близок нашей литературе. От его замечательных произведений тянутся нити исторической преемственности к творчеству многих советских писателей.

Давая высокую оценку художественному мастерству Глеба Успенского и ясно высказывая при этом свое вполне оправданное восхищение эстетической силой творчества этого замечательного писателя, автор книги вместе с тем не впадает в преувеличения, а сохраняет трезвое отношение к литературному наследию любимого им писателя. Там, где это необходимо, он прямо, без ненужных оговорок, говорит о тех или иных погрешностях и неудачах писателя. И это придает работе Н. Соколова еще больший

вес: его исследование не теряет духа подлинной объективности.

Содержательная и полезная монография Н. Соколова не лишена и отдельных недостатков. Думается, что первая и седьмая главы («Литературно-эстетические взгляды Г. И. Успенского» и «Творчество Успенского и советская литература») являются не вполне удачными. Автор мало говорит об эволюции литературно-эстетических взглядов писателя и слишком скупо освещает вопрос об отрицательном влиянии некоторых народнических заблуждений Успенского на его представления об искусстве и на его художественную практику.

Седьмая, заключительная, глава написана бегло. И хотя автор оговаривается, что он не стремится «всесторонне осветить» творческие связи советской литературы с художественным наследием Глеба Успенского, все же эта часть его работы ввиду ее особой актуальности и большого практического значения нуждается в расширении и углублении.

Иногда в работе Н. Соколова встречаются неточные формулировки и ошибочные утверждения. Например, говоря об «органической связи» искусства и действительности, автор заявляет, что существует не только единство жизни и художественного творчества (что совершенно верно!), но и их «однородность» (?). Или, характеризуя особенности очерков Успенского о крестьянской жизни, автор приходит к странному выводу, утверждая, что в этих произведениях писатель показывает образы «более в раскрытии (?), чем в развитии».

Вряд ли можно признать удачной попытку автора ввести наряду с известным горьковским определением сюжета понятие «идейного сюжета», в котором движущим началом «выступает логика» (?), а не борьба героев.

Неубедительным является и объяснение того факта, что в очерках Успенского, посвященных деревенской жизни, «пейзаж фактически отсутствует». Правильно отмечая это обстоятельство, автор приходит к такому выводу: «Можно полагать, что Успенский в силу своих убеждений считал неуместным любоваться красотой или хотя бы просто изображать ее в виде контраста там, где царят бедность, нищета, горе народное». Вот, в сущности, и все доказательство. Шаткость такого взгляда очевидна. Достаточно вспомнить, что в ту же эпоху другие русские писатели-демократы никак не считали для себя «засорным» или



«неуместным» воспевать красоту русской природы, хотя, как и Успенский, с болью в сердце видели и с ненавистью к поработителям говорили о бедности, муках и горе народном.

Но промахи встречаются в книге редко, и не они определяют суть добротного и поучительного исследования о Глебе Ивановиче Успенском.

**В. ВОРОБЬЕВ.**

★

### Утопия долларопоклонников

«Скажи мне, как ты себе представляешь будущее человечества, и я скажу тебе, кто ты» — так можно было бы совершенно безошибочно перефразировать старую поговорку.

В прошлом, 1958 году одним из наиболее шумно прославленных «бестселлеров» на книжном рынке США стал фантастический роман американской беллетристки Эйн Рэнд «Когда Атлас пошатнулся».

Сюжет разворачивается в сравнительно недалеком будущем.

Почти весь мир состоит из одних лишь «народных государств», правительства которых национализируют промышленность, транспорт и всячески утесняют бедных капиталистов. Именно поэтому «народные государства» беднеют, но их продолжает искусственно поддерживать — за счет своего народа — ...правительство США. Потому что в США также пришла к власти партия, которая стремится подчинить частные предприятия государственному контролю, повышает налоги на капиталистов и вводит централизованное планирование экономической жизни. Речь идет отнюдь не о коммунистах и не о социалистах. Правительство, которое герои романа называют попросту «грабителями», опирается тоже на капиталистов, именующих себя прогрессивными, однако, по мнению автора, являющихся бессовестными, жадными и бездарными дельцами, неспособными хозяйничать в условиях «свободной конкуренции».

Силам зла, воплощенным в президенте Томсоне, министрах Ферри, Мооге и других, а также в «плохих» бизнесменах, которые соответственно изображены чрезвычайно порочными и гадкими, противостоят силы добра: сверхчеловеки, могучие, благородные и мудрые капиталисты-индивидуалисты.

С особенно яростной, желчной ненавистью относится автор книги к самому принципу подчинения личных, частных интересов общим и всячески издевается над теми, кто

придерживается этого принципа. Суть нехитрой диалектики, которую с истерическим фанатизмом исповедует и очень многословно излагает миссис Эйн Рэнд, сводится к тому, что, дескать, только безудержная, ничем не ограничиваемая борьба за личные выгоды, борьба, в которой побеждает «сильнейший» и «одареннейший», может обеспечить благосостояние общества, ибо только такая система «свободного соревнования» и «здорового индивидуализма» естественна. Все виды коллективизма, все методы ограничения «сильных индивидуальностей», дескать, нужны только слабым и бездарным, да и тем выгодны лишь временно, лишь по видимости, так как в конечном счете ведут к общему упадку, к общей разрухе.

Такое примитивное и запоздалое — по меньшей мере на столетие — прославление волчьей социологии и волчьей морали капитализма могло бы показаться просто смешной, шутовской болтовней. Однако тот факт, что эта книга получила в США огромное распространение, свидетельствует, как много там людей, способных всерьез поверить подобным, на первый взгляд просто абсурдным, нелепым суждениям. И ведь именно такие суждения и основанные на них взгляды, хотя они совершенно очевидно противоречат правде истории и правде повседневной жизни, непрерывно порождают и питают весьма живучие тлетворные предрассудки последовательного буржуазного сознания. Те самые предрассудки, из которых растут все виды эгоизма и индивидуализма, все «моральные системы» торгашества и воровства, мелкого бандитизма и крупного империалистического разбоя.

При этом характерно, что собственно литературная, беллетристическая (понятие «художественная» здесь попросту не применимо) форма книги также чрезвычайно примитивна и банальна.

Центральный образ — Дэгни Тэггэрт, женщина-сверхчеловек, совладелица Трансконтинентальной железной дороги. Ее брат и компаньон Джим, жалкий, аморальный и бездарный трус, связал свою судьбу с «ва-

А у п R а n d. Atlas shrugged. New York. 1958 (Эйн Рэнд. Когда Атлас пошатнулся. Нью-Йорк. 1958).

шингтонскими грабителями», с «управлением планирования железнодорожных перевозок». А последнее, разумеется, поддерживает только плохих капиталистов — проходимцев, обсуждает нелепые проекты огромных соевых плантаций — все население США призывается перейти на питание соей — и, напротив, срывает снабжение полезных предприятий и перевозки пшеницы, вызывая тем самым безработицу, разруху и голод.

Дэгни, конечно, «гениальна». Она энтузиастка, мастер «большого бизнеса», великолепнейший организатор. Вначале она на свой риск и страх строит новую дорогу, ведущую к медным рудникам в Аргентине, которыми владеет также весьма положительный и, следовательно, гениальный бизнесмен — аристократ Анкониа. Вопреки негодяю брату, с помощью скромного подвижника Уэллера, верного слуги их фирмы, Дэгни побеждает — дорога построена. Для этого пришлось преодолеть необычайные трудности. Дерзновенная Дэгни назло всем даже назвала дорогу именем Джона Голта.

Это имя какого-то полумифического изобретателя-неудачника стало нарицательным — символом безнадежности, обреченности.

«Великая» Дэгни Тэггэрт находит достойного друга. Хенри Рирден тоже сверхчеловек и тоже, разумеется, великий бизнесмен, но ко всему еще и гениальный изобретатель, создавший новый сверхнеобычайный сплав «Металл Рирдена». Он демонически одержим «страстью к созиданию» и «страстью собственности». Страсть собственности для героев этой книги, разумеется, не порок, а совсем напротив — основа основ всех добродетелей и достижений...

Вследствие аварии самолета Дэгни случайно попадает в тихую долину в Скалистых горах, в которой находится необычайная колония беглых... капиталистов. Сюда собрались «самые непреклонные и отважные» бизнесмены, которые не желают никак сотрудничать с «грабителями» и создали этакую аркадию «чистого бизнеса». В ней господствует ничем не ограниченная «свободная частная инициатива», превыше всего читается незыблемый «священный принцип» частной собственности. Главная заповедь: «Никто не должен жить для другого, но не должен и другого заставлять жить для себя». Главный принцип — чистоган в самом подлинном смысле этого слова. Ничто никому не дарится, все оплачивается деньгами или трудом.

Гербом этого диковинного государства является... золотой знак доллара.

Однако бежавшие в горы бизнесмены не просто ушли от действительности. Они борются с ней. «Капиталисты-забастовщики» изымают из промышленности, торговли и банков свои капиталы и всячески стремятся доказать, что страна и мир не могут жить без них. Во главе этого заговора стоит Джон Голт. Оказывается, что он не миф, а реальный человек — разумеется, тоже сверхчеловек, гениальный изобретатель и организатор, исповедующий ту же религию собственности и власти, только еще более страстно и последовательно, чем Дэгни и ее друг.

Героиня после недолгих колебаний принимает программу капиталистов-забастовщиков и заодно влюбляется в Голта, который, разумеется, также влюблен в нее.

Обилие всевозможных любовных геометрических комбинаций: Дэгни — Рирден, Дэгни — Голт, жена Рирдена и брат Дэгни — позволяет автору обильно сдабривать повествование эротическими сценами, в которых, так сказать, клиническая точность вполне соответствует слащавой пошлости словесных описаний.

Вернувшись из горного убежища «рыцарей бизнеса», Дэгни застаёт все нарастающую разруху. В Аргентине и Чили «народные государства» национализируют медные рудники, принадлежащие Анкониа, который является владельцем всех мировых запасов меди. Но он не сдаётся, и в день национализации в один и тот же час взлетают на воздух все рудники, все обогатительные фабрики и все связанные с ними предприятия. Без меди начинает хиреть электропромышленность и прочие отрасли хозяйства. Правительство тщетно пытается предотвратить кризис. Несмотря на новое страшное оружие — всесокрушающие сверхзвуковые колебания, оно бессильно подавить волнения и мятежи миллионов голодных фермеров и безработных. Тогда правительство пытается подчинить себе гениального Рирдена.

Угрозами разоблачить его любовную связь с Дэгни и тем самым обесславить ее удается вынудить Рирдена на некоторые уступки. Но Дэгни, выступая по радио, храбро, многословно и потрясающе откровенно рассказывает о том, как приятно и почетно быть любовницей великого бизнесмена. Этим признанием она развязывает ему руки. Рирден также удирает в долину Джона Голта. Между тем сам вождь капи-

талистического сопротивления Голт становится счастливым любовником Дэгги и одновременно руководит массовым саботажем на транспорте. Полиция арестовала Голта, его пытаются — разумеется, безуспешно, — стараясь выведать тайны организации. Но друзья — Рирден, Дэгги, Анкония и другие — спасают своего вождя. Постепенно вся экономическая жизнь в США замирает. Гаснут огни Нью-Йорка и Чикаго, воцаряется полнейший хаос, правительство свергнуто, его представители убиты или разбежались неведомо куда... И тогда из долины капиталистов-забастовщиков выбираются Джон Голт и его сподвижники. Они идут спасать Америку и мир. Последние строки последней — 1168-й! — страницы романа звучат так: «Дорога свободна, — сказал Голт. — Мы возвращаемся в мир. — Он поднял руку и над просторами опустошенной земли прочертил знамение доллара!»

Право же, никакому сатирику, даже из самых немудреных авторов «Крокодила», не придумать такой пародии, такой наивной, местами просто поражающей своей цинично откровенной наивностью пародии на самовосхваление капитализма.

Высказывания Э. Рэнд о своей книге, ее непосредственная авторская самореклама отличаются необычайно торжественной серьезностью и многозначительностью самых мелочных и пошлых суждений и весьма откровенным «титаническим самоуважением». Все это придает им своеобразную, хотя и явно не предусмотренную автором комичность: «Сущность моей философии заключается в представлении о человеке, как о героическом существе, для которого нравственной целью жизни является его собственное счастье, самой благородной деятельностью является творчество и разум — единственным абсолют...» В заключение лирического монолога беллетристка с милой непринужденностью признается, что она сама тоже сверхчеловек. «Я надеюсь, что никто не скажет, будто таких людей, какие изображены в моей книге, не бывает. Уже самый факт, что эта книга была написана и опубликована, является доказательством того, что они действительно существуют».

Сама по себе вся эта претенциозная и пошлая писанина никак не оправдывает ни времени, ни усилий, необходимых, чтобы ее прочесть, а тем менее, казалось бы, заслуживает подробного разбора на страницах нашей печати. Однако и то и другое оказывается нужным потому, что «Когда Ат-

лас пошатнулся» — явление очень симптоматичное. Его автор в самодовольной велеречивости, не осложненной ни избытком мыслей, ни литературными достоинствами, откровенно выбалтывает то, что занимает и волнует вполне определенные и пока еще достаточно сильные общественные группы в США и во всем капиталистическом мире.

В январе 1959 года в Нью-Йорке состоялась конференция представителей секты евангелистов, на которой было заявлено: «Современный американский капитализм испытывает острую нужду в преданных апостолах, способных возвещать его мощь и его добродетели».

Капитализм ищет апостолов!

Его экономические основы — самый остов его материального развития — уродливо деформируются под бременем вооружений, «холодной войны» и авантюристической внешней политики, его корчит судорогами кризисов и депрессий, в его «духовной жизни» все гуще, все явственней приметы неотвратимого разложения... А он хочет слыть здоровым, бодрым, «творческим»...

Сверху донизу запятнан современный капитализм кровавой грязью двух мировых и несчетного количества колониальных войн; в его смрадном дыхании каждый день гаснут сотни, тысячи жизней голодных, эксплуатируемых, раздавленных нищетой и трудом людей... А он хочет слыть чистым, добреньким, благодатным...

В течение последних лет все громче раздаются призывы «найти новые мировоззренческие идеалы», «создавать положительных героев» капитализма. И эти призывы звучат тем яростнее, тем назойливее, чем явственнее для всего мира становятся успехи социалистических стран, чем труднее отрицать достижения нашего хозяйственного и культурного строительства.

Реакционная критика в США давно уже на все лады проклинает и хулит всех подлинно значительных американских писателей за то, что они, мол, «чернили и чернят американский образ жизни», за то, что не находят в среде бизнесменов «идеальных положительных героев», а напротив, изображают капиталистов в весьма неприглядном виде. За все эти и подобные им прегрешения преданы анафеме уже не только Т. Драйзер и Синклер Льюис, но и А. Миллер, У. Фолкнер, Т. Вулф, Э. Колдуэлл и другие. Буржуазная реакция требует для себя новой апологетической литературы, требует от нее оптимизма в утверждении

принципов и героев «свободного предпринимательства».

Вот миссис Эйн Рэнд и явилась одной из наиболее прилежных и последовательных исполнительниц этого «социального заказа». Но именно потому, что резвая дама так последовательна, она оказалась слишком наивно откровенной в своем рвении, и ее увесистое произведение приобретает уже совершенно пародийный, саморазоблачительный характер.

Раболепное преклонение перед безграничным и безудержным стяжательством, перед жестоким эгоизмом собственников; убогое, пошлое нищестановление, и притом nasledующее даже не первоисточник — ведь у самого Ницше были все же и литературный талант и своеобразная ненависть к буржуазной пошлости, — а наиболее жалких и бездарных эпигонов; совершенно нелепые, абсурдные представления об основных закономерностях экономической жизни; крикливая безвкусица и беззастенчивый культ доллара — таковы главные и очевидные уже с первого взгляда особенности этой книги.

Но именно в этих чертах воплотилась безнадежная обреченность того строя, который защищает Эйн Рэнд, воплотилась, несмотря на восторженно утопическую концовку романа.

Писательница даже не решается упомянуть о подлинных противниках ее класса, о тех экономических и общественных силах, что действительно реально угрожают самому существованию капитализма. Она даже не пытается полемизировать с коммунистами, выступать против революционного рабочего движения. Весь свой пыл

нейстовой долларопоклонницы Э. Рэнд обрушивает, так сказать, на «внутренних врагов», на сторонников регламентирования и государственного планирования капиталистической экономики, на бизнесменов-«предателей». Она старается представить «главной опасностью» буржуазный либерализм, экономические теории и практическую деятельность последователей Рузвельта. Но в этой нелепой, слепой ярости нападок на «своих» закономерно отражено последовательное развитие современного буржуазного мракобесия, самоубийственное бешенство твердокаменных ревнителей основ капитализма.

Некоторые американские критики пытались доказывать, что роман о «пошатнувшемся Атласе» направлен против преувеличения роли буржуазного государства и, следовательно, против фашизма, даже сравнивали его с антифашистским романом-памфлетом С. Льюиса «Здесь это не может случиться». Но с тем же успехом можно назвать антифашистскими некоторые «самокритические» речи Геббельса, которые он произносил после Сталинграда и после путча 20 июля 1944 года...

Пауки в банке злобно нападают друг на друга, однако тем самым ни один из них не только не меняет, а, напротив, наиболее последовательно выражает свою гнусную природу.

В паучьей злобе, которой до отказа пропитана эта утопия долларопоклонничества, в ее политической слепоте и саморазоблачительной бездарности — еще одно убедительное доказательство того, что защищаемый ею мир обречен на неотвратимое и бесславное крушение.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

### Политика и наука

#### Жить вместе с Россией

Пять канадцев летом 1956 года побывали в Советском Союзе. «Ни один из нас никогда не был и вряд ли станет когда-нибудь коммунистом», — считает своим долгом сообщить с самого начала один из пяти, Уильям Ирвин, чья книга «Жить вместе с Россией» была издана в Канаде в прошлом году. Вскоре эта книга вышла и у нас.

Уильям Ирвин. Жить вместе с Россией. Перевод с английского В. В. Исанович. Редактор Б. Н. Антонович. 144 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1958.

Уильям Ирвин — видный общественный деятель, член Национального совета Социал-демократической партии Канады и председатель организации этой партии в провинции Альберта. Ирвин путешествовал много. Это дало ему возможность сравнить жизнь Советского Союза с жизнью многих других стран мира. Объективное изложение фактов, всего того, что видели Ирвин и его друзья по туристической поездке, позволило автору книги создать довольно верную картину жизни народов Советского Союза. Правда;

следует оговориться: канадцы пробыли у нас всего три недели и, естественно, не могли глубоко изучить советскую действительность.

Ехали канадцы в нашу страну с явным предубеждением и неудержимым желанием «проникнуть за так называемый железный занавес». Оказалось, это не так уж трудно. Их приняли доброжелательно и предоставили возможность видеть то, что они хотят, встречаться и разговаривать с каждым, кто их будет интересовать. Но все же предубеждение настораживало. В этом искренне признается автор книги: «Мы находились под столь сильным впечатлением прочитанных нами описаний, исходящих якобы от людей, имеющих друзей в России, а также господствовавших в публике представлений об ужасных условиях жизни в Советском Союзе, что, отправляясь туда, определенно ожидали увидеть угнетенный и глубоко несчастный народ. Мы ожидали увидеть на лицах людей следы переутомления и недоедания и почувствовать пламенный бунт человеческого духа, возмущенного жестокостью будто бы бездушной диктатуры. На большинство людей непрерывная бомбардировка их рассудка пропагандистскими бомбами оказывает свое действие. Даже когда человек сознает, что в годы антисоветской пропаганды факты не только искажались и тенденциозно представлялись, но подчас извращались настолько, что вовсе не соответствовали действительности, он постепенно и незаметно начинает верить общей картине, которую ему преподносят».

Однако несколькими строками ниже Уильям Ирвин высказывает любопытное соображение: пропаганда может оказать, а иногда и оказывает, обратное действие. Приехав с предубеждением и настороженностью в Советскую страну, канадцы были приятно поражены: они совсем не увидели той мрачной картины, которую им все время рисовали лживые пропагандисты, лакеи доллара. И, видимо, не случайно Уильям Ирвин даже счел нужным написать: «Убедившись, насколько наши ожидания расходятся с действительностью, все мы, конечно, были так поражены, что решили остерегаться, дабы не впасть в обратную крайность и не перехвалить Советы».

Справедливость требует заметить, что Уильям Ирвин не впадал в эту крайность.

Туристы из Канады побывали в Москве, Ленинграде и Киеве, посетили Крым, выезжали в колхозы, были гостями в пионерском лагере, встречались на заводах с ра-

бочими, вели беседы с советскими учеными и общественными деятелями, были приняты Н. С. Хрущевым. Автор книги подробно рассказывает о своей встрече с главой Советского правительства и резюмирует: «Мы обнаружили в этом занятом, очень много работающем человеке прекрасного собеседника с тонким чувством юмора, проявляющимся очень естественно, вовремя и к месту. Он произвел на нас впечатление человека с острым умом, пронизательного, знающего и преисполненного твердой решимости добиться успеха в сельском хозяйстве, не допустить вовлечения СССР в войну и создать новые и лучшие условия жизни для своего народа».

Уильям Ирвин сумел заметить, что каждый человек в Советской стране проявляет истинную заботу о росте и развитии промышленности и сельского хозяйства, для того чтобы улучшить жизнь всего народа, и, конечно, является ярким поборником мира. «Все, с кем нам доводилось встречаться,— пишет автор книги,— от учащихся начальной школы до стариков, говорили о мире, требовали мира. Они говорят о мире, поют о нем; на всех шоссежных дорогах через каждые несколько миль установлены громадные щиты, говорящие об опустошениях войны и призывающие к миру. Мир является главным предметом обсуждения на собраниях членов профсоюзов, да и всех других организаций. Немыслимо, чтобы народ, питающий такое явное отвращение к войне, так сильно стремящийся к миру и так подготовленный к нему психологически, можно было заставить по собственной инициативе развязать войну против какой-либо страны».

К этой мысли неизбежно приходит каждый, кто внимательно изучает миролюбивую политику Советского Союза, кто захочет понять искренние стремления советских людей. Но, придя к такой мысли, человек невольно задаст себе вопрос: почему же в мире создано такое напряженное положение и всюду говорят о войне? Кто виновен в этом напряжении? Кто разжигает военный психоз в то время, когда пропаганда войны в Советском Союзе даже запрещена законом? Ищет ответ на эти вопросы и Уильям Ирвин. И он приходит к выводу, что во всем этом повинен западный мир. В главе «СССР хочет мира» Ирвин свидетельствует, что на Западе «мир стал запрещенной темой настолько, что даже в Канаде и в Америке всякий, кто призывал к миру, основанному на переговорах, навлекал на себя подозрения, а участие в конференции

в защиту мира, созданной коммунистами, рассматривалось как акт предательства. Подразумевалось, что мира хотят только коммунисты; поскольку же они хотят мира, мир должен быть чем-то очень скверным, что его надлежит отвергнуть».

В подтверждение своего вывода о том, что в СССР все хотят мира и что мирная политика Советского Союза является фактом неопровержимым, а на Западе мир является «запрещенной темой», Уильям Ирвин привлекает материалы западной печати, которые рассказывают о чудовищном вероломстве безответственных государственных и военных деятелей, размахивающих атомной бомбой и составляющих преступные планы нападения на нашу миролюбивую страну. Отвергая миролюбивые стремления Советского Союза, они бряцают оружием и стремятся «любыми способами отравлять сознание людей».

Вот некоторые из многих фактов, которые приводит в своей книге Ирвин. В результате возможной войны «должно быть убито 32 миллиона советских граждан», — спокойно сообщает американский журнал «Кольерс», выпустивший специальный номер, посвященный войне против Советского Союза. Демократ Джордж Х. Эрл, бывший губернатор штата Пенсильвания, выступая по радио, призывал немедленно напасть на СССР без официального объявления войны и похвалялся, что «мы можем стереть и сотреть с лица земли все до единого города, поселки и деревни России».

Западные апологеты капитализма безнаказанно, на протяжении уже многих лет ведут пропаганду войны и отравляют сознание людей человеконенавистничеством. Почему они это делают? Прав Ирвин, когда приходит к выводу, что «капитализм нуждается в стимулировании, которое дает война, чтобы поддерживать существование своей системы». А так как капитализм не в состоянии развязать войну, потому что большинство человечества земного шара против войны, то он изобрел политику держать мир «на грани войны», пишет Ирвин.

Однако далее автор высказывает странное суждение, что политика Даллеса, в которой излагается концепция балансирования «на грани войны», была «не столько политикой, сколько блефом». Как известно, эта политика Даллеса была не блефом, а действительностью.

Ирвин впадает в ошибку и тогда, когда пишет о позиции Советского Союза по вопросу о разоружении. Хотя он и оговари-

вается, что Советский Союз занимает позицию «менее вызывающую, чем США», но утверждает, будто бы Советский Союз проявляет несговорчивость. Конечно, подобные утверждения искажают истину.

Но Ирвин глубоко прав, когда анализирует истоки миролюбивой политики нашей страны. Советский Союз, говорит он, исходит из желания вести строительство в собственной стране, заботиться о материальном благополучии людей, улучшать положение в сельском хозяйстве, добиваться новых успехов в промышленности. Канадские туристы имели возможность убедиться в этом. Им довелось многое узнать о Советской стране.

Подробному рассказу о нашей действительности уделены многие страницы в книге. Канадцы признают, что плановое ведение хозяйства является великолепным. Они знакомы с системой образования и пришли к выводу, что оно поставлено значительно лучше, чем где бы то ни было в мире. Рассказывая об организации школьного дела, о строительстве школ и об успехах Советского Союза в этой области, считая это огромным демократическим завоеванием нашей страны, автор отмечает, что «международная гонка в области образования куда более соответствовала бы духу науки, чем гонка вооружений. Усовершенствование умов — дело гораздо более почтенное, чем усовершенствование бомб».

С большим интересом канадские экскурсанты изучали систему медицинского обслуживания в Советском Союзе. Их не только многое поражает, но и восхищает. «Сколько бы Запад ни презирал и ни осуждал советскую идеологию, нет никаких сомнений, что СССР занимает первое место среди всех стран по охране здоровья своего народа. Это практическое достижение, которого не может отрицать ни один самый рьяный антикоммунист, служит красноречивым свидетельством заботы Советского государства о здоровье людей, этом важнейшем условии счастья каждого отдельного человека и целых семей».

В главах книги, посвященных ликвидации расовых предрассудков и утверждению равенства всех народов, населяющих нашу многонациональную страну, Ирвин излагает мысль, что «национальное равенство — это одна из сторон демократии, значение которой трудно переоценить. Заслуживает хвалы всякий народ, покончивший с таким положением, когда судьбу человека определяет цвет его кожи». И автор невольно прихо-

дит к мысли, что в западных странах «дело не всегда обстоит таким образом».

Полемизируя с теми, кто клеветает на Советский Союз, Ирвин пишет: «Нет никакой нужды проливать крокодиловы слезы по поводу тяжелого положения советского народа, лишенного будто бы предметов первой необходимости. Достаточное питание, удобное жилище и одежда имеются у каждого. Мы не видели в Советском Союзе ни голодных, ни нищих».

Убедившись в миролюбивой политике нашей страны, Ирвин считает, что две различные системы вполне могут сосуществовать, что нет таких противоречий, которые нужно было бы разрешать силой оружия. Автор утверждает, что капиталистическому миру есть чему поучиться у Советского Союза. Он взывает к разуму западных руководителей и требует, чтобы они не «балансируют на грани войны», а прибегли к мирным переговорам с Советским Союзом.

В книге Ирвина есть многое, с чем мы не можем согласиться. Таковы, например, рассуждения о том, что диктатура пролетариата в СССР — явление, которое якобы присуще только России, что западноевропейские страны могут прийти к социализму только с помощью так называемого «демо-

кратического социализма». Таковы и некоторые другие его размышления. Ну что ж, Ирвин вправе думать так, как он хочет. Не это главное. Главное в другом. И здесь нужно согласиться с Ирвином: «Что для нас и желательно и возможно — это научиться жить вместе в мире, несмотря на наши разногласия. Эта идея должна лежать в основе любого соглашения о прочном мире. Достижение мира является настоятельной необходимостью. Эта задача более безотлагательна, чем любые другие проблемы, как национальные, так и международные. Сознание необходимости мира преследует нас с настойчивостью инстинкта самосохранения. Теперь, когда оба мировых лагеря, как мухи личинками, начинены бомбами, грозящими смертью всему живому, не время заниматься политическими кривляниями «на грани войны».

Да, это главное. И Уильям Ирвин посвятил немало ярких страниц этой теме в своей богатой по содержанию книге «Жить вместе с Россией».

Сравнивая английский и русский тексты книги, хочется отметить бесспорно удачную работу переводчика В. Исакович.

**О. КУЗНЕЦОВА.**

★

## Записки норвежского друга

**Ч**то, где и когда в последний раз вы читали о Шпицбергене? Впрочем, не напрягайте памяти: о Шпицбергене давным-давно ничего не писалось. А ведь этот полярный архипелаг представляет не только географический интерес; с ним нас связывают не только исторические воспоминания. Уже много лет на Шпицбергене, находящемся, как известно, под суверенитетом Норвегии, трудится большой коллектив советских шахтеров, геологов и строителей. Естественно, что наш читатель с интересом встретил книгу о Шпицбергене «К северу от морской пустыни».

Автор книги Лив Балстад — жена бывшего сюзельмана (губернатора) Свалбарда (так официально называется архипелаг Шпицберген с группой соседних островов). Девять лет — с 1946 по 1955 год — провела Лив Балстад за Полярным кругом. Об этих

годах жизни она и повествует в своих записках, в которых очень ярко проявилась ее творческая индивидуальность — умение видеть, счастливо сочетающееся с умением рассказать. Читаешь эти записки и ясно представляешь себе автора — сильную духом женщину, наделенную большой дозой оптимизма, человека с доброй усмешкой.

Написана книга очень живо, динамично, как увлекательный киносценарий.

Молодая горожанка случайно встречается с вновь назначенным сюзельманом Шпицбергена Хоконом Балстад. Тот влюбляется в нее и увозит с собой на Север.

«Я стояла, прижавшись к Хокону, — описывает Лив Балстад первые минуты пребывания на архипелаге, — и собиралась с мыслями, готовясь сказать самой себе, именно здесь и именно сейчас, те слова, с которыми нужно было вступать в новую жизнь. «Теперь твое место здесь. Ты будешь жить тут много лет — возможно, до конца жизни. В этой пустыне тебя ждет и хорошее и плохое. Так будь готова принять все, как оно есть и как будет. Для тебя же

Лив Балстад. К северу от морской пустыни. Сокращенный перевод с норвежского Л. Жданова. Редактор О. Мамаева. 336 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

лучше, если ты постарайшься воспринимать все с хорошей стороны»

Присущее молодой полярнице чувство долга и врожденный юмор облегчили на первых порах пребывание на суровых островах. Постепенно Лив Балстад сроднилась с коллективом норвежских и советских полярников, восстанавливавших на своих участках порушенные войной шахты. У нее завелось много друзей; их интересы стали ее интересами. Глубоким чувством уважения к людям труда пронизан ее рассказ о шахтерах, моряках, зверобоях, об их опасном труде, их нуждах, горестях и радостях.

Лив Балстад, отправившаяся на острова, чтобы стать женой сюзсельмана, не ограничилась ролью домашней хозяйки. Она обрела ценное человеческое качество — чувство ответственности за происходящее вокруг. Это придало Лив Балстад твердость, укрепило ее гражданский голос. Скорбь и гнев звучат в ее строках, посвященных гибели норвежских горняков на шахтах «Стуре Норшке Кюлькомпани» («Большой норвежской угольной компании»). Она обличает виновников катастрофы — владельцев компании, ради дивидендов экономивших жалкие кроны на технике безопасности, лишавших рабочих мало-мальски сносных бытовых условий.

Зато удивительно теплые и ласковые слова нашлись у Лив Балстад для ее подруг — женщин архипелага. «От женщин требуется немалое мужество, чтобы зимовать на Свалбарде,— пишет она.— Не потому, что женскому полу здесь грозит больше опасностей, чем в других местах: здесь еще никого не обидели, горняки — кавалеры и рыцари по своей природе. Но потому, что само существование женщины, жены, матери подвергается испытаниям, требующим силы и настойчивости. Темнота, холод, угроза несчастий в шахте, беспокойство за детей, за тех, кто остался на Большой земле,— все это, вместе взятое, образует тяжелое бремя, которое может оказаться непосильным». И Лив Балстад называет имена стойких женщин с прямой и чистой душой.

Впервые книга Лив Балстад вышла в Норвегии осенью 1955 года и вызвала там в печати массу восторженных отзывов. Но большинство газет, словно сговорившись, умолчало о том, что составляет одну из сильных сторон книги, — о правдивом описании отношений, сложившихся на Шпицбергене между обитателями норвежской и советской колоний.

Лив Балстад не могла не заметить разницы в поведении, психологии, жизненном укладе русских и норвежцев — граждан государств с различным социальным строем. Не без зависти пишет она о «специальном детском учреждении с «нянями», то есть о детском саде, о Доме культуры, гимнастическом зале и плавательном бассейне Баренцбурга, о трехмесячных отпусках, получаемых советскими горняками после двухлетней зимовки, и о многом другом, что для нас обыденное явление, а для соотечественников Лив Балстад — предел мечтаний.

С чувством искренней симпатии описывает она знакомство с советскими людьми: «Это была приятная встреча. До тех пор мы не раз спрашивали себя, что за люди эти русские, которых мы знаем только по эфиру. В последующие годы мы часто встречались, и у нас осталось много хороших воспоминаний. С русскими легко сотрудничать. Начальники сменялись у наших соседей не раз на протяжении тех лет, но со всеми ними было одинаково легко ладить. Всех их отличала предупредительность и гостеприимство».

Жаль, что редактор книги О. Мамаева не постаралась снабдить книгу предисловием, написанным кем-либо из советских полярников — участников событий, описываемых Лив Балстад Читатели (а может быть, и автор книги, другие норвежские полярники) узнали бы, что бывшие зимовщики советской колонии на Шпицбергене столь же тепло вспоминают своих старых северных друзей.

Лив Балстад, например, неоднократно упоминает имя горного инженера И. Ф. Наумкина, который в прошлые годы возглавлял советские предприятия на Шпицбергене. Иван Федорович Наумкин рассказал мне, как зарождалась, крепла дружба советских и норвежских горняков, дружба, основанная на доверии, обоюдном уважении. Об этом же говорит и Лив Балстад: «В то время как во всем мире развивалась «холодная война», отношения между норвежцами и русскими на Свалбарде становились все теплее. От Лонгир до Баренцбурга через горы не так уж далеко, и стало традицией устраивать лыжные соревнования между этими двумя городами. Часто разыгрывалось первенство Свалбарда по шахматам».

Укреплению взаимных симпатий, конечно, способствовали не только спортивные соревнования. И наших и норвежских горня-



ков, вспоминает И. Ф. Наумкин, в большей степени сплачивал совместный тяжелый в условиях Арктики труд по восстановлению шахт. На первых порах норвежцы были в преимущественном положении — их шахты меньше пострадали от войны. Советские же поселки и угольные предприятия Баренцбурга и Груманта были буквально снесены с лица земли. Но за короткий срок размах восстановительных работ на советских участках превзошел то, что делалось на шахтах «Стуре Норшке Кюлькомпани».

Лив Балстад много говорит о том, скольких сил и хлопот стоило добиться постройки дома сюзельмана, сколько проволочек было с утверждением проекта этого дома. У шахтеров не было помещения для собраний. Норвежцы очень нуждались и в удовольствии и в промышленных товарах.

Иная картина в советских поселках Шпицбергена. Несмотря на тяготы послевоенной поры, Советское правительство щедро снабдило полярников всем необходимым. Уже в 1948 году шахты были сданы в эксплуатацию.

Велико различие в причинах, побуждавших ехать на Север норвежцев и наших соотечественников. Норвежцев толкала туда безработица, нужда. «И если разобраться поглубже, — констатирует Лив Балстад, — то и выходит, что далеко не всегда на Свалбард едут по доброй воле».

Советских людей ехать на Шпицберген побуждал горячий патриотизм. Родине ну-

жен был уголь. По первому зову партии и правительства туда, на восстановление советских угольных предприятий, устремились тысячи добровольцев. Они работали не покладая рук, не считаясь со временем. Что же мудреного, что с такими людьми подружилась норвежцы, мирный трудолюбивый народ, добрый северный сосед советского народа.

Интересную книгу написала Лив Балстад! Открыв первую страницу, читатель не отложит книгу в сторону, пока не прочтет до конца. Он найдет в ней красочные описания картин северной природы, мастерски сделанные портреты людей, меткие наблюдения, интересные мысли.

Лив Балстад не хватает лишь знания истории архипелага. Те сведения, которые она приводит в книге, никак не отражают прошлого Шпицбергена — «батьюшки-Груманта» русских поморов, испокон веков, раньше кого бы то ни было, заселявших острова, промышлявших там круглый год пушного и морского зверя. Можно было бы упрекнуть автора и в некоторой субъективности восприятий, в не всегда точной оценке отдельных явлений. Но Лив Балстад не общественный деятель, не литератор-профессионал, она простая норвежская женщина, добросовестно и искренне изложившая в книге свои наблюдения, переживания, чувства.

Книга написана честным человеком, нашим другом!

**Н. БОЛОТНИКОВ.**

★

## Кулак повисает в воздухе...

Со страниц американских газет, с экранов телевизоров, из динамиков радиоприемников звучат славословия «атомной авиации». Бомбардировщики дальнего действия, способные нести к цели ядерные бомбы, восхваляются как предмет особого поклонения.

Неуемным восторгом перед «всемогуществом» дальних бомбардировщиков полна опубликованная в США книга Р. Хаблера «Стратегическое авиационное командование». Ее автор, бывший офицер военно-воздушных сил, а ныне журналист, удостоился предложения, вызвавшего большую за-

висть его многочисленных коллег: авиационное командование поручило ему написать популярный труд, превозносящий «атомно-воздушную мощь» Соединенных Штатов.

Перед Хаблером были широко распахнуты двери в различные «секретные дыры» — так он называет расположенные глубоко под землей укрытия, где размещены авиационные штабы. Перед ним были открыты настежь ворота аэродромов, тщательно охраняемых от постороннего глаза. Ему был передан для опубликования целый ряд сведений о составе стратегической авиации. Расчет был на то, чтобы создать широчайшую рекламу этому виду американских вооруженных сил. Хаблер постарался оправдать оказанное ему доверие. Он не пожалел красок, чтобы расписать стратегическую авиа-

Richard I. Hubler. SAK, The strategic Air Command. New York. 1958 (Ричард И. Хаблер, САК, Стратегическое авиационное командование. Нью-Йорк. 1958).

цию — «бронированный кулак, занесенный в облаках...»

Основная цель книги — утратить мощью американской авиации, внушить, что их существование зависит от тех, чьим инструментом она является. В распоряжение САК (стратегического авиационного командования), указывает автор, переданы значительные силы — двести тысяч человек, три тысячи самолетов, воплощающих в себе «черную магию науки». Эти самолеты поднимают в воздух не обычные бомбы, а атомное и водородное оружие. Сегодня один самолет может нести боевой груз, по разрушительной силе равный бомбовой нагрузке четырех миллионов самолетов времен второй мировой войны. Современная термоядерная бомба способна уничтожить или исказить более одного миллиона людей и превратить в пар большой город, говорит автор, афишируя губительную силу ядерного оружия.

Чем же занимается «самая эффективная боевая машина, которая когда-либо была создана в мире»? Автор недвусмысленно отвечает на этот вопрос: «Каждый день стратегическая авиация готовится к войне». О маршрутах, проложенных на картах штурманов САК, Хаблер сообщает с исчерпывающей ясностью: «В задачу стратегической авиации входит нанесение массированного удара возмездия в сердце России или другого противника в случае глобальной войны».

Эта задача и определяет весь ход боевой подготовки летного состава. Автор рассказывает, что самолеты стратегической авиации совершают учебные бомбардировки американских городов, «имеющих фактически такую же топографию как Сталинград и Магнитогорск». Самолеты «бомбили плотины, имеющие на экране радара почти такой же профиль, как и гигантский комплекс Днепропетровска».

Американская разведка была поднята на ноги, чтобы снабдить экипажи стратегической авиации сведениями о важных советских объектах. По свидетельству Хаблера, разведкой САК собрано «более 2,5 миллиона источников информации, начиная от некоторых фотоснимков русских городов времен второй мировой войны и кончая нашими собственными данными, добытыми разведывательной и информационной службой».

С вождением разглядывая снимки советских городов, воинственные генералы военно-воздушных сил мечтают о том, чтобы посмотреть на эти города через оптиче-

ские прицелы своих бомбардировщиков. Но, как автор ни бьет в литавры в честь стратегической авиации, как ни шумит по поводу ее способности «стереть с лица земли, как мошку, целое государство», в его рассуждениях то и дело проскальзывают весьма невеселые нотки.

Хаблер жалуется на целый ряд обстоятельств, затрудняющих и осложняющих проведение в жизнь военных планов Пентагона. «Нас беспокоят аэродромы, расположенные в глубине России», — цитирует он заявление американского генерала Туайнинга. Недовольно авиационное командование и тем, что «самые важные советские цели большую часть суток на 60 процентов закрыты облачностью».

Но еще больше сердится Хаблер на то, что Советская страна при организации своей обороны полагается не на облака, которые будут закрывать цели, а на куда более эффективные средства. Появление в космосе советского спутника Земли впервые заставило автора и его единомышленников усомниться в достоверности своих представлений о возможностях Советского государства. СССР, указывает Хаблер, совершил «феноменальный рывок» и «продемонстрировал поразительные успехи в создании ракет». Советский Союз, отмечает он далее, «имеет ударную силу, равную нашей стратегической авиации», а в области ракет «ушел далеко вперед». В этих условиях, вынужден констатировать автор, нападение на СССР чревато катастрофическими последствиями для его организаторов.

Явно недоволен Хаблер и другим. «Отношение во всем мире к применению атомного оружия вызывает раздражение у представителей стратегической авиации». Он сетует на то, что движение за запрещение оружия массового уничтожения охватило сотни миллионов людей во всех странах мира.

За последнее время у военных руководителей США появилось немало и других забот и огорчений. Эффективность действий дальнебомбардировочной авиации, указывает Хаблер, зависит от способности Соединенных Штатов сохранить базы за границей. А способность эта, по его словам, уменьшается из года в год. Он с досадой отмечает «ненадежность даже наших старейших союзников — Англии и Франции». Еще сложнее положение дел в других государствах капиталистического мира, на территории которых сооружены американские военные аэродромы. В Марокко и Исландии,

в Дакаре и в Северной Африке, в Японии и в ряде других стран «бунтующие народы отдадут моши «Б-47» дань меньшую, чем это хотелось бы стратегической авиации». Недовольство автора вполне понятно — народы настойчиво требуют, чтобы непрошенные гости немедленно убралась восвояси. Все это привело к заметному снижению морального состояния летчиков САК.

В книге Хаблера приведены любопытные подробности о том, какими путями командование САК пытается преодолеть нежелание многих своих подчиненных служить в авиации и заставить их сохранять боевую готовность. Автор перечисляет «различные изобретения для поддержания морального и боевого духа».

Американской контрразведкой, например, созданы специальные «отряды проникновения». В их функции входит раздувать милитаристскую истерию, внушать летчикам, что на каждом шагу их подстерегают «красные диверсанты». Часто на аэродромах появляются специальные подставные лица, которые выдают себя за генералов и снабжены зажигательными приборами в виде сигар, «пожарные» с бомбами, спрятанными в огнетушителях, «репортеры» с магниевыми зажигалками в виде вечных перьев. Продавцы прохладительных напитков угощали содовой водой членов экипажа «Б-52», отправлявшихся в дальний полет, а затем заявили им: «Вода отравлена». В эту «игру» оказался вовлеченным даже сам командующий стратегической авиацией генерал Лимэй. Однажды три человека, вошедших под видом монтеров в его кабинет, чтобы починить телефонную проводку, подсунули ему под письменный стол банку из-под пива. В нее была вложена бумага с довольно лаконичной надписью: «Вы взорветесь в 10 часов 30 минут». Словом, делается все, чтобы заставить каждого американского летчика и командира находиться в постоянном напряжении.

Много места в книге Хаблера отводится описанию того, как американское командование обучает своих летчиков боевым действиям не только в воздухе, но и на земле. Считаясь с тем, что им нередко придется приземляться по причинам, от них не зависящим, оно разработало целую программу соответствующих мероприятий. Были наняты бывший чемпион джун-джитсу Эмилио Бруно и десяток японских специалистов этого дела, которым командование поручило проводить с летчиками САК «15-часовой курс драчливых занятий».

Другой «цикл знаний», которыми овладевают американские летчики,— это умение жить на подножном корму. «Людей приучают к тому,— пишет Хаблер,— что фактически все живое, кроме жабы, съедобно, в том числе пресмыкающиеся. Съедобны также черви, гусеницы, улитки, кузнечики и даже личинки полевых мух». Тем, кому не удастся раздобыть эти личинки, автор советует не унывать и не терять голову: в меню летчика могут войти и другие деликатесы. «Полезны жареные муравьи и тушеные мясистые хвосты ящериц»,— со знанием дела отмечает Хаблер. Все это, указывает он, имеет целью подбодрить летчиков, внушая им, что, если самолет и будет сбит, не все еще пропало: зная приемы джиу-джитсу и способы жарения муравьев, они имеют все шансы вернуться домой пешком.

Сейчас, когда в воздухе постоянно курсируют сотни самолетов с атомными и водородными бомбами, как никогда острой становится проблема случайного возникновения войны. Известно, что по этому поводу Советское правительство уже не раз выступало с самыми серьезными предостережениями. Книга Хаблера — свидетельство обостренности таких предостережений. Состояние нервов американских летчиков внушает автору большие опасения. Приведенные им факты говорят о том, к каким опасным последствиям может привести душевная неуравновешенность летчиков. В 1956 году, во время испытаний водородной бомбы в атолле Бикини, член экипажа, находившийся в состоянии нервного возбуждения, забыл включить соответствующий механизм. В результате бомба разорвалась далеко от мишени. Ну, а если нервы откажут у летчиков, патрулирующих вблизи границ Советского Союза или другой социалистической страны?

Нельзя не считаться также с опасностью того, пишет далее Хаблер, что мировая война может быть развязана преднамеренно каким-нибудь фанатиком. Разве не может среди летчиков оказаться «отчаявшийся влюбленный или эгонистичный самоубийца», который был бы не прочь, «покончив с собой, получить громкую известность»? В руках у современных последователей Герострата может оказаться не факел, а водородная бомба...

Это понимает Хаблер, понимает, но не делает правильных выводов, как, впрочем, и из всех других своих рассуждений.

И все же последние страницы книги звучат неким диссонансом к общему бравурному ее тону. Автор требует: больше самолетов, больше водородных бомб! А в заключение проговаривается: «Стратегическая авиация — нечто промежуточное, уходящее, временное... Служить в ней тяжело, неромантично и бесперспективно».

Да, неутешительны перспективы у стратегической авиации США, поглощающей, как прожорливое чудовище, миллиарды долларов. Американский бронированный кулак бессильно повисает в воздухе: народы твердо стоят на страже мира.

*Кандидат исторических наук  
подполковник А. ЕФРЕМОВ.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**МИХ. СЛОНИМСКИЙ.** Избранные произведения. Гослитиздат. М. 1958. Том I. 548 стр. Цена 12 р. 10 к. Том II. 452 стр. Цена 8 р. 80 к.

Мих. Слонимский — видный советский писатель, один из первых советских прозаиков — рано вышел на самостоятельную жизненную дорогу. Подростком он ушел на фронт. «Солдатская служба в царской армии была моим университетом», — писал Слонимский впоследствии.

Фронт, армия, революция и явились тем достоверным жизненным материалом, на котором строились первые рассказы писателя.

Из этих ранних произведений в «Избранном» опубликованы рассказы «Чертово колесо», «Штабс-капитан Ротченко», «Копыто коня» и другие, рисующие судьбу человека на войне, показывающие, как опустошает душу, разрушает сознание человека бессмысленная империалистическая бойня.

Роман «Лавровы», также вошедший в «Избранное», был написан в 1925 году и принес Мих. Слонимскому широкую известность. В нем показан развал старого общественного строя и неотвратимость победы нового. В центре романа — Борис Лавров, который из обеспеченной буржуазной семьи добровольцем ушел на фронт. На фронте, в предреволюционном Петрограде он проходит через тяжелые испытания, и это заставляет его отрешиться от буржуазных иллюзий и по-новому взглянуть на окружающую действительность. Путь героя сложен и противоречив. Лишь в революции обретает он ту подлинную внутреннюю свободу, которую искал.

В сборнике читатель найдет и много других произведений Мих. Слонимского, написанных в предвоенные, военные и послевоенные годы. Одно из последних произведений Слонимского — «Друзья» — датировано 1954 годом. В нем писатель вновь обращается к незабываемым дням революции. Его герои — рабочая молодежь Выборгской стороны, с оружием в руках завоевывающая право на жизнь, на свободу, на образование.

В первом томе «Избранных произведений» помещен очерк творчества Мих. Слонимского, написанный П. Громовым.

**А. СОЛОВЬЕВ.** Суровая юность. «Молодая гвардия». М. 1959. 288 стр. Цена 4 р. 85 к.

«Моя жизнь началась в конце прошлого века, незадолго до вступления на престол

последнего русского царя», — говорит автор в начале книги.

Начав свой жизненный путь деревенским подпаском, испытыв на себе все тяготы солдатской службы, А. Соловьев впоследствии становится революционером и участником двух революций 1917 года.

Автор находился все время в гуще событий, знал многих крупных деятелей революции и русской передовой культуры. Он встречался с В. И. Лениным, Я. Свердловым. Еще раньше был знаком с Горьким, Л. Андреевым, Брюсовым, Блоком, Куприным. Работая в Мариинском театре, слышал Шаляпина, Собинова.

О своей жизни, о встречах, о революции, которую видел глазами ее рядового деятеля, живо и увлекательно рассказывает в своей книге А. Соловьев.

**ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛОВА.** Токонома. Стихи. «Советский писатель». М. 1958. 82 стр. Цена 1 р. 10 к.

«Токонома — в доме уголок, где причуды тлеет уголек». И даже если дом — лачуга, токонома — пусть это будет «клена полированный сучок, бусинка, как капелька росы» — все же есть в каждой японской семье как символ красоты.

Мысль о красоте человеческих отношений, о красоте души простого человека, о дружбе людей разных континентов пронизывает все стихотворения этого сборника. Стихи написаны в разное время (от 1946 по 1958 год) и в разных местах (Токио, Лондон, Джакарта, Нью-Йорк, Стамбул, Таиланд, остров Ява, Индонезия, Женева, Каир, Порт-Саид, Гонконг, Карачи). Вот названия некоторых из них: «Хиросима», «Могила Неизвестного солдата», «Митинг в Байолали», «В Порт-Саиде», «Магазин нейлоновых игрушек», «Картина индонезийского художника», «Девочка из Гонконга».

**Л. БАТЬ.** Великое призвание. Повесть о русском актере М. С. Щепкине. Детгиз. М. 1958. 296 стр. Цена 7 р. 35 к.

Великому русскому актеру М. С. Щепкину посвящена биографическая повесть Л. Г. Бать. Убедительно рисует автор жизнь Щепкина, прошедшего трудный путь от крепостного слуги графа Волькенштейна до прославленного артиста Малого театра, основоположника русской реалистической школы сценического искусства.

Обращенная к юному читателю, повесть подробно воспроизводит детские и юношеские годы Миши Щепкина, знакомит с условиями жизни крепостных актеров, то вы-

ступающих на домашних сценах своих «господ», то кочующих в качестве гастролеров по градам и весям Руси, но всегда привязанных к своим владельцам нерушимыми узами крепостной зависимости. С выкупом из этой зависимости, с ожиданием «вольной» связаны у Щепкина несколько самых тяжелых лет жизни.

Последние главы книги рисуют Щепкина уже в Москве, в расцвете его сценических успехов, в кругу передовых людей того времени. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Герцен — вот с кем встречается Щепкин, с кем делится своими мыслями об искусстве. С комедиями Грибоедова и Гоголя связаны самые высокие достижения щепкинской игры. Рассказом о блестящем исполнении ролей Фамусова и Городничего, предчувствием новых свершений заканчивается эта повесть о великом призвании и великом труде, которого оно требует от человека.

**БЕЛА ИЛЛЕШ. Обретение родины. Роман. Авторизованный перевод с венгерского. Воениздат. 1959. 736 стр. Цена 20 р. 65 к.**

Это большое эпическое произведение венгерского писателя-коммуниста рисует освободительную борьбу венгерского народа в ходе второй мировой войны. Роман вызвал в венгерских литературных кругах немало споров, но широкий читатель Венгрии его принял тепло.

Иллеш очень точно назвал свою книгу — «Обретение родины». Это действительно рассказ о том, как после трудных испытаний и пережитых страданий венгерский народ обрел наконец свою свободную, никому не подвластную родину.

Писатель рисует сложную картину человеческих отношений, создает вылепленные с документальной точностью образы врагов народа — хортистских генералов, салашистов и других.

Известный венгерский критик Гега Хегедюш в своем предисловии к русскому изданию справедливо замечает: «Обретение родины», это одно из весьма ценных творений новой венгерской прозы, по своему значению перерастает национальные рамки и, несомненно, вызовет к себе интерес у зарубежных читателей во многих странах».

**ХЕЙЕРДАЛ ТУР. Аку-аку. Тайна острова Пасхи. «Молодая гвардия». М. 1959. 384 стр. Цена 8 р. 40 к.**

Тур Хейердал, известный норвежский ученый и путешественник, автор «Путешествия на «Кон-Тики», в 1955—1956 годах предпринял путешествие на остров Пасхи, самый уединенный обитаемый уголок в мире. Хейердал выехал на остров с экспедицией, в составе которой находилось несколько археологов, для того чтобы решить вопрос, кто же были первые поселенцы острова, создатели огромных каменных изваяний — удивительной культуры далекого прошлого.

Новое произведение Т. Хейердала посвящено этой исторической загадке, которой автор занимается много лет.

Книга Тура Хейердала — увлекательный, написанный с большим художественным

мастерством рассказ о научном исследовании на острове, интересных находках в подземных пещерах, рассказ о жизни и быте современных обитателей острова Пасхи.

**И. ЕРМАШЕВ. Мы все живем на одной планете. «Молодая гвардия». М. 1958. 143 стр. Цена 1 р. 60 к.**

Книга открывается схемой, символически изображающей земной шар и носящей название «Наш общий очаг — планета Земля». Схема содержит сведения о населении Земли — два миллиарда семьсот девять миллионов человек (по данным 1956 года), из которых на страны социализма приходится свыше трети — девятьсот пятьдесят миллионов.

Автор подробно анализирует современное международное положение и показывает, что в настоящее время созданы важнейшие условия для того, чтобы принцип мирного сосуществования стал общепризнанной нормой отношений между государствами всего мира. Теперь не только возможно, говорится в книге, осуществить этот принцип, но его невозможно отвергнуть; он не только желателен, но объективно необходим. Автор приводит ряд фактов, которые неопровержимо свидетельствуют о крушении колониальной системы, о крахе политики «с позиции силы», о растущем недовольстве народов «холодной войной».

Последовательная и неутомимая борьба за мир, которую ведет Советский Союз, находит все новых сторонников в широких кругах общественности капиталистических стран. Так, газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Мы живем вместе с русскими на одной планете и должны совместно с ними жить в условиях мира, если вообще хотим существовать».

Книга И. Ермашева заканчивается главой «Общее дело народов мира». В ней говорится о стремлении Советского Союза добиться новой встречи в верхах, участники которой должны принять важнейшие решения для избавления человечества от ужасов новой войны.

**ВОПРОСЫ ТРУДА В СССР. Госполитиздат. М. 1958. 408 стр. Цена 8 р. 50 к.**

Много неотложных вопросов выдвигает перед экономистами прогресс общественной жизни нашей страны.

Очень важно правильно решать задачи распределения рабочего класса по отраслям труда и по районам Советского Союза. Дальнейший подъем производительности труда на базе высшей техники неизбежно влечет за собой структурные изменения в балансе рабочей силы. Возникает перспектива перераспределения трудовых ресурсов в связи с освоением новых промышленно-экономических комплексов на востоке страны. Огромное значение приобретает квалификационный состав рабочих кадров; крупные качественные изменения в технике производства требуют резкого повышения культурно-технического уровня рабочих.

Эти и многие другие проблемы освещены в сборнике, подготовленном Научно-иссле-

довательским институтом труда Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. В книге рассказывается об участии советских женщин в общественно полезном труде, о роли профсоюзов в коммунистическом строительстве, о социалистическом соревновании, советском трудовом праве.

**О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.** Сборник статей и материалов. Иркутское книжное издательство. 1959. 358 стр. Цена 5 р. 40 к.

В книге собраны материалы о конференции по развитию производительных сил Восточной Сибири, созданной в 1958 году в Иркутске. В статьях и выступлениях ученых и практических работников ставятся важнейшие экономические проблемы наиболее разумного и эффективного использования природных богатств, создания большой сибирской индустрии.

Семилетний план предусматривает рост производства промышленной продукции в Иркутской области в 3,8 раза, стройматериалов—в 27 раз, машиностроения—в 5 раз.

Начало организации единой энергетической системы Центральной Сибири будет в первую очередь содействовать созданию третьей металлургической базы на востоке страны, развитию транспорта.

**В. АРХИПЕНКО.** Красавица народная. Госполитиздат. М. 1959. 148 стр. Цена 1 р. 80 к.

Рекой народного горя и слез называли до революции Волгу. Каторжная эксплуатация рабочих на полукустарных заводах Поволжья, непосильный труд бурлаков, нищета населения—вот с чем ассоциируются у нас представления о старой Волге, которую буржуазные экономисты считали рекой, не имеющей будущего.

Советский народ покорила могучую Волгу и не только предотвратил ее обмеление, но и создал в ее бассейне новые моря. В недрах Поволжья были открыты неисчислимые сокровища, которые способствовали превращению отсталого прежде края в мощный индустриальный и сельскохозяйственный район страны.

В главе «Молодость древней реки» читатель знакомится с перспективами развития Поволжья, предусмотренного семилетним планом.

**И. М. ЛИНДЕР.** Художник шахмат **И. С. Шумов.** «Физкультура и спорт». М. 1959. 223 стр. Цена 5 р. 85 к.

Советские шахматисты воспитываются на традициях русской шахматной школы. Деятельность ее основоположника, М. И. Чигорина, изучена достаточно глубоко. Значительно менее исследована история отечественных шахмат до Чигорина. Большой вклад в изучение этого периода внес шахматный историк И. М. Линдер.

Только что вышла в свет его новая книга, посвященная одному из первых русских мастеров—Илье Степановичу Шумову (1819—1881). Шумов был подлинным художником шахмат и во многом способствовал укреплению взгляда на них как на своеобразное искусство. Его партии, где щедро рассыпаны прекрасные комбинации, и сегодня с увлечением переигрываются многочисленными любителями шахмат.

Шумов оставил яркий след и в другой области шахмат—задачной композиции. И здесь его фантазия была поистине неисчерпаема. Им создано множество остроумных, так называемых «изобразительных задач», в которых расположение фигур образует ту или иную букву и даже символически изображает какое-нибудь событие русской истории, житейскую или литературную шутку. Творчество Шумова во многом способствовало популяризации русских шахмат за границей.

**Э. А. БАГРАМОВ.** Старые расистские измышления на новый лад. Соцэкгиз. М. 1959. 100 стр. Цена 1 р. 55 к.

«Динамичный» Запад—и «пассивный» Восток; «носители цивилизации», европейцы и американцы,—и обреченные на вечную рабскую зависимость «покорные» азиаты; божественное происхождение права «высшей» расы на господство над «низшей»... Эти и подобные им гнусные теории колонизаторов продолжают оставаться предметом «ученых» трудов современных расистов.

Разоблачение лженаучной аргументации расистов, их новых, более утонченных методов и попыток завуалировать свои истинные цели—дело большого политического значения. Этой задаче и посвящена книга Э. Баграмова. В ней рассматриваются наиболее модные концепции нынешних расистов, раскрываются их новые приемы пропаганды колонизаторской политики.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Е. Бугаев.** Возникновение большевистских организаций и образование Компартии Белоруссии. 272 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Из истории формирования и развития марксизма.** Материалы научных сессий. 392 стр. Цена 11 р.

**Поль Лафарг.** За и против коммунизма. Собственность и ее происхождение. 200 стр. Цена 2 р. 50 к.

**С. Напалков.** В стране Тилия Уленшпигеля. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Первые шаги индустриализации СССР. 1926—1927 гг.** Сборник документов. 532 стр. Цена 13 р.

**Морис Торез.** Избранные произведения. Том I (1930—1944 годы). 756 стр. Цена 12 р. Том II (1945—1958 годы). 624 стр. Цена 10 р.

**XIII съезд Монгольской народно-революционной партии (Улан-Батор, 17—22 марта 1958 г.).** 184 стр. Цена 3 р. 70 к.

**1919 год в Венгрии.** Сборник материалов к 40-летию Венгерской Советской Республики. 272 стр. Цена 5 р.

**В. Чхиквадзе, С. Зивс.** Против современного реформизма и ревизионизма в вопросе о государстве. 168 стр. Цена 2 р.

### СОЦЭКГИЗ

**О «Философских тетрадах» В. И. Ленина.** 448 стр. Цена 8 р. 65 к.

**Б. Ю. Ахундов.** Монополистический капитал в дореволюционной бакинской нефтяной промышленности. 296 стр. Цена 10 р. 30 к.

**Д. Краминов.** Правда о втором фронте. (Записки военного корреспондента). 244 стр. Цена 4 р. 55 к.

**М. А. Полтавский.** Баварская Советская Республика. 124 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Н. Г. Поспелова.** Алжир. Экономико-политический очерк. 106 стр. Цена 1 р. 45 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Азаров.** Крутая волна. Стихи. 124 стр. Цена 2 р. 5 к.

**Я. Билинкис.** О творчестве Л. Н. Толстого. 416 стр. Цена 9 р. 90 к.

**В. Василевская.** В борьбе роковой. Повесть. Перевод с польского. 192 стр. Цена 3 р. 75 к.

**П. Галавач.** Повести. Перевод с белорусского. 308 стр. Цена 5 р. 45 к.

**Л. Гурунц.** Камни моего очага. Новеллы. 188 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Л. Дмитерко.** Под Южным крестом. Путевые очерки. Перевод с украинского. 148 стр. Цена 2 р. 5 к.

**А. Егоров.** Искусство и общественная жизнь. 410 стр. Цена 10 р. 10 к.

**Э. Зедгинидзе.** Незабываемое лето. Рассказы. Перевод с грузинского. 220 стр. Цена 4 р.

**Б. Зубавин.** Маленькие истории. Рассказы. 228 стр. Цена 4 р. 20 к.

**М. Ибрагимов.** Слияние вод. Роман. Перевод с азербайджанского. 460 стр. Цена 8 р. 40 к.

**В. Логинов.** Знакомый маршрут. Повести и рассказы. 290 стр. Цена 5 р.

**И. Нусинов.** Избранные работы. 408 стр. Цена 9 р. 55 к.

**Приметы времени.** Очерки деревни 1957 г. 576 стр. Цена 10 р. 10 к.

**И. Рахим.** Преданность. Роман. Перевод с азербайджанского. 344 стр. Цена 5 р. 80 к.

**А. Селивановский.** В литературных боях. Избранные статьи и исследования. 464 стр. Цена 12 р. 40 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Джек Алтаузен.** Стихотворения. 207 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Вл. Бахметьев.** Преступление Мартына. Роман. 287 стр. Цена 6 р. 10 к.

**Хуан Валера.** Пепита Хименес. Повесть. Перевод с испанского. 159 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Мехти Гусейн.** Избранные произведения. Перевод с азербайджанского. 744 стр. Цена 13 р. 65 к.

**М. Исаковский.** Сочинения. В двух томах. Том I. 287 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Осип Колычев.** Избранное. 263 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Сергей Орлов.** Стихотворения. 1938—1958. 263 стр. Цена 5 р. 80 к.

**М. Н. Тимофеев-Терешкин.** Избранное. Перевод с якутского. 328 стр. Цена 5 р.

**Поэзия Чечено-Ингушетии.** 279 стр. Цена 10 р. 90 к.

**Шолом-Алейхем.** Избранные произведения. (На еврейском языке). 376 стр. Цена 5 р.

### ДЕТГИЗ

**Ал. Алтаев.** Впереди веков. Повести. 496 стр. Цена 13 р. 20 к.

**Ю. Давыдов.** Капитаны ищут путь. 256 стр. Цена 5 р. 40 к.



**Ф. Каманин.** Мой товарищ. Повесть. 208 стр. Цена 4 р. 10 к.

**А. Колосов.** Девочка из Полесья. Рассказы. 96 стр. Цена 2 р.

**П. Куракин.** Далекая юность. Повесть. 288 стр. Цена 7 р. 25 к.

**Г. Мишкевич.** Мастер-невидимка. 176 стр. Цена 3 р. 65 к.

**А. Мошковский.** Белые буруны. Рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Ф. Оржеховская.** Эдвард Григ. Повесть. 264 стр. Цена 6 р. 45 к.

**М. Прилежава.** Повести. 504 стр. Цена 10 р. 85 к.

**Д. Сивцев-Омоллон.** Никус. Рассказы. Перевод с якутского. 80 стр. Цена 2 р. 25 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Автоматизация машиностроительных процессов.** Том I. Горячая обработка металлов. 394 стр. Цена 23 р.

**С. Г. Александров, Р. Е. Федоров.** Советские спутники и космическая ракета. 232 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. Д. Бонч-Бруевич.** Избранные сочинения. Том I. 410 стр. Цена 16 р. 25 к.

**М. Е. Жаботинский, И. Л. Радунская.** Радио наших дней. 263 стр. Цена 4 р. 90 к.

**М. М. Жирмунский, А. А. Засухин, Л. Б. Игрицкая, Н. П. Штуцер.** Германия. Экономическая география Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии. 708 стр. Цена 38 р. 40 к.

**П. Н. Земский.** Развитие и размещение земледелия по природно-хозяйственным районам СССР. 299 стр. Цена 19 р. 25 к.

**А. К. Лаврухина.** Успехи ядерной химии. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Э. М. Мурзаев, В. В. Обручев, Г. Е. Рябухин.** Владимир Афанасьевич Обручев. Жизнь и деятельность. 302 стр. Цена 6 р. 30 к.

**Очерки развития основных физических идей.** 512 стр. Цена 23 р.

**Советская археология.** 406 стр. Цена 21 р. 75 к.

**Творчество Ф. М. Достоевского.** 546 стр. Цена 22 р. 70 к.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Б. Л. Беляев.** Люди и события Приморья. (Из истории борьбы за власть Советов в Приморье в 1917—1922 гг.). 230 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Звезды на крыльях.** Воспоминания ветеранов советской авиации. 310 стр. Цена 5 р. 85 к.

**Н. А. Зегжда.** Коммунистическая партия—организатор разгрома третьего похода Антанты. 207 стр. Цена 4 р. 45 к.

**В. Крюков.** Разные люди. Рассказы. 124 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Н. Ф. Кузьмин.** На страже мирного труда (1921—1940 гг.). 294 стр. Цена 6 р.

**М. Лисенков.** Одной дорогой. 160 стр. Цена 3 р.

**Мао Цзэ-дун.** Избранные произведения по военным вопросам. 398 стр. Цена 10 р.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

**Г. П. Высокос.** Однолетние кормовые культуры в Сибири. 208 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. П. Желобаева.** Лабораторно-практические занятия по плодоводству. 152 стр. Цена 2 р. 90 к.

**К. А. Иванович.** Основы обучения и воспитания в сельскохозяйственных техникумах. 328 стр. Цена 6 р. 10 к.

**С. А. Игнатов.** Некоторые вопросы колхозной экономики. 158 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Коллектив авторов.** Передовые приемы в льноводстве. 114 стр. Цена 1 р. 50 к.

**И. Г. Мельников.** Новая система заготовок сельскохозяйственных продуктов. 101 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. П. Редькин.** Свиноводство. 408 стр. Цена 8 р. 20 к.

**Е. В. Щербаков.** Записная книжка ветеринарного работника. 366 стр. Цена 5 р. 20 к.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Р е д а к ц и я: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 20/III-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/IV-59 г.  
А 03513. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 638.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.